Е. А. ШТАКЕНШНЕЙДЕР

ДНЕВНИК
и
ЗАПИСКИ

ACADEMIA

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Елена Андреевна Штакеншнейдер — дочь петербургского архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Ее «Дневник и записки» представляет ценнейший документ как по количеству фактов, существенных для понимания эпохи, так и по глубине и проникновенности их истолкования.

- Елена Андреевна Штакеншнейдер
  - Елена Андреевна Штакеншнейдер и ее дневник
  - Дневник и записки Е. А. Штакеншнейдер
    - 1854 год
    - 1855 год
    - 1856 год
    - 1857 год
    - 1858 год
    - 1859 год
    - 1860 год
    - 1861 год
    - Студенческие волнения 1861 года[239]
    - 1862–1866 годы
    - О возникновении и преждевременном конце Общества поощрения женского труда
    - Как взяты была Ишутин, Ермолов и прочие[301]
    - П. Л. Лавров[306]
    - 1868–1870 годы
    - Из истории женского движения[364]
    - 1880–1886 годы
    - О Достоевском
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189

- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233

- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277

- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321

- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365

- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409

- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412

Елена Андреевна Штакеншнейдер
Дневник и записки
(1854–1886)

Елена Андреевна Штакеншнейдер и ее дневник

Мне бы хотелось, чтобы через много, много лет, если уцелеют эти страницы, в них бы живо и верно отражалось нынешнее время, нынешняя борьба новых начал со старыми.

Е. Штакеншнейдер.

Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836–1897).

«Горбунья с умным лицом», — сказал о ней Гончаров. «На костылях и с больными ногами, — умная, добрая и приветливая», — описывает ее В. Микулич. Сознание своего убожества определяло для Елены Андреевны образ жизни и основные интересы. «Мне многое не позволено, что идет к другим, — писала восемнадцатилетняя девушка, — не могу ни танцевать, ни наряжаться, ни кокетничать». Зато она «страшно

много», по ее словам, читает. Ей трудно двигаться, но она умеет слушать и наблюдать. А слушать ей было что. Родилась Елена Андреевна в 1836 году; следовательно, ее молодость совпала с эпохой общественного подъема второй половины 50-х и начала 60-х годов.

В связи с неудачей Крымской кампании яснее обнаружился кризис крепостного хозяйства и негодность прежней системы управления. Пришел конец николаевскому режиму с его муштровкой и шпицрутенами. Правительство дворян и помещиков увидело, что насилие и эксплоатация должны принять другие формы, что вольнонаемный труд выгоднее крепостного, что с одними держимордами далеко не уйдешь, что для проведения необходимых реформ нужны образованные чиновники. На время ослабла бдительность цензуры. Ограничительная норма — при приеме в университет (в Петербургском, например, она была в триста человек) перестала соблюдаться. Тема о необходимости реформ стала модной. Развязались языки, полились речи на банкетах, откупщики и чиновники заговорили о народном благе, жандармские офицеры — о свободе. Печать ожила. Это было время наибольшей популярности Герцена. Его «Колокол» проникал и в каморку студента, и в царский дворец. На литературных вечерах публика рукоплескала каждому стихотворению, где встречалось слово «свобода». Не сознавалось большинством, что» в это слово представители разных классов вкладывали разный смысл. Демократы еще не размежевались с либералами, и многим из них казалось, что правительство может пойти на серьезные уступки. Разночинная молодежь, мелкобуржуазная по своему социальному составу, хлынула в университеты и там явочным порядком завела у себя самоуправление, которого не было еще вне университета. Понятно, почему первые шаги реакции направились в сторону этой молодежи с целью ее обуздания. 1861, 1863 и 1866 годы датируют три этапа обострения общественной борьбы. В 1861 году началось «подтягивание» университетов Это «подтягивание» и ряд стеснительных мер вызвали студенческие волнения, нашедшие широкое сочувствие в разных кругах общества. В 1863 году реакции удалось в связи с польским восстанием переманить на свою сторону значительное число вчерашних либералов; в 1866 году, после каракозовского выстрела, резко обозначился поворот к беспросветной реакции, что через несколько лет дало свои плоды в виде широкого подъема революционного движения.

Все эти моменты нашли свое отражение в дневнике Штакеншнейдер, и в этом его немалая ценность. Еще больше материала дает дневник для характеристики литературной

атмосферы второй половины 50-х годов и, наконец, женского движения 60–70-х годов.

Трудно было автору дневника перейти на боевые позиции разночинной интеллигенции — ей, принадлежавшей к русско-немецкой семье, где не было, правда, крепостнических традиций, но зато верноподданнические чувства вскормлены были рядами поколений, где благополучие дома зависело от милостей двора. Легче было ей, чуткой и вдумчивой, одержать победу над своим физическим убожеством, сделаться интересной и привлекательной собеседницей и стать центром внимания для многих незаурядных людей. О ее привлекательности свидетельствует, например, член «Земли и Воли» Л. Ф. Пантелеев, студентом посещавший дом Штакеншнейдеров; из дневника ее видим, что к ней неравнодушен был художник Гох, а Гончаров трунил над поэтом Бенедиктовым, который, по его словам, был у нее «в плену». Не принимая деятельного участия в несущейся мимо нее шумной жизни, она воспринимает жизнь путем чтения, встреч и бесед. Под влиянием этих встреч и бесед и происходит постепенное перерождение буржуазной барышни если не в «нигилистку», то, во всяком случае, в человека, во многом сочувствующего «нигилизму». Картина постепенного пробуждения сознания женщины бурной переходной эпохи — вот в чем также несомненная ценность публикуемого нами дневника.

Родители ее были богатые люди. У них не было ни поместий, ни крепостных, но был собственный дом с помпейской залой и зимним садом, изумлявшими посетителей. Дом этот находился на Миллионной (ныне улица Халтурина, от Марсова поля по левой стороне, не доходя два дома до Мошкова переулка. Кроме того были две прекрасные дачи: одна на Петергофской дороге, другая — «Иоганнесру», или иначе мыза Ивановка — у самой Гатчины. Местом записи дневника Елены Андреевны и является до конца 60-х годов обыкновенно один из этих трех пунктов.

Отец ее, обрусевший немец, в детстве плохо понимавший по-русски, Андрей Иванович Штакеншнейдер, придворный архитектор, строитель многих дворцов и павильонов Петергофа и Петербурга, пользовался тогда почетной известностью и не имел отбоя от заказов. Своим положением в обществе он обязан был самому себе, своим способностям, трудолюбию и счастливой случайности: знакомству в молодости с молодой итальянкой Бенвенути, жившей в доме всесильного тогда графа А. Х. Бенкендорфа не то в качестве швейки, не то в качестве компаньонки его дочери. Итальянка так расхвалила молодого архитектора, что Бенкендорф пожелал с ним познакомиться, поручил ему несколько построек у себя в имении, остался

доволен его работой и рекомендовал его императору Николаю. А молодая итальянка, Аделаида Антоновна, способствовавшая началу карьеры А. И. Штакеншнейдера, вышла замуж за Ивана Ивановича Ливотова, совершенно обрусела и на всю жизнь стала ближайшим и неизменным другом семьи Штакеншнейдеров. В дневнике Елены Андреевны она, встречается на всем его протяжении; обычное ее обозначение: «тетенька Ливотова» или «тетенька Л.».

Детей у Штакеншнейдеров было восемь человек, поровну обоего пола. Елена была вторым ребенком и старшей из дочерей. При семье жили компаньонки, гувернеры и т. д. Дом был, как пишет Елена Андреевна, «полная чаша», всего было вдоволь, пока хозяйка дома Марья Федоровна Штакеншнейдер, тратившая еще больше, чем зарабатывал ее муж, не заставила семью распроститься и с особняком на Миллионной, а потом и с мызой Ивановкой.

Марья Федоровна была дочерью крупного петербургского чиновника Федора Лаврентьевича Холчинского, украинца родом, человека бывалого, который когда-то встречался с Гоголем. В дневнике внучки он фигурирует под обозначением «дедушка». По ее словам, он был несравненный рассказчик, но, к сожалению, ничего из рассказанного им она в свой дневник не внесла. Одно время он служил при дворе великого князя Михаила Павловича в качестве управляющего конторою. Тогда-то и познакомился с ним и его семьей А. И. Штакеншнейдер. «Дедушка» был человеком старых воззрений и умер в конце 1860 года, не дожив до падения крепостного права.

Марья Федоровна, женщина властная и большая любительница светских развлечений, не очень подходила к своему вечно занятому супругу, который искал в семейной жизни покоя и отдыха от трудов. Особенно резко это почувствовалось с тех пор, как Марья Федоровна завела у себя в доме литературный салон. Литературой Андрей Иванович интересовался очень мало В дневнике Елены Андреевны ясно выражены и нежные отношения дочери к «бедному труженику папочке» и нередкие столкновения ее с «мамой».

Воспитанием детей в семье Штакеншнейдеров заведывала Марья Федоровна. Двое старших, Коля и Леля, росли очень болезненными и нервными. Два года, от десяти до двенадцати лет, Леля была в ортопедическом заведении. До» восемнадцатилетнего возраста она жила, судя по некоторым намекам в дневнике, бесцветно и безрадостно. С 1854 года все переменилось. Доктора обратили внимание, что молодая девица слишком предается самоанализу и меланхолии, нашли, что это

вредно отражается на ее здоровые, и посоветовали маменьке начать вывозить ее в свет. Марья Федоровна послушалась совета; знакомство с гр. Н. И. Толстой, у которой был литературный салон, перевернуло весь строй жизни в доме Штакеншнейдеров.

В подражание «воскресеньям» Толстых Марья Федоровна завела у себя «субботы». А в следующем, 1855 году Елена Андреевна, по совету поэта Щербины, начала вести свой дневник.

«В Петербурге в 1855–1856 годах, — говорит Л. П. Шелгунова в своей книге «Из далекого прошлого», — были две дамы — любительницы литературы. Одна из них графиня Толстая, а другая Марья Федоровна Штакеншнейдер. Эти обе дамы собирали в своих салонах не только выдающихся литераторов, но и вообще всех людей, чем-нибудь прославившихся». Описание первого салона дают нам «Воспоминания» дочери Толстых Е. Ф. Юнге; о втором салоне мы узнаем из дневников и воспоминаний Елены Штакеншнейдер. Сравнивая этих двух рассказчиц, невольно поражаешься несравненно большей серьезности, и вдумчивости второй из них.

В «Воспоминаниях» Юнге царит благодушный тон. Автор вспоминает только то, что ей приятно вспоминать, лица же и события, производившие впечатления не особенно приятные, как она сама признается, ею просто пропускаются… Все это дает неверное и однотонное освещение, не говоря уже о том, что самый жанр «воспоминаний» дает менее достоверный материал, чем «дневники».

Буржуазное благополучие, так легко усыпляющее ум, корректируется у Елены Штакеншнейдер ее органическим неблагополучием. Она имела право зачислять себя в стан «униженных и оскорбленных», но не людьми, а природой. Ее впечатлительность и вдумчивость выгодно отличают ее от ее сестер, самых заурядных представительниц буржуазного круга.

О своих сестрах Елена Андреевна упоминает в дневнике редко. Из женщин ее внимание привлекают главным образом передовые, как Л. Шелгунова, А. Энгельгардт, Е. Конради, первые студентки, сестры Сусловы, сестры Корсини и т. д. Из женщин интеллигентных, но порывающих с патриархальным бытом, особою ее симпатией пользуется Екатерина Павловна Майкова, наиболее подходящая к ее идеалу женщины.

Преследуя всюду позу и лицемерие, она придирчиво относится к некоторым передовым женщинам, например, к сестрам Сусловым. В мужчинах она тоже более всего любит искренность и непосредственность. Поэтому она так любит Полонского и с такой нежностью говорит о поэте М. Л. Михайлове. Литераторы привлекают ее особое внимание: о

людях других профессии-художниках, актерах — она говорит гораздо реже и меньше. Зато в дневнике ее дан ряд мелких зарисовок, ряд характерных штрихов из жизни писателей Перед нами, как на сцене, проходят, говорят и действуют рассеянный до анекдотичности, незлобивый Полонский; желчный Щербина, задевающий всех своими эпиграммами и плачущий от малейшей царапины его самолюбию; жизнерадостные, подвижные и болтливые, порхающие из дома в дом Григорович и Данилевский; жертвы запоя Мей и Помяловский; замкнутый и молчаливый, воодушевляющийся только при чтении стихов Бенедиктов; воплощенное, самообладание и будущий крупный общественный деятель, по своим идейным запросам стоящий головой выше всех окружающих, Петр Лавров; спокойный Гончаров, мятущийся Достоевский и т. д.

Особенно ярко даны характеристики Щербины и супругов Глинок, а из людей, непричастных к литературной деятельности, как живой встает перед нами родственник и завсегдатай Штакеншнейдеров Иван Карлович Гебгардт, красноречивый толстяк, смелый на словах, трусливый на деле.

Слог дневника не всегда равноценен; иногда Елена Андреевна писала наспех, только для себя, может быть, рассчитывая впоследствии использовать написанное для воспоминаний и там раскрыть намеки, но в других случаях она достигает редкой среди современных ей писательниц и мемуаристок художественности. Такова, например, запись 17 сентября 1862 г., где дано сравнение Европы с Россией.

В не дошедшем до нас письме к Полонскому она сделала такую характеристику Достоевского, что Полонский пришел в восхищение и заявил, что отрывок этот надо поместить в хрестоматию, наравне с образцами наших классиков.

Необходимо указать еще одно достоинство ее дневника. Как человек вдумчивый и наблюдательный, она видит борьбу и противоречия там, где другой, более благодушный и поверхностный наблюдатель нашел бы тишь да гладь. Ее записи почти всегда говорят о борьбе: соперничество двух салонов, борьба студентов с правительством, борьба нигилисток с аристократками, раскол в семье Штакеншнейдеров между более передовыми и более отсталыми ее членами, внутреннее противоречие в самой Елене Андреевне, отказ от личного счастья и в то же время жажда семейного уюта и т. д.

В дневнике Штакеншнейдер мы находим богатый материал для характеристики и истории трех литературных салонов конца 50-х годов; прежде всего и больше всего, конечно, о салоне ее матери, Марии Федоровны Штакеншнейдер, затем о

«понедельниках» у супругов Глинок, частой посетительницей которых была автор дневника, и, наконец, о салоне вице-президента Академии Художеств, скульптора, медальера и иллюстратора, графа Федора Петровича Толстого. Здесь рассказчица бывала реже, так как между хозяйками двух салонов — Настасьей Ивановной Толстой и Марьей Федоровной Штакеншнейдер — существовали соперничество и глухая вражда, прикрываемые светской любезностью. Наружно хозяева этих салонов были очень дружны между собой. Состав писателей, посещавших эти три дома, был почти однообразный, но тем не менее каждый из этих трех салонов имеет свой социальный профиль и свою идеологию. Особенно это следует сказать о «понедельниках» Глинок, где очень много народу было случайного, часто никакого отношения ни к литературе, ни к какой-либо области искусств не имевшего. Но руководящую роль в этой разношерстной публике играли хозяева — Федор и Авдотья Глинки, воинствующие представители идей самодержавия, православия и народности. Вокруг них группируются различные старички-мракобесы, вроде генерала Бурачка, издателя самого махрового реакционного журнала «Маяк», или олицетворение ханжества, вроде помещицы Ладыженской и артистки Орловой. Ни одной струи свежего воздуха не врывается в эту затхлую атмосферу даже в годы всеобщего общественного подъема. Напротив того, представители реакции еще ожесточеннее мобилизуют свои силы: Глинка открыто заявляет о ненужности для крепостных освобождения, его жена пишет повесть, плывущую «против течения».

Гораздо труднее отметить основную разницу между салонами Толстых и Штакеншнейдеров. Елена Андреевна пишет: «У нас говорили больше, нежели в доме Толстых, потому что общество было разнообразнее». В другом месте она указывает, что о политике больше говорили у них, чем у Толстых, Другими словами, Толстые собирали более изысканное общество. У них как бы салон первого разряда, а у Штакеншнейдеров, несмотря на всю роскошь их «помпейской залы» и «зимнего сада», — второго. Недаром некоторые из посетителей Штакеншнейдеров мечтали как о счастье — попасть к Толстым. В доме на Миллионной общество было «разнообразнее», т. е. сюда больше проникало мелкобуржуазной интеллигенции, настроенной оппозиционно и с повышенным интересом к политике. Укажем хотя бы на супругов Шелгуновых и на М. Л. Михайлова.

Правда, в самом конце 50-х годов и в тепличную атмосферу титулованной семьи Толстых проникает струя свежего воздуха в лице Шевченко и Костомарова, но в это время в дом на

Миллионной, в обстановку столь же буржуазную, идет более мощный поток, идей революционной демократии через Петра Лаврова, который играет такую же роль просветителя для Елены Андреевны, какую для Катерины Толстой (впоследствии Юнге) играет Костомаров. Л. Лавров, конечно, человек более широкого общественного размаха, чем Костомаров. Что касается Шевченко, то он в доме Толстых является в роли покровительствуемого поэта: графиня выхлопотала ему возвращение из ссылки. Он здесь лицо опекаемое, пригреваемое, а не трибун, проповедующий свои взгляды. В доме на Миллионной, кроме Петра Лаврова, есть и еще один смелый оратор — Иван Карлович Гебгардт: своим красноречием он тоже способствовал проникновению в эту среду новых идей, хотя дерзость его никогда не шла дальше слов.

Наконец, студенческое движение никак не отразилось на доме Толстых; хотя Катенька Толстая и ездила в университет на лекции Костомарова, но в сопровождении маменьки и в общение с революционной молодежью не вступала. Елена же Андреевна близко знала почти всех главарей этого движения: ее брат Адриан был тогда студентом, принимал участие в движении и даже сидел в Петропавловской крепости.

Все это показывает, что между двумя этими домами, допускавшими в свои стены новые веяния, была большая разница в оттенках, а потому легко могла вспыхнуть и вражда. Нужен был только повод. Таким яблоком раздора явился художник Осипов, который жил в доме у Толстых и давал уроки рисования и Катеньке Толстой, и Елене Андреевне Штакеншнейдер. В дневнике 1855–1857 годов этот Николай Осипов, как увидит читатель, играет большую роль. С исчезновением Осипова соперничество двух салонов не прекратилось. Оно отражается на холодном отношении Елены Андреевны к успеху Шевченко, к выступлений Костомарова на диспуте о происхождении Руси. Шевченко и Костомаров для нее представители враждебного салона. Костомарову она могла бы противопоставить П. Лаврова, Шевченке — Достоевского, который, по ее мнению, имеет право на больший успех. Соперничество прекратилось в 1860 году, когда графиня Толстая увезла дочь за границу и салон ее закрылся, а в 1862 году пришел конец и собраниям в доме на Миллионной: Штакеншнейдеры переехали на мызу Ивановку близ Гатчины.

За те восемь лет, что прошли от начала знакомства с Толстыми, Елена Андреевна проделала большую духовную эволюцию. Воспитанная на житиях святых, она когда-то с наслаждением слушала «Божественную Каплю» Федора Глинки, и «понедельники» Глинок ей приятнее, чем «штакеншнейдеровские

субботы». Но постепенно глаза раскрываются. Ей уже душно у Глинок, она читает «Колокол» Герцена и начинает жить заодно с лучшей частью молодежи. Студенческое движение делает ее чуть не «нигилисткой» и вносит раскол в ее семью; польское восстание 1863 года, отбросившее часть либералов вправо, вызывает ее сочувствие. Она сожалеет, зачем она не полька, и восклицает по адресу реакционных «Московских Ведомостей», требовавших крутой расправы: «Гнусный Катков». Наконец, под влиянием Лаврова она втягивается в работу энергичных деятельниц женского равноправия. Правда, в этом отношении она не может итти в сравнение с такими именами, как М. В. Трубникова, Н. В. Стасова, Е. И. Конради, которые фигурируют в ее дневнике, но она представительница того актива 60-х и 70-х годов, без помощи которого означенные деятельницы были бы бессильны осуществить свои начинания.

Частые встречи и беседы с Лавровым продолжались до самого его ареста в 1866 году. Это время была первым периодом деятельности известного публициста и социолога, когда он еще не был автором знаменитых «Исторических Писем» и у него только еще зарождались многие из тех основных мыслей, которые кристаллизовались позднее. Он не был еще революционером, но уже стоял во главе интеллигенции, помогавшей студенческому движению, и наравне с поэтом и публицистом М. И. Михайловым был одним из первых вдохновителей и инициаторов женского движения. С его удалением из столицы Елена Андреевна как бы осиротела. Эта потеря была тяжелее, чем потеря Осипова. Она сама остроумно сравнивает: Осипов пролетел, как «сон в летнюю ночь», а Лавров был для нее — «быть или не быть». Слабая и болезненная, Елена Андреевна проявила немалую энергию в хлопотах о разрешении ему выехать за границу, а когда разрешения не последовало, и Лавров, бежав из ссылки, начал свою эмигрантскую жизнь, продолжала с ним переписку. Но переписки этой оказалось недостаточно, чтобы Елене Андреевне остаться верной заветам 60-х годов, как осталась верной — друг ее отца — «тетенька Ливотова».

Начиная с 70-х годов Лавров и его бывшая поклонница уже во враждебных лагерях: он ушел влево, она вправо. «Болото», страх перед которым чувствуется в некоторых ее записях 60-х годов и в письмах к ссыльному Лаврову, начинает засасывать ее близких. Любимый брат Адриан, ее единомышленник, забыв всякое бунтарство, пошел по прокуратуре и уже по самой должности своей тяготел к консерватизму. То идейное расхождение с матерью и сестрой Машей, которое было у Елены Андреевны в 60-х годах, теперь исчезло. Острые углы сгладились. По-прежнему у

Штакеншнейдеров собираются по определенным дням — сначала по субботам же, потом по вторникам — литераторы, по-прежнему играют спектакли, но квартира тесна, и круг знакомых меньше. И посетители этой скромной квартиры на Знаменской, как мы видим из воспоминаний Микулич и дневников Елены Андреевны за 80-е годы, в отличие от посетителей особняка на Миллионной в 50-х годах, все больше люди пожилые, или пережившие расцвет своего творчества, как Майков или Полонский, или очень второстепенные, как Аверкиев, Страхов, Берг. И одно только исключение — Достоевский, популярность которого в связи с «Дневником Писателя», выступлением на Пушкинских торжествах при открытии памятника в Москве и «Карамазовыми» росла все более и более. Он-то и является третьим центральным лицом в дневнике Елены Андреевны, определившим третий период в истории ее исканий.

По воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, «Федор Михайлович в зиму 1879–1880 годов часто посещал своих знакомых… Бывал на вечерах у Елены Андреевны Штакеншнейдер… Федор Михайлович очень любил и уважал Елену Андреевну Штакеншнейдер за ее неизменную доброту и кротость, с которою она переносила свои постоянные болезни, никогда на них не жалуясь, а, напротив, ободряя всех своею приветливостью» (Воспоминания А. Достоевской, стр. 256).

Сблизился Достоевский и с братом Елены Андреевны Адрианом. По свидетельству А. Г. Достоевской, с Адрианом Андреевичем, как с талантливым юристом, Федор Михайлович советовался во всех тех случаях, когда дело касалось порядков судебного мира, и ему Федор Михайлович обязан тем, что в «Братьях Карамазовых» все подробности процесса Мити Карамазова были до того точны, что самый злостный критик (а таких было немало) не смог бы найти какие-либо упущения или неточности (Воспоминания А. Достоевской, стр. 256).

В Достоевском Елена Андреевна ценит не романиста (в этом отношении она Тургенева ставит гораздо выше), а учителя жизни, и «Дневник Писателя» для нее дороже «Братьев Карамазовых». Яркое изображение этих «суббот» с Достоевским у Штакеншнейдеров на Знаменской находим у В. Микулич, в ее книге «Встречи с писателями». В это время Штакеншнейдеры — мать и дочь — жили на пенсию, довольно значительную, которую получала Марья Федоровна после смерти мужа (он умер в 1865 году). Когда же в 1892 году умерла и Марья Федоровна, Елена Андреевна оказалась в стесненном материальном положении, и вечера прекратились.

Достоевский фигурирует не только в дневнике Елены

Андреевны; она начала писать и воспоминания о нем, оставшиеся незаконченными, но и в таком виде являющиеся ценным материалом. Для биографа Петра Лаврова ее дневник и воспоминания незаменимы потому, что касаются доэмигрантского периода жизни Лаврова, всего менее освещенного другими «воспоминателями».

Особо следует выделить Полонского. Как натура мечтательная и отнюдь не волевая, он не мог быть для нее учителем жизни, как Лавров или Достоевский, но для Елены Андреевны был более близким и родным, чем они.

Для будущего биографа Я. П. Полонского дневник Елены Андреевны является совершенно незаменимым источником. Ни о ком другом не говорит она так часто. Образ незлобивого, младенчески-непосредственного и анекдотически-рассеянного Якова Петровича неизменным спутником проходит по всем тетрадям ее дневника. История их дружбы довольно своеобразна. Начало знакомства Елена Андреевна относит к зиме 1854–1855 года. О его появлении заранее восторженно возвестил экспансивный и «легкокрылый» Данилевский. Первое впечатление было разочарование: «Серьезный и рассеянный, бродил Полонский, охотнее слушая, чем говоря, и очень неохотно читая свои произведения». В доме Штакеншнейдеров он сначала более сблизился с маменькой, чем с дочкой, которая даже могла порою жаловаться на недостаток внимания с его стороны. Для нее он был «мамин поэт», «своим» же она считала в эти годы Бенедиктова. Марья Федоровна окружала поэта своей заботливостью и во время его первой поездки за границу исполняла в Петербурге его различные поручения. Их обширная переписка, представляющая немалый литературный интерес, еще не опубликована, за исключением нескольких писем Полонского. Летом 1858 года Полонский вернулся в Петербург не один, а с женой, которая оказалась на четыре года моложе Елены Андреевны. Молодые остановились у Штакеншнейдеров. С тех пор и начинается дружба. Елена Андреевна и Яков Петрович стали звать друг друга «дядя» и «тетка» и перешли на «ты». Два обстоятельства или, вернее, два горя в его жизни сблизили их еще более: превращение его в калеку: он ушиб себе колено и так серьезно, что всю жизнь после этого уже не расставался с костылями, — Елена Андреевна увидела в нем товарища по несчастью; вслед за тем неожиданно умирает жена Полонского, и обезумевший от горя поэт все более и более начинает ценить дружеское участие Елены Андреевны. В истории второй женитьбы Полонского она играет значительную роль. Ей приходится быть поверенной сердечных тайн двух мужчин, влюбленных в одну и

ту же женщину, Жозефину Антоновну Рюльман. С ней подружиться просит Елену Андреевну Полонский, чтобы найти ключ к сердцу «ледяной красавицы». Петр Лавров из ссылки тревожно спрашивает Елену Андреевну, как чувствует себя Жозефина Антоновна и «ласков ли с нею муж». Полонский — один из очень немногих, кому Елена Андреевна показывает свой дневник… Когда Полонский получил должность цензора, она бремя цензорской службы почти целиком перекладывает с его плеч на свои, и в течение целого ряда лет является фактическим и негласным цензором иностранных книг. В 80-х годах Штакеншнейдеры и Полонские живут в одном и том же доме на Знаменской, и «через кухни и черные ходы» на костылях «дядя» и «тетка» ходят друг к другу. И сложили они свои костыли почти одновременно. В 1897 году умерла Елена Андреевна, а в «следующем, 1898, умер и Полонский.

После ее смерти остался ряд тетрадей с дневником и записками. Дневник относится главным образом ко второй половине 50-х годов: от 1855 до 1861 года. С весны 1861 года она свои записи ведет о большими промежутками, и все чаще они основываются не на непосредственных впечатлениях, а на припоминаниях. Начиная с 60-х годов она все чаще прибегает к форме записок.

Публикация выдержек из дневника и записок Елены Андреевны началась еще при ее жизни. В 1893 году, в «Русском Архиве», т. II, напечатаны были ее записи 1856 года, касающиеся домашнего спектакля в доме Штакеншнейдеров «Школа Гостеприимства», где в числе актеров были Л. П. Шелгунова и М. И. Михайлов, а в числе зрителей — авторы пьесы, Тургенев, Григорович, Дружинин. Затем в 1899 году, т. е. вскоре после смерти Елены Андреевны, Владимир Стасов в своей монографии «Надежда Васильевна Стасова» поместил некоторые выдержки из дневника 1868 и 1878 годов, характеризующие стремление женщин того времени к высшему образованию и первые дни существования Бестужевских курсов. В более систематическом виде литературное наследие Елены Андреевны стало появляться в «Русском Вестнике» за 1899 (№ 10) и 1901 год (№№ 5, 6, 7, 8, 10) и в «Голосе Минувшего» за 1915, 1916, 1919 год.

И тот и другой журнал в своих публикациях допустил много ошибок и искажений, совершенно подрывающих документальную значимость опубликованного. Иногда видим смешение лиц, явно поражающее своею несообразностью: например, сорокатрехлетний И. И. Панаев, соредактор Некрасова по «Современнику», характеризуется в 1855 году как молодой человек. В действительности же в рукописи Штакеншнейдер

приводимая характеристика относится к совершенно другому Панаеву. В числе трех депутаток, явившихся 26 ноября 1868 г. к министру Дмитрию Толстому с ходатайством о допущении женщин в университет, названа Потанина, которая никакого отношения к этому не имела. В действительности же в числе депутаток была Е. Н. Воронина, как и указано у Е. А. Штакеншнейдер в рукописи. В журнальном тексте под датой «12 апреля 1861 г.» имеется указание на какое-то предстоящее «пятидесятилетие России», что является совершенно бессмыслицей. Место это взято из записи 1862 года, где говорится о праздновании тысячелетия России. Публикаторы сплошь и рядом соединяют под одним числом разновременные записи; месяцы и годы часто обозначают произвольно и т. п. Получается ряд курьезов: в 1866 году Е. А. Штакеншнейдер говорит, что в прошлом, 1863 году получила «из глубины Сибирских руд» письмо от М. Л. Михайлова; о впечатлениях от трех лекций Лаврова сообщается каждый раз ранее, чем они состоялись; о суде над каракозовцами — за несколько месяцев раньше, чем был суд, и т. д.

К сожалению, не все тетради дневника и записок Е. А. Штакеншнейдер дошли до нас. Дневник с 14 июня 1858 г. по 13 марта 1861 г. мы имели только в публикации «Русского Вестника», записи 1880, 1883, 1885 годов, а также набросок воспоминаний о Достоевском — только в публикации «Голоса Минувшего». В рукописи воспоминаний о П. Лаврове (две тетради, просмотренные Ф. И. Витязевым) не было напечатанной в «Голосе Минувшего» главы о поездке к Шувалову, Мезенцеву и Суворову. Наконец, два отрывка о женском движении из дневника 1878 года мы заимствовали из книги В. Стасова «Н. В. Стасова», Спб. 1899. Все остальное, т. е. большинство вошедшего в нашу книгу материала из литературного наследия Е. А. Штакеншнейдер, мы печатаем по рукописи. Глава о Лаврове была проверена, пополнена по рукописи и комментирована Ф. И. Витязевым, которому и приносим глубокую благодарность. В нашем распоряжении было семнадцать тетрадей, а именно:

1. Начисто переписанный дневник с 8 марта 1855 г. по 6 июня 1858 г. Девять перенумерованных тетрадей. В «Голосе Минувшего» (1915, №11) опубликованы были только выдержки.

2. Черновая тетрадь записей 1861–1862 годов (студенческие волнения и т. д.). Ничего из этой тетради опубликовано не было.

3. Три толстых переплетенных тетради черновых записей 1861–1870 годов. В «Голосе Минувшего» (1916, №4) опубликованы были только выдержки.

4. Дневник заграничного путешествия 1856 года.

Опубликован не был.

5. «1854 год» (из записок). Толстая тетрадь в переплете. Текст во второй половине не совпадает о публикацией «Русского Вестника» (1899, № 10).

6. Две тетради записок из семейной хроники Штакеншнейдеров. Опубликованы не были.

Третья тетрадь из семейной хроники, частью дублирующая указанные две тетради, обнаружена была в архиве библиотеки Коммунистической академии. Кроме того нам известно о существовании гейдельбергского дневника 1870 года, хранившегося до последнего времени в Харькове, у родственников Е. А. Штакеншнейдер.

Большая часть дневника, вошедшего, в нашу книгу, публикуется впервые. Здесь обращают на себя внимание новые данные о Гончарове, меняющие обычное представление о прототипе Ольги Ильинской, о Майковых, о Полонском и т. д. Своеобразный и немалый интерес имеют и отклики на студенческие волнения 1861 года. Впервые публикуется материал, освещающий соперничество двух литературных салонов и, наконец, незаурядную личность самой рассказчицы, диалектику ее развития: от «Четьих-Миней» до «Колокола» Герцена и даже признания себя — правда, очень кратковременного — «в каждом вершке нигилисткой» и до возвращения от Герцена и нигилизма к семейным верноподданническим традициям.

Мы совсем не включаем в нашу книгу 1) ее заграничных записей, которые она делала во время своих поездок по Европе, 2) записок из семейной хроники Штакеншнейдеров: то и другое выходит за пределы русский литературы и русской общественности, что является основной установкой в нашей книге. Но и кроме того мы принуждены были делать большие пропуски и сокращения: в дневнике ее много повторений, много деталей, понятных и интересных только для ее домашних, общих рассуждений и случайных мыслей и оценок, мало для нее характерных и только разбивающих впечатление.

В заключение необходимо объяснить предварительно несколько имен и обозначений, особенно часто встречающихся в ее дневнике. О родителях, «дедушке» Холчинском, «тетеньке Ливотовой», брате Андрюше, Иване Карловиче Гебгардте уже сказано раньше. Необходимо добавить, что Маша и Оля — ее сестры, первая в замужестве Попова, вторая Эйснер; Коля, Аля (Александр) и Володя — ее братья, Лиза Шульц — племянница по мужу «тетеньки Ливотовой».

За ряд ценных указаний о Штакеншнейдера, я приношу

благодарность Александру Яковлевичу Полонскому, сыну поэта. Подбор иллюстраций сделан Ф. И. Витязевым.

И. Н. Розанов

Дневник и записки
Е. А. Штакеншнейдер

1854 год
Из воспоминаний

У Брюлловых был детский бал[1]. На этом балу моя мать встретилась с графинею Толстой, женою графа Федора Толстого, вице-президента Академии Художеств. Они встречались и прежде, но в тот вечер как-то особенно сошлись и решили бывать друг у друга.

До той поры мы жили чрезвычайно уединенно; выезжали мало, у себя принимали еще меньше. Мы собирались тогда переезжать в дом наш на Миллионной, который был уже почти готов и был просторен, роскошен и изящен, как было изящно все, что строил мой отец. Не будь этой встречи с графинею Толстой, и в новом доме жизнь наша, вероятно, потекла бы по-прежнему тихо и уединенно, но тут все изменилось. Графиня Толстая, сама большая любительница литературы и искусства, увлекла и нас в эти сферы.

Наступала весна 1854 года с Крымскою войной, патриотическим восторгом и патриотическими стихами; у Толстых говорилось больше о стихах, чем о войне, о политике.[2] Я была тогда еще очень молода[3] и застенчива, и потому чуть не дрожа села в карету в одно весеннее воскресение, приемный день Толстых, чтобы ехать к ним.

Графиня принимала в тот вечер в зале за чайным столом. В этой зале, столь изящной простотою своего убранства, я провела потом много интересных и приятных вечеров. Толстые жили в Академии Художеств, в первом этаже, в угольной квартире, выходившей окнами на Неву и 3-ю линию. Чай разливала Екатерина Ивановна, сестра графини[4]. Меня посадили возле какой-то черноглазой дамочки с белыми бусами в черных как смоль волосах. Я, само собою разумеется, не сказала ей от себя ни слова и путаясь отвечала на ее вопросы. Прибежали две девочки восьми-пяти лет и, лепеча что-то по-английски, кинулись к графине[5]. «Это мои дети», — сказала она, обращаясь к нам.

Когда убрали чай, все разбрелись. Стало живее и шумнее. Я все, точно связанная, сидела возле своей черноглазой соседки и, должно быть, порядочно надоела ей, но куда было меня девать? Наконец, к ней подсел Рамазанов[6]. Они разговорились, но я не вслушивалась в их разговор. Вдруг оба они обратились ко мне, чтоб я рассудила их. Оказалось, что он снял со своей цепочки какой-то брелок, который она, вероятно, похвалила, и преподнес ей. Она отказалась, и они заспорили. К счастию, в эту минуту

раздался голос Лоде, музыканта, и избавил меня от роли судьи. Он пел:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Вдохновлен его отвагой,
И француз за ним туда ж,
Машет дядюшкиной шпагой
И кричит: allons, courage!
Полно, братцы! На смех свету
Не останьтесь в дураках.
Мы видали шпагу эту
И не в этаких руках!
Если дядюшка бесславно
Из Руси вернулся вспять,
Так племяннику подавно
И вдали несдобровать…

и т. д.

Слова-неизвестного автора, музыка — Вильбоа[7]. Имя автора так и осталось неизвестным[8]. Стихи не были разрешены к печати[9], но пелись и читались повсюду, потом забылись.

На следующее воскресенье встретили мы у Толстых чету Глинок, Федора Николаевича и Авдотью Павловну. «Жребий Глинок», как выражался сам Федор Николаевич:

Из двух неравных половинок
Бог нечто целое склеил,
Сказал, дохнул, благословил,
И это вышел — *жребий Глинок.*

Федор Николаевич в то время, как мама мне на него указывала, вынимал пальцами из чашки чая размокшие куски хлеба; в то же время он дергал себя за бакены и, говоря что-то с жаром, так размахивал руками, что только большие перстни его мелькали и ордена на шее и на фраке тряслись.

— Это тот Глинка, что написал «Плач плененных иудеев»; он был в числе декабристов и только недавно получил разрешение жить в Петербурге, — говорила мама, — а вот и жена его.

И мама указала на сухощавую седую даму, с отпечатком на лице бывшей красоты и непрошедшей строгости. Но меня

занимал маленький черненький старичок[10], что полоскал свои пальцы в чае. «Плач пленных иудеев», декабрист и кресты на фраке никак не совмещались в голове моей в одно понятие, и, глядя на старичка, я подумала: «мама, верно, ошибается: это, верно, не сам он, но родственник того Глинки». Тогда понятия мои о декабристах были чрезвычайно смутны. Самое слово «декабрист» произносилось шопотом; сам Федор Николаевич, кажется, скрывал свое прошлое, как грех юности.

Когда мы хотели уезжать, графиня остановила нас.

— Мои милые, куда же вы? — говорила она. — Погодите, я познакомлю вас с Глинками, — и, обратясь к моей матери, прибавила. — Ах, если бы вы знали, что это за люди![11] Какие это чистые, теплые души, и сколько в них задушевности, сколько простоты! Да вы это сами увидите. Граф уже сорок лет знаком с Федором Николаевичем. Вы знаете, Федор Николаевич написал поэму из священного писания, под заглавием «Таинственная Капля».[12] Ее запретила цензура[13], но он ее читает у близких знакомых, только в самом близком кругу. Вы должны слышать ее непременно; дочь ваша должна непременно слышать ее. Для ее молодой души это будет духовная пища. При ней ему легко будет читать; вы знаете, он всегда чувствует, *как* его слушают, а поверьте мне, что именно такие молодые души в состоянии оценить прекрасное.

Мы познакомились с Глинками. Наступил вечер чтения «Таинственной Капли». Чтение было назначено у Толстых. Мы поехали втроем: папа, мама и я. Нас просили не разглашать об этом чтении, и эта таинственность, речи графини о душах и душевной теплоте, весь этот новый для меня мир, в котором божественное перемешивалось с запрещенным, производил странное впечатление. Из опасения, чтобы кто-нибудь посторонний, не посвященный в тайну собраний наших, не явился нечаянно, швейцару было приказано стоять у наружных дверей и впускать только тех, имена которых были ему сказаны.

Когда мы приехали, у графини сидела дама, высокая, немолодая, со впалыми глазами, вся в черном, кроме чепчика, завязанного на подбородке. Мне все виделись тогда святые и святыя, потому что я каждое утро читала Четьи-Минеи. Конечно, современные люди во фраках и нарядных платьях не походили на святых, но та дама, в черном и с кроткими глазами, походила «Мой лучший друг, княгиня Шаховская, — сказала графиня, — а что это за существо, вы сами оцените…» — «Ах, графиня, — перебила ее по-французски княгиня, — прошу вас…» Картавый французский язык снял было с княгини вид святой, но она подняла к небу глаза и опять представилась такою, как пишут

святых на образах, с кроткими, добрыми глазами и узкими руками.

Чай был накрыт в детской, на особой половине дома. Комнаты, предназначенные для чтения, стояли пустые, точно и они собирались с духом слушать «Таинственную Каплю». Окна детской выходили на Румянцевскую площадь. Солнце закатывалось и бросало последние лучи свои, самые яркие, на кадетский корпус. Половина площади была в свету, половина, под самыми окнами детской, покрыта синею тенью. Я стояла у окна, любовалась освещением, но мне опять было жутко. Ровни мне не было, а я все вспоминала слова графини, что при мне ему легко будет читать, потому что у меня молодая душа. А вдруг я не так, как надо, буду слушать, и он это почувствует, так как он ведь все чувствует? Но явились еще две молодые души: сын княгини, князь Иван Николаевич, молодой офицер, и Николай Осипович Осипов, молодой художник. Я обрадовалась, что нас, молодых, будет трое. Смущало только, что князь такой насмешник и вечно смешит, а Осипов казался мне вольнодумцем, потому что, как вольный художник, носил усы и эспаньолку. При Николае Павловиче усы и борода были большою редкостью. Никто из служащих в гражданской службе не имел права отпускать их, а военные носили только усы, но не бороду. Кроме вышеназванных лиц слушали чтение еще Алексей Тарасович Марков с сестрой Прасковьей Тарасовною, Завьялов, также художник, графиня Надежда Петровна Толстая, сестра графа, жившая у брата, и еще их брат приезжал, граф Константин Петрович Толстой. Были еще двое-трое мужчин, но теперь не припомню кто.

«Таинственная Капля» произвела на меня сильное впечатление, позднее я ее поняла и оценила, тогда же я только верила. Верила в совершенство стиха, в глубину мысли, в неподдельность восторга, ею производимого. И никогда не изгладится впечатление это из моей памяти. Никогда не позабуду я этих вечеров, таинственных, как она сама, их виновница. Занавесят наглухо окна, чтобы весенняя голубая ночь в них не глядела, внесут свечи, и затворят все двери. Глухо раздается в огромной зале голос престарелого чтеца. Он читал нараспев, торжественно, и на каждый размер стиха[14] у него был свой напев. Говорили после вольнодумцы, что он читает не хорошо; тогда этого не говорили. Тогда его чтению вторил восторженный шопот[15]; был ли он искренен, — не знаю.

«Таинственная Капля» читалась вечеров десять попеременно то у Толстых, то у Глинок; дослушав ее, мы уехали на дачу. Но перед тем еще, а именно 9 мая, было освящение часовни на Николаевском мосту. Ее строил мой отец. Чтобы укрыть ее от

пыли и чтобы прохожие не мешали, над нею был сделан полотняный шатер. Наконец, 9 мая шатер сияли, и она предстала во всем своем блеске и красоте и была торжественно освящена в присутствии царской фамилии. Мы смотрели на церемонию освящения вместе с Глинками и Толстыми с балкона Академии Художеств.

На другой день вечером Толстые и Глинки были у нас, и за ужином Федор Николаевич поднес моему отцу стихи, напечатанные потом в «Северной Пчеле»: Часовня Благовещенского[16] моста» (в день св. Николая), которые так начинались:

Слышны звуки, слышен молот,
Крик пилы за долотом,
Ходит по мосту весь город
Мимо *стройки под холстом*.

Тогда не появлялось стихотворения без намека на войну, без приноравливания его к злобе дня, а относящихся собственно к войне было несметное количество.

Стихи тогда наводняли журналы, читались, пелись, ходили — в рукописях по рукам. К числу последних, следовательно нецензурных, принадлежала «Коляска» Майкова. Что было в ней нецензурного, — осталось неизвестным до сих пор. Так как сам Николай Павлович запретил ее печатать, а между тем она была вся преисполнена восхвалениями его добродетелей, то говорили, что он это сделал из скромности, устыдясь избытка этих восхвалений; другие же, напротив того, говорили, что причиной запрещения совсем не была скромность, а был гнев на Майкова за то, что он в этом стихотворении выставил его какой-то непонятной жертвой.

Другое стихотворение той эпохи, также ходящее по рукам, т. е. нецензурное, — Хомякова: «Тебя призвал на брань святую!»[17]

Четвертая строфа этого стихотворения часто выпускалась совершенно; она и — в рукописи казалась страшной[18]. Помню, раз пришел к нам Базили с этим стихотворением в кармане. У нас сидел дедушка. Его ли боялся Базили, или просто был он чересчур осторожен, как настоящий грек, но только, декламируя восторженно стихи эти и диктуя их даже мне, о четвертой строфе он и не заикнулся. А дедушке и без нее было довольно, он сидел насупившись. Эта «глава, лежащая в пыли», эта «растленная совесть» не шли к его России; он не хотел, чтобы к ней относились с подобными речами; не такою видели ее его глаза,

еще в молодости ослепленные блеском 1814 года; он это и высказал; но Базили горячо защищал свое мнение. Ему, как греку, особенно нравился конец. «Ну, а это что значит, *коленопреклоненная душа*? Я не знал, что у души есть колени, покажите мне коленопреклоненную душу», — придрался дедушка[19]. Базили остановился, как бы в недоумении, но вдруг поднял голову, указал на мраморного, молящегося на коленях ребенка, стоящего в углу, и отвечал: «Вот коленопреклоненная душа».

Много стихов написал тогда и князь Вяземский, но более него и, кажется, более всех, — Глинка. Его стихи, настроенные на божественное, невыработанные, необдуманные, но звучные, поэтому самому запоминались легче всех. Его «Ура!» кто не знал тогда наизусть? Кто знает его наизусть теперь?

Года через два по окончании Крымской войны, когда не только навеянные ею стихи, но даже самые ужасы, ее сопровождавшие, уже забывались, увидали мы однажды у Глинок, на стенах их гостиной, полосы красной, синей и желтой бумаги, вроде обоев, исписанные китайским письмом. Это было «Ура!», переведенное на китайский язык и привезенное из Китая. Вот начало этого произведения православной музы, заслужившего азиатскую славу:

Ура! На *трех* ударим разом!
Не даром же трехгранный штык!
Ура! пусть грянет над Кавказом,
В Европу грянет тот же клик!..
И двадцать шло на нас народов,
Но Русь управилась с гостьми.
Их кровь замыла след походов,
Поля белелась их костьми.
Тогда спасали мы родную
Страну и честь и царский трон;
Тогда о нашу грудь стальную
Разбился сам Наполеон!

и т. д.

Но вдруг посреди этих песнопений раздались совершенно неожиданные звуки. То были два стихотворения неизвестного автора, одно под заглавием: «К русскому народу», другое — «Русскому царю». Насколько эти стихотворения были в то время распространены, я не могу судить теперь; знаю только, что они ходили по рукам людей, не только не знакомых с автором или его кругом, но даже, если бы они с ними были знакомы, вероятно, не

сочувствующих ему. Стихи были, я думаю, не поняты большинством, и потому повторялись наряду с «Ура!» и прочими.

Говорят, что имя автора искалось правительством, и подозрение падало даже на Хомякова, в Москве. Настоящий автор был в то время в Петербурге. Услыхав, какая беда грозит Хомякову, он тотчас же хотел обличить себя, но его удержали. Между тем Хомяков успел оправдаться, настоящего виноватого не нашли, и так дело замолкло.

Стихотворения схоронились по портфелям, забылись даже, может быть, и, наконец, минула им десятилетняя давность. И вот, когда она минула, когда даже сверх нее прошли еще два года, автор за одно из них, а именно за то, которое озаглавлено: «К русскому народу», сослан в Тотьму.

Те люди, которые в одном кармане носили и стихи Глинки и стихи Лаврова, может быть, и были правы, соединяя их: они соединялись между собой, как конец соединяется с началом. Стихи Глинки были лебединой песнью отходящего, стихи Лаврова — начальными звуками новой речи, — речи, в то время, и в его устах, еще полной иллюзий, но которая, начавшись стихами, быстро перешла в прозу и, раздаваясь все громче и громче, как неопределенное *ау* в лесу дремучем, скликала братьев к одному месту, чтобы они увиделись и поняли друг друга.

Прошло лето. Опустелый Петербург снова оживился, и надежды на победы, и угрозы закидать врагов шапками снова его преисполнили. По улицам возили турецкие пушки, отбитые у неприятеля; с газетами разносили летучие листки реляций, и в них было всегда что-нибудь утешительное. И о чем было особенно горевать? О крови, льющейся в Севастополе? Судя по реляциям, ее лилось немного. За стереотипной фразой: «неприятель понес значительную потерю убитыми и ранеными» обыкновенно следовало: «у нас убит один казак». В средствах и силе России никто не сомневался, ни мы сами, ни даже враги паши, а о нашей славе давно ли напоминал Синоп.

Без железных дорог, без телеграфов, чем страшна так была Россия? Неужели своей огромностью только и неизвестностью? Или все еще 1812 годом и блеском 1814 года? Мы так привыкли казаться сильными, что сами, наконец, поверили в свою силу, а между тем могли бы знать, насколько силен разлагающийся организм. Николай Павлович вдался в ту несчастную для него войну, запутался, как пойманный в сетях зверь, и погиб. Россия восторженно откликнулась на боевой призыв его, как привыкла откликаться на всякий призыв своих царей, и пошла лечь костьми, не зная, на что и за чем она идет. Николай Павлович погиб, но Россия спаслась. Только спаслась она не тем, на что

надеялась, не силой своей, не удивительной своей военной подготовкой, а необыкновенным счастьем, именно тем, на что и не рассчитывала, — погибелью Николая Павловича.

Когда это совершилось, когда прекратилась, наконец, и разрушительная, ужасная война, Россия встала с одра своих бедствий, как больной, для которого опасность миновала, но силы еще не явились; который и слаб, и худ, и бледен, и брит, пожалуй. Но покуда Николай был еще жив, и ужасная разрушительная война была во всем своем разгаре, тогда Россия со своими восторгами и надеждами, и мечтами была, как горячечный больной у порога смерти. Ей стала лучше, она пришла в себя 18 февраля 1855 года, в то утро, когда из Зимнего дворца раздалось: «государь умер». До этого утра 18 февраля оставалось еще шесть месяцев, когда мы воротились в ликующий своими надеждами Петербург. Это ликование коснулось и дома Толстых, но в доме Толстых всегда на первом плане стояло искусство, пламенным поклонником и как бы верховным жрецом которого был сам старый граф. Оно и тут не уступало прав своих, и хотя часто служило формой для выражения того, что всех занимало, но еще чаще заставляло забывать, не унося своих поклонников вон из мира действительного.

И литература была или, вернее сказать, считалась уже тогда проводником тех идей и тех ощущений, которыми были все полны. И все, приучаясь читать между строк, находили, что им было нужно: старую песню, чтобы опьянеть и, опьяневши, забыться, или ропот, неясный, как отдаленные раскаты грома, когда приближается гроза, но ропот, так согласно вторящий их внутреннему ропоту. Только книг было мало: история с Петрашевским была еще слишком свежа в памяти, и Николай Павлович был еще слишком страшен. Книг было очень мало, а цензура безобразнее, нежели теперь, потому что цензора, люди невежественнее многих, не говорю — мыслей, — слов многих совсем не понимали, и все, чего не понимали, вымарывали. Любознательность принуждена была уйти внутрь, — и в темноте росла, подтачивая старый организм, покуда его не сокрушила, покуда не нашла себе выхода.

У Толстых собирались два раза в неделю, по воскресеньям, когда дом был открыт для всех знакомых, и по пятницам, когда принимали только художников и писателей, а из дам очень, очень немногих. Я любила эти пятницы больше воскресений. Живые вопросы дня, постоянно на них возбуждаемые, музыка, чтение, рисование имели для меня невыразимую прелесть. К тому же в собиравшемся там обществе царствовала удивительная гармония; оттого ли, что не высказывались вполне, или оттого, что еще не

договорились до спорных пунктов. На такую пугливую природу, какою была моя, подобная обстановка действовала благотворно чрезвычайно. Дом Толстых положил в меня начало тем убеждениям и тем привязанностям, без которых трудная и невеселая жизнь еще труднее и невеселее. Зато он и лучшее воспоминание из моего прошлого; зато и на графиню, мою невольную благодетельницу, я никогда не могла злиться, как бы следовало, когда она так мерзко вела себя в отношении к нам.

Душой общества был Григорий Петрович Данилевский[20], автор многих канувших в Лету сочинений и одного не канувшего, а именно: «Беглые в Новороссии»[21]. Я называю его душой общества потому, что все, что было в обществе невысказанного или недосказанного, разбросанного, одинокого, он принимал в себя, собирал, высказывал, оживлял своим избытком жизни. Его моложавая фигурка и моложавое лицо были видны беспрестанно; его моложавый голос, напоминающий весенний шум леса, беспрестанно слышен. Предвозвестить какую-нибудь замечательную личность, прочесть первому вслух еще неизданное стихотворение было для него величайшим наслаждением. Разукрасить, понасказать и былей и вместе с тем небылиц его было дело. И все это делал он как-то особенно радостно, как-то молода была его улыбка, молод шопотный голос. За тайну передавали, что Данилевский был замешан в деле Петрашевского и сидел в крепости. Я думаю, это придавало ему вес в его собственных глазах, я думаю, это и делало его таким радостным. Но впоследствии оказалось, что в крепость он попал нечаянно, что искали другого Данилевского. Так что, когда в 1861 году студенты, в свою очередь, побывали в крепости, и Данилевский, еще твердо веривший в свои политические подвиги, попробовал было им сказать: «Ведь это мы вам указали дорогу, ведь первые были мы», — то в ответ ему только посмеялись.

Предтеча литераторов, он за две недели до появления Щербины предвозвестил его, — читая его стихи и восторгаясь им, как личностью и как поэтом. И вот на нашем горизонте показался Щербина. Наэлектризованные Данилевским, его встретили, как мученика. Его горького остроумия не разглядели, и поняли как плод глубокого разлада с жизнью; думали, что нежная душа поэта, мечтавшего о светлом солнце родной Греции, не может выносить холода и туманов. Ядовитым сарказмам его придали слишком серьезное значение, и то, что было дурной игрушкой, попадающею и в виноватого и в правого и в чужого и в своего, — приняли за бич общественный. И не одна молодежь им увлекалась; старики, бывало, добросают свои карты, чтобы послушать его ядовитые речи и похохотать. Сам Щербина не

смеялся никогда. Он сидел обыкновенно, свесив набок голову и засунув руку за жилет, и как-то грустно взглядывал исподлобья. По временам он закатывал глаза, как часто делают заики, и с большим трудом выговаривал слог за слогом, как-то отрывисто бросая свои едкие фразы толпе, которая их подхватывала с громким хохотом. Тут опять Данилевский хлопотал и радовался больше всех.

Мы в то время выезжали много, но у себя принимали мало, потому что дом наш все еще не был готов. Когда же он совершенно отстроился и открылись приемные комнаты нижнего этажа и зимний сад, тогда стал посещать и нас весь шумный рой знакомых Толстых, и начались наши субботы. У нас собиралось иногда до двухсот человек. Играли, пели, рисовали, читали, а главное — говорили[22].

Музыка давно смолкла бесследно, и музыканты исчезли; по крайней мере я не вижу теперь никого из них. От рисовальных вечеров остались только альбомы, а из художников немногие налицо: «…иных уж нет, а те далече…» Кто пожертвовал своими юношескими мечтами ради насущного хлеба, и бросил искусство, а кто просто позабыл свои юношеские мечты То, что тогда читали, совершая как будто подвиг или преступление, — теперь напечатано, и потеряло отчасти свое значение, — но то, что говорили, — одно только не исчезло бесследно, не потеряло своего значения. Неуловимое, как музыка, оно оставило свой глубокий след. Невидимое для глаза, оно начертано живее и неизгладимее всех безмятежных рисунков нашего альбома, оно стало даже нагляднее книги. Оно оставило нам то, что составляет теперь и радость нашу и наше горе.

В декабре 1854 года играли у нас первую часть «Трех Смертей» Майкова[23], по рукописи, конечно, так как цензура и ее не позволяла печатать[24], и по первоначальной рукописи, не по той, по которой она напечатана теперь. Сам Майков играл Сенеку, Бенедиктов — Лукана, Осипов — Люция, Данилевский — ученика[25]. Костюмы доставали из театра, сцену декорировали домашними средствами, пользуясь аркой, отделяющей столовую от диванной, где и была устроена сцена, и в глубине ее большой стеклянной дверью в зимний сад. Зрителей было столько, сколько могла вместить зала; даже еще больше, кажется. Хотя «Три Смерти» для сцены не очень годятся, их можно хорошо прочитать, но собственно сценичного, для глаз, в них мало. Вторая их часть, смерть Люция, в то время еще не существовавшая, сценичнее гораздо.

Осипов не удовлетворил Майкова своей игрой, и Майков никогда не мог простить ему этого. Бенедиктовым он остался

доволен[26]. Что же касается Данилевского, то роль его была так мала, а играл он ее о таким жаром и с такою любовью[27], что Майков остался доволен и им, несмотря даже на то, что Данилевский, примерив голубую тогу и белокурый парик, до того восхитился собою, что ни за что не хотел изображать старого, седого ученика, как оно следовало по пьесе, переделал с согласия и с помощью Майкова несколько стихов, и остался кудрявым юношей».

На представлении зала была полна, но и на репетиции приезжали также. Приезжал, между прочим, Писемский, которого Майков приглашал, как знатока и критика, для советов. Но какие советы мог дать Писемский, уже посоветовавший в то время с таким выражением читать: «Тень Грозного меня усыновила…» и прочее, как будто бы то была самая обыденная проза. Зато, на репетициях он и молчал. И в самом деле, если бы он и тут предложил свою методу, для следующих стихов, например: «О, боги, боги, вы разоблачили предо мной

> Картины древности седой
> И олимпийские чертоги…»
> и т. д.[28]

то предложение это, конечно, равнялось бы предложению снять парики и тоги и бросить всякую мысль о разыгрывании «Трех Смертей».

Замечательно, что заведывать изящным отделом «Русского Вестника» Катков пригласил Писемского после того, что тот написал «Взбаламученное Море»[29].

Майков бывал у нас часто, и часто читал тогда только что вышедшего в свет «Арлекина», «Арлекина», который гораздо хуже «Коляски»[30]. Им восхищались, между тем, и ему аплодировали. Один Осипов однажды после чтения сказал мне: «Каково Майков относится к передовым личностям Запада? И этому аплодируют! До чего еще дойдет патриотизм? Ведь это возмутительно!» — Что возмутительно? — спросил кто-то. «Арлекин», — отвечал Осипов и отошел. Тот, кто спрашивал, отошел также, и я осталась одна додумывать думу о том, что такое патриотизм. Ненависть ли это слепая, а может быть, и завистливая к чужому, даже хорошему, за то только, что оно чужое, не наше, и такое же слепое пристрастие к своему, к нашему, за то только, что оно наше, — или это горячее желание блага своей родине, желание, ищущее везде этого блага, принимающее его отовсюду? Тот ли патриот, кто отталкивает всякую мысль о своей погрешимости и утешается тем, что у других скверно, — или патриот тот, кто, не боясь и не

гнушаясь больных мест своей родины, прикладывает к ним руку своей посильной помощи, или по крайней мере сознается в них? Моей молодой голове не разрешить было этих вопросов. В ней началась борьба двухсот человек против одного, и, наконец, победил — один. Этот один был Осипов. Осипов ходил к нам сначала только для уроков рисования, которые он давал братьям и мне, но потом мы ближе сошлись с ним, и он стал ходить к нам чаще и приносил мне книги, которые мы вместе читали. Он познакомил меня с Гоголем, Белинским, Кольцовым, Тургеневым. Это была личность чрезвычайно симпатическая, но только не в том привлекающем к себе, как бы зазывающем роде, в каком бывают люди, обыкновенно называемые симпатическими. Энтузиаст, как и Данилевский, он не был так шумен, как он. Он не кидался ничему и никому восторженно навстречу, но не было общественного горя, которое бы он не принял как свое; не было общественной радости, на которую бы он не откликнулся. Холодный и как будто черствый в обществе, он, между тем, был чуток, как струна. На его лице я увидала в первый раз, что дела не личные, дела, в частности не касающиеся никого, могут вызывать то бледность, то краску. Я в первый раз поняла тогда любовь к человечеству, к родине, эту, если так можно выразиться, заботу о делах общих, так глубоко проникающую, как будто бы то были дела личные. Когда появились в печати и в разговоре слова «гласность», «прогресс», «эмансипация» и прочие, Осипова уже не было около меня. Я этим хочу сказать, что Осипов не играл на заданные темы, как это так часто случается Повторяю еще раз, тогда книг почти не было. История с Петрашевским всех напугала, а между строк читать и писать еще только учились. Множества слов не доставало, множества выражений, сделавшихся ныне ходячей монетой. Теперь одного слова, одного имени достаточно, чтобы совершенно незнакомые люди поняли друг друга; тогда не было ни слов таких, ни имен. Полонский говорит, что я идеализирую Осипова. Другие, может быть, скажут, что Осипову было немудрено поставить на первый план вопросы общественные, ведь у него и не было ничего ближе, ни семьи, ни родных, ни состояния. Теперь у него и то, и другое, и третье, а он все тот же. В его короткий приезд в Петербург я зорко в него вглядывалась, не восемнадцатилетними глазами, смотревшими на него, как на пророка, а строгими глазами судьи. Мне оставались неизвестными некоторые стороны его воззрений, т. е. на некоторые вопросы, возникнувшие в позднейшее время, я желала иметь от него ответ. Я, между прочим, боялась, не катковист ли он. Чтобы быть катковистом, не нужно непременно быть подлецом. Я знаю, что между катковистами много честных и

благородных людей, но я знаю также, что это по большей части люди, не привыкшие и боящиеся вносить беспощадно и строго свет во все темные углы своего разума. Не осиливши иных воззрений и оскорбленные их резкостью, люди эти идут к Каткову на его прикормки из красивых и забористых слов, как какое-нибудь бедное стадо рыб, и приносят вред и себе и своей родине, лучшими и достойнейшими сынами которой они себя, между тем, воображают. Я боялась, не к ним ли принадлежит Осипов, но однажды (кто-то спросил его, какие журналы он получает в Уфе. «Конечно, «Московские Ведомости», — поспешила я за него ответить. «А вот и ошиблись, не «Московские Ведомости», — сказал он, и прибавил, — в Уфе только двое их не получают: один учитель да я». Таким образом я узнала, что он не катковист. Еще хочется мне узнать, как относится он к вопросам о религий. Хочется знать, верит ли он еще, повинуясь влечению и потребностям своего сердца, или честный ум его восторжествовал и тут, и он, во имя истины, отказался от этого утешения и этой опоры. Но этого я еще не узнала.

Майков читал не одного «Арлекина», у него было несколько стихотворений в этом роде, напечатанных под заглавием: «На 1854-й год»[31]. Только по мере того, как менялся дух времени, менялось и направление поэзии Майкова. В промежуток времени между 1854 годом и 1862 годом Майков написал «Жреца», «Последних Язычников», «Певца»[32]. Он уже нигде не читал «Арлекина», он читал «Савонаролу», «Клермонтский Собор», «Собор Константский», знаменитую «Ниву»[33]. Тоненькую книжечку его стихотворений «На 1854-й год» начинали забывать. Для Майкова наступала его лучшая пора. Она продолжалась до 1862 года. Тут вдруг ударили польские погромы, и Каткова голос раздался. Майков тотчас же настроил свою лиру под его лад.

Федор Петрович Толстой (1783–1873).

В эту же зиму появился в нашем обществе и Полонский, приехавший с Кавказа и так же восторженно возвещенный Данилевским, как и Щербина. Но Данилевский напрасно суетился. Полонский не произвел на общество того впечатления, которое произвел Щербина, и толпы вокруг себя он не собрал.

Серьезный и рассеянный, бродил он, охотнее слушая, чем говоря, и очень неохотно и по большей части плохо читая свои произведения. Он не умел ни потрафлять на мнение большинства, как Майков, ни, как Щербина, едким отрицанием нравиться меньшинству. В лире Полонского нет тех струн, которые выражают гражданскую скорбь или гражданскую радость, и он ни одним звуком не коснулся той тревожной эпохи, точно не видел и не знал, что происходит вокруг: у него в руках, кажется, и не лира, а эолова арфа, неопределенными звуками которой управлять умеет только он. «Он пел — любовь, любви послушный»[34]; он пел, как «соловей поет в затишье сада»[35]. А если что-нибудь похожее на укор касалось его слуха, тогда, с увлечением, ему одному свойственным и в нем так симпатичным, он повторял:

Не для житейского волненья,[36]
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Таков он был, таким остался и в то время, как все вокруг изменилось; остался один со своей эоловой арфой, которую никто теперь не хочет слушать. Полонский не тщеславен, его смущали всегда любопытство, с которым смотрят на поэта, и льстивые приветствия, которыми его осыпали во время оно, но ему тяжело не слышать никакого отзывного звука в ответ на свои песни, или слышать насмешку. Бенедиктов, когда его развенчал Белинский, молча отошел, ни от чего не отрекаясь и не заявляя ни о чем. В его портфеле лежат стихотворения, глубине и смелости мысли которых подивились бы и эстетик Белинский и реалист Писарев, но Бенедиктов их не показывает и не выходит из раковины, в которую спрятался, как улитка. Не то Полонский. Когда Минаев и Писарев кинули в него насмешкой, он, как доказательство неправды их слов, бросил им «Разлад»[37] и целый ряд стихотворений. Полонский хотел доказать, что он не чужд современным вопросам, он хотел доказать, что и Пушкин — гражданин[38]; но он только изувечил свою бедную музу, гоняя ее по направлению, ей не свойственному. Когда весь наш читающий мир потрясся от романа «Отцы и Дети» и весь заговорил, тогда из поднятого им хаоса вопросов, ответов и суждений остались мне особенно памятными слова Лаврова: «Не осуждайте Тургенева, — говорил он, — поймите его, он художник, а художник — зеркало. Все, что проходит мимо этого зеркала, отражается в нем». Я это-то применяю и к Полонскому.

Значит, чем обширнее горизонт художника, чем пестрее проходящие мимо предметы, тем разнообразнее рисуемые им картины. Лавров был прав.

Пушкин, пишущий послания к декабристам в рудники и восхищающийся в то же время классической фигурой юного царя, их туда отправившего, мощно ставшего на рубеже Европы, — художник? Тургенев, нарисовавший Базарова и Лизу в «Дворянском гнезде», — художник? Полонский, в художественном зеркале которого не появлялись ни декабристы, ни Николаи Павловичи, ни Базаровы, ни все те тревожные, «проклятые» вопросы, как их называл Гейне, — художник также, хотя горизонт его, может быть, и менее обширен, чем у Пушкина и Тургенева. Но я опять отвлеклась и увлеклась.

Но только там, куда он смотрит, Базаровых нет и нет рудников и Европы, а есть совсем другое, что не пришлось ко двору настоящей минуте, но что зато, может быть, переживет ее и не исчезнет вместе с нею.

Зачем белому лебедю павлиний пестрый хвост, зачем плакучей иве прямой ствол и темная хвоя сосны, когда так хороши ее светлые ветки, клонящиеся долу?

Сегодня и Шекспир не хорош, и Пушкин, но что сегодня? Завтра его, этого сегодня, уж нет, а прекрасное вечно.

Давно, очень давно, я заметила странную случайность: почти все наши современные поэты — и Глинка, и Майков, и Бенедиктов, и Мей, и Щербина, и Михайлов — приблизительно одного роста, немного ниже среднего, один Полонский выше их всех, почти на целую голову. О, я ничего не хочу этим сказать, я говорю о росте физическом. Но мне всегда казалось, особливо после слов Лаврова насчет зеркала, что Полонский носит свое выше этого горизонта, где копошится злоба дня. Это не достоинство его и не его недостаток, — это его особенность.

Бывают эпохи, как настоящая, когда это неудобно, но эпохи преходящи, а прекрасное вечно.

Я забежала вперед. Это уже не 1854 год. 1854 год кончился, когда играли у нас «Три Смерти»; наступал 1855-й.

17 февраля 1855 года праздновали мы у Толстых двойные именины. Граф Федор Петрович был именинник, и Федор Николаевич Глинка. Много говорили стихов, пели, играли, рисовали. Авдотья Павловна играла на арфе одна и под чтение стихов, т. е. аккомпанировала мужу своему, который читал. Разошлись поздно. Часу в третьем утра, проезжая из Академии на Миллионную по набережной, мой отец заметил свет в Зимнем дворце, в покоях государя, и удивился. Он не знал, что государь болен. А то была последняя ночь его на земле. На другой день

явился Имберг бледный и объявил: «государь скончался!» Бросились к газетам, там были напечатаны разом два бюллетеня о тяжкой болезни его: первые бюллетени и последние. Затем приехал папа и подтвердил слова Имберга. Мы стояли на рубеже.

[1869]

1855 год
Дневник

Петербург. Миллионная, свой дом.

Вторник, 8 марта.

Парад. Пускай полюбуются заморские гости на наших солдат. В «Северной Пчеле» воззвание синода[39]. Мама плакала, читая это воззвание и рескрипт государя графу Адлербергу. У нас был дедушка. Говорят, что Англия склоняется к миру, но Наполеон нет. Скучно. Погода пасмурная, лица пасмурные, все пасмурно.

Среда, 9 марта.

Первый день весны. Погода чудесная, снег тает на солнце. Сегодня двадцатый день со дня смерти государя; была панихида. Слух, будто приехал прусский принц, не подтверждается; и без него много наехало заграничных гостей по случаю кончины Николая Павловича. Переговоры в Вене тянутся. Толку мало, толков много. Я когда-нибудь запишу анекдоты и небылицы, которые теперь в ходу; их столько, что не знаешь, с чего начать. Есть люди, которые встречного и поперечного спрашивают: «Что нового?» Встречный и поперечный им наскажет все, что на язык подвернулось, а они верят. Все тянут в разные стороны, точно в басне «Лебедь, щука и рак», горячатся, сердятся, а сговориться не могут. Вечер проведем у Толстых[40]; уж мы давно там не были. Завтра опять чтение «Божественной Капли», а завтра надо бы к Ливотовым: я так давно не видала Наденьку Кирееву[41]. Как бы я желала иметь приятельниц, как все мои знакомые имеют; у меня нет никого. Все знакомые девицы меня чуждаются, и неудивительно: кому я интересна? Я не могу ни в чем, что их занимает, принимать участие; не могу ни танцовать, ни наряжаться, ни кокетничать. Наденька со мною ласковее других, да я ее почти не видаю. Каждый раз, когда я прошу мама отпустить меня к ней или ее пригласить к нам, я получаю в ответ: «Ну, хорошо, подожди!» Нечего делать, надо быть веселой и разговаривать, как все другие. Впрочем, кажется, я уж и так слишком вошла в свою роль. И в самом деле, ведь мне бывает весело иногда. Я начинаю забывать иногда, что мне многое не позволено, что очень идет к другим.

Пятница, 11 марта.

Как хорошо было вчера у Глинок. Я люблю чтение Федора Николаевича. И как хорошо было слушать, кругом все знакомые лица, и тишина кругом. Многое прояснил во мне Федор Николаевич. Я чувствую, что стала лучше с тех пор, что слушала «Божественную Каплю»[42]. Одно только неприятное впечатление оставил вчерашний вечер, это то, что Николай Осипович[43] идет в ополчение и отпросится в Севастополь; жаль его. Все в доме тихо, все спит; няня только шепчет молитву в соседней комнате, да маятник на стенных часах стучит мерно. Папа нет еще дома, он у Тона. Пора мне спать. Завтра наша суббота, я опять поздно лягу. Завтра обедают у нас Полонский, Г. Данилевский, два брата Шарлеман, Осипов, Бенедиктов, Горавский, Гох и Страшинский, а вечером будет еще несколько человек.

Суббота, 12 марта.

Был Бруни и рассказывал забавные анекдоты о нежной дружбе французов и англичан. Недавно, на одной из вылазов, русские побили порядочно англичан, и французы, вместо того чтобы поспешить на помощь к союзникам, только кричали: «карашо, карашо!»

Понедельник, 14 марта.

После обеда в субботу, Бенедиктов читал свои переводы с польского, а Данилевский свои малороссийские сказки[44]. Горавский оканчивал пейзаж, и другие художники рисовали. Был Мей, но ничего не читал; был Иван Карлович, но ничего не говорил[45], разговор не вязался, кого-то или чего-то недоставало.

Воскресенье, 17 апреля.

«Какая Леля непостоянная», — сказала мама за обедом, когда я просила поехать вечером к Бруни[46], а не к Толстым. Мама не знает, отчего я просила. Мне не надоели Толстые, напротив того, мне слишком нравится у них, но дело в том, что с некоторого времени я сама вижу, *что* происходит у нас с графиней что-то неладное, у меня предчувствие какое-то, что скоро нашему духовному родству с ней, как она сама назвала наши взаимные чувства, придет конец.

Понедельник, 18 апреля.

Вчера мы все-таки были только у Толстых и не были у Бруни. Не знаю, отчего вчера я совсем не могла говорить. Бывают такие глупые дни, что ничего из себя не выжмешь. Сегодня едем к Глинкам в коляске, потому что карета сломалась. Как это хорошо — вечером и в коляске. Самые лучшие минуты в дне, это когда

придут сказать, что коляска подана; но иногда катаемся мы только четверть часа.

Вторник, 19 апреля.

Редко бывает так шумно, как было вчера у Глинок. Кто-то сказал, что если бы французы и англичане так же шумели бы у Севастополя, то стены его давно бы рушились. Забавная сцена происходила вчера у Глинок между стариком Вигелем[47] и Шелковой[48]. Надо сказать, что Шелкова, в настоящее время совершенно здоровая женщина, до семнадцатилетнего возраста была лишена ног и языка. Семнадцати лет она выздоровела, получила дар слова и воспользовалась им вполне, вознаградила себя с избытком за все семнадцать лет молчания. Она говорит теперь без умолку, непрерывно и что попало. Старик Вигель же не выносит непрерывного, громкого говора, и потому он весь вечер вчера спасался от нее из комнаты в комнату. Но он еле держится на ногах — они у него расслабленные — и без посторонней помощи не может подняться с места. Так каково ему было это передвижение. Шелкову никто охотно не слушает, потому что она неумна и неизящна; tête-à-tête[49] же с ней, при котором ее собеседник всегда имеет вид жертвы, но причине ее дородства, — даже боятся. Поэтому она мало сидит на месте и сама все бродит из комнаты в комнату, ища жертвы; таким образом она и спугивала вчера Вигеля. Долго потешались этим втихомолку, но когда она появилась перед злополучным стариком в шестой или седьмой раз, то никто не мог удержаться, и все громко расхохотались. Вигель даже побледнел. «Je ne me sauvrai donc jamais de cette femme! Cette femme me poursuit!»[50] — лепетал он, опираясь на руку Авдотьи Павловны, которая так хохотала, что сама чуть не падала. А Шелкова преспокойно заняла оставленное им место и продолжала говорить, не подозревая причины хохота и очень довольная тем, что нашла готовый кружок, который всегда окружает Вигеля, но который с ее появлением скоро исчез.

Четверг, 21 апреля.

Читала. «Рыбаки» Григоровича[51]. Автор их будет у нас в субботу, а я не знаю ни одного его произведения.

(Три часа утра) Воскресенье, 24 апреля.

Сейчас кончилась наша суббота. Когда на наших субботах подымается какой-нибудь большой разговор, я всегда молчу, конечно, но дрожу вся, я не знаю, что мне делать. Неужели не ответятся вопросы, и жажда не утолится, и буря не уляжется? Часто бурю эту успокаивает мысль, что я уйду к себе и буду

читать. «Да, — думаю я, — я буду читать».

Странное желание! Но ведь книга — мой единственный друг, который мне объясняет непонятное, или разгоняет мучающие мысли и заменяет их другими, иногда такими новыми и чудными.

Бурдин читал в зимнем саду «Ночное»[52] — маленькую пьеску из простонародного быта; ее скоро поставят на сцене. Потом Бенедиктов читал; потом дети попросили Рюля показать фокусы, и все были в восторге. Наденька уверяет, что у него в глазах магнетизм; и он им совершает чудеса. Много гостей было в этот вечер, но героем вечера был Григорович. Он-то и наэлектризовал меня так, что я села писать дневник в три часа ночи. К ужину не осталось ни одной дамы, кроме Толстой. Рюль, граф Толстой, Бенедиктов, *Струговщиков,* Иван Карлович, *Самойлов* и Страшинский поместились за одним столом и продолжали делать фокусы, на которые старый граф очень ловок.

Понедельник, 2 мая.

В субботу обедали Бенедиктов, Иван Карлович, Осипов, Гох и Щербина. После обеда Бенедиктов читал, Иван Карлович восторгался, Осипов играл с детьми. Стемнело. Приехали дедушка, Самойлов, Глинки. Борис Михайлович Федоров представил Панаева, сына Владимира Ивановича, автора идиллий, юношу, обстриженного под гребенку, как рекрут, и похожего на рекрута. Греч был. Орлова уехала[53] и, должно быть, увезла с собой все красноречие его, потому что он весь вечер молчал и не бранил Булгарина. Как мне опротивели все эти разговоры! Скоро ли все это кончится, и мы уедем на дачу, и я опять приду в себя. Удивительно, как я переменилась за эту зиму, сама замечаю. И не про эту ли перемену говорит графиня? Она любила болезненную, застенчивую девушку, и ей тоже верно не нравится разговорчивая и развязная. Но будет ли лучше, если я буду молчать и повторится то, что было прежде, когда я ждала, чтобы ко мне обратились, и никто не обращался, и я сидела со скусанными губами, и папа так грустно смотрел на меня. Но надо оговориться, что так сидела я в кругу моих сверстниц, l'âge которых sans pitié[54], и на балах, у Ливотовых например; у Толстых же и Глинок, где сверстниц мало, я отошла, только не слишком ли?

Вторник, 3 мая.

Были вчера у Глинок. Бедный Греч! Если бы собачки Авдотьи Павловны понимали[55] его, он бы и им стал рассказывать, что за чудная женщина Орлова[56]. Вчера пришел он в ту комнату, где сидели мы о Дашенькой, и начал восхвалять ее, мы слушали,

слушали. Он отвел душу и принялся за Булгарина, потому что явились Панаев и Родионов, на сочувствие которых он верно не рассчитывал. Наслушавшись Греча, мы попросили Панаева сыграть что-нибудь: он сел за рояль, и все притихли, кроме двух Вигелей: старик шептал, что это ему напоминает Шелкову, а молодой сновал из угла в угол и просил ваты заткнуть уши. Родионов пел.

Четверг, 5 мая.

Вчера ездили на дачу, там уж все зеленеет. Были в мастерской бар. Клодта, смотрели памятник Крылова[57].

Пятница, 6 мая.

Завтра наша последняя суббота в городе. Будут еще два новых лица, Давыдов, сын партизана Давыдова, и Родионов, что пел у Глинок. Из дам обещали быть Рыжова, графиня, Майков, Струговщиков, Гамбева. Только бы Рюль пришел занять их фокусами; впрочем, будет музыка и пение и чтение. К обеду хотел быть Осипов, чтобы ехать с нами на острова, да не пришел, верно оттого, что погода пасмурная. Давеча я опять пошла с Марьей Петровной в сад, но ее скоро отозвали, и я взяла Гейне и села в зимнем саду. Мама пришла, сказала, что там сыро, и велела мне уйти. Я повиновалась, но, признаюсь, с досадой. Я рассуждала про себя, отчего по субботам можно сидеть в зимнем саду, и даже с детьми, а в другие дни нельзя. Чьи-то шаги помешали мне разрешить эту задачу, смотрю: Осипов передо мной. Действительно, погода показалась ему ненадежной, и потому он не пришел обедать. Мы сели в диванной и опять проболтали весь вечер. Он только что ушел, и сказал, что придет завтра. Марья Карловна[58] читает «Молитву» Майкова, прочитала и говорит: «Как Майков хорошо пишет». Затем спрашивает меня: «Вам никогда не бывает скучно?» — и, не дождавшись ответа, уходит. Себе отвечу на ее вопрос. Бывает ли мне скучно, — не знаю, но как-то бывает иногда не хорошо. Что ж мне делать? Вся жизнь моя так ничтожна. Читаю для себя, пишу для себя; вышиваю для препровождения времени, рисую для своего удовольствия. И неужели это всегда так будет? Другие трудятся для существования, а мне не надо пошевельнуться, и меня оденут с головы до ног. Я окружена всем удобством и всею роскошью светской жизни, между тем ощущаю что-то похожее на голод и жажду; не знаю, что это такое и когда эти голод и жажда удовлетворятся. Жизнь мне обещает мало радости — горя много; но если она, с другой стороны, так ничтожна и легка, то как жить? Но будет думать! Лягу спать. Только одно: как ляжешь в

постели, так и вспомнишь тех, которые проводят ночи без постелей.

Воскресенье, 8 мая.

Вчера, после ежедневного чтения Четьи-Минеи сидела у мамы. Она резала бобы, я вырезывала полотенце. К одиннадцати часам завтракали. После завтрака поехали в гимназию к инспектору Бордовскому, потом к кн. Шаховской, но встретились с нею по дороге, и потому повернули к Щукину двору. Там мама была очень долго, и я могла вдоволь намечтаться, сидя в коляске, потом поехали на Морскую я к Аксеновскому[59] за манишкой для воды. Дома оделась и села с работой внизу, ждать гостей. Пришел Щербина, немного погодя явилась Н. Л. Мордвинова, и сошла мама. Разговор вяло тянулся. Вдруг блеснула у мама мысль познакомить Щербину с Аксеновским, который в это время был у папа со своей водоочистительной машинкой и пачкой своих стихотворений на смерть Николая I и восшествие Александра II. Щербина отправился в кабинет, и Мордвиновой захотелось также познакомиться с Аксеновским, и мы все последовали туда же. Аксеновский рад читать хоть целый день и читает скоро-скоро; Щербина прехладнокровно трунил над ним, но Аксеновский или не замечал, или не хотел заметить насмешек. Явились Бенедиктов, Осипов, Рюль, Федоров; Аксеновского оставили обедать. После обеда все пошли в зимний сад, и Аксеновский попросил Бенедиктова прочесть что-нибудь; по моей просьбе он прочел «Порыв»[60]. Аксеновский слушал с благоговением и по прочтении сказал:

Я вам всем сердцем благодарен,
Душой и телом лучезарен.

Бенедиктов громко расхохотался от неожиданности. Просили читать и Щербину, он отказался и продолжал трунить.

— Да, — говорил он, — у вас много, много вояк и мышей; так еще никто не писал. А скажите, вы никогда не сочиняли неясных стихов к женщине?

— Я написал на смерть в.к. Марии Михайловны, — отвечал Аксеновский и тотчас же начал декламировать, но предварительно сложил руки и поднял глаза к небу. Мне не нравились насмешки Щербины, но на этот раз и мне стало смешно. Чтобы не глядеть на Аксеновского, я повернула глаза на Бенедиктова, но и у него подергивало губы. На Щербину уж нечего было смотреть, я взглянула на Осипова, но и он улыбался, пряча лицо свое за Олю, которую держал на коленях. Наконец,

это кончилось.

Гостей собралось в этот вечер пятьдесят шесть человек. Панаев играл, Родионов пел; Анна Ивановна Майкова пела; Шольц играл. Были Ливотовы, Струговщиковы, Рыжовы, был Греч. Он очень просил меня быть сегодня у Глинок, потому что там будет Ольга Павлова, та, что написала «Ночь над Петербургом». Греч говорит, что она очень застенчива, так чтобы я занялась бы ею.

Вторник, 10 мая.

Вчера у Глинок был один из самых приятных вечеров. Собиралась гроза, когда мы ехали, и было очень жарко. Авдотья Павловна сидела в саду, а в гостиной ее между тем собирались гости. Там сидела старая княгиня Козловская и еще две дамы. Я тотчас же догадалась, что одна из них — Ольга Павлова, другая — ее мать. Явившаяся вслед за нами хозяйка нас познакомила. Но что такое толковал Греч про застенчивость Павловой? Да она гораздо бойчее меня. Ждали Арбузова, который должен был читать свою поэму «Дант». Между тем гроза приближалась; все чаще и сильнее сверкала молния, но грома не было еще слышно. Приехали Арбузов, Толстые, Осипов, Завьялов, баронесса Годел, еще несколько человек. Подали чай. Потом, вокруг стола, с которого приняли чай, поместились все дамы и возле Авдотьи Павловны Арбузов. Я видела его в этот вечер в первый раз. Он некрасив собой, но у него очень приятное лицо, но, к несчастью, он постоянно делает гримасы ртом, и всеми мускулами лица и руками также делает судорожные движения; читает хорошо, хотя и шепелявит немного. Когда он кончил, гроза была в полном разгаре, и продолжалась она до трех часов утра. После чтения Кашевский сел играть. Я слушала музыку и любовалась грозой; «вот мечтательница», — сказал бы Гох.

Среда, 11 мая.

Когда Кашевский перестал играть, Арбузова попросили прочесть еще что-нибудь, и он прочел другую свою поэму — «Микель Анжело».

23 мая.

После завтрака пошла наверх, отворила балкон, чтобы до меня долетел запах сирени, и легла, но не успела отдохнуть, как пришла Варя, сказать, что Бенедиктов приехал. Милый поэт не забыл моего альбома и привез две вещи: «Италия» и «Поэзия». «Поэзию» он сочинил для меня. Он привез еще стихи на памятник Крылова; это одно из его лучших стихотворений; оно будет

напечатано в «Библиотеке для чтения». Вечером сидела я у дедушки на балконе с Часовниковым, учителем братьев, вдруг смотрю: стоит передо мной Осипов, весь в пыли и с нарциссом в петлице. Это ему так понравилась телега, что он и Гох также приехали на ней и обратно, т. е. Гох так и намеревался сделать, ну, а Осипову и ближе и удобнее было ехать прямо в Петербург на пароходе. Поездкой на рейд он также очень доволен, видел неприятельский флот. Графиня ездила также, и вообще очень много народа было на пароходе; и когда он проходил мимо нашего флота, то вся публика махала шляпами и платами и кричала ура. Николай Осипович пробыл у нас до вечера и отправился пешком в Петербург.

Пятница, 3 июня.

Лениво ж я пишу! Но ведь не всегда же можно излагать свои мысли, иногда они слишком смутны; мой журнал — игрушка. В четверг были на крестинах у брата Имберга, Василия Алексеевича, и дома, на Миллионной, нашли записку от Авдотьи Павловны с извещением, что они будут у нас на другой день, а папа сказал, что привезет Мореншильда, который давно уже собирается к нам; Мореншильд — очень незанимательное существо. Глинки приехали в два часа; завтракали, потом сели было отдыхать от дороги — на балконе, но Федору Николаевичу не сиделось, и он пошел бродить по саду. Бродил, бродил все один, потом подошел ко мне и говорит, дергая себя за бакенбарды, как он делает почти постоянно, причем его многочисленные кольца так и сверкают и мелькают, потому что движения его рук и вообще всей его маленькой фигуры чрезвычайно быстры: «А где, — говорит, — ваши братцы пишут?» Не догадываясь, зачем ему это нужно, я свела его в учебную братьев. «Вот как!» — вскричал он (тоже одна из его привычек) и пожелал остаться один. Через несколько времени он вернулся с исписанным листом бумаги. «Вот, я тут кое-что написал, только ты, ma chère[61], перепиши», — сказал он, обращаясь к жене. То были стихи нам и про нас, озаглавленные: «7-я верста», очень милые, но выдумали их печатать в «Северной Пчеле»[62]. Очень нужно знать целой России, что

…Дети ж, малые былинки,
Приросли к сердцам родных, (и что)
Вот, что видели мы, Глинки,
У друзей гостя своих. (А далее, что)
Над задумчивой Еленой
Мать привыкла хлопотать…

Покуда Авдотья Павловна переписывала эти стихи, послышался стук экипажа по мосту. Приехал папа и с ним Мореншильд, Часовников и еще третий, неожиданный гость — Осипов. После обеда папа и Федор Николаевич легли спать, но перед тем заставили меня прочесть стихи Бенедиктова на памятник Крылова. Я попробовала отвертеться, но слова мама «пожалуйста не жеманься!» имеют магическую силу, и, хотя у меня и захватывало дух от волнения, я стала читать своим задавленным голосом. А Федор Николаевич то и дело поддакивал, вскрикивал: «вот как!» и теребил свои бакенбарды.

Среда, 21 июня.

Ежедневно бывает Гох, и мы с ним проводим вдвоем целые часы. Сначала меня это стесняло; я все искала третьего, цеплялась то за одного, то за другого, но все заняты делом, только я бездельна; теперь я привыкла, сижу и вышиваю, а он сидит возле меня и рассказывает мне про Италию, про свое детство и мало ли что еще. Я привыкла к нему, но я все-таки еще его не понимаю. Более ласкового внимания, чем оказывает он мне, еще никто, кажется, мне не оказывал, но я его все-таки не понимаю. Что юн сидит все тут и не работает, он собирался, ведь работать, писать картину. Что он все вздыхает и все порывается говорить, что не должен, и я не должна слушать. Зачем он так относится к своей жене, когда сам на ней женился. Зачем нет-нет, да и кольнет Осипова, а иногда графиню. И вечера наши изменились. Бывало, я проводила их вот как. У дедушки балкон с четырьмя колоннами. В середине проход, лестница в сад, и напротив нее дверь в гостиную. Справа от дверей в гостиную, против двух колонн, диван; на этом диване обыкновенно сидит дедушка и иногда рядом с ним мама. Перед диваном между двух колонн — стол; но между столом и колонной, стоящей у прохода, т. е. у лестницы, есть небольшое пространство, как раз достаточное, чтобы вместить меня. Вот в этом-то пространстве я обыкновенно» и помещалась и слушала стоя, о чем говорят дедушка, и мама; они обыкновенно говорили о политике и о новостях дня. Когда мама не садилась на диван, я все-таки стояла в своем уголке, и тогда дедушка говорил со мной. Дедушка очень умный и много видел и слышал на своем веку. Был в Париже, при графе Маркове, в 1808 году; был в Яссах при главной квартире в 1829 году. Он рассказывает очень занимательно, и я с таким вниманием слушала его, что не чувствовала усталости, стоя иногда часа два сряду. Теперь это все изменилось. Приходит Гох,

и меня отсылают к нему, а потом и сам дедушка приходит доканчивать вечер у нас. Правда, братья подрастают, Имберг, Колины товарищи наполняют дом молодым весельем.

Пятница, 15 июля.

Странные вещи, почти роман разыгрывается у нас. Правда, стоит только вникнуть во взаимные отношения небольшого круга близких людей, и непременно окажется что-то вроде романа. Только я не верю и не буду верить, пока не увижу собственными глазами. Недавно Гох и Страшинский ездили в Петергоф, к Толстым и… нет, не напишу. На днях брала у Гоха первый урок масляными красками, он продолжался четыре часа сряду. Потом пришла его жена поболтать со мной, мама была в городе, и Гох ушел. Только Гох ушел, явился Осипов и привез мне «Записки Охотника» Тургенева, которых я еще не читала. Гох вернулся, говоря, что ему сегодня не работается, и сел за мое начатое) полотно, а меня посадил возле себя, чтобы я глядя училась. Осипов поместился тут же, на кушетке, и прочел нам «Певцы» и «Бежин Луг». К обеду приехали папа и мама и оставили Гохов обедать; после обеда мы были у них, а потом Николай Осипович и Имберг катались на казачьих лошадях, и лошадь чуть не убила Николая. Осиповича.

Суббота, 23 июля.

Если бы можно было спросить того, в ком сомневаешься: «Скажи мне: *да* или *нет?»* Ничего бы, никаких сомнений, недоразумений, глупых толков, сплетен не было бы. Но ведь самого лучшего человека нельзя так спросить, не затронув притом множества нитей, затрагивать которые не имеешь права. А между тем клевета растет. Но что писать, если всего писать не хочу. Панаев бывает у нас каждую неделю[63], верно и сегодня; будет, но тут ли он, нет ли его, все равно. Иногда, он кажется умным, иногда глупым; играет он иногда хорошо, иногда деревянно; волосы его немного отросли, и он теперь меньше похож на рекрута. Про Панаева почти нечего говорить, но зато ость что сказать про Самойлова. Какая самоуверенность, какая надменность! Талант большой, но и балованность большая. Впрочем, положение актера все еще таково в обществе, что им не суметь импонировать, — то тебя затрут. Он актер-художник и художник еще по части живописи, т. е. рисования. У нас есть несколько его рисунков, деланных у нас же на papier pelee. Какая смелость и в них. Говорят, что прежде, — чем играть какую-нибудь роль, он рисует себя в этой роли, и таким; образом у него образовался альбом, где он изображен в *четырехстах ролях*. Он

не высок ростом, но голова его красива, лицо тонкое, подвижное; черные, проницательные, даже пронзительные, а иногда ленивые, точно сонные глаза; сонливость и лень он, впрочем, кажется мне, напускает. Мне его глаза нравятся, нравятся, когда они подымутся на вас, чтобы окинуть вас с головы до пят гордым взглядом, и потом опустятся в сознании собственного превосходства. Когда он слушает, иногда лицо его смягчается, точно удивлением; он как будто хочет сказать тогда: *«как? и ты это понимаешь*? *А я и не ожидал*». Конечно, его избаловали. Его превозносят в глаза. Говорят он товарищ плохой. Да вот он и выжил уже из нашего дома Бурдина. С тех пор, что он появился, Бурдин исчез; он ненавидит Самойлова. И Орлова, кажется, тоже исчезла. Рисовать он рисует очень охотно в знакомых домах, у нас например, но читать — никогда не читает; а Бурдин охотно читал.

Прошло 22 июля, именины мама и Маши. Было много гостей, Самойлов был, граф Толстой, ее не было. Были Осипов, Полонский, Бенедиктов, Шарлеман с сестрой, Струговщиков, Бахтин. Рюль делал фокусы, Панаев играл, пел. Жду субботы. В субботу едем в Гатчину, в нашей большой линейке, — папа, мама, Коля, Володя, Полонский, Гох, Осипов и я. В Севастополе наши сильно бомбардируют неприятельские работы. Союзники притихли немного. Из Кронштадта неприятельский флот ушел.

Пятница, 29 июля.

Сейчас был Гох. Он вернулся сегодня из Петергофа, от графини. В голове у, меня — хаос толков, подозрений, сплетен и примет, ничтожных и пустых, а главное — недостойных взрослых людей и мужчин.

Четверг, 4 августа.

Вот, что глубоко волнует Академию, переходя из уст в уста, и через Гоха доходит до меня и отчасти до мама; потому отчасти, что она мало бывает с Гохом. Я не решалась писать об этом, потому что не решалась думать, чтобы это была правда. Да это и неправда. Когда-нибудь все откроется, и тогда будет стыдно тому, кто сомневался в своем друге и был отголоском зависти. Мне жаль, что я назвала недавно эту историю трагикомедией. Не смешно и не шутка, когда дело идет о чести лиц, которых я же считала сама, да и теперь считаю выше многих, многих Бедная графиня, как немногие знают ее! Я всегда избегаю говорить про нее, потому что нет, кажется, человека, особенно из академических, который бы не смеялся над ней. И это все люди, которые ей льстят в глаза, на ее вечерах наполняют ее комнаты,

заискивают в ней, а потом рисуют на нее карикатуры и трунят над ней. А она-то расточает перед ними все перлы своей чувствительности. Если Осипов воспользовался расположением к нему ее и графа, то зато он никогда ни единым словом не оскорблял ее заочно. И вот выдумали, что она в него влюблена. «Она, некрасивая старуха, — которая должна уж быть ужасно фальшивой женщиной, если, говоря вечно о добре и честности и; делая добро, может таить дурное чувство».

Полонский приехал к нам в пятницу ночевать, чтобы на другой день, в субботу, ехать в Гатчину. Покуда запрягали лошадей и приготовлялись, я разговорилась с ним в саду об этом предмете, не называя Гоха. Он также верит в честность графини — и Осипова, но находит также, что есть повод к толкам. Графиня выхлопотала Осипову звание академика, вопреки правилам, потому что он не представил программы. Конечно, это вооружило Академию. Ему-то звание — было нужно для поступления в ополчение, между тем с этим поступлением дело почему-то затягивается, и вот говорят, что он туда и не поступит и не уйдет на войну, потому что она его не пускает. Писать Осипову Полонский мне не советует, но хочет сам поговорить с ним.

Среда, 17 августа.

7 августа был день рождения графини, и мама хотела ехать к ней в Петергоф, но не решалась, потому что, по какой-то неведомой причине, графиня как-то к нам охладела. Она взяла да и написала Полонскому, как он посоветует. Письмо послала вместе с какой-то книгой. В назначенный день ответ от него не пришел Потом оказалось, что он книгу получил, но без письма. Произвели розыск, Полонский все перерыл у себя, но письмо сгинуло и пропало, и так и не было найдено. Не дождавшись ответа от Полонского, мама все-таки решила — ехать, вопреки моим просьбам. Мне так просто тяжело было ехать туда, где явно тебе не рады, да и эта история, — как-то чувствуешь себя не в своей тарелке перед человеком, о котором у тебя дурное в ушах-, а он этого не подозревает. Вот бы прежде выяснить что-нибудь. Но мама и задумала выяснить наши отношения к графине, конечно, а не то, что нас не касается. После завтрака мы остались с ней одни. Она созналась и перемене, на отказалась объяснить причину, творя, что дала слово графу молчать два месяца. Что это еще за история? К обеду приехал Осипов. Право, сердце сжалось, глядя на него, такой он был грустный и убитый. Верно Полонский уже говорил с ним. Я знаю, что они видались после нашей поездки в Гатчину. Бедный, бедный Осипов. Не легка ему жизнь. Круглый сирота, его никогда, кажется, не ласкали и не холили

родители. В вечной борьбе с жизнью он нашел, наконец, дом, где его приютили и полюбили, как родного, дом Толстых, — и оттуда выживают; нашлись люди, которые похлопотали о нем, Толстые же, и это перетолковали в дурную сторону. Но отчего же он четыре месяца ждет ответа от военного министра и все не получает? Графиня говорит, что он уже решился было итти юнкером, да генерал Философов нет советует. Разговор не клеился, погода была дурная, в комнатах у Толстых было холодно; дача их большая, но неуютная. Прием был тоже довольно-холодный, не тот, что прежде.

Бенедиктов был на днях и читал свое новое стихотворение: «К отечеству и врагам его». Оно уже напечатано в «Библиотеке для чтения». Что сказать о нем, — что, читая его, можно свихнуть себе язык; но в нем выражается любовь к родине, и оно должно особенно нравиться старикам.

Пятница, 19 августа.

Приехал из Бухареста дядя, Иван Дмитриевич. Наконец-то мы его дождались. Он привез с собой своего племянника Леонида Безрадецкого, маленького хохлика, которого, тоже отдадут в 1-ю гимназию, где учатся братья, только он всех их моложе.

Хаос в голове моей. Мысли роятся и толкутся в ней и толкают одна другую в тесных дверях ума моего; кружатся в беспорядке, — погоняя друг друга. Оттого все так неясно, неполно и отрывисто и глупо все, что я пишу.

Среда, 24 августа.

Идет дождь. Мама в городе. Оля берет урок музыки у Имберга. Гох только что дал урок рисования, мне. Третьего дня была Орлова; она недавно воротилась из Симферополя, где ходила за ранеными, и рассказывает разные ужасы и необыкновенные эпизоды храбрости наших солдат. Скоро в город. Жаль лета, но в городе буду прилежнее писать, здесь все мешают. Все, что тревожит и волнует, буду передавать дневнику, ведь говорить все невозможно.

Среда, 31 августа.

Беру перо, чтобы записать грустную новость: рал наш Севастополь В ночь на 28-е. Страшно выговорить, страшно написать. Как гром поразило это известие. Как будто лучший друг, чью смерть давно предвидели, но не хотели видеть, вдруг умер, так приняли эту новость. И ведь, правда, давно уже болел Севастополь. Давно уже все приучали себя к мысли потерять его, да только не приучили верно. Ну, что же теперь? Мы духом не

упали, нет! Севастополь еще не вся Россия, Севастополь даже не Русь.

Четверг, 1 сентября.

Дождь. Сундуки и корзины во всех комнатах, и наши уютные, — прелестные комнаты все разорены. Как многое мне надо бы написать, и не могу решиться, не знаю, с чего начать. Как падают желтые листья. Как скоро прошло лето. Давно ли проснулась наша ленивая природа, и вот уже снова стелет себе постель. Бурные ветры помогают ей, потом снежные мятели принесут свой белый покров, и надолго заснет она.

Миллионная. Воскресенье, 4 сентября.

Мы в городе. Переехали вчера, но уже так обжились, точно и не переезжали, точно лета и не было. Отчего только голове моей лучше в городе? Оттого, может быть, что в городе есть у меня своя комната, свой угол, а на даче я сплю с мама и сижу везде. Вчера, лежа в постели, я думала, и мысли мои были так ясны, хотя и не веселы, и так искренни, что я сама даже удивилась и обрадовалась. Сегодня был Николай Осипович. Читаю теперь очень интересный роман: «Die Ritter vom Geiste»[64], Гудкова[65]. Был Полонский, добрая он и чистая душа! Пускай сгинет все, что занимало и тревожило меня летом. С новой частью года и думать буду по-новому.

Вторник, 6 сентября.

«Die Ritter vom Geiste» наводят тоску. Мудрствование, которому нет границы. И мне противно малодушное старание усыпить всякую мысль, малейшее сознание неправды, но Гудков идет уже слишком далеко. Но признавать того, чего не в состоянии постигнуть, это ли вечная премудрость человека? Что это за люди, которые живут без веры? Зачем не верить, когда верить так хорошо? когда с верой соединяются и надежда и любовь?

Среда, 7 сентября.

Вчера были в театре, во французском, давали три глупенькие пьески; с нами был Полонский. Теперь еще нет десяти часов утра. Жду Гоха, сегодня урок рисования. Папа велит рисовать с готового амурчика. Потом пойду в зимний сад и на террасу, выехать сегодня нельзя, экипаж занят. Скоро у мама будут, свои лошади с дядиного завода. Толстые еще в Петергофе. Завтра едем опять в театр, и с нами едет Осипов и будет у нас обедать. Великий князь Константин Николаевич посылает нескольких

литераторов[66] в различные места России для описания их.

Четверг, 8 сентября.

День на день не приходится. Вчера весь день просидела одна, сегодня целый день гости. Обедал Осипов и был с нами в театре. Вчера вечером был дедушка. Мама щипала корпию[67], я рисовала и чуть не заснула, так было тихо, хотя дедушка и дядя и разговаривали; кажется, и им хотелось спать. Дядя живет у нас. И у него и у дедушки очень определенный взгляд на вещи. Дядя много лет вращается в кругу дипломатов, будучи сам в их числе. Он очень горд, и не столько относительно себя, сколько относительно России; и Те речи, которые стали слышаться теперь, т. е. после смерти Николая Павловича, вроде тех, что выражаются в стихах: «Тебя призвал на брань святую…» ему очень не нравятся, также и дедушке.

Суббота, 10 сентября.

Вчера не писала, потому что читала «Гамлета» и зачиталась. Теперь надо заняться с Машей английским языком. Третьего дня пьески были опять глупенькие, и я все время проболтала с Николаем Осиповичем.

Дома зато была интересная сцена, давно мной ожидаемая: Осипов сразился с дядей[68].

Среда, 14 сентября.

Полонский приходил читать свои рассказы, искаженные в печати цензурой, но дедушка помешал. Заходил опять вчера, да сам оказался нерасположенным к чтению, и мы весь вечер проговорили; о чем только не переговорили.

Четверг, 15 сентября.

Вышли стихотворения Полонского. Гох предлагает разделить наши уроки рисования с Осиповым, как было в прошлом году, когда это предложение было сделано со стороны Осипова. Вчера вздумалось мама охать к Толстым; мне ужасно не хотелось. Мама добрее меня, и мы поехали. У подъезда мама дала лакею свою карточку и книги. Книги велела оставить и карточку также, если ее сиятельства нет дома. Графиня еще никогда не видала карточек мама. Она была дома. В зале встретили Осипова, который уходил. Граф и графиня были в гостиной, и — о чудо! — прежний граф и прежняя графиня; впрочем, граф и не менялся никогда. Опять выступило на сцену духовное родство и родство душ.

Среда, 21 сентября.

Сегодня едем в русский театр, дают в первый раз «Ипохондрикам, Писемского. Полонский читал сегодня «Мцыри». Ни он, ни Бенедиктов, кажется, не представляют себе хорошенько самого Мцыри, этого умирающего и дикого, горячего, необузданного мальчика. Он умирает, насилу может говорить, но не один жар болезни томит его, все желания дикой воли клокочут у него в груди. Желание пожить буйной жизнью, таинственно чудной, какую создало ему его воображение; а недуг томит.

Четверг, 22 сентября.

«Ипохондрик» имел порядочный успех[69]. Автора вызывали несколько раз. Осипов был с нами. Полонский и Данилевский приходили в ложу; Майковы сидели возле нас. Сегодня опять — едем в театр, и те же лица будут с нами. Осипов придет обедать. Что за странность, он не отказывается давать уроки.

Пятница, 23 сентября.

Попишу и потом почитаю «Гамлета». Завтра приедут братья из гимназии; я им почти рада, не то, что прежде, когда они были такие несносные. Милый мальчик Коля; его все хвалят в гимназии, называют: *«милый и любезный молодой человек».* Алю и Андрюшу так не называют, о них иного мнения, потому что они шалуны. Впрочем, они и учатся плохо. И папа все говорит, что наша домашняя жизнь тому причиной. Осипов обедал вчера. Наконец, он скоро наденет ополченский мундир, и тогда, надеюсь, поверят ему. Мама доехала с дядей к Толстым.

Вечер того же дня.

Осипов уж утвержден поручиком калужского ополчения. Он знал это уже вчера и не сказал; мама узнала от графини. Графиня говорила также, что бранила его за эту секретность, и он будто бы отвечал, что *когда будет прощаться, так узнаем.* Завтра надо будет сказать Гоху, что в среду даст урок Осипов. Сколько непонятного в людях.

Понедельник, 26 сентября.

Вчера сказала Гоху про уроки в среду, и он рассердился. Я не подумала о заключении, которое он сделает. Он спросил, что я теперь думаю, что он солгал, что ли. Я отвечала, что думаю только, что вышло какое-нибудь недоразумение. Он надулся. Я просила его не сердиться и верить тому, что я говорю. Он как-то грустно посмотрел на меня, сказал, что верит мне, но что я часто бываю под чужим влиянием, а под чьим — не сказал, но я

догадалась. Пришел Бенедиктов, зовут меня. Вчера вечером были Ливотовы, Лиза Шульц и дядя; мы сидели внизу, в зале.

Вторник, 27 сентября.

Я думаю, навсегда останутся мне памятными стихи, которые я так часто читаю теперь мама: стихи Полонского, Щербины, неизданные и Лермонтова. Прежде стихи приводили меня в восторженное состояние, теперь наводят страшную тоску; и это впечатление не изгладится. Перечитывая их, я всегда буду вспоминать нынешнее тяжелое время, под влиянием которого все принимает какой-то особенный отпечаток. Сидела одна внизу и читала «Les trois mousquetaires»[70], когда приехал Полонский и за ним дядя. Теперь Полонский ушел в залу играть на фортепиано.

Ужасно, опять потерянное сражение. Разбит один полк, и взяты шесть пушек, благодаря славному генералу, барону Корфу. Нечего сказать, генералы отличаются. Неужели же так-таки и нет ни одного? ни русского, ни немца?

Среда, 28 сентября.

Что бы это значило, Осипов не пришел на урок? Я чего-то боюсь, не знаю чего. Мне бы хотелось знать причину, отчего он не пришел. Сегодня решается судьба молодых художников, потому что в Академии экзамен; папа поехал туда. Не выходят из головы ужасные стихи Шиллера «Resignation»[71].

Не знаю, как попали они в мою голову. Их страшный смысл преследует меня, гонит теплую веру, и холодное сомнение; уже подкрадывается, уже близко, чтобы овладеть слабым рассудком. Мама получила записку от Осипова, он пишет, что болей и постарается быть в пятницу, если не был сегодня Гох, которого он предупредил. Папа видел сегодня в Академии Гоха, но тот ничего не сказал ему.

Горавский выставил три пейзажа и портрет; в прошедшем году он получил большую золотую медаль. Богомолов работает на маленькую золотую. На выставке будет одни пейзаж Калама и три картины Айвазовского. В субботу будет у нас Арбузов, его приведет Панаев, с которым он товарищ по Пажескому корпусу. В субботу же будет и Михаил Илларионович Михайлов; Полонский уже давно хочет познакомить нас с ним. Михайлов один из тех литераторов, которых Константин Николаевич посылает по России.

Пятница, 30 сентября.

О, какая вещь случилась сегодня, какая печальная вещь! Теперь уже шесть часов, а я все еще не могу прийти в себя. Утром

я ждала Осипова, но вдруг; вместо него является от него письмо, в котором он пишет мама, что папа не расположен к нему, что он даже как бы умышленно вредит, ему, что он долго этому не верил, думая, что со временем все разъяснится, но что наконец убедился, и видит себя вынужденным перестать бывать у нас. Письмо заключалось просьбой передать одну его книгу, которая была у нас, Гоху. В конце было несколько иного тона, чем все письмо — слов, ко мне. Письмо жесткое, нескладное, деланное, точно не он его писал, а между тем его рука, — только несколько мягких слов ко мне и звучали чем-то похожим на нею. Что это значит? Что будет теперь? Неужели все сношения будут прерваны? Мама понесла это дикое письмо к папа. Папа оно так удивило и огорчило, что он бросил все дела и поехал к нему, но не застал его дома. Тогда написали ему мама и я; и, может быть, напрасно писала, но мама велела. Я с Осиповым никогда не переписывалась; даже самой простой записки не писала никогда, и он всегда обращался письменно к мама, а не ко мне. Теперь что? Неужели он уедет на войну, будет убит, и мы даже не «простимся? Зачем я не рассказала ему все летом? Он же просил меня не бояться его огорчать и говорить ему все, что вздумаю, самую горькую правду. Но как бы я рассказала ему то, что говорилось про него летом, что) графиня в него влюблена? Разве я могла говорить с ним о чем-нибудь подобном? Он меня, как мать, берег от всего нечистого. Недавно еще сердился, зачем мне дозволили; читать «Гамлета». Раз, прошлой зимой, приносили к Толстым какие-то рисунки Федотова, он настоял, чтобы мне их не показывали. То письмо, что я собиралась послать ему летом, я и без совета Полонского никогда не решилась бы написать. Много мы с ним перетолковали, много перечитали и перебрали прочитанного в короткое время знакомства с ним, но сплетни, да еще пошлые, и низкие предметы обыденной жизни, пересуды знакомых и тому подобное, не было никогда предметом наших бесед. У нас и кроме этого было что передавать друг другу. Я ведь познакомилась с ним два года[72] тому назад, когда мне едва минуло» восемнадцать лет, и я еще почти ничего не читала, кроме старого, и никого почти не знала. Он знакомил: меня с литературой. Он гораздо выше меня по развитию, по познаниям, но и он ведь молод. Наши отношения не были отношениями учителя и ученицы. Я слушала его, как старшего, может быть, но и его интересовало мое мнение. Видаясь часто, мы были как-то в непрерывном обмене мнений, пищу которому давало то общество и то время, в котором мы живем. В те два-три дня, что мы не видались, иногда случалось что-нибудь узнать или подумать, и мы спешили сообщить это друг другу и с полуслова понимали

друг друга. И этому всему теперь конец. Что же касается папа и его отношения к нему, то папа, как профессор, никогда не вмешивался, да и не знал, какие неудовольствия и нападки на Осипова происходят между молодыми художниками, его товарищами, по поводу его назначения академиком. Он был представлен графом, профессора его утвердили, папа против этого ничего не имел. Если же и до профессоров что-нибудь доходило, то мы ведь не живем в Академии, чтобы слушать все; папа только ездит туда в классы, профессоров мало видит, сплетен не любит, да и едва ли занимаются они Осиповым настолько, чтобы говорить о нем между собой. Раз, впрочем, Тон говорил, что Осипов только распускает слух, что идет в ополчение, чтобы получить академика, но это было ведь давно, и не папа ж это — говорил. Вот именно оттого, что этот поступок Осипова с письмом или, вернее сказать, эта выходка так неосновательна, оттого-то она меня и ругает; тут видно что-то натянутое, придирка какая-то, и не со стороны Осипова, нет, он, должно быть, в самом деле обижен, — а с чьей-то другой стороны, и желание нас поссорить. И это-то и страшно. Причину можно удалить, а ничего — как удалить? Но я сегодня сама не своя, не знаю, что пишу.

Суббота, 1 октября.

Он был там, Осипов был в театре! Если: бы мы приехали минутой раньше или позже, мы бы с ним не встретились; а впрочем, к чему было и встречаться, если ничего нельзя было выяснить, и, по-видимому, он выяснять и не хочет. Капельдинер вел нас в нашу ложу, в бельэтаже, когда вдруг очутился перед нами Осипов. Зачем он туда попал, — неизвестно, потому что ложа Толстых, с которыми он был, находилась внизу, и ему незачем было ходить наверх. Что с ним говорили папа и мама, не знаю, я — не говорила ничего. Все это продолжалось минут десять. Уходя, он сказал мне, что получил мое письмо и что со мной выгодно быть в ссоре. Что хотел он этим сказать, я не поняла, и не понимаю и сегодня; слово «ссора» долго не сходило с его языка, он, с трудом точно его выговорил. Я открыла в своем характере новую черту, это гордость; и не очень ей рада. Я теперь ни за что не подойду к графине; Полонскому не расскажу про свое горе. Мама добрее меня, мы видели семейство Толстых в толпе, ожидая карету, и мама хотела подойти к ним, я насилу ее удержала. Полонскому она рассказала все. Он в негодовании. «Это нелепо, — говорит он, — на месте Осипова я бы просто пришел к вам и объяснился». Но в том-то и дело, что это нелепо, а нелепое как объяснять? Но подожду судить Осипова. Что-

нибудь, может быть, и есть, что заставляет — его так поступать. Ведь не разойдется же человек даром с людьми, которые всегда ласкали его. Я помню, как он раз сказал мама: «Я отвык от ласк с тех пор, что потерял мать; вы опять меня ж ним приучаете». Полонский предлагает свои услуги, чтобы разъяснить это дело. Я бы этого не хотела: ещё больше запутается. Мама сперва отказалась, потом согласилась. Какой снег идет, как холодно. Я нигде не нахожу места, и внизу скучно и наверху скучно. А сегодня еще будут гости, наша суббота; если бы можно было уйти от них. Алю оставили сегодня в гимназии за шалости. Мне пришло в голову вчера еще написать ему письмо, и я написала, соображаясь меньше с его летами, чем с его характером, пылким, мечтательным и чувствительным. Кажется, подействовало; говорят, он прочел его два раза и потом все молчал.

Воскресенье, 2 октября.

Что за путаница, за мистификация, в самом деле, путаница, в которой не только других, но себя — самое не узнаешь. Полонский с жаром принялся за наше дело. Оно ему не нравится, особенно относительно графини и Осипова. Он находит письмо его так ему несвойственным. И я в раздумье. Образ Осипова начинает тускнеть перед умственными очами моими, ради него самого я бы желала разъяснить это дело; боюсь разойтись нравственно. Жду с великим нетерпением: и страхом сегодняшнего вечера, потому что мы будем у Майковых, и туда Полонский должен принести нам сообщение о свидании его с графиней. Но не следовало бы впутывать графиню. Мама и Полонский убеждены, что тут какую-нибудь роль играет графиня и ее неудовольствие на нас. Не следовало бы нам: связывать одно с другим и говорить этой ей. А Осипов, которого я считала хотя и скрытным, но действующим прямо и смело, зачем молчит? Ведь папа ездил к нему, и мама и я писали, я писала; протянули ему руки и открыли двери. Или это и значит действовать прямо и смело, так, как он действует! Но эта смелость похожа ведь очень на грубость. Таким ли я его знаю? Или иначе нельзя, так что же это такое? Гох был сегодня, — принес книгу, которая была у Осипова. Знает ли он уже о нашем разрыве, спросил ли у Осипова, зачем он не возвращает книгу сам? Поздоровавшись со мной, он отступил на два шага. «Дайте, — говорит, — посмотреть на вас, я вас давно так не видел; каковы вы сегодня». Я со смехом взглянула ему прямо в глаза, чтобы он не мог сказать, что я невесела. Сели за урок. Чтобы не дать ему времени спросить то, на что не хотела отвечать, и чтобы не показаться грустной, я заговорила о посторонних вещах, между прочим спросила, готов

ли его мундир к академическому акту. Но ему вдруг показалось, что я на что-то намекаю, я не рада была, что спросила. Затем он начал рассказывать, что одна из его учениц в рисовальной школе, Хилкова, пишет масляными красками перспективу школы со всеми ученицами и учителями, что для этого ей нужен был его портрет, и что Ге его сделал для нее, но что кто-то его у нее украл. «Я все это знаю», — отвечала я. Действительно, все это и что мундир не готов, рассказала мне его жена. Он удивился и пожелал узнать, от кого я это слышала. «Отгадайте», — говорю. Но он вдруг рассердился и начал уверять, что это предисловие к чему-то, что я начинаю что-то скрывать, что говорю насмешливо. Я поспешила его успокоить, сказала, от кого все слышала, и, чтобы переменить разговор, спросила, здорова ли теперь графиня, у которой он был накануне и которая последнее время хворала и сама в театре в пятницу не была, а были граф и дети с Екатериной Ивановной. Чтобы сказать что-нибудь, я необдуманно сказала: «Вы в этом году чаще бываете у Толстых». — «Так же часто, как у вас», — отвечал он. Я не в этом смысле говорила, а, кажется, совсем без смысла, и прибавила еще глупость, что у нас он бывает часто для уроков. «А там я беру уроки», — возразил он. Эта выходка его меня рассмешила. Я вспомнила, как он говорил о притворство, жеманстве и лицемерии графини, и спросила, чему он там учится. «Вы, — говорит, — все скрываете от меня, и я буду скрывать». Я опять засмеялась, и он опять рассердился. «Елена Андреевна, — спросил он, — что за мистификация и кого мы мистифицируем?» — «Я не знаю, — отвечала я, — мне смешно, и я шучу, а не мистифицирую». И мы замолчали. Все попытки завести приятный разговор не удавались. Но он заговорил снова, спросил, объяснилась ли я с Осиповым насчет уроков и уверена ли, что все так, как он говорил. Я отвечала, что не видела с тех пор Осипова. Уходя, Гох заметил мне, что я начинаю меняться, что прежде я была лучше. Это правда.

Понедельник, 3 октября.

Вчера, когда мы приехали к Майковым, Полонского там еще не было. Наконец, он явился. Но вот пробило одиннадцать часов, одиннадцать с половиной, а он; не мог уловить минуту подойти ко мне, и меня, как назло, все окружали, а между тем каждый миг надо было ожидать от папа сигнала ехать домой. Наконец, опустел возле меня один стул, и Полонский немедленно его занял. «Были?» — спрашиваю. «Был». — «Говорили?» — «Говорил». — «Что же она?» — «Она ничего не знает. Когда я ей рассказал про письмо Осипова, она далее всплеснула руками». Признаюсь, я уж испортилась настолько, что мигом подумала:

«Графиня притворяется», но мигом и прогнала эту дурную мысль. Не может же она так лгать. «Ну, — говорю Полонскому, — значит у нас две отдельных истории, одна с Осиповым: и одна с графиней, и обе таинственные; и с графиней-то мы уж наверное разойдемся», — прибавила я, более с надеждой, чем с сожалением. «Напротив, — перебил меня Полонский, — с нею вы будете дружны по-прежнему, она так настроена; я ее так настроил». «Леля, поедем», сказал в эту минуту папа. Марья Петровна, которой я рассказала, что графиня не знает про письмо Осипова, расхохоталась. «Глупышка ты, глупышка», — сказала она. Сегодня бенефис Бурдина. Он прислал ложи нам и Толстым; мы, может быть, увидимся в театре. Мама рада, что с графиней дело уладится. Она приехала.

Через 2 часа.

Голова моя — точно котел, в котором кипятят грязное белье. Тысячи сплетен! Кто их плетет, неизвестно; графиня не сказала[73]. Но по ее словам выходит, что хотят во что бы то ни стало нас рассорить. Ей говорили, что будто мама поклялась ничего не щадить, чтобы переманить от них всех их знакомых; что она хочет, чтобы художественные вечера были в Петербурге только у нас; что в особенности Осипова хочет она у них отбить; что беспрестанно посылает за ним экипаж и записки. Про лапа тоже в этом роде, а я будто бы упрекала двух молодых людей каких-то, что они все бывают у Толстых, а нее у нас; что они Толстых любят больше, чем нас. Какой вздор! Я и не спросила, кто эти молодые люди, и оправдываться в этой чуши не хочу. Дядя помешал, и графиня хочет опять приехать в четверг утром, чтобы договорить; а к себе просила еще не приезжать покуда. Относительно же Осипова не разъяснилось ничего; она уверяет, что про его дела ничего не знает.

Теперь мне досадно, зачем я молчала, покуда она говорила. Но мне девятнадцать лет, а ей сорок, дно крайней мере; мама в ней души не чает; Осипов смотрит на нее, как на родную. Правда, мое уважение к ней поколеблено уже летом Гохом, а, докуда она говорила, поколебалось еще больше, но все же я не могла сразу отрешиться от того, к чему привыкла, да и в себя прийти не могла.

Ну, положим, все это ей говорили. Теперь же это открылось, мама ей клялась и божилась, что это неправда, и графиня ей поверила. Значит и конец. Что же еще может быть, какое продолжение? Они ведь и плакали, кажется, а уж обнимались-то довольно и выражали свои чувства. Отчего же нам нельзя бывать у нее?

Вторник, 4 октября.

Что же касается обвинения в том, что мама хочет переманить всех их знакомых, то я уж слышу давно, что ей не нравится, что они все бывают у нас, и что у нас такие же вечера, только при более роскошной обстановке и более многолюдные; слышала это, видела, а еще раньше чувствовала. Когда дом наш был окончательно готов, т.е. к 20 ноября прошедшего года, дню рождения мама, был у нас первый вечер, но танцовальный. Затем в следующую субботу, и так через субботу, желала мама устроить рисовальные вечера, как у Толстых, т. е. чтоб художники рисовали. Это было действительно подражание Толстым, но не в пику им; мама их слишком любила, чтобы делать им неприятное, а что это может быть им неприятно, никто не говорил, только я это чувствовала, а откуда взяла, решительно не знаю. Помню только, что когда расставили длинный стол в зале и явился Осипов в сопровождении целой толпы молодых художников, бывавших у Толстых и не всех еще знакомых с нами, я ушла наверх и спряталась. Мне было отчего-то ужасно неловко, и относительно Толстых, и относительно мама, и относительно нашей знакомой обстановки; эта обстановка, скажу — между прочим, часто конфузит меня. Почти ни у кого из наших знакомых нет подобной. Когда, я вернулась вниз, художники уже сидели по местам, и Осипов распоряжался, раздавая им бумагу, карандаши и прочее. Покуда художники рисовали, другие гости пели, играли, декламировали, говорили. У Толстых было так же. Мама же не только не стремилась перещеголять их, а, напротив, старалась им во всем подражать. Велела перерыть все булочные в наших улицах, чтобы достать точно такой же хлеб, (какой подавался) к чаю у них, на Васильевском Острове; купила такие же стаканы, на ножках, пренеудобные, но такие были у Толстых; мало того, дома старый граф ходит всегда на своих вечерах в какой-то эпанечке поверх сюртука и с коротенькой трубкой, так в поларшина, в руках. Мама хотела шить папа такую же эпанечку, но он решительно воспротивился, а трубку она ему таки купила и заставила его курить Граф, после президента, первое лицо в Академии. Графиня это очень помнит. Она считала, что он одни имеет право на то, чтобы художники у него рисовали, и вдруг это делается и у других. Запретить это, даже говорить об этом нельзя, и вот неудовольствие против нас зародилось в ней и росло.

Что же касается переманивания знакомых вообще, то мы черпали их не у одних Толстых; да они и сами стекались со всех сторон. Ну, а насчет Осипова — сущий вздор; никаких экипажей за ним не посылали никогда, и записок посылать почти не

приходилось; может и случалось, как и всякому другому знакомому. Графиня вчера, в знак своей деликатности, сказала, что дает мама слово никого из наших знакомых не переманивать к себе. Господи, как смешно! Особливо, когда знаешь, как мама стремится к противному, т. е. чтобы наши знакомые бывали у Толстых.

13 октября.

Графиня тотчас же сама приступила к делу, разговор продолжался с одиннадцати до двух часов, и решили никогда больше его не возобновлять и видаться как можно чаще, — по-прежнему, значит, комедию играть, потому что после таких бурь знаменитая душевная теплота не могла не простыть. Полонский, по его словам, так хорошо настроил графиню, по ее словам, оставил ее в страшном волнении от своих разоблачений. Тут явился Осипов, и она ему, сгоряча, будто бы, все и передала, упрекнула его, что он ввел в их дом Гоха и хочет еще передать, ему уроки у них. Милый поэт хвастал, что знает сердце женщины, как никто. Вот и ошибся. В понедельник вечером явился к нам неожиданно Гох. Я думала — опять что-нибудь случилось, но по счастью нет; так просто зашел. Мы (сидели; внизу, в зале, за корпией же. Что думаю, если теперь вдруг придет и Полонский. Они ведь с Гохом еще не видалась после того. И что же, не прошло получаса — является Полонский. Но вслед за ним пришел Яков Иванович[74]; посторонний человек — истинный клад в такие минуты. Клейнмихель падает. О его падении говорит теперь весь Петербург, о нем же завел разговор и Яков Иванович. Наконец, Гох посмотрел на часы и встал; простился с нами и протянул руку Полонскому. «Где вы живете?» — спросил его Полонский. «Я именно зашел спросить ваш адрес», — возразил ему Гох. Папа и Яков Иванович продолжали про Клейнмихеля, но я слушала Гоха и Полонского. Гох говорил: «Я хотел заехать к вам, мне надо с вами переговорить. Нельзя ли теперь?» «Пойдемте, пойдемте», — отвечал Полонский, поспешно вставая, и они скрылись во мраке большой залы.

Понедельник, 17 октября.

Гох был вчера у Толстых, и все с ним у нас по-старому; во вторник он придет на урок. И Осипов был там в мундире калужского ополчения, со мною он был по-прежнему. Что я теперь думаю, я не скажу никому, даже дневнику моему. Я спросила его о причине ссоры, он отвечал: «Что вам до нее? Вас она не касается, между нами не было ничего. Я жалею, что все это дошло до вас. Если я не прав, я, может быть, унижу себя перед вами,

если скажу; если же я прав, то для чего открою я вам то, что вам лучше не знать». Мы выходили из дверей детской, когда он это говорил. Графиня стояла в дверях залы и тотчас же приблизилась к нам; Осипов отошел. Я не успела ничего возразить ему, а вмела много возражений. «Ну что, — сказала она, — простили ли вы нашему ополченцу?» — «О прощении не было речи, графиня, — отвечала я. — Да и не я, а он имеет что-то против нас, и то не против меня, а против отца моего». — «А сказал юн вам, что он имеет против вашего отца?» — «Нет, не сказал» — «И мне не сказал, но я рада, что вы объяснились Он идет на войну, может быть, не вернется, простите же ему все, это так ужасно расставаться врагами». Кто-то нас, по счастью, развел. Ко мне подошел Кулибин: и долго не отходил от меня. С его помощью я могла весело болтать, как ни в чем не бывало. Я видела его всего в третий раз, но так как он большой друг Осипова, то, хотя он и скрывался до сих пор ото всех нас, но как-то точно давно знаком; и даже мои вкусы, мысли и даже характер знает. И смотрит он прямо в глаза, и такой он простой и веселый. Мы оставались у Толстых недолго; уехали раньше ужина. Я говорю: Осипов со мной был прежний. Это не совсем верно. Он хотел быть прежним и развязным, но разве это было возможно?

Суббота, 4 ноября.

Субботы наши разрастаются, сегодня ждут видимо-невидимо гостей. Будут, между прочим: Гончаров[75], Потехин, Данауров, Горбунов. Сегодня день рождения Бенедиктова, но и он хотел быть, когда проводит своих гостей. Майков обещал прочесть новое стихотворение свое: «Земная Комедия»[76]. Майков прозвал Толстых и нас Монтекки и Капулетти, Монтекки они, Капулетти мы[77]. Отчего мы Капулетти, — неизвестно, но Бенедиктову эта выдумка так понравилась, что он теперь свои письма подписывает не иначе, как Капулеттист, и перестал ходить к Толстым. Арбузов тоже будет читать. Прошедшая суббота была не наша, но гости все же были. Арбузов и Панаев обедали. Ни мама, ни я; в этот день к обеду не сходили, и после обеда молодые люди пришли наверх. Арбузов читал нам свои мелкие стихотворения, из которых мне особенно понравились «Поэт» и «Весна»[78]. Вечером Арбузов отправился к Толстым, то были именины графини, и Панаев ушел, а к нам приехали новые гости: Бенедиктов, Полонский, Греч, Сверчков. Греч, конечно, овладел разговором, т. е., лучше сказать, словом, потому, что нельзя назвать разговором, когда говорит один. Бенедиктов приходит теперь очень часто. На днях он привозил пьесу, которую хотят у нас играть, и в которой и он сам будет участвовать. Это его перевод с

французского: «Влюбленный Брат», Скриба. Сегодня мама будет раздавать роли. У нас в доме есть новое лицо, молоденькая англичанка, Аннет Григс. Ее взяли для сестер, но и для меня практика английского языка. Дом наш — как полная чаша.

А у меня какая неприятная история, и на чужом пиру похмелье. Галанин[79] говорил мне про какую-то статью, которую нельзя напечатать, но которая ходит в рукописи. Заглавие ее он называл, но я позабыла; о чем она, тоже хорошенько не припомню, помню только имя автора, какой-то Искандер. Он сказал, что принесет мне ее, но чтобы я ее не всем показывала, потому что она запрещена. На днях он ее принес, но я одевалась, и он отдал ее мама. Мама начала ее читать, и она ей не понравилась. Пришел Бенедиктов, и она обратилась к нему, не знает ли он, кто такой этот Искандер. Бенедиктов не только знал это, но знал и всю его биографию. Его настоящее имя — Герцен. Он русский эмигрант и, живет в Англии, где завел русскую типографию и печатает свои и чужие сочинения, которые однако только тайным образом попадают в Россию. Но на Нижегородской ярмарке в нынешнем году захватили прокламации, будто бы от Пугачева, к народу; присланы они были из Лондона и печатаны по-русски. Пока Бенедиктов рассказывал все это, вошли папа и дедушка, и поднялся переполох; дедушка тоже знает про Герцена. Недолго думая, мама взяла да и бросила рукопись в попавшуюся печь. Что я буду теперь делать? Как скажу Галанину? Все уже внизу, и, может быть, и он уже там. Сейчас у меня пошла кровь горлом, только этого и недоставало.

5 ноября.

Тоска, тоска! Теперь я вижу, как я мало похожа на других; мне ровни все нет. Бее мои душевные силы направлены куда-то, где товарищей мне нет. Я стою вне жизни; только в отвлеченностях схожусь я с людьми, но с какими? — не с ровнями мне, не с товарищами. И остаюсь я вечно чужая и дому и звездам. Впрочем, чему же я удивляюсь? Четырнадцати лет я уже знала, что для меня в жизни доли не положено, и тогда уже решила отказаться ото всего заблаговременно, чтобы потом, с позором, не вырвали из рук. И вдруг забылась, и разыгралась, как равноправная, как приглашенная на пир жизни. И вдруг оказывается, что моего куверта на нем нет. И я это знала, да забыла. А жизнь ведь такая длинная впереди. Что буду я есть? И столько досуга, столько досуга — думать. Кому или чему могла бы я служить? Кто научит меня, что делать? Спросить некого! Руководителя — нет. Был; или по крайней мере я думала, что это руководитель, и слушала его, а сама не залетала туда, где так

холодно. Но будет об этом! Вчера было шестьдесят человек. Танцовали. Натали Струговщикова была такая хорошенькая. Галанин играл весь вечер в карты, и ко мне не подходил. Потехин, Алексей Антипович, в ополченском мундире. Когда он вошел, мы с Гохом стояли в дверях залы и гостиной, и нам виден был только мундир, но лица не было видно. «Кто это такой, кто такой?» — спрашивал Гох. Я засмеялась и назвала Потехина. Ах, Гох, Гох, какой он странный. Мне опять нашептывают, что он неискренен. Нет, будет уж, господа! Я не хочу больше верить, я хочу знать! Графиня оправдала Гоха потому, что у нее страсть поражать великодушием. Когда он пришел к ней за объяснением, она, свалив всю вину на меня, кинулась ему, в слезах, на шею и тем лишила его рыка; так они уладили между собой, и прекрасно; Гоху ссориться с ними не надо. Осипов порешил с ним иначе, но тоже порешил. «Мне жаль, — сказала я ему в то воскресенье, — что в это дело впутали одного человека, который совсем не так виноват, потому что был скорее только отголоском чужих мнений». — «Я и сам так думаю», — отвечал Осипов таким искренним и спокойным тоном, что и я успокоилась; особливо когда вскоре увидела их вместе.

8 ноября.

Сейчас Гох давал нам урок, и мне было совсем почти легко с ним. Он был весел, много говорил; опять по-прежнему передавал мне свои впечатления. У Толстых в воскресенье был он и Осипов и Полонский. Полонский даже обедал у Гоха, и о ни вместе отправились к Толстым. Осипов уезжает на днях и придет проститься. «Видишь, — говорит мама, которая мне все это и рассказала, — все будет по-старому, и Осипов будет, как прежде, ходить к нам». Нет, мамаша, это ваше прежнее возвращается вам; мое же едет в Крым, на войну. Сейчас у нас совет и выбор пьес для театра и раздача ролей. Будут: Лиза Шульц, Мей, Шилькнехты, Святский, Арнобиман, Бенедиктов, Полонский. Неожиданно явились сегодня из гимназии братья, потому что попечитель именинник. У меня еще нет духу читать журналы, нет духу раскрыть их. Они мне напоминают потерю мою. Осипов познакомил меня с ними, мы читали вместе; я не могу, не умею читать без него. Зачем перестал он ходить к нам? Зачем не хочет сказать? Что это такое? Папа был у него и потом в коридоре театра так дружески протянул ему руку и спрашивал, что все это значит. Он отделался чем-то, даже не разобрала чем, потому что и мама что-то говорила и просила. Эта встреча так мимолетна! Я вдвойне потеряла его. Он, во-первых, перестал показывайся; а во-вторых, стал уже не тот для меня. Того мне жаль, без того мне

скучно. Теперь если папа чем-нибудь и обидел его, то он и все сделал, чтобы примириться с ним. Осипов принимает примирение, значит, роли переменились, и теперь не папа уж перед ним, а он виноват перед папа. И я это понимаю, и больше говорить с ним, а тем паче звать его, если бы случилось с ним встретиться, не стану; но с привычкой разом не совладать и мне скучно, скучно без него. Кинуть глухое обвинение и отказываться от объяснения — ведь это дерзость относительно папа. «Я унижу себя перед вами, если я не прав». Ну и что же, пускай унизится. «Бели я не прав», — значит он не уверен, что он прав? Придрался он к случаю, чтобы перестать ходить к нам? Но ведь он же и так уезжает, и уезжает туда, откуда, может быть, и не вернется никогда; и, идя на смерть, разве ссорятся? И разве не мог он иначе разойтись, ходить реже; ведь никто не заставлял его ходить часто. Нет, я не выпутаюсь из этой загадки. Но я не рыцарь Тогенбург, который кормил свою тоску до тех пор, пока она не съела его самого; я свою заморю. Неужели все мои душевные силы и даже здоровье уйдут на одного человека, который вдобавок еще виноват перед моим отцом. Хотя я и никому не нужна в настоящее время, но мне ведь только девятнадцать лет, а жизнь так длинна, и я еще так мало знаю ее. Она передо мной, как непрочитанная книга, и я хочу ее прочитать. Чувству нечего делать, да разве разрыв с Осиповым решил это? Это я знала еще до него; знала, что чувство цельное отдать одному человеку нельзя; и забылась, и отдала было. Не приняли — беру его назад и разменяю, чтобы хватило на всех, на весь мир. И разве одним чувством только живут? А голова? Я еще ничего не знаю; я хочу все знать, и голова будет знать. Но кто научит? Нет у меня учителя, нет никого Ведь Осипов этим учителем и был. Ну, поищу другого. Вот только бы одолеть себя, одолеть болезнь. Самолюбие поможет. Тогенбургу хорошо было носиться со своим горем[80], на него никто не смотрел, а на меня все смотрят. Это-то и поможет спрятать свое туда, где я и сама потом его не найду. Не Осипов оскорбил мое самолюбие; относительно меня он тот же, что и был, и, вероятно, и не знает, что творится со мной; ведь не я и не мы бегали за ним; он сам к нам ходил. И, не случись этого разрыва, вероятно, я сама не узнала бы, что начала прирастать к нему. Но будет об этом. Я еще не могу читать журналы, а пройдет несколько времени, и буду читать их. Вчера вечером была уже проба, но неудачная покуда. Мама велела мне прочесть ей «Постоялый Двор» Тургенева[81], в «Современнике»; он уже давно лежит у меня. Я закашлялась, и надо было прекратить чтение.

Среда, 9 ноября.

Уезжает ли завтра Осипов? Все одно в голове! Попробую о другом. Сейчас был Данилевский, обедал у нас. Роль Антуана в «Влюбленном Брате» пала на его долю. Бенедиктов решительно отказался участвовать в спектакле иначе, как в роли режиссера. Своей пьесы он не читал, говорит, что она не годится для сцены, но довольно эффектна. Она называется: «Беда от рифмы». Сюжет заимствован из «Horace et Lydie»[82], где так прекрасна была Рашель. Попробую прочесть «Рубку Леса» Льва Толстого, она тоже в «Современнике» и уже целый месяц тоже смотрит на меня. Толстой, таинственный *Л.Н.Т.,* что был наш любимец. Сейчас приезжала Наташа Струговщикова; она тоже будет играть у нас.

Среда, 16 ноября.

Опять пишу. Все равно, что ни делать. Данилевский отказался от роли Антуана. Читала стихотворения Полонского. Поэтов изображают с лирой в руках, а у Полонского в руках не лира, а эолова арфа. Он так чуток, он передает такие для простых смертных неуловимые звуки человеческого сердца или природы, что кажется чем-то нездешним, небывалым; он, кажется, в самом деле имеет дар слышать, как растет трава. Вчера вечером была репетиция[83]. Но актеры собирались так медленно, что репетировать начали только, в одиннадцать часов. До этого забавлялись рассказами о привидениях; Мей, Ознобишин и Святский знают множество таких рассказов и до того странных, что под конец Полянской сделалось от них дурно. Ознобишин читал великолепно «Jacombe» Дюма. Святский представлял бабушку, которая на балу следит за пятнадцатью внучками, разговаривает и спит. Проделав все это, принялись за «Влюбленного Брата».

Понедельник, 21 ноября.

У нас все репетиции, и народ с утра до вечера. Папа это начинает сильно надоедать; а мне давно Уж только тяжело. Бедный папа сидит у себя за запертыми дверями, а мне уйти нельзя, не позволяют. Но что мне там делать? Я ведь в игре не участвую и чувствую себя, как чувствовала бы маленькая девочка, которую старшие исключили из своей компании, а иногда я кажусь себе и старухой, которая глядит на веселящуюся молодежь; но чаще чувствую себя птицей с подрезанными крыльями. Мне очень хочется тоже играть, делать, что они все делают. И так не весело, а тут еще этот веселый шум, общее оживление, музыка, наяривание веселых куплетов; все такое подмывающее, дразнящее — и недоступное. И ко всему этому щемящее сознание недовольства папа; его одиночество; вредное

влияние подобного порядка вещей на братьев, которые рвутся из гимназии домой и плохо учатся; кроме Коли, впрочем. Домашней жизни и следа не осталось. Мы завтракаем и обедаем, окруженные нашими артистами. В прошедшую субботу графиня усадила меня возле себя и завела разговор опять на любимую тему свою — о ревности; который раз уже говорит она о ней! Она утверждает, что любить не ревнуя — нельзя. Если это правда, то любовь должна быть мученьем; но правда ли это! Долго развивала она эту тему, и, видя, что я все молчу, наконец, спросила, как я об этом думаю. «Не знаю, графиня, — отвечала я, — не испытывала еще». — «Но вы мне верите?» — «Пожалуй, поверю. Вы во всяком случае опытнее меня и, может быть, испытывался и то и другое; во ведь бывает же иначе». — «Не бывает!» — точно отрезала она. К чему эти разговоры, к которым она вечно возвращается! Если бы не было того, что было, я бы не придавала им особенного значения, но теперь невольно является вопрос, не касаются ли они «нашего ополченца». Что за вздор, и кто к кому должен тут ревновать?

Несколько лет тому назад Толстые жили в своем имении, близ Выборга. Молодой неизвестный художник, ученик Академии Осипов, ехал верхом около тех мест. Лошадь его чего-то испугалась, понесла и сбросила его; его, сильно ушибленного и лишенного чувств, принесли в дом Толстых. Он долго был болен. Графиня ходила за ним. Она и граф сделали бы то же самое и для всякого другого больного и одинокого, т. е. приютили бы его и ходили бы за ним, больным, но он был кроме Того и ученик Академии, а граф ведь ее вице-президент; он считал поэтому еще как и обязанностью своей — пещись о молодом человеке. Что же удивительного, если возникли между ними почти родственные отношения. Осипов не мог не чувствовать к ним привязанности и признательности; и они должны были полюбить его; ведь говорят же, что всегда привязываешься к тем, кому оказываешь добро. Вот ведь и все. И вот неоспоримые права графини, на которые никто не хочет и не думает посягать. Не пристрастие мама к ней, не ее собственная сентиментальная личность заставляла меня до сих пор относиться к ней с любовью и уважением, а именно то, что Осипов был к ней привязан, как к матери (так по крайней мере мне казалось. Да иного чувства с его стороны я и теперь допустить не могу, уж слишком оно было бы сверхъестественно). Так что же толковать о ревности с моей стороны? Ее же ревность я возбуждать не могу. Она не предмет для ревности, потому что слишком стара, дурна и похожа на мать; я — потому что ни на что не похожа. Он часто ходил к нам, да разве к нам одним? Есть же у него и еще знакомые товарищи. И разве до знакомства с

нами он безвыходно сидел у нее? Сколько раз прежде, обнимая меня, она говорила, что любит меня, как дочь свою; что одного только желает, чтобы ее Катя была похожа на меня, и вдруг к дочери — ревность!

Нам с графиней помешали кончить этот нескончаемый разговор Когда мы опять остались одни, она заговорила о Жадовском, что он часто у нас бывает и играет у нас на театре. Что же, и Жадовского она ревнует? Но Жадовский был у нас тому месяца два, и маму удивляет в нем какая-то странная сдержанность. Я, правду сказать, ни сдержанности, ни его отсутствия, ни его присутствия особенно не замечала. «Он слишком молод, чтобы играть», — говорит графиня. Господи, да ведь дети играют, а ему, кажется, двадцать пять лет.

Пятница, 25 ноября.

Давно не писала. Репетиции сбили с толку. Вчера, были именины Катеньки Толстой, и Маша и Оля провели у них весь день; они вообще видятся очень часто, потому что вместе учатся танцовать и подружились. Катя прелестная девочка Вчера, когда Маша лежала уже в постели и я проходила по комнате, она подозвала меня к себе и тихо сказала: «Леля, Николай Осипович велел тебе кланяться». Что думает Маша, что так таинственно передает поклон? И через Гоха я часто получаю поклоны, но Гох способен их и выдумать.

Понедельник, 28 ноября.

Осипов уехал. Вчера Коля, Гох и Кулибин проводили его на железную дорогу, в Москву. Третьего дня он был у нас. Ну, и конец. Ставлю крест на все.

Вторник, 29 ноября.

Приехали Глинки и были у нас; они все те же. Вчера хотели ехать к ним, но гости задержали. Была опять репетиция, и Меи опять привезли еще новое лицо; скольких уже навезли нам они! На этот раз то был Розальон-Сошальский. Он уже давно желает с нами познакомиться, т. е., сказать вернее, желает бывать у нас. Что он за личность, — не знаю. Говорят, он очень богат, помещик харьковский; впечатление же на меня произвел неприятное. В субботу же на репетицию привезли они также одного, Моллера Егора. Он где-то что-то пишет, а у нас будет суфлером и режиссером[84]. Кроме актеров были в субботу Панаевы и Арбузов. Я верно сказала про Панаева, что он иногда умен, иногда глуп; в субботу он был глуп. Арбузов же с каждым разом кажется все приятнее и приятнее. Говорят, что Гейне умер[85]. Мы

с Арбузовым много читали его и говорили о нем. Мама подарила ему портрет Гейне, и он пришел от этого подарка в восторг неописанный Я очень часто видаюсь с Арбузовым и, кажется, дружусь с ним, но он еще точно дитя. Опять надо итти вниз, опять гости. Дядя приехал; он целый месяц, бедняжка, был болен.

Пятница, 2 декабря.

Сегодня день рожденья Коли, и сегодня была последняя, генеральная репетиция, и все устали и полегли уже спать. Получила сегодня стихи от Федора Николаевича, т. е. в стихах просьбу прислать им обратно корзину восковых цветов, которая летом так всем нравилась у нас. Эти восковые цветы моей работы. Я подарила их ему в память его чтения нам «Божественной Капли» прошедшей, нет, запрошлой весной. Там и роза, и камелия и пассифлора, — она особенно хорошо удалась, — и нарцисс, и резеда, и васильки, и прочее и прочее. Каждый цветок по выбору мама соответствует одному из слушателей. Так, пассифлора — сам Глинка, резеда — Авдотья Павловна, камелия — графиня.

На меня все смотрят, как на приговоренную к смерти, и это очень неприятно, тем более, что я совсем не так больна, и давно бы уж поправилась, если бы не эта сутолока в доме, засиживание по ночам и утомление. Папа достал мне из Гатчинского зверинца ослицу, что было сделать нелегко. Неужели же его хлопоты пропадут даром? В голове еще не ясно, как-то путанно. Но, бог даст, прояснеет и распутается. Осипов не зашел к Гоху проститься с Елизаветой Андреевной. Это очень нехорошо с его стороны; и Гох огорчен. На днях графиня опять подошла ко мне и так же печально, как в тот раз, спросила, простились ли мы с «нашим ополченцем». Я отвечала, что да; что он был у нас. «Так вы с ним объяснились?» — и на мой отрицательный ответ поспешно прибавила: «И хорошо сделали». Потом продолжала: «Я ему на прошедшей неделе говорила, чтобы он пошел ко всем, ко всем проститься». Она хотела еще о чем-то продолжать, но нас опять разлучили.

3 декабря.

Меня смешит Тулубьев. Он спит и видит попасть в дом Толстых. Но графиня дала торжественно слово никого из нашего дома не приглашать, и делает поэтому sourde oreille[86] на все его заискивания; как он ни бьется, ничего не помогает. Это он постоянно мешает нашим беседам о ревности и прочем. Я, наконец, надумалась, когда он подойдет еще раз, уйти, что тогда, может быть, графиня смилуется над ним, и так ведь и вышло. Не

прошло четверти часа, как он прибежал ко мне, весь сияющий, объявить, что в воскресенье будет у Толстых. Пропасть народа обедало у нас сегодня, а теперь артисты начинают уже одеваться Сейчас пришел парикмахер; Моллер гримирует.

6 декабря.

Спектакль имел полный успех; даже Часовников, Полянская и Аннет играли недурно. Шли «Живчик» и «Две капли воды». Подъезд был с Мойки. Входили через зимний сад, и эффект был совсем очаровательный. Зимний сад был освещен, но местами листья бананов бросали гигантскую тень, и эта тень была какая-то таинственная, и таинственен казался шум падающих капель. Лампы в других местах проливали какой-то теплый свет на растения, там все листья играли золотом, и, тихо колеблясь под падающими на них светлыми каплями, роняли их на удивленных гостей, недоумевающих, откуда сей дождь; а между тем капель эта, редко впрочем попадающая на кого-нибудь, происходила от влаги, скопляющейся на потолке. Самая атмосфера нашего сада, какая-то особенная, приятно-теплая и растворенная запахом растений, имеет, для меня по крайней мере, неотразимую прелесть. Из сада входили в «нашу любимую комнату, названную почему-то диванной; в ней всего два дивана, а то все стулья. Здесь прямо против широких дверей сада стоит театр, окаймленный легкой, грациозной аркой, с кариатидами — предметом восхищения всех, и художников и не художников. Зрителей было сто двадцать человек, кроме домашних. Играли очень недурно, а некоторые положительно хорошо. Был и дивертисмент, немножко пошловатый только: Ознобишин представлял сцены купца из пьесы «Складчина на ложу». Потом, после ужина, когда оставалось человек тридцать, не больше, он, неутомимый, плясал еще матлот, и так хорошо, что даже папа хохотал, а Аля от избытка чувств сказал ему: «Вы, Илья Иванович, не только на свое руки, но и на все ноги мастер».

Святский представил чиновника на балу у генерала и аристократа на балу. Разошлись очень поздно. В воскресенье были именины Вари, и мы обедали у дедушки. А поутру заезжали поздравить княгиню Шаховскую и застали там Толстую и Орлову. Что это за женщины! Странно было мне слушать их, больно не верить им. Одна все говорила о боге и церкви; другая о чувствах. Но не перехожу ли я границ справедливости относительно Толстой? Не злобное ли чувство владеет мною, или просто завеса спала? Сама не знаю, но лучше воздержусь. Ведь поставила же я крест на все. Была у Шаховской еще Майкова, Евгения Петровна; вот эта женщина милая!

Не записала, что Карс взят, и какая была радость при получении о том известия. Двадцать два знамени поставлены у Троицы; 4-го было благодарственное молебствие. Вчера весь день была опять как в воду опущенная, а вечером, у Рыжовых, вдруг разыгралась и всех пересмешила; Sophie все только приговаривала: «Что это за Леля за потешная!» Коля именинник. Сейчас были дедушка, Варя и Познер, офицер, которого представили Игнатовичи. Дядя, Полонский, Ознобишин, Моллер и Часовников обедают у нас. Недавно Полонский говорит: «А у вас опять будет маскарад [один был в прошлом году], и меня спрашивают, шью ли я уже себе русскую рубашку, потому что говорят, что все дамы будут в сарафанах, а мужчины в рубахах». Это верно кто-нибудь выдумал в насмешку на то, что у нас говорят все по-русски.

14 декабря.

Удивительные вещи говорятся иногда, и удивительный хаос производят они в голове моей. К старости ли стала я такая чуткая, или это болезненное состояние, но на меня страшно действуют иные речи, могу сказать, что «ничто меня не идет мимо». А просить, чтобы растолковали, — некого. Полонский очень умный человек, но он меня не понимает. Может быть, я говорю бестолково; может быть, но вчера я старалась сделать ему понятными мои мысли, он не понял ничего. Осипову я иногда говорила вещи, мне самой еще неясные, и он понимал всегда, и мне потом становилось ясно. Иногда речь шла о чем-нибудь таком неуловимом, на что и слов-то, кажется, нет; он и то понимал. Полонский, может быть, равнодушнее ко всему.

15 декабря.

Опять будет спектакль. Ознобишин и Моллер обедали сегодня у нас. Насчет спектакля еще не решили. Хотят, чтобы играли дети. Едем сейчас к Ливотовым, она нездорова. Завтра дают в первый раз драму Потехина: «Чужое добро впрок нейдет». Все будут в театре[87]; т. е. все литераторы, с женами, у кого они имеются, Толстые и мы.

Пятница, 23 декабря.

Не писала целую неделю; не хотелось. Драма Потехина имела, больший успех, чем «Ипохондрик» Писемского[88]. Надо признаться, что Писемского вызывали почти исключительно с нашей стороны залы, т. е. где находилось большинство его знакомых, ну, а Потехина со всех сторон; или, может статься, у него знакомые были выгоднее размещены. Играли зато у него

хуже, чем у Писемского; один Мартынов был хорош[89]. Как удивительно усвоил он себе замашки мужика, молодого парня. Самойлов, же, знаменитый Самойлов, не знал роли. Орлова была отвратительна; не знаю, игрой ли своей, или тем, что слишком напоминала мне мою знакомую, Орлову. По роли ей то и дело приходилось повторять те слова, что и в жизни не сходят с ее языка. Я знаю, отчего Самойлов дурно играл, ему, во-первых, было досадно на автора, который сам учил всех актеров и так вдолбил в них роли, что Меи, которые сидели в ложе возле нас, все ахали о том, что каждый актер говорил даже голосом Потехина. Потехин читает превосходно и обладает даром менять голос даже на женский. Вот Самойлов и объявил, что не будет ездить на репетиции, а слушаться Потехина тем менее, и не ездил почти. Это первая причина, вторая же та, что надо было играть с Бурдиным: и Орловой, которых он терпеть не может.

Четверг, 29 декабря.

Проходят праздники. Давно потухла волшебная елка, — ее уж и забыли. Что делали мы на праздниках? В понедельник были у Полонского на именинах[90]; он пригласил Толстых с дочерьми и нас с Машей и Олей. Дети играли с маленькими Мишей Смирновым и Сережей, князем Оболенским, а мы сидели в комнате Полонского. Кроме нас были у него еще Щербина, Потехин, Михайлов и Шелгунова, Людмила Петровна. Эту Людмилу Петровну рекомендовали мама, как отличную актрису; мы скоро увидим ее на наших подмостках. По пути домой мы расспрашивали Машу и Олю, весело ли им было и что они делали. Маша начала рассказывать, но, когда дошло дело до самой Смирновой, она вдруг сказала: «Ах, какая она гадкая, такая противная». На замечание мама, что так выражаться ей не подобает, она сослалась на то, иго не одна она это говорит, но и Катя и Оля Толстые, и наша Оля также. Я никогда еще не видала наших девочек в таком азарте, и против кого же? Против друга *Жуковского*, *Гоголя*, *Плетнева*, очаровательной Александры Осиповны Смирновой, которой писал стихи Пушкин и *Лермонтов* посвятил: «Без вас хочу сказать…» Она привлекала к себе лучших людей своего времени, и вдруг четыре девочки решили, что она гадкая и противная. Хотелось бы мне ее видеть. Она теперь больна, не встает с кушетки, и потому не могла прийти к Полонскому. Из того, что я о ней слышала, помимо мнения четырех девочек, я составила себе такое понятие, что она хотя уж и не молода теперь и болезненна, но все еще привлекательна и умна, но и тщеславна; любит окружать себя умными людьми, людьми, выходящими из ряда вон, недюжинными, оттого и

пригласила в воспитатели к сыну поэта. Ее друг Жуковский воспитывал наследника русского престола, другой поэт, не хуже Жуковского, а может и получше, будет воспитывать ее сына. Ей дела нет до того, годится ли поэт в воспитатели; она забывает, что при наследнике был еще Мердер, не поэт. Полонский честен, добр и умен, но, чтобы воспитывать мальчика, нужны еще неусыпная бдительность, твердость и точность: поэтов ли то свойства? Удивил меня тогда у Полонского и Щербина. В начале вечера он острил по обыкновению, и по обыкновению его слушали и восхищались его остротами, но наконец как-то посмеялись над ним самим и сказали, что он зол, задели, одним словом, его самолюбие. Щербина не терпит, когда его зовут злым, просто злым; по его мнению, он не злой, *а бич общественный.* Он замолчал, заговорили о другом и его забыли. В конце вечера же кто-то заметил его отсутствие. Стали оглядываться, искать, и нашли его на окне за шторой, из-под которой висели его коротенькие ножки. «Николай Федорович, что вы там делаете, подите сюда», — послышалось со всех сторон. Он соскочил с окна, постоял посреди комнаты и пошел сесть на пустое место возле меня. «Что с Вами?» — спросила я. «Ничего, — отвечал он, — только зачем называют меня злым, я, право, не злой». Я посмотрела на него, он хотел отвернуться, но не успел, и я увидала в его черных на выкате глазах слезы. Эти слезы несказанно удивили меня. Не говоря уже о том, стоило ли плакать о таких пустяках, было еще чрезвычайно странно видеть слезы в Щербининых насмешливых глазах. И о чем он плакал, этот бич общественный? Разве не своей волей пишет и говорит он злые вещи и эпиграммы? Он, между прочим, постоянно уговаривает меня писать дневник и вносить в него все, что я вижу и слышу. Ну, вот я и вношу сегодня про него самого, но был ли бы он доволен, если бы прочел?

Во вторник были на детском балу у Гамбиов. Наши дети — мое самое горькое горе, хроническая болезнь моя. О них я никогда не пишу; не к чему; помочь нельзя. Я боюсь, что из них ничего не выйдет. В то время, как у нас тут полная чаша всего: и самого лучшего, и яду, — на долю детей выпадает только яд; они извлекают только яд, не пользуясь лучшим. Может, я ошибаюсь, дай бог! Но что хотела я сказать? Да, что Маша и Оля были самые миленькие на балу.

Суббота, 31 декабря.

Мы живем ужасно шумно… Каждый день новые знакомства, и то спектакль, то маскарад, а теперь еще задумывают пикники. Спрашивается, для чего и для кого все это? Если бы были в доме

взрослые дочери-невесты, ну, еще куда ни шло! Можно бы. Но я, хотя и взрослая, не невеста, да и не участвую ни в чем. Папа все это страшно тяготит; детям вредно; расходы страшные.

Скоро свадьба в.к. Николая Николаевича. Папа очень занят: спешит, чтобы окончить к сроку его комнаты; в Зимнем дворце двести рабочих работают день и ночь. Про государя говорят, что он всех слушает и никого не слушается. При Николае Павловиче всегда знали, что привез курьер, теперь не знают ничего даже самые приближенные, как, например, князь Барятинский и Иван Матвеевич Толстой. Все ожидают много хорошего от этого царствования. Одно только приводит в недоумение, это беспрестанные перемены формы военных. В Петербурге, кажется, нет двух офицеров, одного и того же полка одинакова одетых: один уже в новой форме, другой еще не успел ее себе сшить, а третий уже в самой новейшей. Какая тут цель, — неизвестно. Фуражкам, заменившим каски, конечно, все рады, но для чего галуны вместо шитья; брусничный цвет вместо красного, разрезные рукава и прочее и прочее, — неизвестно.

Не обмани нашу надежду, царь! От тебя все ждут блага, ты блага и дай!

Война, война! Может быть, в ее горниле перекипит все к лучшему. Но сколько погибнет до тех пор!

1856 год
Дневник

Воскресенье, 1 января.

Гостей вчера было очень много; и закостюмированные были. Танцовали до четырех часов утра. Полонский сказал вчера великую истину, что если не хочешь иметь неприятностей, то не имей близких знакомых. Слышу голос Бурдина; он теперь редко бывает у нас. Мама обрадовала меня утром, объявив, что сегодня вечером мы не поедем к Толстым. Давно бы так! А она еще не знает, что графиня говорила сегодня Полонскому: «Мой бедный старик встретил новый год совершенно один, потому что все наши знакомые «были у Штакеншнейдеров». Я просила Полонского не говорить этого мама.

Сейчас катались; уезжали от визитов. Были у Гоха, он, бедный, болен.

Понедельник, 2 января.

У кого горе разнообразнее моего? Есть у меня видимое, которого не скроешь, есть такое, которое скрываешь от других, и есть такое, которое скрываешь от себя. Которое сознать страшно. Ну, да что. Едем в русский театр. Дают драму: «Окно во втором этаже», потом комедию «Браслет»; в ней играет Владимирова. Владимирова поступила на сцену только нынешнею осенью; страсть к сцене сделала ее актрисой. О ней говорят очень много, и, кажется, одни мы ее еще не видали. От нее ожидают, что она воскресит былое русского театра. Теперь оно утратилось потому, говорят, что пьесы устарели и актеров нет. Теперь водворяется на сцене так называемая натуральная школа. Не понимаю, отчего к натуральной школе должны принадлежать только такие произведения, в которых герои взяты из низшего сословия? Если цель натуральной школы — дагеротипически верно изображать действительность, то для чего же выводить на сцену все только купцов и крестьян, лакеев и вообще мелкий люд? Если ее цель показать только грязь, то грязь есть и в высших сословиях; если же ее цель показать не одну грязь, а правду без прикрас, то и правда бывает везде. С появлением этой школы читающая часть общества разделилась на партии. Партия, враждебная натуральной школе, назвала ее литературой передних. И еще я не знаю, должна ли литература следовать за жизнью, итти с нею рядом, или должна она итти вперед и указывать ей путь к идеалу.

Вторник, 3 января.

Вчерашним спектаклем я не очень довольна. Владимирова хороша собой, но в игре ее чего-то недостает, кажется, искры божьей. Мне все жаль старого графа, что он встречал новый год в одиночестве, хотя нахожу, что так-то, т. е. не совсем одному, а в своей семье, и следует его встречать. Виноватыми нас в этом не признаю, но слова графини как-то жалостны.

Среда, 4 января.

Вчера были Бенедиктов, Полонский, Щербина, Ознобишин, Горавский и Андреев, новый актер нашего театра. Вышла январская книжка «Библиотеки для чтения»[91]. Там роман Потехина — «Крушинский», стихи Никитина, вроде Кольцова; и перевод из Беранже Курочкина — «Старушка», прелесть какие хорошенькие. Где-то теперь Осипов, что-то он делает? У меня еще не прошла привычка — каждую литературную или вообще интересную новость передавать ему. Первое движение к нему, — а его-то и нет! Уезжая, он просил меня отвечать ему, если он напишет. Ну, уж не знаю, буду ли. Впрочем, он не пишет, и не писал еще и графине.

Воскресенье, 8 января.

Мир, мир! Или не мир? Неужели нет, неужели да? Четвертый день носится этот слух. Неужели мир? Неужели войны больше не будет? Что же, если это правда, что же не кричат все от восторга? Или сладость мира отравлена горечью для побежденных? Мир будет какой? И мир воскресит ли мертвых? Еще манифеста нет, еще весть эта тайна, — тайна, которая не сходит с уст.

Вечер.

Когда все успокоится? Как попали мы в это кружение? Как это случилось, что мы живем в вихре светской жизни? Для чего и что это значит? Сколько незнакомых знакомцев переступило наш порог. Одно тянет за собой другое. Из наших тихих литературных вечеров образовался театр, и теперь каждый спешит привезти актера, а то и просто зрителя, и вышло, что мы и счет нашим знакомым потеряли. Щербина опять говорил мне вчера: «Пишите свой дневник как можно подробнее, знаете, все мелочи записывайте. Не пишите о том, что и без вас будет известно из газет, но то записывайте, чего не могут все знать; подробности, которые будут интересны через несколько лет». Я рада слушаться Щербину, но уменье-то, уменье выбирать! Один старичок, сенатор Жихарев, знакомый и товарищ по Московскому архиву дедушки, пишет в «Отечественных Записках» свои воспоминания под

заглавием «Дневник Чиновника». Вот бы мне так уметь! Дневник этот начал он со дня вступления на службу, и, как любитель театра, подробно описывает его. В то время Озеров только что написал «Дмитрия Донского». Жихарев был на предпоследней репетиции этой трагедии[92] и так подробно описал ее, что по его запискам дают ее в понедельник, т. е. завтра, в бенефис Орловой. Мы не достали ложи, а любопытно было бы видеть, будто воскрешенными, всех тогдашних актеров и актрис.

Среда, 11 января.

Постыдный мир, тяжелая необходимость, прекращение бедственной войны и унижение России. Грешно радоваться, а как и не радоваться прекращению ужасов. Что-то будет теперь. Сегодня, когда был Струговщиков, между прочим, папа рассказал, что он видел утром одного немца, который не может понять, что есть люди, которые не радуются миру. «*Немцу,* конечно, непонятно, а случись то же самое в Германии, так понял бы», — говорил папа.

Понедельник, 16 января.

Я скоро тебя заброшу, дневник мой, за то, что ты не можешь вместить в себя всего, что я вижу и слышу; главное — слышу. Беспрестанно схожусь я с людьми самых разнообразных характеров, странных взглядов, каких-то неведомых мнений. Пока другие танцуют, играют и говорят и слушают давно затверженные речи, я сижу, не то, что лишняя, но совсем не принадлежащая к ним; и тоже слушаю, но иные речи. Эти не затвержены, они впервые еще раздаются, и в них шумная толпа моих однолеток и не вслушивается. Ей не к чему; да и мне не к чему бы, да уши есть, а дела нет Вот о чем хотелось бы писать, и — не умею, не поспеть. Да и боюсь неверно передать. Что говорится, что делается кругом! Перерождаемся ли мы все, или только народились новые люди? Россия точно просыпается, как та царевна в сказке, что под чарами злой волшебницы спала сто лет. Но разница между той сказкой и нашей действительностью огромная. Там, проснувшись, люди продолжали свою жизнь с мига, прерванного сном. Повар достряпал обед, начатый сто лет тому назад; царь закрыл рот, раскрытый за сто лет для зевка. Не будь царевича, который изумлялся старине, никто в том царстве и не знал бы, что сто лет длился его сон; все там осталось по-старому. У нас же, едва протерев глаза, все заговорили разом о новом, захотели нового, точно о нем грезили во сне. Что будет теперь? Все принялись что-то делать, не то строить, не то разрушать, я не разберу; конечно, на словах только Щербина с

того вечера у Полонского часто подсаживается теперь ко мне и говорит, говорит много. Несмотря на свое пустозвонство, т. е. мелочную придирчивость и обидчивость, выражающуюся колкими остротами насчет обидевших его и насчет всего, что так или иначе причастно к правительству, начиная с квартального и кончая министром, он тоже делает что-то новое. Но в Щербине два человека[93]. Один вечно норовит уколоть, и колет, и потом плачет, если ему дадут сдачи, — этого я не люблю. Другой — поэт. Со мной он редко бывает первым; на меня не стоит тратить свои жала, или перлы своего остроумия. Со мной он говорит о том, что можно выразить его же стихами:

> И счастие возможно ль мне, друзья,
> Палимому лучами идеала…[94]

Иные находят, что вольно ему палиться этими лучами. Ах, господа! Можно научиться тому, чего не знаешь; перестать знать, что знаешь, — нельзя. Щербина полумалоросс и полугрек[95]. Грек-то он, кажется, не из Греции, но какой-то здешний, но эта причастность к Элладе его несказанно утешает и составляет гордость его; и он в стихах все тоскует по ней, по своей Элладе, которой никогда не видел. И, надо сказать, некоторые стихи его очень хороши.

Эта греческая часть Щербины вместе с поэтической, — впрочем, они нераздельными есть лучшая. Другая, малороссийская — нехороша: в ней его обидчивость и его чрезмерная чувствительность относительно себя. Я сама малороссиянка по деду, но не люблю малороссов. Эта чувствительность относительно себя, требовательность, и требовательность не прямая, смелая, а какая-то с нытьем, была ведь и у Гоголя.

Среда, 18 января.

Вчера собрались у нас Полонский, Шелгунов с женой, Михайлов и Арбузов слушать «Земную Комедию» Майкова. Стихотворение это нецензурно, и Майков долго не решался его читать. За джином завязался оживленный разговор о разных отвлеченностях и, наконец, о дружбе. Не помню как, коснулись дневников. Шелгунова ведет дневник; мама рассказала о моем, и вдруг потребовали его. Вот страх-то был! На было уже слишком поздно, и меня оставили в покое.

Четверг, 19 января.

В субботу был второй наш спектакль и опять удался

прекрасно, кроме «Тяжбы» Гоголя, которая тоже была прекрасно разыграна, но, кажется, не годится для домашнего театра. Остальные пьесы были: «Как аукнется» и «Соль супружества»[96]; в последней играли Шелгунова, Михайлов и Моллер. С Шелгуновой и Михайловым мы видаемся ежедневно; Михайлов без памяти влюблен в нее. Полонский, как мотылек, который летит на огонь, летит тоже туда, где есть любовь, не обжигая себе крыльев, впрочем, а так только греясь.

На него Шелгунова не производит впечатления, но, смотря на нее глазами Михайлова, и он ее — Il l'admire[97], — русского выражения не приберу. Вообще окружают Шелгунову почти поклонением. Она не хороша собой, довольно толста, носит короткие волосы, одевается без вкуса; руки только очень красивы у нее, и она умеет нравиться мужчинам; женщинам же не нравится. Я все ищу идеальную женщину и все всматриваюсь в Шелгунову, не она ли. До сих пор кажется, что нет. Она умна, т. е. она может говорить обо всем. Не знаю, что говорит она, когда сидит вдвоем с Полонским, Тургеневым, Григоровичем и другими, с мама же вдвоем она чаще всего рассказывает анекдоты, которые сама называет скабрезными, и потому обыкновенно велит мне уйти. Мужа своего она называет Николай Васильевич и говорит ему «вы»; он также говорит ей «вы», но зовет ее Людинькой. Ей лет двадцать семь; детей у них нет, и потому она свободно может располагать своим временем. Михайлов от нее без ума. Михайлов чудесный человек. Так ли он умен, как добр, честен и талантлив, не знаю, так как в настоящее время он ведь без ума от Шелгуновой.

— К тому же он много занимается френологией; а мне кажется, что умный человек этой наукой долго заниматься не может. Эта наука для женщин, поэтов и сумасшедших; впрочем, Михайлов — поэт. Собой Михайлов очень безобразен; редко увидишь такое лицо, как у него, с глазами, еле прорезанными, и густыми черными бровями. К тому же он мал ростом, худенький, черненький, с землистым цветом лица и вообще некрасивыми чертами. Но зато голос его, когда он заговорит, — я такого чудесного голоса никогда не слыхала, и читает он превосходно. Да и вообще он такой симпатичный, что забываешь его безобразие. Он, кажется, калмыцкого рода, по крайней мере происходит из тех мест; этим отчасти объясняются его глаза, но и для калмыка они всё же исключение; у него верхнего века почти нет. Что чувствует к нему Шелгунова, не знаю; она с ним ласкова. Они часто целые вечера просиживают где-нибудь в углу вдвоем, и о чем говорят, — не знаю. Я думаю, что если бы Шелгунова ему сказала броситься в огонь, он бы бросился с радостью; если бы

она убила кого-нибудь, он бы был счастлив взять грех ее на себя. Шелгунов сам кажется не то, что умнее, но хитрее Михайлова; он совсем не поэт и совсем не симпатичен. Убеждения же, которые он высказывает как-то жестко-насмешливо, самые новые и противоположные всему привычному.

Воскресенье, 22 января.

Папа недоволен нашим времяпровождением. У него гибель забот, он хворает, а ему нет покоя. Расходы наши должны быть громадны. Я их не знаю, как не знаю и доходов, но часто слышу разговоры его об этом с мама. Куда мы несемся, и чем это кончится? Для кого и для чего? Мама попала в какой-то круговорот и не может остановиться. Между папа и мама бывают страшные сцены, а на другой день опять все то же, репетиции, и все по-старому. Папа говорит, что, кроме того, что мы разоряемся, останемся ни при чем, наша жизнь кидает тень на него. Никто ведь не поверит, что мы проживаем все его содержание, думают, что он откладывает, а нам не хватает его большого, в самом деле, содержания.

Яков Петрович Полонский (1819–1898).

Вечер, 11 часов.

Умер Паскевич, третьего дня. Уж две недели, как приехал Горчаков из Севастополя; он будет теперь наместником в Польше. Комнаты Николая Николаевича готовы, и завтра, в девять часов утра, мы с Ливотовыми поедем смотреть их. В понедельник, в тот еще, были у Глинок. Федор Николаевич читал два отрывка из «Божественной Капли», а Авдотья Павловна прочла несколько глав из повести, которую пишет теперь, под заглавием «Графиня Полина». Контский играл; Штанкер им восторгалась. Были там еще Толстые, княгиня Шаховская с сыном, князем Иваном;

Орлова, которая, слава богу, у нас больше не бывает, две баронессы Боде, Марья и Вера Александровны, молодой Вигель, Чирков, Бирн, англичанка-филантропка. Бенедиктов был тоже и читал. Еще много народа было. Был известный мистик времен Александра I, теперь магнетизер, князь Голицын. Был адъютант с грузинской физиономией; были Жадовские, отец и сын; был Греч. Вигель говорил мне, что Авдотья Павловна пишет роман «Людмила», в духе, противном натуральной школе, и что в нем, в лице одного ничем не довольного поэта[98], выведен Майков, которого она терпеть не может. Щербина прозвал Глинку *ходячим иконостасиком*[99], но это не мешает ему знать его «Москву» и «Плач пленных иудеев» наизусть[100]. Арбузов очень странный человек. Болезненный, нервный в высшей степени, он настоящий поэт по настроению, по характеру, если не по таланту. Какие-то мучительные мысли и песни встают из глубины души его, но облечь их в подобающие им слова и звуки у него нет сил; и тревожит его неразрешенная и неразрешимая загадка загробной жизни. Он взял с меня честное слово и дал мне такое же, что тот из нас, кто умрет первый, явится к другому поведать загробную тайну[101]. Если только будет возможность, то я, конечно, явлюсь к нему. Недавно он рассказал мне по секрету, что начал писать современную драму, и хочет выразить в ней все, что чувствует, видит и слышит; что знает, и что накипело и наболело у него на душе. Сегодня воскресенье, но мы не поедем к Толстым. Бедный граф! Он состарился, ослабел, и вот ему, живому еще, нашли преемника. Откуда-то с Кавказа вызвали сюда молодого, здорового и предприимчивого любителя искусства, князя Гагарина. Он сторожит теперь гаснущий пламень жизни старика; но сторожит не так, как сторожили весталки, чтобы он не погас, а напротив того; и тогда живо опрокинет жертвенник графа и поставит свой.

Среда, 25 января.

Перед тем, чтобы ехать нам смотреть комнаты великого князя, явились к нам Шелгунова, Моллер, Волков, Ознобишин и Андреев совещаться о театре; и Шелгунова поехала с нами во дворец. Комнаты восхитительны; не вышел бы из них. Гостиная chef d'oeuvre[102] папа; легкость и изящество этой комнаты нельзя описать. Потолок лепной о позолотой; у колонн, зеркала, и на зеркалах и на камине сидят беленькие амурчики. Эта комната в стиле рококо и полна цветов и уюта. Сам будущий хозяин был тоже там, сказал несколько слов и исчез. Ливотовы и Шелгунова обедали в этот день у нас; а вечером были мы опять у Глинок и видели там Бирюлева, одного из севастопольцев. Сегодня едем к

Шелгуновым. Бедный дядя все болен, и доктора посылают его за границу. Наконец, решено, 25 февраля будет у нас последний вечер. Как я рада!!!

Вторник, 31 января.

Вчера Авдотья Павловна произнесла свой приговор над графиней; заочный, конечно. Хотя она и была там же, но, конечно, как уничтожали ее, — не слышала. Я пишу это, а мне грустно между тем. Ведь все же лучшие минуты своей бедной радостями жизни я провела в ее доме. Везде, где я бывала прежде, до знакомства с Толстыми, со мною обращались почти жестоко; только у них я отогрелась. Не разглядев в ней притворщицу, я полюбила ее, да, кажется, и теперь еще люблю ее, бедную притворщицу; по крайней мере очень мне гадко было вчера слушать, как ее уничтожали. Да и не может она быть уж так дурна; ведь друг же ей Осипов. Впрочем, что я про Осипова, ведь не друг же он папа.

Среда, 1 февраля.

Во вторник, седьмого числа, в третий раз зажгутся ослепительные лампы нашего театра, и в третий раз выступят на его подмостках наши актеры и актрисы. Но в этот раз это будет в пользу бедных, и оттого хлопоты как-то торжественнее и важнее. Между тем репетиций еще не было ни одной, а сегодня среда. Вчера приехала Шелгунова и объявила, что через час будут к нам Шашины, певицы, для дивертисмента. И действительно, ровно через час явились обе сестры Шашины, — одна певица, другая аккомпанирует ей, — и привезли с собой еще третью певицу, m-elle Толь. Мы их никогда прежде не видали, и они нас также. Они произвели странное впечатление. Высокие, со строгими чертами лица, не молодые, одеты с ног до головы в черное, они едва поздоровались и, не проронив ни одного слова, тотчас принялись за дело, пропели, напились чаю, и так же молча удалились. Впрочем, m-elle Толь не так внушительна, как ее подруги, она, во-первых, совсем курносая, во-вторых, моложе, голос ее свежее, и на ее черном платье был один розовый бантик. Говорят, Шашины были очень богаты когда-то, но разорились, не вышли замуж и стали какие-то странные. Кроме них участвует в дивертисменте Родионов, Исуевич, Григорьев и Зейверч, виолончелист Кресло стоит три рубля, и их берут нарасхват. Зато и приманка ведь немалая: Тургенев, Дружинин и Григорович хотят играть у нас. Они были в прошедшую субботу[103]. Пьесу, которую думают они играть, они сами все вместе сочинили[104] и уже играли в деревне у Тургенева; называется она «Школа Гостеприимства».

Напечатана она никогда не была[105], да и списка ее, кажется, т. е. цельной рукописи, не существует. Они еще должны сами ее восстановить в целости; это просто что-то вроде фарса. Признаюсь, что как ни дорого стоят наши увлечения, во всех отношениях, но видеть Тургенева на своих подмостках — вознаграждение немалое[106].

Четверг, 2 февраля.

Вот тебе и раз! Тургенев играть не будет, да и Дружинин и Григорович также. Уже тогда, уходя от нас, Тургенев сказал Полонскому: «Не знаю, как это я буду ломаться на подмостках перед Гречем».[107] Полонский ничего ему не ответил, но и его взяло раздумье. Между тем Григорович должен ехать куда-то и не может отложить свою поездку; его же роль главная в пьесе. «Как же мы будем без Григоровича, — говорит опять Тургенев, — он нас всех поддерживал». Григорович уезжает, Тургенев не хочет играть без него, но зато Дружинин, хотя тоже отказавшийся, потому что Тургенев и Григорович отказались, восстановил пьесу. Приехав от нас домой, он тотчас же сел и в продолжение ночи всю написал ее вновь, почти на память, потому что и черновой целой у них не было, а были только отрывки. Утром он ее переписал с помощью Михайлова, но, когда узнал, что Тургенев не будет играть, объявил, что и он не играет. Михайлов ужасно обозлился на них и выругал их. Если бы не он, или, лучше сказать, не Шелгунова, которой хочется, чтобы пьеса была поставлена, то все бы пропало, все решили, что будут играть и без них, т. е. без этих авторов-тузов, аристократов, — как их прозвала Шелгунова. Михайлов взял пьесу у Дружинина и принес нам, и долго еще бранился, но наконец успокоился, обедал у нас и после обеда занялся френологией; и, видя мое недоверие к этой науке, обещал принести книгу о ней и учить меня. Милый Михайлов, и бранится-то он мило[108]. Но довольно о театре, который может сбить с толку хоть кого, и от которого можно окончательно одуреть. Сколько раз у них расстраивалось и устраивалось; сколько переменялось актеров и актрис; сколько при этом было анекдотов, — этого и рассказать нельзя.

Пятница, 3 февраля.

От всех занятий отбилась и ничего путного не делаю. Гох недоволен, что я почти что не рисую; и работы мои лежат не тронутые, и книги не читаются; голова — как в тумане, мне не скучно, некогда скучать; но на дне души точно ранка болит.

Суббота, 4 февраля.

Сейчас принесла мама и положила мне на стол мои бриллианты, серьги, брошку, браслеты — все атрибуты моей пытки. Сегодня бал у Бруни. Она их принесла с таким видом, точно знает, что обрадует меня; точно слезы, которые навертываются на мои глаза, — слезы радости. Она смотрит на меня и улыбается. Слепая она, что ли, или хочет не видеть?

Суббота, 11 февраля.

Театр снят и точно гора с плеч! Во вторник был спектакль в пользу бедных, и шла пресловутая «Школа Гостеприимства». Надо признаться, что для спектакля с благотворительной целью, следовательно, за деньги и, следовательно, такого, на котором могли быть и незнакомые, выбор пьесы был не совсем удачен. Не говоря уже о «Школе Гостеприимства», «Жид за печатью»[109], где Ознобишин был просто отвратителен, не очень-то подходящая для такого спектакля пьеса.

«Школа Гостеприимства» состоит в том, что один легкомысленный помещик, возвращаясь к себе в деревню из Петербурга, назвал к себе оттуда пропасть гостей. Между тем у него в деревне сварливая жена, которая его держит под башмаком, дерзкая и ворчливая ключница и полнейший беспорядок. Лестница сломана, мебель сломана, прислуга пьяная, и есть нечего. А между тем, приглашая гостей, он насказал им, что его деревня рай, полная, чаша, что всего там много, и сады, и оранжереи. Действие начинается тем, что, томимый предчувствием, что гости едут, он не знает, чем задобрить жену. Несчастный муж был Михаил Иларионович Михайлов, жена — Шелгунова; ключница — Игнатович, студент, сын директора I гимназии. И вот гости приезжают. Первым является Щепетильников (Моллер), действительный статский советник, со звездой, подагрик и старый волокита. За ним приезжает Брандахлыстов (Волков), актер и настоящий ураган. Начинает он с того, что выталкивает из комнаты хозяина и съедает яичницу, приготовленную для генерала, и которую тот, впрочем, не мог есть потому, что она была из тухлых яиц. Он ломает стулья; курит и пускает прямо в нос Щепетильникову дым; декламирует беспрестанно, в пылу декламации стибривает у генерала кольцо с дорогим солитером. Впрочем, Брандахлыстов вина не пьет, а женщин называет ничтожными созданьями, хотя и поет: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» Третий гость — Хлыщов (Андреев), модный литератор, автор клетчатых жилетов, одним словом, Иван Иванович Панаев, издатель «Современника», которого Щербина прозвал «Коленкоровых манишек беспощадный ювенал». Хлыщов начинает разговор со Щепетильниковым, и оба

они стараются перещеголять друг друга великосветскостью, задают тона, но Брандахлыстов внезапно вмешивается в их разговор, говорит какую-то дерзость, Хлыщов отвечает тем же, происходит потасовка. Покуда они дерутся, является Таратаев (Ознобишин), петербургский вивер. Он их мирит и отряжает Брандахлыстова и Хлыщова распорядиться насчет комнат, где бы они могли расположиться; велит занять детские, а детей перевести в оранжерею и потравить их собаками, если они станут сопротивляться. Между тем сам он успевает отхлопать Щепетильникова, разругать хозяина и хозяйке рассказать кучу возмутительных вещей про мужа ее; рассказал и что детей травят собаками; одним словом, поднял невероятную кутерьму. Затем приказал принести сена, чтобы после обеда на нем выспаться. Сено приносят, и в это время возвращаются из своей экспедиции Хлыщов и Брандахлыстов; Хлыщов затравил детей, а Брандахлыстов поджег дом. Во время этого содома Таратаев вдруг подает знак Брандахлыстову, и они валят генерала со звездой в сено. Хозяин бежит ему на помощь, но они валят и его. Карабканье в сене продолжается довольно долго. Наконец, хозяин из него выпутывается, вооружается палкой и подымает ее на бунтовщиков, но попадает в Щепетильникова и убивает его, и от испуга падает сам мертвым. Остальные цепенеют от ужаса. В это время вбегает ключница с криком: «пожар», и по дороге едут еще три тарантаса гостей. Вот этот фарс. Неудивительно, что Тургенев не хотел в нем участвовать, но где была голова у остальных, что его давали именно в спектакль с благотворительной целью, когда две трети зрителей были лица вовсе посторонние, едва ли знакомые и нам и актерам. — Тургенев уехал в половине пьесы, и за ним и Дружинин, — оба переконфуженные. Панаев присутствовал и видел свой портрет на подмостках, со знаменитым коком на лбу[110]. Теперь пророчат, что папа будут неприятности из-за этой пьесы, что нельзя было выставлять таким образом генерала и его звезду[111]. Вот уж можно сказать, что это бы было для бедного папа — на чужом пиру похмелье. Но авось бог пронесет. А при Николае Павловиче несдобровать бы. Кроме этой прелести и «Жида за печатью», шла еще французская пьеска «Cerezette en prison»[112], где главную роль играла Маша с Ознобишиным. Спектакль длился очень долго. Если бы «Школу Гостеприимства» играть между собою, да играли бы ее сами ее авторы, то, конечно, и смысл ее и интерес были бы совсем иные. А так вышла какая-то балаганщина[113].

Вторник, 14 февраля.

Сегодня едем в балет. Танцует Надежда Богданова, первая

балерина оперного театра в Париже, оставившая его, потому что Наполеон заставлял ее танцовать в день взятия Севастополя. Когда она явилась в первый раз на сцену по возвращении из Парижа здесь, в Петербурге, то публика сделала ей такую восторженную встречу, столько ей хлопала и вызывала ее, что она, наконец, расплакалась и убежала. Теперь отдохнем. Театр снят, война кончается, все стихает, приходит в себя, можно оглядеться. Можно бы было, если бы то старое, что заглушала театральная суета, не всплывало в тишине наружу. Опять Гох показывается на горизонте. Ах, если бы он не был так несчастен в семье своей. Какой усталый нравственно приходил он летом. И когда он говорил про графиню и Осипова, я еще спорила с ним или дулась на него. Он говорил, что Осипов скрытен, что его трудно понять, что он эгоист и сухой человек; что он играет глупую роль у Толстых; что он никогда не увлекается и никого не любит. Но чаще говорил он про другое, про свои несбывшиеся надежды, про утраченную молодость; про детство свое в подмосковной Тучковых, где отец его был садовником, про Италию, которую видел; про картины, которые замышляло его воображение, а рука не осуществляла, про товарищей своих, Хлопонина, Трутовского и Лагарио, судьба которых не похожа на его. Про них говорил мне и Осипов. И еще говорил он: «Когда я вижу голубое небо, когда наступает вечер, меня так и тянет к вам». Вот тебе и голубое небо! Или: «Я вчера долго не мог заснуть, все думал, останетесь ли вы всегда такою, или и вы переменитесь». Вот и переменилась. И он точно накликал или сглазил. Помню еще и одну его выходку. Я что-то вышивала и была расселина, все считала крестики; не слушала, что он говорит, и отвечала невпопад. Он вышел из терпения и стал меня упрекать, что я думаю о другом и что он знает о чем. «Ну, о чем же, скажите», — пристала я. Он посмотрел на меня как-то злобно, взял у меня из рук канву и иголку с шерстью и начал сам что-то вышивать. Потом бросил мне на колени обратно работу и со словами «вот о чем вы думаете» исчез так быстро, что я не успела опомниться. На канве были вышиты черной шерстью «Н» и «О». Он не пришел потом ни в этот день, ни в следующий, а на третий пришел, как ни в чем не бывало.

Четверг, 16 февраля.

Едва ли я еще когда-нибудь буду жить жизнью более богатой всякими впечатлениями; едва ли буду встречаться с людьми более замечательными и просиживать с ними и прислушиваться к ним целые вечера, а что выношу я от всего этого. Принимаю много, а отдаю — ничего! Теперь опять уж второй час ночи, и

путаются мысли. Все слышатся мне вариации на тему «Горные вершины»; Имберг играл их вечером. И видится все лицо Григоровича, он обедал сегодня. Григорович особенно способен электризовать и будоражить душу. Какой увлекательный человек! Щербина говорит», что когда много сплетен в городе, то значит — либо колокола льют, либо Григорович приехал. Не знаю, сплетничает ли он и вредит ли кому сплетнями, но знаю, что не променяю речь Григоровича на все самые остроумные и меткие иногда выходки Щербины. После Григоровича чувствуешь себя поэтом[114], после речей Щербины все кажется тяжелой прозой, и на мир божий смотреть не хочется.

> Тьмы горьких истин нам дороже
> Нас возвышающий обман.

Вот что-то в этом роде напоминают они оба. И пусть то, что говорит Григорович, обман, но он будит со дна души хорошее, а тот, как градом, вбивает его назад.

Четверг, 8 марта.

Вчера Шелгуновы уехали за границу. Сегодня были мы с Гохом в Академии. Смотрели картину Моллера «Иоанн, проповедующий в Риме». Особенность этой картины — отсутствие средоточия, т. е. главного лица. Моллер стал известен в живописи своей картиной «Поцелуй». О ней много говорили; я ее не видала.

Четверг, 22 марта.

В прошедший понедельник был у Глинок герой *минувшей* войны граф Остен-Сакен. Ему прочитаны были стихи, и выпито было за его здоровье шампанское. Контский играл. Я дразню Веру Боде Контским за то, что она дразнит меня Арбузовым. Но мой Арбузов лучше ее Контского.

23 апреля.

Гвардия отправляется в Москву на коронацию, которая имеет быть в августе. Недавно государь был в Москве и в речи своей к дворянству сказал несколько слов, которые очень озадачили. Он объявил, что разнесшийся слух, что будто бы правительство приняло проекты об освобождении крестьян, ложен, но что этим вопросом заняться пора, и что он надеется, что дворянство им займется, *и что лучше начать сверху, пока не началось снизу.* Вот эти-то слова *сверху* и *снизу* и ударили, как обухом, по всем головам, *сверху — снизу* же и не чуют еще ничего. Полонский со Смирновыми едут тоже за границу. Странный человек Полонский.

Я такого еще никогда не видала, да думаю, что и нет другого подобного. Он многим кажется надменным, но мне он надменным не кажется, он просто не от мира сего. Он очень высок ростом, строен и как-то высоко, носит свою маленькую голову; это придает ему гордый вид. Он смотрит поверх толпы, потому что выше ее; но и своими духовными очами он смотрит поверх толпы, он поэт. Это не все понимают и не все прощают. Доброты он бесконечной и умен, но странен. И странность его заключается в том, что простых вещей он иногда совсем не понимает, или понимает как-то мудрено; а сам между тем простой такой, по непосредственности сердечной. Растолковать ему что-нибудь не отвлеченное, — отвлеченное он понимает, — а фактическое — это значит самой окончательно сбиться с толку и все перепутать. Он как будто принимает за действительность не то, что видит, а то, что ему мерещится, и наоборот. Он любит все необыкновенное и часто видит его там, где его и нет. Он способен на отчаянный подвиг, чтобы спасти погибающего, где же замешана любовь, там Полонский — как рыба в воде. Не даром же увез он из Одессы в Москву невесту для своего друга, Уманца, с немалым риском ответственности для самого себя. Он в самом деле оригинален, самобытен. Часто зовут оригиналами поверхностных чудаков, которые сознательно; бьют на оригинальность и рисуются ею; Полонский не таков. Он никогда не рисуется и не играет никакой роли, а всегда является таким, каков он есть. В обществе он мало обращает внимания на других, говорит, с кем ему хочется говорить, а с кем не хочется, на того и не смотрит. Раз у Глинок заметил он пустое место на диване возле той самой m-elle Штанкер, сойтись с которой так убеждала меня Дашенька, и молча опустился на него. M-elle Штанкер немедленно обратилась к нему и стала что-то ему говорить, закатывая глаза и ломая руки. Полонский с минуту, может быть, слушал ее с каким-то удивлением, потом вдруг, не вымолвив ни слова, повернулся к ней спиной. Я смотрела на сцену эту издали, и она ужасно удивила меня. Улучив минуту, я подошла к Полонскому и спросила его, заметил ли он сам то, что сделал. «А что такое?» — «Вы повернулись спиной к m-elle Штанкер, прежде чем она договорила, и ничего ей не ответили». — «Ах, вздор какой! Быть этого не может!» — «Нет, было». Тогда он стал вспоминать, и вспомнил, что m-elle Штанкер говорила ему о своем счастье, что поэт сел возле нее, что она подобного счастья не ожидала и т. д. Ему были противны ее слова и она сама, и, наконец, он сознался, что очень может быть, что он их не дослушал и отвернулся от нее. Полонский не терпит лести, но правду, самую нелестную, всегда можно ему сказать. Ему даже можно сказать нелестную неправду,

сплесть что-нибудь на него. Он и тут не рассердится, а, напротив того, это займет его, доставит ему даже удовольствие. Я думаю, что и про Гоха он так легко рассказал оттого, что судил о нем и графине по себе.

24 апреля.

На днях минуло Володе пять лет, а мне двадцать. Ополчение распущено, и Осипов едет сюда, «в родную хату, к милым сердцу», как пишет он кому-то, кажется, Кулибину. Я уже отвыкла поверять ему мои мысли, и очень этому рада. Какое оно благотворное, время-то.

Недавно были мы в картинной галлерее Прянишникова. Нельзя сказать, что все картины его примечательны; некоторые даже вовсе не примечательны; но все они писаны русскими художниками.

С нами был Страшинский и, по обыкновению, восторгался тем, чем не стоило восторгаться, но из угождения перед хозяином, который сам водил нас. В одно время с нами была там и Каролина Павлова, автор «Разговора в Трианоне»[115], женщина, как говорят, ума необыкновенного. Но что в ней самое замечательное, так это то, что она вовсе не русская, и по-русски выучилась сравнительно недавно, и так превосходно овладела русской речью и русским стихом. Странно только и жаль, что она, будучи писательницей, не знакома ни с Толстым, ни с Глинками, ни с нами. Она, кажется, ведет жизнь уединенную, и только по известным дням собираются у нее несколько человек мужчин, и она читает им свои произведения. Из наших знакомых бывают у нее Жадовские, Вигель, Щербина и Бенедиктов; Бенедиктов только редко, находит, что она слишком много говорит. Зато Щербина от нее в восторге. «Павлова, Каролина, замечательная женщина», — говорит он. У нас опять была глупая история с Меем. Первая была в начале зимы, в одну из суббот. Ужинали, и за ужином несколько молодых художников поместились как-то так, и все вместе, что до них трудно было добраться прислуге. Мама, наблюдавшая за тем, чтобы все кушали, заметила, что у них нет хлеба, и сказала: «Как бы туда перебросить хлеб?» Мей, бывший уже навеселе, взял поднос с хлебом и качнул им в сторону молодых людей; но остановился, впрочем, тотчас же и обратился к мама о вопросом, бросить ли. Мама, не предполагая, что он это исполнит буквально, сказала, чтобы он качнул еще раз, и моментально ломти хлеба посыпались на головы молодых людей, и они обиделись. Их удалось потом успокоить и помириться с ними, и эта история никаких последствий не имела, кроме того разве, что как-то раз в одном из журналов упомянули

о ней по какому-то случаю, но вторая была хуже, потому что после нее Мей больше не бывал у нас. Случилась эта вторая из-за нашей англичанки, Аннет. Эта молоденькая Аннет — вовсе не красавица, но за ней как-то много ухаживают. В тот злополучный вечер с нее рисовал портрет Гоффер. Они сидели в гостиной, и несколько молодых людей окружали их; подсел к ним и Мей, — это было уже после ужина, — и стал что-то говорить, что не понравилось Страшинскому. Он подошел к Аннет и, со словами: «Позвольте вас увести отсюда», подал ей руку. Мей вспылил. Поднялся крупный разговор и дошел до того, что Мей поднял стул на Страшинского. Но тут прибежала Софья Григорьевна Мей, и ей удалось увезти, с помощью других, своего мужа. Но этим дело не кончилось. Остались Розальон-Сошальский и Щербина, сторонники Мея, и между ними и Страшинским дело не дошло до чего-нибудь серьезного только благодаря Святскому. Сошальский на то и бил, чтобы произошел пущий скандал, и хотя он барин, богатый помещик, но выказал себя в этот вечер именно таким, каким он мне с первого раза показался, — неприличным человеком, не умеющим вести себя в обществе, к которому принадлежит. Щербина и Мей — другое дело. Щербина и не имеет претензии быть светским человеком и знать все приличия светского человека; не будь он поэтом, то, вероятно, он бы и не бывал никогда в тех домах, где бывает; и вторил он Сошальскому, вероятно, не вполне ясно понимая, что он делает, что так поступать можно в трактирах, а не в семейных домах.

Что же касается Мея, то он премилый и, конечно, вполне приличный и умеющий себя вести во всяком обществе, но он, увы, одержим пороком, он пьет. К тому же Страшинский поступил нахально, и намеренно нахально. Этот поляк всегда либо нахален, либо льстив. Он тоже, конечно, не рассчитал, что перед ним человек нетрезвый; он думал оскорбить его одного, но вышел скандал. Одно хорошее в этом, что Сошальскому отказано от дома. Но, кажется, и Мей больше не бывает; и Щербина что-то не показывается. Мей такой умница, такой интересный человек; и поэт такой, и так хорошо читает! Он лицеист, а между тем образованнее и более знающий, чем лицеисты бывают обыкновенно. Он, например, знает по-гречески настолько, что может говорить на этом языке. Раз и говорил с Щербиной. Т. е. Щербина, как грек, говорил на своем родном языке, новогреческом, а Мей на древнем.

Жаль и Щербину. И все это так глупо и скандально. Щербину кто-то видел на днях на улице, и все еще в усах, значит, он места еще не получил. Вот тоже Щербина. Без устали пускает он стрелы своего остроумия в чиновников, так что живого места, кажется, на

них не оставил, а сам спит и видит сделаться чиновником. Правда, надо человеку есть; но зачем же так беспощадно острить тогда и плевать в колодец, из которого приходится пить? Дедушка это заметил. Хотя и старается, по просьбе мама и других, пристроить его, в надежде, впрочем, что тогда он перестанет метать в них свои стрелы.

Страшинский же продолжает бывать у нас, как ни в чем не бывало. А как бы охотно я променяла его на Мея! И тем более, что остаюсь теперь без стихов, которые он обещал вписать в мой альбом и не успел. Это была «Запевка», прелестная вещь[116]. У нас есть его «Сервилия»[117] с собственной подписью.

Страшинский бывает даже очень часто. Он рисует теперь для папа большую сепию «Бенвенуто Челлини и его натурщица», выходит очень хорошо. А я за это время успела его лучше узнать, и признаюсь, что он от этого не выиграл в моих глазах. Лиза Шульц, с которой я часто о нем спорю, оправдывает его тем, что он художник. У них художники не бывают, а у нас бывает их довольно, да и сам папа художник, я привыкла, к художникам, но не вижу, чтобы они были похожи на Страшинского. Какой интересный мальчик становится. Аля. Теперь я люблю, когда все они дома, а прежде всегда, бывало, рада, когда они в гимназии. Я стараюсь не заглядывать в себя, там взбаламучено, как в море, и так же темно и горько. Кто будет читать этот дневник! Никто. При жизни не дам, а после моей смерти никто не даст себе труд довести до конца; и он пожелтеет и истлеет где-нибудь на чердаке. Но я все-таки не брошу его.

На днях водил нас папа в Эрмитаж, показывал нам залу, которую он только что окончил. Совсем волшебная зала. Чудо, как хороша! Не жаль, что драгоценное богатство материала попало в руки художника; художник блистательно воспользовался им.

Среда, 25 апреля.

Недавно прочитала *«Кто виноват»* того Герцена или Искандера, какое-то произведение которого давал мне Галанин, а мама сожгла. Что, если и то было так же хорошо, как и это? Что за человек этот Герцен? По слухам о нем и по этому «Кто виноват», я не могу взять его в толк; я только поняла, что это большой талант. Но как же может он не любить своей России?

Говорят, что к коронации готовятся большие перемены в административном мире: старики уступят места свои молодым. Пожалуй, это выйдет переливание пустого в порожнее. И молодые окажутся такими же, как старики; ведь все они толклись в одной ступе. Жаль Мея; он гибнет и погибнет. Отчего так непрочны

наши таланты? Они точно цветы, выросшие, на удивление мира, на невозможной почве. Пищи корням их в скудной почве не оказывается, и, едва распустившись чудесно, они вянут и сохнут. Почти все наши лучшие дарования погибли преждевременно, — Кольцов, Гоголь, Белинский, Грановский, — да всех и не перечтешь. Пушкин и Лермонтов погибли также преждевременно, но их я исключаю, их убили. Когда же нарастет почва? Откуда она нанесется? Уж не из них ли самих она образуется? Не на их ли костях вырастет новое поколение, новых *прочных* талантов? На художниках роковая черта эта кажется еще нагляднее. Сколько молодых дарований возникает в Академии, но, удивив своим первым опытом, получив золотую медаль, точно сгорают они под жарким солнцем Италии. Что-то роковое заключается тут. Либо они гибнут сами, либо губят свой талант. Не погиб еще, не сгорел, живя так долго в Италии, Иванов; но он, видно, исключение.

Мей не погубит своего таланта, но сам погибнет; он пьет страшно. Какое тяжелое впечатление производит обстановка его дома: почти пустая квартира и пустой полуштоф на покачнувшемся столе. По крайней мере в комнате, в которую нас ввели, вероятно, лучшую, стоял продырявленный диван, пустой шкап и этот стол с полуштофом на нем, больше ничего. И в этой-то обстановке обречен был, может быть, сам обрек себя, жить талант недюжинный, поэт, Лев Александрович Мей, воспитанник Царскосельского лицея, седьмого выпуска, в котором еще так живы были предания Пушкина. Но он там не один. К несчастью, с ним вместе бьется, как птица в сетях, и не может порвать их, его жена Софья Григорьевна, рожденная Полянская. Бог не дал им детей, и это большое счастье. Но большое несчастье, что по характеру своему, по воспитанию, по стремлениям, Софья Григорьевна более многих других должна страдать; в ней чувство изящного, любовь к роскоши и блеску, — главное блеску. — особенно сильно развиты.

Пятница, 27 апреля.

Вчера были у Ливотовых. У них немного собралось гостей. Всего шестнадцать человек, из этих шестнадцати, восемь собираются на лето за границу. Мы точно птицы, которым отворили клетку. Говорят, навигация на Балтийском море никогда еще не была так оживленна. И к нам заграничных гостей едет великое множество.

Был у Ливотовых один молодой человек, Андреев, который мне с первого раза показался студентом, хотя, по правде сказать, я студентов почти еще не видала. Он действительно оказался из

студентов. Он носит длинные волосы, зачесанные назад, очки, и в обращении его больше смелости и непринужденности, чем у тех молодых людей, к которым я привыкла. Он много говорит, по-видимому, любит говорить, и говорит очень уверенно.

Воскресенье, 29 апреля.

Вчера был Щербина, и я очень ему обрадовалась. Полонский, Иван Карлович и Гох обедали у нас. После обеда Полонский ушел и вернулся с Щербиной. Щербина уже без усов; в расположении духа же был он вчера самом мягком. Я держу с Полонским пари, что сын Наполеона никогда не будет царствовать.

Понедельник, 30 апреля.

Сегодня к Глинкам. Увижу там Веру Боде и Толстую; одну рада видеть, другую видеть интересно. Ведь не все войны еще кончились. Не решив восточного вопроса, заключили мир; у нас же все вопросы решены, но мир еще не заключен Рекогносцировки продолжаются, мины подводятся; траншей и редутов нет, но забежать неприятелю в тыл очень хочется. Надо только признаться, что неискусно ведется и наша война.

Сейчас прощались со Страшинским; ну, путь скатертью! Он, со своей золотой медалью, едет на шесть лет в Италию. России его больше не узреть никогда, сдается мне. Он взял с нее все, что мог, и раскланялся. Мы в этом году, верно, не увидим сирени Здесь ее еще не будет, а в чужих краях она уже отойдет, когда мы поедем. Но что увидим мы летом? Хочу записывать факты, а все свожу на какие-то размышления и вопросы. Правду говорит мама, что я душой старше нее. Пора одеваться, едем к Ливотовым. Какая умница Лиза. Я так привыкла к обществу мужчин и к их спорам, что мне просто лень говорить с дамами, а с ней я люблю говорить и спорить и слушаюсь ее; только не всегда.

Суббота, 5 мая.

Откуда вдруг взялось тепло? Даже жарко; и трава поднялась уж, точно сон! Я видела сегодня свой портрет, фотографию, которую делали для папа; не думала я, что у меня такое наивно-робкое лицо.

Суббота, 15 сентября.

Пока нас не было в Петербурге, преобразились журналы. Я до сих пор еще не дотрагивалась до них, но Бенедиктов и Полонский в два вечера, проведенные с нами, прочитали нам четыре статьи, до того непохожие на все, что выходило из чистилища цензуры в прошедшем году, что не верилось, что читают о печатного. Одна

из этих статей, речь Бабста о политической экономии[118], произнесенная им на акте Казанского университета. Самый предмет этот в последние годы прошедшего царствования не читался ни на одном из наших университетов; теперь же замечательная статья эта напечатана и: отдельной брошюрой и в несколько дней вся разошлась.

Что это было в прошедшем году! Цензора придирались к словам и видели тайный смысл там, где его не было, вычеркивали страницы, вычеркивали отдельные слова, как, например, «тиран», «гимназист», «солдат», «камена»; искажали труд писателей и, конечно, возмущали между тем зло, которое действительно существовало, не искоренялось и увеличивалось, потому что росло неудовольствие. Зависимость от цензора, который не понимал, что такое «камена», и имел право вычеркнуть, и вычеркивал это слово и тем искажал поэтическое произведение, — была действительно нестерпима. Горе было писателям и поэтам! Как ухитриться, чтобы труд не пропал и был напечатан! Точных правил, что цензурно, что нецензурно, не было, не могло *быть*. Были общие правила, частности же зависели от взгляда, понимания и мнения цензора. Но цензор сам зависит, и он отвечает за пропущенную статью местом своим, т. е. насущным хлебом своим и семьи своей. Случалось, что цензор калечил или не пропускал совсем произведение; и тогда о том знали и роптали только сам автор и его кружок. Но случалось, что по недосмотру или другим каким причинам пропускал, и уже напечатанное произведение обращало на себя внимание, тогда дело принимало иной, более грозный вид. Тогда доставалось цензору, тогда о статье говорили не один только автор и его кружок, но говорил весь город; тогда цензора шалели, а писатели и журналисты теряли голову. Неужели все это кончилось[119], и теперь все будут довольны!

23 сентября.

Осень. Дождливая, печальная погода. Скучно. Во вторник были Ливотов и Бенедиктов. Ливотов, Струговщиков, Иван Карлович, Бенедиктов, Полонский и Гох — вот, кажется, кружок наш. И слава богу, если это так! Арбузов едет за границу; Панаев в Москве, Моллер женился, Шелгуновы будут жить в Лисине. Вчера я кончила «Матильду»[120]. Мама долго не давала мне этот роман и, конечно, делала хорошо, но и из романа можно извлечь пользу. А впрочем, отчего нельзя читать «Матильду», когда имеешь перед собой все русские журналы! Что этот вымысел перед этой правдой, если это правда?

Мы получаем пять журналов: «Современник», «Отечественные

Записки», «Библиотеку для чтения», «Русский Вестник» и «Русскую Беседу». Вот о них-то, т. е. о русской изящной словесности, мне хочется рассудить и разобрать, отчего она наводит на меня уныние и даже пугает меня, так что я все не решаюсь приступить к журналам! Я ведь затосковала опять. Иван Карлович говорит, что я испортилась за границей. Нет, это не заграница виновата, а разные несчастно для меня сложившиеся обстоятельства, о которых не хочу писать, и неудобоваримая умственная пища, которою питают меня и люди, меня окружающие, и журналы, они наводят на меня уныние, тоску и страх. И кто знает, на меня ли одну. У меня только больше досуга вдумываться и вглядываться. У меня нет всех тех забот юности, которые развлекают и спасают от мыслей других молодых людей, но кто знает, как эти речи и книги отражаются и на них.

Есть что-то подтачивающее и потому жестокое в литературе нашей. Идеала нет, вот что страшно. Вот я выговорила это слове. Есть что-то неопределенное, какое-то перемещение добра и зла; так что не знаешь, что добро, что зло. Мало того, чувствуешь как будто иногда, что сам автор этого не знает; а иногда как будто чувствуешь, что он знает, но не хочет сказать, стыдится чего-то.

Помню в детстве, когда Марья Петровна рассказывала сказки, бывало, спросишь ее: «Он был злой?» или «Он был добрый?» Получишь определенный ответ и успокоишься, и тогда только слушаешь с наслаждением, когда знаешь твердо, кто *добрый*, кто *злой*.

Вот что один из самых выдающихся, обаятельных писателей заставляет говорить своего героя[121], умирающего одиноким на чужбине, про мать свою:

«Мать моя была дама с характером… очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой добродетель доставила бы меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, — и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенна спокойной, а именно в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление, о полуоткрытых губ, о опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да проста хорошо отделаться, наконец, от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования. Но дело не в том.

«Рос я дурно и не весело. Отец и мать оба меня любили; но от

этого не было мне легче. Отец; не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения, как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно; но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинками карие его глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой — от слез».

К чему это написано? Кто он, что он, этот *лишний человек*? Разве это правда, что сын, в день, самый день смерти своей матери, взглянув на мертвый лик ее, прочел на нем слова: «Как хорошо не шевелиться!» Или уж это потом, в зрелых летах, сам умирающий, он вспомнил свою умершую мать, ее недостатки и слабости, и представил себе в воображении ее бледное лицо, чтобы посмеяться над ним?

Если бы я спросила Марью Петровну, злой ли этот лишний человек, она сказала бы: «да!» Если бы я спросила Ивана Карловича, он сказал бы «нет!» и с поднятыми бы кулаками обратился бы к гробу его матери, а пьяницу-отца его поставил бы на пьедестал. Если бы я спросила самого Тургенева, он улыбнулся бы и ничего бы не сказал; но его симпатии на стороне его героя. Это чувствуется; но автор прямо не высказывается. Отчего?

Отчего эта двуличность или, по меньшей мере, неопределенность? Эта спутанность? Вот отчего я боюсь читать журналы, они наводят меня на слишком страшные мысли. Их тонкий яд убивает то именно, чем я живу; и, когда убьет, чем: буду я жить? И хорошо, если таких, как я, мало, а если их много?

Пятница, 28 сентября.

Во вторник, 2 октября, въезд государя в Петербург. По всему городу устраивается иллюминация, очень затейливая. Холодно; уж два раза шел снег, скоро зима Недель через шесть приедут Глинки. Опять услышу я знакомый возглас: «Вот как!» Опять, завидев нас с мама, он побежит мелкими шажками нам

навстречу, крича громким голосом: «ручку! ручку! ручку!» И возьмет нашу руку и прижмет к своей щеке, а губами издаст звук поцелуя, на воздух; отпустит руку и скажет: «вот как!» Меня прежде очень смущала церемония эта с рукой, но теперь я привыкла. Главное, он руку вовсе не целует, не может целовать, потому что нос его и его подбородок ее до губ не допускают; но с каждой почти он проделывает эту церемонию. Я радуюсь приезду Глинок и Итальянской опере, которая скоро начнется.

Сегодня три недели, что мы дома. Паше путешествие не то, что забывается, но как-то стушевывается. В воскресенье ходила гулять с сестрами, и когда вернулась, то нашла у мама дедушку, Греча, Бенедиктова, Бестужеву, Святского и Данилевского. Вечер провели опять одни, в вечерней. В понедельник были у Майковых, а вечером опять приезжал Греч. Для меня нет человека интереснее дедушки. Как рассказчик о недавней старине нашей, он просто неистощим. Уж сколько лет я его слушаю, а все еще не переслушала всего. И он никогда не повторяется. И как он сведущ и умен! Сколько видел на веку своем и сколько пережил! Для меня его рассказы — занимательные уроки истории последних двух царствований. Без него это время оставалось бы для меня пробелом, и я многого бы не понимала в настоящем. Говорит он увлекательно, но не пристрастно; коньков, как у Греча, у него нет, и нет его красноречия или остроумия, при котором всегда думаешь: «Так ли это, или что-нибудь прибавлено или отбавлено для красного словца?» Греч тоже прожил, пережил и перевидал немало на своем веку, но его рассказы вращаются обыкновенно вокруг его курятника, в них — он сам и Булгарин обыкновенно главные лица.

В среду был у нас праздник, двадцать два года, что папа и мама женаты. Бенедиктов обедал, а вечером был дедушка.

Бенедиктов сочинил в этот вечер братьям загадку: «Мое *первое*, есть господу хваление; *второе* — света часть; а *в целом* же моем свершается ученье, там можно и под штраф попасть». Разгадку — не скажу!

Вчера поутру ездили к бабеньке, а в это время заезжали к нам, по дороге от министра, дедушка и Бенедиктов. Вечером были Яков Иванович[122] и Л. П. Шелгунова. Яков Иванович только что вернулся после коронации из Москвы; а Шелгунова только что приехала из-за границы. Слава богу, что о войне больше не говорят, что это ужасное время прошло. Все раны заживают, кроме ран, которые война только открыла, но не нанесла сама. Лечить эти раны как-то еще не начинают; да и мудрено начать. Впрочем, начинают как будто, но вяло как-то, точно нехотя, недружно. Кстати о ранах. Пирогов уж больше не

оператор, а попечитель учебного округа. Он написал недавно статью о воспитании, которая произвела просто фурор; от нее в одинаковом восторге и дедушка и Полонский, что относительно статей, т. е. литературы, редко случается.

Понедельник, 8 октября.

Я боюсь слушать, что говорят, и, насколько могу, ухожу от посторонних. Чаще всех бывают у нас Полонский и Бенедиктов. Бенедиктов старше, положительнее, у него эти мучающие меня вещи не так часто подвертываются на язык; к тому же он страстно любит читать, стихи в особенности, и это уж спасение: но Полонский все затрогивает страшное. Затрогивает и оставляет без ответа. Еще страшен мне Иван Карлович, он все иронизирует и кощунствует. Полонский не делает ни того ни другого. Он, может быть, тоже недоумевает; может быть, тоскует тоже. Я о ним пробовала заговаривать, но он отвечает все не то. Впрочем, я его мало интересую и, когда он тут, могу легче уйти. Не то Бенедиктов и Иван Карлович; этот последний даже кричит, когда я ухожу.

Понедельник, 15 октября.

В воскресенье Иван Карлович читал из «Русского Вестника» «Губернские Очерки» Щедрина, от которых и совершенно, здоровый человек может заболеть хандрой.

Четверг, 18 октября.

Наши знакомые вот что делают: Полонский — болен, теперь выздоровел, но мы его еще не видали. У Бенедиктова опять гостит его друг Мейснер, переводчик Гейне, и, когда он в Петербурге, Бенедиктов принадлежит не себе, а ему. Арбузов печатает свои стихотворения отдельной книгой и собирается за границу. Шелгунов недавно приезжал из Лисина и был у нас; его жена готовится сделаться писательницей и начала серьезно заниматься. Михайлов еще не возвращался, но по возвращении также поселится в Лисине. Данилевский по-старому порхает. Тургенев в Париже. Григорович как-то вечно бывает между отъездом в деревню и приездом из нее С Меями мы больше не видаемся, и очень жаль. Майковы были недавно. Но однако довольно бюллетеней.

Среда, 31 октября.

Вчера вечером была у Струговщиковых. Застала там Лизу Шульц и Наденьку, и в тесном кружке, в полумраке, за болтовней, не заметила, как пролетело время. Между прочим, зашла речь о

стихах Некрасова[123]. Я вдруг и скажи: «Я не люблю Некрасова». На меня так и набросились: «Как, что, не любишь Некрасова?» За меня заступилась Наденька, но, кажется, по недоразумению. «Оставьте ее, — сказала она, — она верно знает, что говорит!» Наденька не успела пояснить свое предположение, отчего я знаю, что говорю, потому что вошли маменьки, и разговор принял другое направление. Но, кажется, я поняла, что хотела она сказать. Некрасов в настоящее время кумир, бог, поэт выше Пушкина; ему поклоняются, и против него говорить нельзя. В сущности подругам моим до него очень мало дела, но что он идол неприкосновенный, это они, конечно, знают, и потому так поразила их моя дерзость. Наденька же, вероятно, сообразила, что так как я прихожу к ним из тех сфер, где эта идолы, так сказать, фабрикуются, то нет ли уж нового, новее Некрасова, и не пошел ли Некрасов уж на слом. Так я думаю. Но, может быть, я ошибаюсь, и Наденька хотела сказать что-нибудь другое.

А в самом деле, что за странное наступило время. Все как-то ценится не само по себе, а относительно. Некрасов угодил минуте — Некрасов выше Пушкина. Пройдет минута, и Некрасов станет, пожалуй, не нужен. Но в настоящую минуту не смей тронуть его, иначе ты, ретроград, и еще каких ругательных слов вроде этого нет! В ретроградстве меня не заподозрили; это было бы, в их глазах, слишком ужасно. А я ведь ретроградка, и в моих глазах это вовсе не ужасно; да и ужасно ли или не ужасно, а так есть.

Мне жаль старого, родного, чему поклонялись, что было опорой и утешением, и что поругано и оплевано.

Я нахожусь еще в переходном состоянии, может быть, окрепну, вернее сказать, затвердею. Нравственная моя кожа слишком еще нежна, я не переношу беспощадного холода жизненной логики, что ли; жестокого прикосновения ее. Может быть, придет пора, и сама возьму топор и перерублю все веревки, удерживающие меня на этом берегу, и пущусь к тому. И скорей бы уж что-нибудь, а так жить — не жить. Но есть же ведь способ жизни. Ведь живут же люди и мыслят.

И вспоминается мне тихий вечер на берегу Бриенцского озера. Горы, волшебная, очаровательная даль, и вдали, между голубым небом и голубым озером, темная полоска, тогда только что покинутый нами Интерлакен. Я сижу на балконе, с большою книгою на коленах, очарованная дивною картиною швейцарского вечера Англичанка играет в соседней комнате на *фортепьяно*, ее брат стоит, прислонясь к дверям, на балконе и так же, как и я, прислушивается к музыке и любуется вечером. Между тем горы становятся темными, вода прозрачнее, небо светлее. Между нами завязывается разговор И вот, наэлектризованная, может быть,

прекрасным, в тот вечер в первый раз я поняла, смутно, но поняла, что можно быть мыслящим человеком и признавать над собою еще иную силу, кроме своей личной; что истина может укрываться в сатире, но что это еще не значит, чтобы каждая сатира, насмешка и гримаса непременно заключали в себе истину; и что любить ее и исповедывать не значит громить, уничтожать и попирать ногами, не разбирая, вместе с неправдой и святыню. Одним словом, в тот вечер я поняла, что истинно просвещенный человек смотрит на святое, прекрасное и свободу совсем не так, как смотрят на них у нас. Но зато мы — с цепи сорвавшиеся, или, по крайней мере, школьники, выпущенные на волю.

Но кто же он, тот странный незнакомец, с которым часа на три-четыре свела меня судьба, и развела прежде, чем я узнала его имя и кто он! Я и лица его не помню, потому что скоро стемнело, да и смотрела я больше на горы, на озера, чем на него. Книга, которая лежала на коленах у меня, была полна памфлетов и карикатур на Николая Павловича; с нее разговор наш и начался, но только начался. Затем тема его расширилась и поднялась Незнакомец говорил чрезвычайно увлекательно. Я жадно вслушивалась в смысл его речей, потому что они и разгоняли мой умственный туман и целили больные места в душе моей. И по его красноречию, по тому, что он все стоит, прислонясь к косяку двери, а не идет взять стул и сесть, я видела, до какой степени и сам он увлекся. И вдруг неожиданно, как ушат холодной воды: «Где ты пропадаешь? мама сердится». — «Я не прощаюсь с вами, мы увидимся завтра»… и — больше ничего. Может быть, его имя уже пользуется известностью или будет ею пользоваться. И я его буду встречать в печати или слышать о нем, и не буду знать, что этот знаменитый человек — мой бриенцский собеседник.

Суббота, 17 ноября.

Рассказала, как англичанин, или, может быть, то был ирландец, в Бриенце рассеял было мой умственный туман; теперь расскажу, как русский, т. е. русская книга, приобретенная в Берлине, снова меня отуманила, даже более того — отравила.

На другой день по приезде нашем в Берлин бродили мы по его неказистым улицам, удивляясь, как все кругом некрасиво, невзрачно и бедно, и добрели до одного книжного магазина, в витрине которого кинулись нам в глаза две русские книги: «Полярная Звезда» и «Тюрьма и Ссылка», Искандера; того самого, какое-то сочинение которого мама сожгла прошлой зимой На этот раз мама вошла в магазин и сама купила обе книги. Вернувшись домой, я случайно начала читать последнюю и, забыв

все на свете, читала ее до поздней ночи. Мама спала уже давно, но проснулась, увидала, что я читаю, и велела потушить свечу. Я послушалась, но спать не легла, а, как сидела на постели, свесив нош, так и просидела до утра. Я все думала, думала, и мне делалось страшно. Мама и Марья Петровна проснулись, надо было собираться в дорогу, спешить. Я двигалась, как автомат, но внутренний разлад, борьба внутренняя не стихали, и страх меня не покидал, и не покидает до сих пор.

Мне все кажется, чувствуется даже, что я не стою на твердой почве, а нахожусь в воздушном пространстве, и над головой ничего, и ничего под ногами и кругом. Я испытываю то же ощущение, которое испытывается, когда находишься на краю бездны и смотришь в нее с высоты. Мне кажется, весь мир находится на краю бездны и должен погибнуть; что наступили последние времена, о которых сказано в евангелии, и я удивляюсь, как этою никто не замечает. И в то же время то, что этого никто не замечает, поддерживает мой ужас, потому что если бы заметили и поверили, то образумились бы, и пророчество бы не исполнилось.

Вот я написала, наконец, то, что нет духу выговорить; что скрываю ото всех, о чем и писать не думала, не решалась Может быть, я сумасшедшая. Сумасшедшие ведь так скрывают, кажется, умеют скрывать пункты своего помешательства. И как я это понимаю! Как ужасно открыть страшное и внушить его другому. Видеть свой ужас и в другом.

А, может быть, меня бы разговорили…

Нет, не смогу открыть.

Я стараюсь не думать, стараюсь отгонять страшные мысли, преодолевать страх, болтаю, смеюсь, но достаточно одного слова, чтобы все рушилось опять. Я боюсь всего, что касается астрономии, научных открытий вообще и отрицания… глумления и кощунства.

Вторник, 27 ноября.

Выезжаем мы в этом году не так много, как в прошлом, но все же выезжаем; и у себя не принимаем по сто человек в вечер, но все же принимаем близких знакомых. Мы рано встали сегодня, утро было светлое и нехолодное. Мама велела заложить коляску, и мы поехали, сначала в Гостиный двор, потом в модный магазин Бастид, где мама купила мне белую шелковую мантилью к субботе, к балу Бруни. Мама обыкновенно заранее не говорит, что будет мне что-нибудь покупать, а просто велит выходить из экипажа и следовать за нею в магазин, если надо примеривать вещь, иначе я остаюсь в экипаже. При виде слишком роскошных и

дорогих для меня нарядов я начинаю охать, а мама сердиться; но и охать и сердиться в магазине неудобно. Дома показывают покупку папа. Папа хмурится, а я плачу, потому что боюсь, что папа думает, что я прошу или желаю такие вещи; а мама опять сердится.

Полонский со своими воспитанниками обедал. На днях были в театре. Видели «Женитьбу» Гоголя; хорош был один Мартынов. Сама же пьеса хороша главным образом тем, что оригинал. Все же, что пишут теперь, — копии, копии с Гоголя. Но, сказать по правде, как бы оригинальна эта «Женитьба» ни была и как бы ею ни восхищались, мне она мало нравится. Бывали авторы, которые правдоподобные вещи рассказывали неправдоподобно, Гоголь неправдоподобные рассказывает правдоподобно За эту правдоподобность он и стоит так высоко, но все же неправдоподобность события, которое он описывает, производит смуту в впечатлении. Например, разве правдоподобно, что купеческая дочь решилась обвенчаться через час после сватовства, и далее, что она, в подвенечном платье, ищет своего жениха, чтобы вместе с ним ехать в церковь? Жениха в день свадьбы и не видят.

Говорят, что цензура, бросившая было поводья относительно литературы, вдруг спохватилась и опять приняла ее в свои ежовые рукавицы. Виноват Некрасов, он нарушил условие не пугать цензуры скачками и прыжками, а потихоньку приучать ее к шибкой езде.

Среда, 28 ноября.

Сегодня два автора подарили нам свои сочинения: Арбузов привез собрание своих стихотворений[124], в первый раз собранное и напечатанное, а вечером Данилевский прислал маленькую книжку своих «Украинских Вечерниц».

Пятница, 30 ноября.

Вчера у Брюлловых уговорили папа и мама позволить мне посещать Биржевую рисовальную школу. Я очень рада. Буду ездить туда два раза в неделю. Там учится много молодых девушек. Александр Павлович Брюллов — мой старый друг. Он удивительно ласково обращается со мной, и на танцовальных вечерах, где я так томлюсь, обыкновенно усаживается возле меня; к нему подходят другие, и так составляется иногда очень интересный кружок, и я нахожусь, как бы и не в одиночестве, и мне не так стыдно торчать одной.

Вторник, 4 декабря.

В воскресенье был Бенедиктов, обедал и просидел вечер. Просидел — слово неверное. Он мало сидит, а больше ходит или стоит, курит свой мориланд, в длинных папиросах, и бьет при этом одну ногу другой. Курит же он беспрерывно, одну папиросу зажигает о другую, и это, по-видимому, нисколько не вредит его здоровью. Он мал ростом и не широк в плечах, но грудь у него не впалая, а голос — такой славный, сильный, мужской. Его голос иметь бы рослому Тургеневу, а та у того голос, как у цыпленка. И о чем мы не переговорили с Бенедиктовым. И о привидениях, и о вертящихся столах, и вертели стол; и о гадании, о бессмертии души и будущей жизни.

Я хочу убедить себя, что унывать грешно и дурно, но все унываю; все утопаю и вскарабкаться на поверхность и передохнуть не могу.

Пятница, 14 декабря.

Ужасные, жестокие дни пережила я с тех пор, как писала в последний раз. Уныние мое превратилось окончательно в страх. Я не вытерпела и сказала доктору; не все, конечно. Он прописал разные разности и между прочим каждое утро натощак выпивать стакан сахарной воды с лавровишневыми каплями; кажется, простое лекарство, но пренеприятно глотать такое количество холодной и сладкой воды, когда не хочется пить. Не велел он мне также много оставаться родной. Папа пожелал, чтобы я спала на его кровати в алькове, возле мама, а сам он, как, впрочем, и раньше, чтобы не мешать чтением газеты мама, спит тут же в спальне за альковом, на большом диване. Добрый папочка! Теперь мне как будто и лучше. Я рада, что вот сказала, что чувствую себя больной. Ну, значит, и в самом деле больна, если лечат. А не предчувствие, это вечное ожидание чего-то ужасного, какого-то треска, с которым все должно рушиться.

Пятница, 28 декабря.

Скоро приедут Глинки, 2 января. Мама у Ливотовой. Вчера были Наташа и Зина Струговщиковы и сказали, что она нездорова; вчера обедали Полонский и Соколов, Иван Иванович. Он кончает к выставке, которая будет в марте, картину «Ночь на Ивана Купала», говорят, чудесная вещь. Недавно привозил к нам Моллер, Федор Антонович, — т. е. художник, известный своей картиной «Поцелуй», а не тот Егор Моллер, что женился на Кафке, — свою молодую красавицу-жену. Женился он летом на острове Эзеле, на дальней родственнице своей. «Ich komme mir so wichtig vor»[125], — говорит она, еще лишь несколько месяцев тому назад сидевшая на школьной скамейке, а теперь

принимающая гостей в великолепной гостиной старинного барского дома Моллеров. Последнюю картину ее мужа, «Иоанн Креститель, проповедующий во время вакханалий», находят тоже замечательной.

В Петербурге развелось ужасно много воров; только о них и слышно. Но читающий мир занят не ими, а «Русским Вестником», где печатаются «Губернские Очерки» Щедрина. Его уж ставят выше Гоголя.

1857 год
Дневник

Понедельник, 7 января.

Сегодня едем к Бенедиктову на вечер. Он хочет познакомить нас с Лавровыми. Лавров — артиллерийский офицер, о котором много говорят. Он автор тех двух стихотворений, которые в 1854 году ходили по рукам. Особливо одно, к «Русскому царю»; другое, к «Русскому народу», было менее распространено, потому что слишком нецензурно. Их приписали было Хомякову, и призывали его» и допрашивали, он смог доказать свою неприкосновенность к ним, и его оставили в покое. Лавров же, узнав об опасности, грозящей Хомякову, хотел себя обличить, но его удержали. Так автор и не был найден, и дело прекратилось, и стихи попрятались и забылись.

Особенно много рассказывает мне про этого Лаврова Бенедиктов. Он говорит, что это какой-то необыкновенный, плутарховский, человек, суровый к себе, но вообще идеалист и мечтатель, и в то же время замечательный математик. Начитанность и память у него необыкновенные, и еще в детстве отличался он способностями, особливо к языкам и к математике. В корпусе, где он воспитывался, всегда его вызывали к доске, если корпус посещал какой-нибудь иностранный принц и вообще иностранцы, потому что Лавров владеет французским и немецким языками так же легко, как родным, и мог отвечать на предлагаемые вопросы на любом из них. Отец его тоже отличался суровостью, но не относительно себя, а относительно подчиненных и семьи; он был даже крайне жестокий человек, говорит Бенедиктов. Теперь отца уже нет в живых. Лавров женат, и у него четверо детей. Лавровы живут на Фурштатской, а почти рядом с ними, в собственном небольшом домике, живет его престарелая мать с дочерью, тоже уже не молодой. Бенедиктов не может наговориться, и о том, какой идеальный сын, муж, отец и брат Лавров. Вообще мне странно слушать Бенедиктова о Лаврове. То он его хвалит, ставит недосягаемо высоко, то точно предостерегает от него. Говорит, что как характер он идеален, но как философ — математик — в выводах своих беспощаден и жесток. Мне он пророчит, что когда я с ним познакомлюсь ближе, то забуду всех остальных, т. е. и его, Бенедиктова, и Ивана Карловича и прочих. Но что у меня общего с Лавровым, и как познакомлюсь я с ним близко? Он как будто даже не хочет, чтобы мы встретились у него в доме, но все равно, говорит, ведь Иван

Карлович уже вводит его в дом Ливотовых.

Глинки приехали. Мы были у них в самый день их приезда.

Вторник, 22 января.

У Бенедиктова видела Лаврова и познакомилась с ним и его женой. Видела, но умных речей его, о которых столько говорит Бенедиктов, не слыхала, да и никаких речей, т. е. разговора никакого не слыхала, потому что почти весь вечер все что-нибудь читали или декламировали. Были там еще закадычные друзья Владимира Григоровича, Баумгартен. Он и жена его, Авдотья Павловна, страстно любят читать или декламировать; ну, и сам хозяин также, и потому много беседовать и не пришлось.

Лавров рыжий, с довольно большими, серо-голубыми близорукими глазами, и усами, которые не расчесаны на две стороны, а сплошь покрывают губу и: немного даже торчат, так что, когда он читает, по причине близорукости поднося книгу очень близко к глазам, то они даже прикасаются к книге. Цвет лица у него белый, как у рыжих вообще, а руки белые и пухлые, как у архиерея; он немного картавит. Жена его, рожденная Каптер, слывет красавицей. Ее, когда она еще была барышней, встретил раз на улице К. П. Брюллов, разузнал, кто она, и просил позволения написать с нее мадонну.

Мама пригласила их и Баумгартенов к нам.

Пятница, 25 января.

Вчера обедали у нас Глинки и Бенедиктов. Авдотья Павловна опять написала роман под заглавием «Леонид Степанович и Людмила Сергеевна», и опять пустила его против течения, и воображает, что он переплывет Лету.

Воскресенье, 27 января.

Вчера были дедушка, Солнцев, Адриан Александрович и Щербина. Мама все еще не совсем здорова и принимала их у себя наверху; дедушка, впрочем, бывает почти каждый вечер.

Солнцев служит при генерал-губернаторе Игнатьеве, и потому все, что случается в городе, знает из первых рук; и не только петербургские новости он знает, но и московские. Теперь все говорят о происшествии между Шевыревым и графом Алексеем Бобринским, попросту сказать, о драке их[126]. Вот как рассказывает о грустном событии этом Солнцев.

Шевырев в доме у Черткова нападал на сэра Роберта Пиля за отношение его к России, и между прочим за его отзыв об университетах наших. Это не понравилось западнику Бобринскому, и он стал защищать Пиля и назвал Шевырева

квасным патриотом, который кадит правительству. Шевырев вышел из себя, и ударил его по лицу. Бобринский не взвидел света, кинулся на него, повалил его и стал топтать ногами. Напрасно разнимал их Чертков и пытался оттащить Бобринского, пугая его тем, что он может убить Шевырева; Бобринский ревел, что он этого и желает, и Чертков был вынужден позвать людей, которые и развели подравшихся, вернее сказать, освободили полумертвого Шевырева, и на простынях унесли его домой. Теперь опасаются за его жизнь, а граф Бобринский не унимается и хочет еще стреляться с ним, говоря, что оба они жить не могут. У Шевырева между тем перебывала вся Москва. Еще рассказывал Солнцев, как один молодой кавалергард, князь Голицын, держал пари, что будет у Муравьевой в гостях. Муравьева — танцовщица и еще воспитанница театральной школы. Она недавно только начала танцовать соло, и от нее все балетоманы без ума, потому что она и танцует хорошо и сама хорошенькая и грациозная.

Первое препятствие, которое встретил Голицын при исполнении своего намерения, был швейцар. Для устранения его он не придумал ничего умнее своей шпаги, вынул ее из ножен и ранил швейцара. И стало первое препятствие и последним, потому что дальше итти ему не пришлось: тут же его взяли и посадили куда надо, и пари он проиграл.

Понедельник, 28 января.

Теперь у Глинок собираются гости. Авдотья Павловна разливает чай, и два высоких лакея и маленький Федюша, в сером полуфраке и красном жилете, помогают ей. Федор Николаевич сидит на диване или у печки, со своими старичками. Старички эти — графы Толстые, генерал Бурачок, некогда издатель «Маяка», Греч, генерал Глинка, двоюродный брат Федора Николаевича, сенатор, и прочие. Дамы сидят за чайным столом и в других комнатах; молодые люди бродят повсюду. Говор у Глинок бывает, как нигде, разве в улье еще; еще входя в прихожую, слышишь его из-за затворенных дверей.

Пятница, 15 февраля.

В понедельник у Глинок было видимо-невидимо народу; много интересных людей, да всех не опишешь. Был между прочим один молодой человек, Яковлев; его привел Осипов. Этот Яковлев — русский и православный, но совершенный немец, и даже немецкий поэт. Воспитывался он в Дрездене, потом сидел за что-то, в крепости, но был выпущен из нее, потому что оказался невиновным и взятым по недоразумению. У него есть мать, которую он боготворит. Бенедиктов находит, что он говорит

очень напыщенно, и Гох сказал мне недавно, что хотел бы, чтобы я с ним познакомилась, и уверен, что он мне понравится. Может быть, когда я его узнаю ближе, но физиономии такие мне не нравятся. В нем что-то расслабленное, длинные, назад зачесанные волосы и туманный взор. У Глинок он вдруг издали мне поклонился, хотя нас еще и не знакомили; потом он пришел и сел возле меня. Разговор был общий и незначительный. К концу вечера Соколов представил его мама, и она пригласила его на следующий день обедать. То был вторник, и я ездила в школу рисовать, и привезла оттуда Гоха. Когда мы с ним приехали, Яковлев и Соколов уже были у нас; пришли и Иван Карлович с Поуфлером, вдруг явившимся откуда-то, куда он уезжал; но Иван Карлович не остался обедать и скоро ушел, а мы сели за блины. Яковлев опять, как накануне замечала я, ищет предлога со мной заговорить, и за неимением его издали мне улыбается, никто не находит, значит, это неправда, но мне кажется, что он немного помешан. После обеда Гох и Поуфлер ушли, но явились Полонский и Бенедиктов. Героем дня был, конечно, Яковлев, его слушали, и он ораторствовал. Непонятно, как умный человек, каким его, невидимому, считают, может до такой степени находить черное розовым. А у него все розово. Ну, вот, мне были (есть) слишком как-то терпки, что ли, окружающие меня люди, вот этот все обливает розовым маслом, но мне и это не нравится. *Правды я* не вижу и в этом. Одно еще я вынесла впечатление о нем, это — что его легко обмануть, он легко поддастся обману, но сам ни в чем не обманет никогда. Он смотрит в свои розовые очки и радуется, что весь мир такой розовый; но если раз он увидит где-нибудь черное пятно и убедится, что оно черное, то уж не успокоится, не примирится с ним.

А у Глинок в этот вечер, по случаю бывшего накануне дня рождения графа Ф. П. Толстого, Федор Николаевич говорил ему речь, и Греч также, окончив ее громким ура, которое все присутствующие подхватили, и за которым последовало шампанское. Потом читал Федор Николаевич сочиненный им «Пролог»[127] к празднованию стадвадцатипятилетней годовщины существования 1-го кадетского корпуса. «Пролог» состоит в том, что на сцену являются кадеты всех царствований, начиная с царствования императрицы Анны Ивановны, при которой первый корпус был учрежден.

Воскресенье, 17 февраля.

Бенедиктов читал свои стихи, посвященные Ивану Карловичу, под заглавием «Вход запрещается!»[128] Иван Карлович уверяет, что он всюду читает эту надпись, начиная с Исаакиевского

собора, где она написана на четырех языках, на всех храмах, храме искусств и храме счастья, и даже, когда пробовал он заглянуть в сердце женщин, говорит он, то и там он находит всегда ту же надпись.

Понедельник, 18 февраля.

Вчера ездили поздравлять именинника Федора Николаевича и, выходя из кареты, столкнулись с Осиповым, который уже возвращался от них. Посетителей там было столько, что не успевали отворять и затворять двери.

Дома нашли Полонского с Мишей Смирновым и Сережей Оболенским, воспитанниками его; они у нас обедали. Сегодня только что мы встали, как уж и уехали по лавкам, и между прочим мама выбрала себе сегодня новую коляску. За завтраком была Лиза Шульц; а после завтрака разбирала я с Михаилом Алексеевичем[129] «Травиату», в четыре руки. Он все пристает ко мне, чтобы я продолжала заниматься музыкой, но ведь правая рука моя так слаба, что я никак не могу хорошо играть, и пишу оттого же дурно. Теперь он, кажется, и сам в этом убедился.

Должна записать одну странность Гоха. Сегодня поехала я к нему с Колей. Приезжаем и спрашиваем у отворившего дверь мальчика, дома ли. Мальчик говорит: «Дома, но Елизавета Андреевна в постели». На вопрос, что с ней, мальчик улыбается и ничего не отвечает. Вышел Иван Андреевич и повел нас к себе в кабинет. Спросила я и у него, что с Елизаветой Андреевной. «Так, — говорит, — нездорова», — и больше ни слова. Посидели мы немножко и встали, говоря, что не хотим беспокоить его, так как у него больная. Но он не пускал. Пришлось посидеть еще. Когда же я окончательно поднялась, он вдруг спрашивает: «Хотите зайти к жене?» — и повел; меня к ней. У дверей ее спальни слышу, вдруг раздается плач новорожденного ребенка «Это что такое?» — спрашиваю. «Это моя девочка», — отвечает он. «Что же вы раньше не сказали? Мы бы вас поздравили». — «Да что тут интересного, — отвечал он, — и стоит ли об этом говорить». У Елизаветы Андреевны я пробыла одну минуту. Их девочке Лиле всего еще пятый день. Андрюша и Маня в восхищении, что у них новая сестрица.

Среда, 20 февраля.

Сегодня папа катался со мной в санях. Мы катались далеко где-то, в самом конце Васильевского Острова. Вечер провели одни, тихо, у лампы, за занятиями; я люблю такие вечера. Я продолжаю учиться музыке у Михаила Алексеевича, хотя и безуспешно; но он не отстает. Вообще как-то теперь выходит, что

я много бываю с Михаилом Алексеевичем. Прежде я его совсем не замечала, а теперь он как-то все у меня на глазах, и мы много с ним беседуем. Днем давала Маше английский урок, а у мама сидел в это время Полонский и передал ей еще один эпизод из той истории, истории графини и Осипова, а именно, как в то лето, когда начиналась эта история, она раз, гуляя с ним по Петергофу, открыла ему, что влюблена, и просила совета, что ей делать. Полонский растерялся, сконфузился и замял разговор, не узнав, кто предмет ее любви. Тогда она заговорила обо мне и объявила, что меня выдают за Осипова, и что мы оба неравнодушны друг к другу. Что за вздор! И охота Полонскому это рассказывать, и охота мама передавать мне, и охота мне слушать, да еще и вносить в дневник. Но я не все вношу в дневник, что слышу и вижу, и что случается. Так, я не передала, что в январе еще виделась раз с Осиповым, случайно, и довольно долго с ним сидела и беседовала. Где это было, расскажу когда-нибудь на досуге, теперь еще тошно вспоминать об этом вечере, так как это был вечер, но не у нас и не у знакомых; но мама и Марья Карловна и Марья Петровна были со мной.

Того, моего Осипова больше нет на свете; этот не тот, и я уж не та. Тот свет, который сиял мне в нем и освещал его душу и согревал мою, потух.

Я души его уж не вижу, а до тела, до внешности его мне дела нет. Повторяй он мне теперь опять то, что говорил тогда, я буду иначе слушать, иначе оно отзовется во мне, и не пробудит того, что будило тогда. Тот Осипов мне дорог по-прежнему, но его уж нет, он умер, и мне тяжело о нем вспоминать, потому что жаль покойника.

Да его, может, и не было никогда, а воображение мое его создало и облекло в его образ. Ныне чары рассеялись. Ну, и что же? Мне их жаль.

Если действительно он предмет ее любви и знает это, и сидит у нее, а не бежит без оглядки, презрев всеми выгодами положения, то разве он мой Осипов?

Благодарность благодарностью, но делать из благодарности ту, которой должен быть благодарным, посмешищем, — не понимаю.

Среда, 27 февраля.

Не описать ли те два противных вечера, на одном из которых виделась с Осиповым, как уже и упоминала недавно?

Эти два вечера мы провели в *маскараде*, в дворянском собрании. Уже одно то, что принуждена я была туда ехать, было противно. Мама пришло вдруг в голову показать мне маскарад.

Меня эта идея повергла в ужас. Мне, хромоногой, надевать домино и маску, т. е. скрываться, когда при первом шаге походка выдаст меня. «Будешь, — говорит, — сидеть и по крайней мере составишь себе понятие, что такое маскарад». Но к чему мне это понятие? Какое-то я уже имею из рассказов Шелгуновой, которая, бывало, не пропускала, кажется, ни одного. А вдруг какой-нибудь знакомый меня увидит и подумает, что я сама захотела туда. Но с мама не бороться. К тому же Имбергу понравилась идея эта, и он не давал мама покою и все убеждал меня, уверяя, что никто не узнает и что маскарады очень интересны.

И вот 7 февраля мы поехали в маскарад, в сопровождении Марьи Карловны, Марьи Петровны и Имберга. Меня посадили на одну из боковых скамеек, и со мной осталась Марья Карловна, а мама с остальными сошла в залу. Я глядела на черную движущуюся толпу и ничего интересного там не видела, и только ждала, когда это все кончится и мы уедем домой. Марья Карловна, конечно, была поблизости меня, но я и ее плохо различала в ее костюме, да, должно быть, она и не сидела все на одном месте, потому что вдруг слышу около себя ее голос: «Посмотрите, Леличка, кого я вам привела». Гляжу: Осипов, именно тот, кого меньше всего желала видеть в этом месте. Ну, сел, и долго мы с ним пробеседовали; и тут-то я и почувствовала, что потух в нем всеосвещающий и согревающий огонь… Говорили о разных разностях, о том — о причине размолвки — избегали, нельзя было иначе. Распространялся он очень о стихах Некрасова «Давно отвергнутый тобою…» говорил, что они чудесны, даже лучше, чем «Внимая ужасам войны…»

Вообще о стихах говорили много, и некрасовских и Полонского, которого мы с ним любили особенно; любили, когда он сам их читал и при этом проходил мороз по коже; припоминали многое. Вдруг у самого моего уха раздался голос: «Es-tu contente de ton cavalier, beau masque?»[130] Я оглянулась, вижу, между моей головой и головой Осипова — маска. Глаза мои как-то прямо попали на пробор ее, заметный под черным кружевом, и я, недолго думая, забыв, что инкогнито маски ненарушимо, брякнула: «Графиня, здравствуйте!» Но едва сорвались с языка моего эти слова, как графиня исчезла, точно провалилась сквозь землю. Еще с разинутым ртом, от удивления, — к счастью, он не был виден под маской, — посмотрела я на Осипова. Он сидел и смотрел в пространство, с таким злым лицом, какого я в нем и не подозревала. «Я сделала неловкость, — сказала я, оправдавшись после минутного молчания, — мне не следовало узнавать графиню, она оттого и ушла; но я с непривычки забыла». — «Ах, вздор какой!» —

возразил он и заговорил о другом. Скоро затем воротились мама и прочие, и мы, наконец, уехали. Теперь графине есть опять, что плести.

Вторая наша поездка в маскарад была менее интересна, но страшнее, и потому еще противнее вспоминать о ней. На этот раз, кроме всех прежних лиц, брали с собой Колю; и это-то и было страшно и противно. Коля — гимназист и не смеет посещать маскарады; снимать мундир и являться в публичном месте в частном платье также не смеет. И все это нарушили. Коля и Имберг собирались, на бал. Мама вдруг вздумала ехать в маскарад. Михаил Алексеевич должен был сопровождать нас и с большой готовностью отказался от бала, но Коля не хотел туда ехать один. И вот, чтобы не совсем лишить его удовольствия, решили взять его с собой. Живо одели его во фрак, наклеили ему усы и — поехали. Папа в тот день в Ивановке.

Первое лицо, которое мы встретили при входе в залу, был гимназический гувернер Креслинг. По счастью, он не смотрел на нас и Колю не узнал. Мама говорила, что она дрожит, как в лихорадке, а к чему было, к чему ехать и ставить Колину будущность на такой риск; ведь он уже на выпуске, и выходка эта могла дорого ему обойтись. И добро бы мама веселилась, интриговала кого, как, например, Шелгунова, которая на маскарадах сводила с ума Тургенева и других. Мама и не заговаривает ни с кем, а так ходит и смотрит.

Вернулись домой и узнали, что папа неожиданно приехал из Ивановки, очень гневался, ушел к себе вниз и там, в кабинете, велел постлать себе постель. Я не спала всю ночь. Утром мама послала меня к папа, который не завтракал и не обедал с нами.

Весь день я проходила от мама к нему и обратно, сверху вниз, и, наконец, он простил, они помирились.

Рассказала, наконец, о чем было тошно думать. Давно это было, уже две недели тому назад.

Среда, 17 апреля.

Щербина продолжает острить по-прежнему, и по-прежнему больше всех достается от него И. И. Панаеву. Достается и другим, но не все доходит до нас. Написал он и на Авдотью Павловну и на А. Н. Майкова; мама не захотела слушать, и с тех пор мы многого не слышим. Федора Николаевича прозвал он «ходячий иконостасик», — по причине множества орденов и крестов, которыми увешана его грудь. И на себя сочинил он четверостишие:

И какой я литератор,

И поэт-то я плохой.
Я коллежский регистратор
С буколической душой.

Но сохрани бог кому-нибудь другому обмолвиться чем-нибудь острым, прозой или стихами, на его счет; он тотчас же как-то свернется и нахохрится, как тогда, на именинах Полонского. Говорят, что он особенно зло преследует Панаева[131] именно за то, что Панаев что-то такое сказал про него.

Бедный Щербина, никто так не уговаривал меня писать дневник и вносить в него все, все, самые мелочи, как он, и вот про него-то я и пишу нехорошие вещи. Но что делать, когда он таков, когда есть в нем эти черты. Иные стихи его прекрасны; но стихи одно, он другое. У меня хранится тетрадь его «Ямб» и «Элегий», переписанных частью графом Ф. П. Толстым и частью Осиповым; я некоторые из них очень люблю; он сам чуток на прекрасное. Его приводят в восторг некоторые стихотворения Фета, например: «Знаю я, что ты, малютка…» или «Я пришел к тебе с приветом…» и «Шепот, робкое дыханье…» С восторгом повторяет он и стихи Полонского и Гейне, но все же в нем есть что-то отталкивающее, и это даже не столько злость его, как какая-то трусость себялюбия. Он не так противен, когда кусается, как тогда, когда, укусив, прячется в подворотню и жалуется, что его обидели. Живется ему плохо, я это знаю, с ним носятся и о нем всячески хлопочут его друзья, как Солнцев, Г. Данилевский, Розальон-Сошальский; Толстые хлопотали, и мама также. Хлопотали пристроить его на службу. Помню, как — при этом раз дедушка, которого также просила за него мама, сказал: «Матушка, да как он сделается чиновником и наденет вицмундир, когда он и их и его уж оплевал!» Однако он сделался чиновником и надел вицмундир, но, кажется, ненадолго. Тогда-то и написал он:

Я коллежский регистратор
С буколической душой.

Вторник, 7 мая.

Вот и май уже, а дневник не пишется. Но мне лучше, страх как будто прошел, я спокойнее, я почти здорова. Но сказать ли, чего мне жаль? Мне жаль прежнюю себя. Я перечитала дневник 1855 года, и мне стало жаль прежнюю себя. Что мне в том, что я теперь, может быть, умнее, мне жаль прежнюю ясность души.

Современная философия, или, может быть, просто

философия, встревожила ее, и я больше знаю, но душа не спокойна. Что мне знание! Кто отдаст мне прежний мир души. Теперь она, как море на другой день после бури, еще колышется, и кто знает, возвратится ли ей когда-нибудь, как морю, когда буря совсем отойдет, первоначальная ясность.

Вторник, 14 мая.

В субботу переезжаем на дачу; жарко уже в городе.

Четверг, 12 сентября.

Лето прошло, я ни разу не заглянула в свой дневник. Думала, что уже совсем его забыла, но вдруг сегодня он вспомнился. Отчего? Сама не знаю.

Лето прошло, как видно, все, все времена года проходят. Ничего особенного, слава богу, не произошло. Я уж, как старуха, говорю «слава богу», что не произошло ничего особенного. А в молодости особенного-то и жаждешь; но мне уже двадцать один год. Особенное влечет за собой перемену; а перемены совершаются и так, своим чередом, и слишком быстро. Братья подрастают; не успеешь оглянуться, как вылетят птенцы из родного гнезда, и гнездо распадется. Папа стареет, здоровье его портится, а он все трудится сверх сил. Он зарабатывает много, а мы все им заработанное, такими непосильными трудами, расточаем; все сыплется куда-то, как сквозь решето, и он не имеет успокоения, что обеспечил свою избалованную семью.

Глядя на нас, один посмеивается, другой качает головой, третий пожимает плечами. Кто может поверить, что мы проживаем прямо зарабатываемое и не проценты с отложенного, что отложенного и нет вовсе.

Братья подрастают, но из них не выходят труженики, как отец; что я говорю, — труженики, как отец, — просто самобытные, дисциплинированные, с известным характером и способностью к труду люди не выходят. Они не дурные мальчики, добрые, честные, но самостоятельности в них нет, исключая Андрюши[132]. Он теперь шалит больше всех, но он все-таки и самостоятельнее и как-то серьезнее. Я все жду, когда же проявится в них то, что я и назвать не умею, но что вижу в других мальчиках и юношах их лет, воля, что ли, какое-нибудь стремление зависеть от себя, отвечать за себя, работать…

Но куда я вдалась опять? Опять Кассандра видит что-то. Та, настоящая, была не мне чета, да и ту не слушали.

Сегодня провожал меня в школу Имберг, и по дороге, потихоньку, т. е. без позволения, заезжали мы к Гоху. Как стрела, несся Паша, милая лошадка завода покойного дяди; такая умная,

что всегда оглядывается, кто садится в экипаж, и если мама, то ни за что шибко не пойдет, а на козлах был сегодня не солидный Исай, а такой же безумный, как мы, его сын Ерошка. Елизавету Андреевну застали мы в детской, окруженной детьми, а самого Гоха не было, он ездил на железную дорогу провожать в Орел, где он получил какое-то место, Осипова.

Среда, 6 октября.

В столе у меня лежит «Колокол» Искандера, и надо его прочитать спешно и украдкой, и возвратить. Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров. Что изречет он в Лондоне, то подхватывается в Петербурге и комментируется, а больше смакуется, как нечто сладкое, когда оно в сущности горько. Странные дела происходят, в удивительное время попалась я жить.

«Колокол» прячут, но читают все; говорят, и государь читает. Корреспонденции получает Герцен отовсюду, из всех министерств, и, говорят, даже из дворцов. Его боятся, и им восхищаются. Он, само собой, запрещен; читают его или в одиночку, украдкой, или в очень интимных кружках, и говорят о нем тоже не открыто. Говорить открыто, а тем более писать запрещено; но и потихоньку, в своем кружке, говорить можно не все; осуждать, критиковать сомневаться в чем-нибудь, изданном Герценом, — нельзя, еще строже запрещается либералами, чем его хвалить или просто запрещено читать предержащей властью, правительством.

Я однажды отважилась сказать моим подругам, что не люблю Некрасова; что не люблю Герцена, — не отважилась бы. Говорю это не к тому, что он мне также не нравится, нет, он увлекателен, в нем есть что-то подмывающее; цель его, которую он выставляет и выставляют за него другие, — благая цель, но я только хочу сказать, что нет нетерпимее людей, чем либералы. И имеем мы теперь две цензуры и как бы два правительства, и; которое строже, — трудно сказать. Те, бритые и с орденом на шее, гоголевские чиновники, отходят на второй план, и на сцену выступают новые, с бакенами и без орденов на шее, и они в одно и то же время и блюстители порядка и блюстители беспорядка. Вот тут и разбирай, где правда, где неправда. Душой нового, либерального направления прогресса называют в.к. Константина Николаевича. Про государя говорят, что он добр, благороден, но нерешителен и слаб. Константин же Николаевич и умен и решителен. И все хорошее, в либеральном духе, приписывают, ему, все противоположное — государю.

А интересно бы знать, что такое из сочинений Герцена сожгла

тогда мама. Теперь и она читает его, но не показывает дедушке. И Бенедиктов читает. Бенедиктов бакенов себе не отпускает, а остается бритым, как был; но с орденом на шее больше не является. А я помню, как в 1853–1854 годах он приходил с ним. Бенедиктов очень приятный человек. Отличительная черта его — скромность. Он очень умен и мнений своих не скрывает, но и не кричит их всему свету в уши; он умеет молчать, но и умеет сказать впору веское слово, иногда очень острое. Полонский уехал за границу[133] еще 18 мая. Мы провожали его на пароход, но на пристани было столько народа, что и парохода, за народом, не было видно и, следовательно, и Полонского. Мы однако успели проститься с ним, и он успел показать нам издали Константина Аксакова, сына Сергея Тимофеевича, и старшего брата Ивана, поэта. Полонский говорит, что Константин Аксаков — человек необыкновенный, возвышенного ума и глубоко религиозный, впрочем, все Аксаковы люди недюжинные.

Четверг, 6 декабря.

Уже второй день святок и именины Полонского, Якова Петровича. Где-то празднует он их? Должно быть, в Риме[134]; но как? Может и забыл сам, что именинник; с него станется. Надо спросить у мама, она верно знает, где он сегодня, потому что очень часто получает от него письма и пишет ему.

Жизнь наша теперешняя — сравнительно тихая, а занятий больше прежнего. Нет прежних выездов и разъездов и толкотни и суеты с посторонними лицами, от чего так устаешь. Я теперь учу сестер и Фильку, Авдотьиного сына, рисую, шью; читаю мало, по совету доктора — Курочкина, нашего нового знакомого, брата переводчика Беранже, который тоже у нас бывает Субботы наши еще существуют, но тихие и не многолюдные; так, человек в двадцать-тридцать, и почти все одной масти; есть несколько новых знакомых, вот Курочкины, Лавровы. Между тем, пока мы живем так тихо, в центре столицы и вдали от шума городского, потому что у нас с одной стороны двор, а с другой сад, — в Петербурге совершаются такие вещи, что иногда спрашиваешь себя: «не сон ли это?»

Было время, когда не смели говорить об освобождении крестьян. Потом наступило другое, когда об освобождении крестьян говорить было разрешено, и все о нем заговорили; теперь — что теперь? неужели опять запретили? Какое! Теперь мало того, что говорят, теперь действуют!! Рескрипт[135] об этом уже недели две, как напечатан во всех газетах. Не разом вся Россия освобождается. Начинается освобождение с четырех губерний: С.-Петербургской, Минской, Гродненской и Виленской.

Тому, кто не переживает самолично нынешнего времени, не понять, т. е. не представить себе, что ныне говорится, и сколько. Вот, поистине, словоизвержение и объясняемое лишь тридцатилетним молчанием.

Невольно вспоминается Шелкова, знакомая Глинок, и от которой спасался старик Вигель, чтобы не слышать ее неумолкаемой болтовни; юна ведь тоже была немою семнадцать лет.

Теперь все превратились в Шелковых, и даже сами бывшие Ф. Ф. Вигели. Говорить никто и ничего не мешает, и говорятся вещи самые неожиданные и изумительные. Вот писать и печатать не все можно, а говорить все. Главная тема — освобождение крестьян — это великая новость; но есть каждый день новые новости, не столь крупные, но тоже захватывающие.

Радость по поводу предстоящего освобождения, недоумение, опасение, ожидание — велики, как велико и грядущее событие.

И вот, можно сказать, ворота отперты, поводья сняты, конь несется…

В числе наших знакомых есть много помещиков. Ни единым полусловом, намеком даже не выражают какого-нибудь неудовольствия по поводу ожидаемого события. Все рады, все прославляют государя, а еще более Константина Николаевича; ведь ему приписывают все хорошее. Но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Еще годы пройдут, пока все уладится и наладится, и сколько слов, сколько слов еще извергнется. Ну, так что же? Du choc des opinions jaillit la verité![136]

1858 год
Дневник

Среда, 8 января.

Скоро ночь. В доме все стихает и засыпает, а я опять, как в былое время, сижу перед дневником со своим прежним роем мыслей и ощущений, прежним нетерпением и прежней стукотней сердца о левую руку, пока, наклонясь, пишу. Но я теперь здорова или почти. Не столько окрепла, сколько отвердела, хоть снаружи обрастаю корой, и стала менее чувствительна к прикосновениям действительности.

И вот я сижу и не знаю, с чего начать. Сотни порванных нитей торчат своими кончиками, и я не знаю, какой кончик взять и вытянуть, и как связать конец с концом; и гора впечатлений тут же.

В субботу был у нас танцовальный вечер. Гостей было много, но не так, как бывало прежде. Многих не доставало: кто уехал, кто болел, а с некоторыми мы больше не видаемся. Кавалеров было как будто мало, и как будто были не те, не бальные. Дирижировал танцам, например, Колин знакомый, невзрачненький офицер, Михаил Иванович Семевский. Наряднее всех танцующих дам была жена Лаврова, Антонина Христиановна, красивая женщина. Я говорю, что теперь у нас общество другого покроя, все бальное.

Четверг, 9 января.

Глинки приехали. На днях Федор Николаевич приезжал звать нас к себе. Мы были в понедельник. Видели графиню; она мне напомнила былое время. Была там еще Ладыженская, pendant[137] к графине, олицетворенный восторг. Религия и поэзия — великие вещи, но и из них можно, сделать какую-то неприятную смесь и преисполниться ею, это они обе и делают. И откуда только Авдотья Павловна набрала этих барынь. Их у нее четыре, целая кадриль или квартет фальшивой музыки, хотя и поют они одинаково. «Dis moi qui tu hante et je te dirai qui tu es»[138], — говорит пословица, но в отношении к Глинкам она даже не применима и только подтверждает другую, что *нет правила без исключения*; Авдотью Павловну притворщицей назвать уж никак нельзя, она скорее резка, вовсе не сентиментальна, и вовсе не похожа на этих четырех. Но что она смотрит на вещи трезво, осветя их умом, которого у нее так много, тоже нельзя сказать. Кто-то ей напустил туману к глазам, и она попала в лабиринт

фальши, и вместо того, чтобы постараться оглядеть его, уверяет, что ей очень хорошо. Только в графине она немного разочаровалась, да и то не в том, в чем бы следовало. Она знает часть нашей истории и часто намекает мне на нее. В прошедший понедельник, когда она подошла ко мне и положила мне на плечи свои руки, я не могла не выразить ей своей радости, что они опять в Петербурге. «Я вам готова верить, — отвечала она, — но согласитесь, что всем верить нельзя; да вы, думаю, и сами это испытали», — прибавила она, едва заметным движением указывая на графиню. Я засмеялась и говорю: «Немножко». Она тоже усмехнулась: «Что немножко! — говорит. — Погодите, испытаете и побольше». Затем повернулась, чтобы заговорить с Ладыженской, но вдруг опять обратилась ко мне и молвила: «А вот ей можно верить. Она хоть тоже сладко говорит, да ей можно верить. Вы как полагаете?» — продолжала она, вызывая меня на ответ. «Можно?» — вместо ответа спросила я. «Можно!» — твердо ответила Авдотья Павловна. Но тут и ее и мое внимание обратили на себя руки этой барыни, которой можно было верить. На каждом пальце этих рук, не исключая и больших, было по металлическому кольцу; из какого металла, не знаю, но не золота и не серебра. Она повертела своими, точно в оковах, руками перед нами, как фокусник, который собирается делать фокусы, и рассказала, что они средство от мигрени; что их ей дал какой-то доктор «удивительной учености», которого где-то отыскала княгиня Шаховская, сопутствовавшая сыну своему Михаилу, когда тот ездил куда-то на следствие. Что доктор сам десять лет страдал мигренью и избавился от нее только благодаря этим кольцам. Но меня занимали не кольца, не мигрень или доктор удивительной учености; пока рассказывала Ладыженская, — меня занимал вопрос, гораздо ли больнее, когда дают пощечины рукой в кольцах на всех пяти пальцах, или одинаково, что и голой рукой.

Дело в том, что недавно от самой Ладыженской я слышала, что людям своим, конечно, крепостным, она обыкновенно, когда провинятся они, вместо всяких разговоров дает «отеческие наставления десницей», — ее собственное выражение. И вот меня беспокоил вопрос, в кольцах ли десницей, и гораздо ли больнее в кольцах?

Рассказывала это Ладыженская по поводу того, что у нее есть горничная, которая никак не может научиться говорить: «экипаж подан», или «лошади готовы», а все говорит: «лошади приехали». За это-то «приехали лошади» она и награждается пощечинами. Ну, как тут не возрадоваться предстоящему освобождению и не сочувствовать Герцену и компании, когда даже и такие люди,

которых называют правдивыми, т. е. честными, с легким сердцем, как ни в чем ни бывало, подымают руку свою на ближнего. Грядущее великое событие освободит не одних крестьян, оно освободит и помещиков от — греха.

Суббота, 11 января.

Сегодня приступаю к дневнику моему еще вся взволнованная[139]. Только что читались речи Кокорева, Бабста, Кавелина, Павлова и Каткова, произнесенные ими в Москве, на обеде, даваемом на радость предстоящего освобождения[140]. Заря какой-то новой жизни занимается, в самом деле. О, не мне писать о ней. Я только могу повторять вслед за Иваном Карловичем: «Слава богу, что я еще не умерла!»

Вторник, 14 января.

Сейчас были у Гоха. Сегодня весь день читала «Wilhelm Meister», а вечером начала третью «Полярную Звезду», Искандера.

Среда, 15 января.

Раз разговорилась я с доктором Курочкиным и с Иваном Карловичем о том, чья из известных людей участь самая завидная. Много биографий перебрали мы, и, наконец, Курочкин задал вопрос, кого из известных женщин считаю я самой достойной зависти, не Жорж Санд ли? Но какая женщина Жорж Санд? Она полумужчина. Курочкин утверждает, что, напротив того, она именно и есть вполне развитая женщина. Но разве вполне развитая женщина должна походить на мужчину? После этого куст, выросши, должен сделаться деревом; соловей — вороной? Я не верю, что для женщины нет иного развития, как на этот образец.

Курочкин стоял на своем и долго и горячо защищал свою тему. А мне вдруг показалось, что мужчины из самомнения и самообожания выдумали это развитие, и не могут себе представить иного и самостоятельного. Когда я это высказала, Курочкин рассмеялся и расплескал свой чай.

Пятница, 17 января.

Кончила «Полярную Звезду» и сегодня опять принялась за «Вильгельма Мейстера», читала именно те главы, где Гете говорит о Гамлете, и читала их в зимнем саду.

Понедельник, 20 января.

Сейчас от Глинок, поздно, надо спать. Единственный неудивительный человек у них был Бенедиктов.

Вторник, 21 января.

Я глупо написала о гостях Глинок. Что это за суждения! Кто такой удивительный и неудивительный человек? Все удивительны и неудивительны. Но бывают минуты, что мне у Глинок тяжело дышать, точно в склепе; я уж привыкла к вольному воздуху.

Среда, 22 января.

Теперь мама ложится спать. Пана и Коля уехали на свадьбу и на байт, а все остальные уже спят. Все остальные спят, а я не сплю и, в тишине глубокой ночи, опять задумалась о пережитом, о странной болезни моей и о состоянии духа, в котором так долго находилась, — мучительном состоянии, когда человек перерос то, к чему Привык, и еще не привык к тому, до чего дорос. Помню, как я металась от книги к книге тогда, и — одна не удовлетворяла моего голода, а другая пугала еще пуще. Помню, как прислушивалась к людям, жаждая найти у них то, что мне было нужно, но вместо того преисполнялась лишь пущим ужасом. Но к чему я это все вспомнила? Хочется, что ли, разбередить едва зажившие раны? Ну, да, они зажили, но на них еще только струп, не рубец. Неловкое прикосновение может его сорвать. Я все еще — как тростник надломленный, как струна, еще звенящая; мне все еще виден тот край бездны, на котором я стояла. Мне все еще по временам кажется, когда я слушаю окружающих меня людей, что вокруг меня пустое сырое пространство; что обдает меня холодом; что и вблизи и вдали, и везде завывает пронзительно тонкий, неистово-страшный ветер; и под ногами — ничего, в трепетных, ищущих опоры руках — ничего, перед глазами — ничего и в ответ на клич — ничего.

Суббота, 25 января.

Вот я добилась того, что растревожила свои раны и не писала два дня. Теперь ночь опять, но теперь я себя победила, да и иначе настроена. Сейчас кончилась наша суббота. Были дедушка, Бенедиктов, тетенька Л., Лиза, Лавров, Глинки, Солнцев с дочерью, Данилевский с женой, Курочкины, Гебгардты, Соколов, Хлебовский, Панаев, Святский, Гох. Но некоторые из этих лиц почти весь вечер провели, запершись, наверху, в моей комнате. Они читали пятый и шестой номера «Колокола». Я, конечно, не слушала, мне надо было быть внизу. Но Гох говорит, что я немного потеряла, потому, во-первых, что там было слишком много возмутительного, а во-вторых, одна история, которую он и не дал бы мне слушать[141].

Вторник, 28 января.

Только что от Лавровых, а мне уж опять хочется к ним. Они мне нравятся. Нравится склад их жизни, вся их семья; их девочки в длинных локонах, с открытыми шейками и ручками, такие хорошенькие и благовоспитанные; она, красивая и величавая, смесь, но очень хорошая смесь, русской барыни с немкой из образованного и богатого дома, а главное, нравится он; и, может быть, не столько нравится, сколько любопытен. Я что-то стала тупа на анализ (и очень этому рада, впрочем), я не могу, в сущности, отдать себе ясного отчета в нем. Может быть, я смотрю на него глазами Бенедиктова, и Ивана Карловича, и тетеньки Ливотовой, которые тоже превозносят его до небес. Мне так нужно кому-нибудь верить, положиться на кого-нибудь. Он, в сущности, из тех, кого я так боюсь, кого избегаю, но дело-то в том, что от него я надеюсь получить ответы на мучающие меня вопросы. Кто же, если не он, может их дать, этот homme superieur[142], как его называют. Другие, мучители мои, кидают страшные слова и не дают себе труда привести для них доказательство; кидают вопросы, а ответов не дают, потому что не могут или не хотят. Лавров, с его умом, с его познаниями, с его античным, плутарховским характером, как говорит Бенедиктов, — должен дать эти ответы.

Только бы не оказалось у него ахиллесовой пятки; только не увидать бы мне его пятки.

Среда, 29 января.

Мне столько надо записать, но как справиться? Впечатления слишком разнообразны. Я живу слишком богатой умственно жизнью. Вижу, слышу, даже понимаю — слишком много. Если бы я с сегодняшнего дня перестала видеть, слышать и понимать и занялась бы только прошедшим, то и тогда не в состоянии бы была передать всего, а теперь возможно ли? Каждый миг приносит что-нибудь новое.

Кроме мучающих меня вопросов есть множество других, которые ныне, как птицы, почуявшие весну, реют из конца в конец; есть речи, которые и бичуют и режут подчас, но подчас и целят; и есть редкие, еще и неукоренившиеся, молодые ответы на иное. И как все это наполняет бытие и как сильно действует! А посреди этого всего — мои собственные обновившиеся силы, моя молодость, бьющаяся о свою клетку сильнее прежнего, но без прежнего отчаяния; близость весны, этого праздника природы, — как это все сильно действует!

Книга, которую я так спешила дочитать, называется: «Fabiola

ou les Catacombes de Rome» par le Cardinal Wiseman[143]. Полонский писал мама, что она производит фурор в Риме, и мама купила ее. Я пробежала предисловие, и мне не захотелось ее читать. Случайно увидал ее Лавров, и тоже читать не захотел, но при каждом свидании спрашивал, прочла ли я ее. Наконец, решили, что прочтем ее оба порознь, конечно, и вот я свою задачу исполнила и передала книгу ему. Что сказать про нее? Историческая часть ее рассказана в Четьих-Минеях гораздо лучше, а большей простотой; как проведение известной идеи она слаба, а в целом кажется каким-то анахронизмом. Спеленутая добродетель действует в ней как-то поневоле, а полного, высокого произвола в ней нет; католические буквы зато затмили в ней слово, огня же, убеждения, нет. Описание римских нравов того времени было бы недурно, но сам кардинал говорит в предисловии, что за верность описания он не ручается. Католичкой она меня не сделает, а христианкой я родилась. Подвиги мучеников велики, но были люди, которые отдавали жизнь свою, и не надеялись на награду в будущей; да и о мучениках в Четьих-Минеях рассказано лучше. Что-то скажет о книге Лавров.

Сегодня взяла у дедушки «Записки князя Якова Петровича Шаховского», а затем думаю читать Мишлэ.

Пятница, 31 января.

В последний раз были в опере. «Отелло» шел чудесно Что за восхитительная музыка после всех этих опер Верди. Публика сходила с ума. Бозио и Тамберлика вызывали бесчисленное число раз, покуда не потушили лампы. Это чудо, чудо! Но музыка утомила меня, и я сейчас ложусь спать. С нами был Аля; Аля чудесный мальчик.

Суббота, 1 февраля.

Сейчас проводили последних гостей, и только что пришли наверх. Были дедушка, Марья Карловна, Бенедиктов, Майков, Писемские, Солнцев, Гохи, Курочкины, Соколов, Франкенштейн, Гебгардты, Имберг, старик, Мартынов, художник, Хлебовский, Микешин, Сорокин, Миллер, Борис, Водовозов, учитель в 1-й гимназии, и Крестовский, студент, Колин товарищ, будущий поэт или писатель, и на которого Водовозов, учитель словесности, возлагает большие надежды. Франкенштейн не играл, а мне так хотелось послушать его скрипку, но он не принес ее сегодня. Николай Курочкин, кажется, очень хороший человек.

Воскресенье, 2 февраля.

Сегодня, наконец, провели вечер дома. Папа на балу у в.к. Марии Николаевны, а мы о мама сидели одни. Она писала Полонскому, я читала. У детей были гости.

Чудная женщина Лиза Шульц. Я ее все больше и больше люблю, потому что все больше и больше узнаю ее; а знать ее и любить — одно и то же.

Некто, Мухин сослан в Вятку за то, что читал в каком-то трактире вслух Искандера.

Многие принимают за чистую монету все, что говорит Кокорев. Пусть его превозносят *новые,* пусть слушают его *старые*, лишь бы выходки его приносили желанный плод.

Одни восхваляют государя, другие говорят, что главный двигатель всего хорошего — Константин Николаевич, но что он не выставляется вперед. Первые же утверждают, что, напротив, он выставляется вперед. Хочет, чтобы о нем говорили, хочет популярности. Что он побуждает государя на скачки и прыжки, результатом которых чаще всего бывает возвращение на прежнее место. И что это действует очень пагубно, что-то расшатывается и в делах и в умах, и вперед не идет, а только теряется почва под ногами.

Я была за границей, видела цивилизацию, приобретенную посредством прогресса, т. е. посредством шествования вперед по тому пути, по которому о таким спехом хотят гнать и нас, но блага, отсутствия голодных, холодных и обиженных — не видала.

Происходит какая-то путаница, слово «прогресс» заменило слово «цель».

Правоверный мусульманин, идя в Мекку, делает два шага вперед и один назад, и все-таки доходит до Мекки. Но он знает дорогу и знает свою Мекку; она существует в действительности, ее и видят и осязают Нашу же Мекку никто не видал, и на том ли она пути, по которому мы идем, никто не знает. Да и существует ли она?

Цивилизация, которую нам навязывают, дала за границей *комфорт* для немногих, а не *благо* для всех. Впереди неизвестность, но позади — позади великое. Там памятники стремления духа человеческого к возвышенному, божественному. Там соборы Кельнский, Страсбургский, Миланский; там Гете и Шиллер и прочее и прочее.

Но соборы строились не для удобству человеку, а во славу бога. Не по другому ли пути мы идем теперь? Не на том ли, прежнем, который привел к соборам во славу бога, — лежит наша Мекка?

Я, кажется, расфилософствовалась, что мне вовсе не подобает.

Но еще одно. Мне часто приходит на мысль, какая, в сущности, неблагодарная роль выпала на долю Константина Николаевича. Все нововведения на пути прогресса приверженцы его приписывают ему, а между тем в истории они будут принадлежать к деяниям Александра II и составят славу его царствования. Его приверженцы льстят ему, превозносят его ум, его просвещенный взгляд, его либерализм и прочее. Он честолюбив, может быть, искренно преисполнен желания блага для России и искренно верит, что тот путь, на который ему указывают, и есть настоящий путь к этому благу, и — не властен вести по нему. Так близок к власти, и все же не властен. Ему льстят. Слава, будучи родным братом царя, быть либеральным, стоять у самого трона самодержца и в то же время не сочувствовать самодержавию, — так заманчива. Ему твердят: «Вы можете так многое», а между тем он многого не может. Он чувствует в себе силу лететь, куда ему укажут, а крылья подрезаны. Не заманят ли его льстецы-искусители, не соблазнит ли его слава передового человека — переступить известные границы? Уже шепчут, что Константин Николаевич находится в сношениях с Искандером.

Приверженцы его ожидают от него многого, и противники, которых гораздо больше, чем приверженцев, покуда еще тоже ожидают многого, но многого — дурного. Они его называют беспокойным человеком и опасным преобразователем. Странно, что Лавров, сам либерал, не особенно симпатизирует ему. Я еще не пойму Лаврова. Мне кажется, что он прежде всего романтик-идеалист. Он жаждет подвига, но не знает, где его искать, и до поры до времени блюдет какую-то чистоту душевную и всяческую, и строгое исполнение долга относительно семьи и среды, в которую поставлен. Он жаждет славы — кто ее не жаждет! — но, близорукий физически, он, кажется, близорук и в этом отношении и ближайшую отвлеченную вреду не видит, как она есть. Когда говорят о государе и его брате, он всегда берет сторону первого.

Воскресенье, 9 февраля.

Я бы хотела, чтобы в моем дневнике отпечатывался дух настоящего времени, и не умею этого сделать. Для этого, кажется, надо, не рассуждая, записывать факты, а я все рассуждаю. Я говорю, что анализ мешает мне. Мне бы хотелось, чтобы через много, много лет, если уцелеют эти страницы, в них бы живо и верно отражалось нынешнее время, нынешняя борьба новых начал со старыми.

Говорят, что мы спали тридцать лет[144], и теперь

просыпаемся. Но богатырь спал тридцать лет и три года. Впрочем, если считать до 1855 года, то выйдет только тридцать, а если считать до нынешнего 1858-го, то ровно тридцать и три года, именно как следует. Ну-ко, богатырь, вставай и удивляй мир!

Но говорят еще, что нам проснуться и встать не дают. Няньки все укачивают снова; да покойней, когда дитя спит; они говорят, что еще рам вставать, еще заря только занимается. А что дитя выросло во время тридцатилетнего сна, и уже более не дитя, — они не видят.

В Москве, по случаю предстоящего освобождения крестьян, положено было дать обед и пить за здоровье государя. Закревский донес об этом и в донесении выразил опасение, что обед будет иметь революционный характер. Государь, узнав программу обеда, немедленно его разрешил и благодарил дворян за их сочувствие великому делу. Обед состоялся. На нем было произнесено много речей, и все они напечатаны в «Русском Вестнике», и все носят один характер, не революционный, но характер радости и признательности к государю.

Самая же горячая из этих речей — речь Кокорева. И сам он до того расходился, что предложил еще другой обед, в день восшествия на престол, 19 февраля[145]. Но что же вышло? О самого того дня, в который он сделал это предложение, — он находится под надзором полиции.

Вот это-то и называется скачками и прыжками туда и обратно. И таких скачков не оберешься. Например, драму «Свет не без добрых людей» разрешили к представлению, но, когда почти весь Петербург уже видел ее на сцене, — ее вдруг, запретили[146]. И говорят, что то берет верх влияние Константина Николаевича, то тех нянек, что хотят уложить спать всю Россию.

Понедельник, 10 февраля.

Мы от Глинок. Я думала, что по случаю поста у них будет мало гостей, но вышло наоборот, комнаты были переполнены. Откуда только Глинки подобрали их, этих гостей своих? Настоящее вавилонское столпотворение! Писатели (но не все, Майков и Лавров, например, не бывают), писательницы, караимы, генералы, семинаристы, артисты, сановники, чиновники, грузины, греки, севастопольские герои, ханжи, актрисы… но всех не перечтешь!

Сегодня, например, было у них два караима. Ну, где еще встретишь подобные личности![147] Где встретишь, например, грузинку-писательницу?[148] Грека, который выдавал бы себя за перешедшего в русскую службу офицера, а был бы, в сущности, беглый солдат? И эти караимы, грузины являются ведь в своих

национальных костюмах.

Людмила Петровна Шелгунова, урожденная Михаэлис (1832–1901), с фотографии 60-х гг.

Потом, где увидишь комиссариатского чиновника, который громил бы, в стихах, взятки[149], или поэта, который посвящал бы свои стихотворения памяти Николая Павловича и решался бы безбоязненно читать их в обществе? Да всех и не перечислить! А ханжи, а молоденькие дамы, светские и нарядные, которые и сами не знают, какой странный контраст составляют с остальным обществом. А генерал Бурачок, Борис Михайлович Федоров,

Андрей Агафонович Иванов (родной брат графини), а Марья Ноевна Бирч, Шелкова; а, наконец, англичанка, которая была сегодня, которая мне так понравилась, несмотря на то, что тоже смахивает на что-то необыкновенное? Англичанка, которая изучает еврейский и арабский языки и читает своей горничной, покуда та ее причесывает, «Вертера»; да и горничная которой — жена какого-то профессора. Эта англичанка изъездила всю Европу и переходила пешком, с маленьким сыном, два раза С. Готард, два раза С. Бернар, и два раза С. Плон. А драгоман в гороховом халате? А старая княгиня и две грузинские царевны? А, наконец, все те, которые не выказываются ни национальностью, ни платьем, не кидаются в глаза издали, но вблизи тем не менее любопытны. Хоть бы эта Ладыженская, окружившая себя французскими церковными книгами, говорящая вечно о снисхождении, прощении и любви и бьющая по щекам своих крепостных, или пианист короля прусского, Ал. Контский, теряющий во время игры на фортепьяно огромные рубины и изумруды с пальцев, и поклонница его, m-elle Штанкер, кашляющая за него, когда у него в горле першит. M-elle Штанкер, у которой тоже не сходит с языка ничего другого, кроме поэзии, духовного родства, сочувствия и теплоты душевной.

Ну, а актриса Орлова, играющая не на сцене, а в жизни, так превосходно роль отдающей свое последнее достояние неимущим, что некоторые, в порыве увлечения, взаправду сдирают с нее последнее, и она должна молчать, чтобы не выйти из роли.

Да всего не перескажешь. Иногда сидишь у Глинок и точно грезишь.

Вторник, 11 февраля.

Список журналам, которые мы получаем: «Современник», «Отечественные Записки», «Библиотека для чтения», «Русский Вестник», «Русская Беседа», «Сын Отечества», «Общезанимательный Вестник», «Французская Иллюстрация», «Английская Иллюстрация», «Подснежник» и «С.-Петербургские Ведомости».

Вчера, приехав от Глинок, я записалась до трех часов утра. Сегодня этой глупости не повторю, но надо рассказать, как возник Клуб Художников.

Раз, во время вечерних классов в Академии, Пименов, профессор, сказал что-то грубое ученикам. Ученики вспылили, побросали свои работы и побежали к инспектору классов Фрикке. Фрикке побежал к Ф. А. Бруни и объявил, что в Академии бунт. Бруни позвал учеников, выслушал их и, когда они стали

требовать удовлетворения от Пименова, послал к Пименову рассказать о происшедшем. Пименов между тем сидел себе спокойно дома, давно забыв, говорил ли он что-нибудь ученикам и говорили ли ему что-нибудь ученики. Выслушав посланного, он отвечал, что не помнит, что было, что может и сказал что-нибудь лишнее, так как грех говорить лишнее знает за собой, и ученики знают этот его грех; но знают также, что он бы объяснился и помирился с ними. Ученики, в сущности, любят профессора Пименова и знают, что он действительно искренно относится к ним и к искусству. К тому же, пока тянулись переговоры, минутный пыл их негодования остыл, и явился вопрос: чего же собственно они добиваются? И вот, переменив гнев на милость, даже с повинными почти головами, отправились они всей гурьбой к Пименову. Он встретил их в мастерской своей и, со словами «братцы, ведь я вас люблю», обнял из них столько, сколько поместилось в его широких объятиях; остальные его окружили, и сами обнимали и целовали его. Вышло это все так сердечно и просто, что даже двое служивых, состоящих при мастерской, прослезились.

Но при чем же тут клуб? А вот при чем: воротясь от Пименова в класс, ученики как бы впервые оглянулись друг на друга и увидели, и почувствовали, что они составляют нечто целое, товарищество. И тут зародилась у них мысль основать клуб, т. е. нанять на общие средства квартиру, и в ней собираться по вечерам работать, читать, беседовать.

Не откладывая предприятия в долгий ящик, живо нашли они и наняли и устроили, на скудные средства свои, квартиру, и стали в ней собираться до вечерам, работать на экзамен; туда же, приносили произведения свои на суд товарищей. Прошло несколько времени, и так называемый клуб разрастался, прибывали новые члены, а с ними и средства, завелось фортепьяно; явилось несколько книг. Но недоставало одного только, главного, о чем простодушные художники и не думали, недоставало правительственного разрешения на открытие подобного учреждения. Наконец, спохватились, и кто-то надоумил обратиться прямо к президенту Академии, в.к. Марии Николаевне. Мария Николаевна немедленно разрешила просимое, или испросила разрешения, уж я не знаю, и кроме того подарила клубу библиотеку. И вот теперь он процветает. У него уже сто восемь членов. Кроме художников принимаются литераторы и музыканты. Сегодня именно музыкальный вечер, и Коля отправился туда прямо из Академии, завтра расскажет, хорошо ли было. Я так беспутно писала дневник в прошедшем году, во время помешательства своего, — кажется, право, это

было помешательство, — такие в нем пробелы, что, например, не упомянула вовсе, что Коля окончил курс в гимназии.

Четверг, 13 февраля.

Хочется очень спать, но слаба только плоть, дух же бодр. Как я рада, как счастлива, что опять бодр дух мой! Что мне опять хочется читать, учиться, слушать. Что я, засыпая, с наслаждением думаю, как бы устроить так, чтобы на следующий день потерять поменьше времени. А год тому назад, читать и слушать!!

Пятница, 14 февраля.

Завтра наша суббота. Кто придет? Лавровы не будут, она больна, а он без нее, верно, не придет. Кажется, пророчество Бенедиктова сбывается, и я начинаю поддаваться влиянию Лаврова. Но что же делать, если от него получаю ответы, а от них — никаких. И сам Бенедиктов и все другие, то и дело поют ему хвалы; веря им, я верю ему. Еще я упираюсь, анализирую, еще смотрю под ноги, куда ступаю; но чувствую, что наступит скоро время, когда забуду анализировать и смотреть под ноги и, очертя голову, пойду за ним, куда он поведет.

Меня дразнят, говорят, что я увлекаюсь им, забыла свое увлечение Осиповым. Я Осипова старалась забыть, еще раньше. Да и там было чувство, воображение, здесь рассудок. Там был *сон в летнюю ночь*, который прервала графиня; здесь — *быть или не быть* — тоже Шекспира. Осипов старше, умнее, опытнее меня, но все же он был мне более ровня, чем Лавров; он был учителем, но и товарищем вместе с тем. Мы с ним делились впечатлениями, из которых большая часть была нова и для него так же, как для меня; и это-то и составляло прелесть наших встреч и бесед. Составляло для меня, а может быть, и для него, так как он постоянно приходил к нам. Мы понимали друг друга с полуслова, намека или взгляда, и между нами образовалась какая-то непрерывная цепь понимания. Разговор, прерванный накануне, продолжался на другой день; мысль, пришедшую в голову, не нужно было излагать последовательно, довольно было двух слов.

Я думаю, подобное понимание друг друга зовется дружбой. Меледу Лавровым и мной ничего подобного не может быть; да ничего подобного я и не желаю. Я вовсе не желаю быть ему ровней, а, напротив того, желаю на него смотреть снизу вверх, и близко вглядываться в него даже вовсе не желаю. Пусть он всегда остается для меня таким, каким мне его рисуют, пусть он успокаивает мою больную голову только.

Но по справедливости следует сознаться, что и в отношении Лаврова играет некоторую роль чувство, но только не такое

хорошее, как то, которое воодушевляло меня относительно Осипова, а более низкого сорта — чувство самолюбия.

Мне нравится, когда в гостиной, поздоровавшись с хозяевами и подобрав свою саблю, чтобы она не гремела, он начнет искать своими близорукими глазами, и все уже знают, кого он ищет, и, смеясь, подводят его ко мне. Он садится тогда возле меня, и тут тотчас же и образуется центр, потому что он глашатай гостиных.

Осипов центра в гостиных не составлял. Но, когда говорили, читали или пели и играли, я знала, что он потом подойдет ко мне поделиться впечатлением. Он так делал везде, исключая дома Толстых; у них он ко мне не подходил, но, в качестве домашнего человека, садился обыкновенно куда-нибудь поодаль, а в данный момент я всегда могла встретить его взгляд и узнать, что было мне нужно. Но будет о них. В другой раз расскажу, как случилось, что Лавров обратил на меня внимание. Теперь пора спать.

Вторник, 18 февраля.

Мы от Лавровых. Сегодня три года, что умер Николай I. Много хорошего воцарилось в России вместе с Александром II; что-то будет дальше. Была я сегодня в школе на выставке; она открыта со вчерашнего дня. Вот список картин, которые на ней находятся: три картины Соколова: «Турки у лестницы», «Рожь» и «Пейзаж»; одна Бутковского: «Мальчик с письмом»; три Шопена: «Золотой Век»; «Иосиф с братьями» и еще одна; две Гоха: «Итальянцы»; одна Розы Бонер: «Фура в 4 лошади» на большой дороге, под пасмурным небом; одна какого-то бельгийского художника, «Трапеза Монахов», — это прелесть, перл всей выставки! Моллера одна: «Спящая Девушка»; Айвазовского одна; Богомолова одна; есть еще две-три, которых не помню. Отлично, что Львов придумал эту выставку, и надо надеяться, что ее будут посещать. Входная плата, гривенник, не разорительна!

Члены, заплатив десять рублей в год, имеют право выставлять свои картины, и, конечно, уж за вход не платят. В школе у нас читаются два раза в неделю правила перспектив. Я слушаю, но признаюсь, что почти ничего не понимаю. Может и оттого, что иногда я, не по своей воле, опаздываю.

Воскресенье, 23 февраля.

Соколов и засиделся и заболтался сегодня, так что уже поздно опять. Он не был вчера потому, что приводил в порядок свои рисунки, и сегодня возил их к в.к. Марье Николаевне. А вчера было у нас около пятидесяти человек. Айвазовский рисовал. Сегодня утром ездили к нему с Гохом, и к Прянишникову.

Понедельник, 24 февраля.

Айвазовский пишет теперь странную картину[150]. Изображено дно моря, и на нем остов погибшего фрегата «Лефорт» и погибшие люди. Сверху идет в море луч света, и в этом луче стоит спаситель и принимает души утопленников, которые поднимаются и несутся к нему. Страшно смотреть на эту картину. Но не она собственно страшна, а то, что ее породило. Айвазовский всею мощью своего таланта не передаст ужаса действительности. Глядя на его картину, только подумаешь: а если спаситель не приходил? И вот тогда-то предстанет не картина, а действительность во всем ужасе; без светлого луча, без божества…

Вторник, 25 февраля.

Сегодня остались ужинать у Лавровых и засиделись до третьего часа.

Среда, 6 февраля.

Сейчас ушел Соколов. Он кончал рисунок, начатый в прошедший раз, «Старуху-Хохлушку», сепиею. Какой славный художник Соколов, но и странный человек. То сидит, точно больной и усталый, чуждый всему окружающему, да и внутренне, по-видимому, незанятый, то вдруг разговорится и будет болтать так же упорно, как до того упорно молчал.

Сегодня пришел он бледный. «Что с Вами? — спрашивает мама. — Вы как будто нездоровы». — «Нет, — говорит, — я здоров, но я обедал у Лагорио»[151]. — «Ну и что ж?» — «Да меня заставили выпить четыре рюмки вина». Проговорив это с досадой, он замолчал и, видимо, собирался молчать долго, но к нему стали приставать, расспрашивать, какие вина он пил. «Одну, — говорит, — рюмку хереса, одну красного, одну ликера». — «Ну, а четвертая?» — «Четвертую, не помню».

Но тут напали на него снова, что, может быть, он и не четыре выпил, а по четыре каждого вина, да забыл. «Да нет же, — запищал он, как пищат малороссы иногда, — нет же, я бы знал, я больше четырех рюмок выпить не могу» И насупился, и замолчал до чая. После чая принялся рисовать с меня, заставил читать. Я читала «Идеалиста», повесть Станкевича. Мне она не нравится. В ней выведен опять тот тип (уверяют, что это тип), который вгоняет меня в хандру.

Чем он интересен, и на что заниматься этим бессилием воли? А уж если заниматься им, то надо бы иначе.

В одиннадцать часов Соколов кончил рисунок и тотчас же,

жалуясь на усталость, стал прощаться. Но в это время я спросила его, что нарисует он для альбома в.к. Марии Николаевны. Он взял кисть и набросал на клочке бумаги эскизик, потом другой, потом вспомнил что-то и рассказал, и рассказал еще что-то; и еще, стоя, со шляпой в руках. Говорил, говорил, откуда что бралось! Когда я посмотрела на часы, было уж двенадцать, а он все стоял и говорил.

Четверг, 27 февраля.

Мы от Ливотовых. Там было очень хорошо, и я охотно осталась бы подольше, но папа увез нас. Были там Лавровы. Когда я говорю с некоторыми из наших знакомых, я иногда чувствую, что я не довольно умна; когда же говорю с Лавровым, то чувствую, что не довольно добра. Точно свет какой-то исходит из слов его, при котором становятся видными все мои душевные пятна, и мной овладевает желание поскорее их истребить.

Петербург постоянно бывает занят какой-нибудь новостью. Новости эти, наделав шуму, обыкновенно забываются очень скоро, сменяясь одна другой. Теперь черед вот какой новости: приехал фокусник, француз, виконт де Кастон[152]. Это даже странно писать, что Петербург — серьезная и хандривая столица Севера — занят фокусником. Неужели же он так из ряда вон необыкновенен, или главное дело все в том, что он француз, да еще виконт, и умеет показать товар лицом? А что он это умеет, доказывает уж то одно, что, приехав в Петербург со специальной целью показывать свои фокусы, он в публичных местах представлений не дает, а лишь в частных домах, куда является по приглашению, за сто пятьдесят рублей в вечер. Его приглашают нарасхват и рассказывают про фокусы его чудеса. Устраиваются эти представления по большей части вскладчину. Кто-нибудь приглашает, дает залу и назначает по столько-то за кресло. Он будет и у нас. Билеты по два рубля уже готовы и разбираются с жадностью, но день представления еще не назначен. Увидим, что это такое. Лавров называет нашу складчину «компания на акциях». Теперь акции — второе слово после фокусника.

Акции железных дорог, акции пароходства; только и слышно «акции», «акции». Они подымаются, умножаются. Все пошло вперед, закипело; а что не кипит, то бродит; а что не хочет ни бродить, ни кипеть, т. е. двигаться вперед, то подлежит разрушению. И все эти кипения, брожения и разрушения порой оглушительны и ослепительны.

Что изо всего этого выработается, нынешние деятели, которые постарше, пожалуй, и не увидят. Что вырабатывается в настоящую минуту, по частям, выходит разнообразно. Должно бы

было выходить хорошо, не не все удается.

Я долго думала, что Лавров образчик будущего человека; теперь думаю, что он исключение. Чтобы сделаться таким, каков он есть, в настоящую минуту, нужны его данные, а они не у всех. Например, Курочкин, доктор, умен, но несчастлив. Он своим умом как будто только озарил свое несчастье, его анализ убивает. Лаврова же ум — как солнце светлое, живительное и теплое; для него анализ лишь поверка верно решенной задачи. Таких людей, как Курочкин, много; такие же, как Лавров, — редки. До знакомства с Лавровым я видела, лучше сказать — ощущала только несчастье, безвыходность, ужас мысли.

Пятница, 7 марта.
Вечер.

Сегодня вечером показывал нам папа свои новые проекты двух комнат для императрицы, в Зимнем дворце. Прелесть какие. Папа еще не знает, кому отдать писать медальоны для потолков, — Майкову, Макарову, Тихобразову, Соколову, Гоху, Моллеру?

В Академии скоро акт и выставка. Мы были недавно в мастерских Филиппова, Микешина и Хлебовского. Филиппов пишет большую батальную картину из последней войны. Микешин выбрал какой-то исторический сюжет, который я не совсем-то помню; надо справиться в истории. Хлебовский пишет «Ассамблею Петра Великого».

Микешина картина слабее всех, но и у Хлебовского видно, что он еще только программист. В его мастерской встретила я одну из моих соучениц по рисовальной школе Элькен; она работает под его руководством, тоже на выставку. И видели мы еще у него же маленькую натурщицу, необыкновенной красоты, с худеньким, бледным лицом восемнадцатилетней девушки на маленьком туловище восьмилетнего ребенка, какой она и есть. У нее чудные черные глаза, осененные, точно бархатными стрелами, черными же ресницами, и такие же черные, длинные и густые локоны на плечах. Но выражение этого личика какое-то странное, детски-бессмысленное и равнодушное, и в то же время недетски печальное. И одета она в грязные тряпки, и чудные локоны ее всклокочены, так что, несмотря на всю красоту ее, девочка производит тяжелое впечатление. Говорят, что она всегда такая печальная. Но отчего? ведь она еще ребенок? Неужели ее мать, старая, с текучими, красными глазами, с нею дурно обращается?

Понедельник, 10 марта.

Только что от Майковых, где было приятно, как всегда. Я сегодня так расхрабрилась, что поспорила с совершенно посторонним человеком, которого вижу в первый раз, Льговским[153], за Кокорева, на которого он нападал. Ну, право же, Кокорев делает много добра, а если его слишком превозносят, так разве он в этом виноват.

Погода опять была чудесная, и уже ездят на колесах; но дорога убийственная, говорят, я сама ее не замечаю, потому что сижу в карете и думаю о другом.

Читаю я теперь «Жирондистов», Ламартина, по-французски, конечно, — их в переводе нет; да книги эта — их четыре больших тома, с портретами — запрещены; Лавров советовал их прочесть.

Вторник, 11 марта.

Вторник, но мы к Лавровым не поехали, потому что у мама болит голова. Сейчас ушел от нас Гох. Мама говорит мне давеча: «Есть ли на свете кто-нибудь лучше Ивана Андреевича!»

Среда, 12 марта.

Сегодня так много болтала с папа и мама, а потом с Лизенькой и мисс Женнет, что выболтала, кажется, все, что было, и дневнику ничего не осталось.

Четверг, 13 марта.

Только что приехали от Ливотовых. У Ливотовых я нашла все общество также за чаем; но у самовара находились только Лиза и красавица Пащенко, остальные — мама, тетенька Ливотова, Шульц, Лавров и Хвостов — сидели в гостиной, и Лавров читал им из «Экономического Указателя» статью о возможности для женщин зарабатывать свой хлеб собственным трудом и в то же время не быть осмеянными и презираемыми и не казаться странными, а напротив того — быть достойными всякого уважения, и быть принимаемыми во всяком светском обществе[154].

Суббота, 15 марта.

Два часа ночи, и гости только что ушли. Франкенштейн играл, художники рисовали, Иван Карлович читал «Мертвые Души» Гоголя и «Эпилог», Некрасова; Микешин нарисовал Ивана Карловича в виде Чичикова.

Вторник, 18 марта.

У меня теперь совсем хорошо на душе; и я опять могу сказать Гоху, как в начале нашего с ним знакомства: «Я совершенно

счастлива!» И он опять, как тогда, станет удивляться. Он не объяснил, чему удивляется, но я сама догадалась. Таких, как я, и не вглядываясь пристально, по первому взгляду, зовут несчастными. Но люди здоровые, без таких телесных недостатков, не знают, сколько в подобном несчастье может заключаться счастья. Во-первых, мир божий, данный нам, грешным людям, так хорош, что порой не знаешь, что бы дать за счастье жизни, и тогда, в подобные минуты, всякое лишение как-то радует, точно уплаченный долг; а во-вторых, к таким, как я, исключая сверстников, и то, в первой молодости, о чем я уже и забыла, люди в большинстве случаев особенно добры.

К тому же разве физические страдания ужаснее всего? А я даже и не страдаю. Ужасны страдания нравственные, раздоры, недостаток любви, неисполнение своих обязанностей по лени, по сухости сердца, отчего происходят утеснения для других и разного рода упущение и страдания в настоящем и будущем, несправедливости, — вот несчастья! Конечно, жизнь моя, ради моего убожества, примет иной оборот, чем у других девушек, я не выйду замуж. Так что же? И здоровые не все выходят. И будто уж это такое несчастье.

Вторник, 25 марта.

Опять мне не хотелось уезжать от Лавровых, и опять папа увез. Читались там — одна новая, т. е. одна из последних песен Беранже, «Le Deluge»[155], и новый перевод В. Курочкина, из Беранже же[156].

Среда, 26 марта.

Сегодня все чиновники Заемного банка, с дедушкой во главе, представлялись новому министру финансов Княжевичу; Брок сменен[157]. Сменены также министр народного просвещения Норов, и его товарищ, князь Вяземский[158]. На всех них давно уж роптали, но государь, кажется, крутых перемен не любит. Он кажется, очень добрый человек, главное, очень чувствительный, но — и, может быть, по тому самому — нерешительный и слабый. Да и в мудреное же время получил он престол. И без наплыва новых идей не обобраться дела, а тут еще эти идеи. И так сильно столкновение старого с новым, что немудрено чувствительному вершителю судеб целой России колебаться, когда все колеблется.

Чуть появится у кормила правления новый человек, как он уж и норовит провести что-нибудь повое. Но тут встречает отпор со стороны старого. И начинаются пересмотры, комитеты, комиссии, и в результате ни два, ни полтора, — полумеры, досадные и тем и другим, недовольство, и вместе с колебанием действий —

колебание умов. Сегодня вечером были у нас тетенька Ливотова и Соколов. Говорили много о живописи. Знаменитая картина знаменитого Иванова, «Явление Христа», едет сюда. Наконец-то увидим ее!

А бедные программисты, не покладая рук, пыхтят над своими программами; выставка в Академии уж близко! Наша школьная выставка идет отлично; картины, выставляемые на ней, достойны внимания, любителей живописи, и посетители идут на, нее охотно. Львов приносит, действительно, много пользы своей деятельностью; но приносил бы еще больше, если бы средства, им располагаемые, были лучше.

Теперь он возобновил пятницы в кругу художников, устроенные некогда Осиповым, Гохом, Логарио, Трутовским и Хлопониным, т. е. вечера, раз в неделю, именно по пятницам, у кого-нибудь из художников, по очереди. На этих вечерах рисуют, и таким образом составляется альбом, отдельные рисунки которого продаются. Теперь этот альбом у императрицы; купила ли она что-нибудь из него, неизвестно еще. В нем рисунки самого Львова, Соколова, Жичи, Сверчкова, Гоха, Рюля, и князя Моксутова.

Но сказать ли печальную правду? Это Львов погубил Клуб Художников. Ему хотелось поднять пятницы, привлечь к ним лучшие силы. Клуб составлял конкуренцию и мешал. Великая княгиня Марья Николаевна разрешила клуб, но, как я и думала, утвердить устав его зависело не от нее. И этот устав не утвердили, говорят, по проискам Львова.

Четверг, 27 марта.

Мы от А. Н. Майкова. Был там Рамазанов и пел, и играл, и говорил — и все с одинаковым успехом; но никогда еще не видала я лица более ужасного, чем у него в то время, когда он говорит под музыку. Были у Майковых и Шелгунова с Михайловым, с которыми мы больше не видаемся.

Пятница, 28 марта.

Мама обыкновенно днем сидит у себя или ходит вдоль всего ряда комнат, от своей до моей. Папа все утро проводит, даже до обеда, в кабинете, нашей бывшей гостиной; с одной стороны у него его канцелярия — его бывший кабинет, а с другой — чертежная, наша бывшая зала. Эти три комнаты: с утра до трех часов полны чертежников, помощников папа и равных деловых людей; в это же время, папа ездит и по своим постройкам, и вообще по делам своим. Аля и Андрюша всю неделю в гимназии. Коля днем в университете, а вечером в вечерних классах

Академии или у товарищей. Так все заняты, один Володя бегает повсюду и заглядывает во все углы; побывает и у папа внизу, и в нашем этаже, у мама, у девочек в классной, и у меня.

На самом верху, над нами, Марья Петровна, со своей старушкой-матерью, костыль которой часто стучит мне в потолок, так как их комната над моей. В этом же третьем этаже живут Коля, Михаил Алексеевич, Шперер и братья, когда они дома; там же теперь пустые и бывшие чертежные. Нас много, и комнат много; много разных закоулков, которых я даже не знаю.

Суббота, 29 марта.

Только что проводили гостей. Был Бланшар, француз-художник, недавно приехавший из Парижа, и рисовал у нас; и были еще Юлия Жадовская, писательница, Лавров, Ливотов, Майков, Гончаров, Гебгардт, Любошинский, дедушка, Курочкины и еще много других. Юлия Жадовская, бедная, ведь без рук. Одной совсем нет, а правая только до локтя, и тут у нее три пальца; и ими она и пишет.

Воскресенье, 30 марта.

Папа был в Гатчине, а мы весь день сидели дома. Заходил доктор Курочкин, по приглашению Али итти с ним вместе в Эрмитаж; Аля брался и достать билеты, и ничего не достал. Заезжали также тетенька и Лиза. Тетенька обещала сделать мне какое-то замечание в следующий раз, потому что сегодня не было удобно. Что-то это такое будет? Во всяком случае я ни одной минуты не сомневаюсь, что тетенька права; но только не знаю еще, в, чем провинилась. И какая она добрая, чудесная, умная, тетенька Ливотова. Ведь она чужая нам и не живет с нами, и так матерински относится ко мне; другая сказала бы: «Какое мне до нее дело? Пусть ведет себя, как хочет». А она нет, заботится, ласкает, журит. Был Бенедиктов сегодня; он обыкновенно приходит в воскресенье, если не был в субботу. А в субботу, говорит он, не был он потому, что был зван куда-то на домашний спектакль; а на домашний спектакль не пошел потому, что был зван к нам. Что он как будто не любит приходить к нам по субботам, я замечаю; и кажется, что причина тому та, что он боится встретить у нас Майковых, Ливотовых, Глинок, к которым совсем заленился ходить. К нам ездит он всего чаще. Зато Гончаров не может видеть меня без того, чтобы спросить, что делает Бенедиктов, и, когда я отвечаю, что не знаю, он уверяет, что не может этого быть, потому что Владимир Григорьевич у меня в плену.

Среда, 2 апрели.

Вот мне уж и стукнуло двадцать два года! Не мало, и не даром я — как старуха и чувствую уж утомление после утомительного дня. Читала мама «Сборник» Щербины[159], покуда не приехали тетенька с мужем и Лиза с мужем, затем Бенедиктов и Мейснер, к обеду; вечером же были дедушка, Варя, и Иван Карлович. Говорили так много, столько вспоминали стихов, не только современных, но старинных, декламировали, смеялись, сбивались, перебивали друг друга, что совсем было можно ошалеть, я и ошалела. Стихам подал повод «Сборник» Щербины. Стали припоминать, что он не поместил в него, и припомнили целую кучу. «Сборником» недовольны. Щербина, издавая его, сообразовался только со своим личным вкусом или личным пристрастием[160]. Мейснер читал свои стихи, все про любовь; и свои переводы из Гейне[161].

Нас ждали вчера у Лавровых. Бенедиктов получил 1 апреля какое-то анонимное письмо, и уверен, что оно от меня.

Суббота, 5 апреля.

Уже третий час ночи, а мы все сидели внизу; Микешин, Хлебовский, Соколов и Крестовский не хотели уходить. И чего, чего они ни выделывали! И пели, и плясали; Соколов танцовал качучу. Курочкины обедали. Все были сегодня очень милы и веселы; после ужина пели в темноте, в саду. Пели и солдатские, недавно сложенные песни, и «Славу», и французские романсы. А в начале вечера я с Курочкиным передразнивали, как кто читает стихи. Замечательно, что оба Курочкина косноязычны, и оба, несмотря на это, прекрасно читают. Разбирали стихи Фета, и В. Курочкин написал пародию на его «Полуночные образы реют…» Задумали издать новый сборник стихотворений, но только, полнее и роскошнее Щербининого и с портретами. Довольно, пора спать.

Забыла главное: Микешин получил большую золотую медаль, Хлебовский маленькую[162]. Оттого-то и были они так веселы. Соколов странный человек.

Воскресенье, 6 апреля.

А бедный Макаров не получил медали, несмотря на весь свой замечательный талант и на старания папа. У Щедрина талант меньше вдвое, но медаль досталась ему, во-первых, потому, что он работает на нее в третий раз, а во-вторых, потому, что он племянник Ростовцева, который, как почетный член Академии, и раздавал медали.

Мы смотрели на торжество акта, — впрочем, не очень

торжественное, так как музыки не было, — с хор. Затем осматривали выставку с м-м Лавецари, с которой, наконец, мы познакомились. Она такая красавица, что наглядеться на нее нельзя. На выставке много картин, но лучшие из них принадлежат кисти одной дамы, м-м Гаген-Шварц. Четыре ее картины так хороши, что наши художники только ахают, глядя на них. Соколов говорит, что ему просто стыдно перед этой Гаген-Шварц. Она из Дерпта, и Лизанька ее знает. Картины Микешина и Хлебовского вышли лучше, чем можно было ожидать; а Филиппова даже очень хорошо. Хорош также пейзаж барона Клодта-Айвазовского произведений множество, и одно эффектнее другого; его фрегат «Лефорт» тоже там. А Шарлемань выставил большую картину, опять из истории суворовских походов. Картин вообще очень много, и есть и иностранных художников, два пейзажа Куку ка и один Калама.

Понедельник, 7 апреля.

Вечером были у Глинок. Там опять было множество гостей. Федор Николаевич читал из «Таинственной Капли». Я так рада, что могу сказать, что мне его «Капля» и его чтение очень нравятся. Так часто приходится слушать вещи, находить их не по вкусу и не решаться высказать свое мнение о них.

Но Ладыженская сегодня отличилась, как никогда еще. Покуда Федор Николаевич; приготовлялся читать, она говорила о штокфише, т. е. рыбе-треске, но лишь только раздалось чтение, как моментально она начала ломать от восторга руки и прижимать их то к лицу, то к груди, то к коленам. И так все время, пока продолжалось чтение. Но в промежутках между ним, когда Федор Николаевич отдыхал или перелистывал тетрадь, она так же быстро успокаивалась, немедленно схватывала прерванную нить разговора и продолжала его все о том же штокфише. Александрина, воспитанница Греча, задыхалась от смеха и, невзирая на то, что Катерина Ивановна Греч кидала на нее строгие взоры, не могла удерживаться.

Была у Глинок Юлия Жадовская. Над ней смеются за то, что она, убогая, немолодая, невзрачная, — пишет про любовь; над ее убожеством даже смеются. Я не решилась в прошедшую субботу сказать Василию Курочкину, что он напрасно это делает, чтобы не нашли меня слишком заинтересованной в деле подобного рода. Вот как нам, убогим, надо быть осторожными.

М-м Бирч поймала караима и долго ему что-то проповедывала; потом уселась спать, и спала глубоким и сладким сном спокойной совести, покуда не подали конфеты, до которых она охотница. Графиня Толстая начинает производить на меня

странное впечатление. У меня и прежде было мало злобы против нее, теперь же уж и последняя испарилась; и мне все вспоминается, как были мы с нею близки некогда; и кажется диким не говорить с нею. Я бы и подошла к ней, да боюсь, что моя предупредительность произведет такой же эффект, как восторги Ладыженской.

За графиню никто не умеет взяться, никто с нею не откровенен. Она вечно притворяется, и все это знают, а делают вид, будто верят ей.

Если бы кто-нибудь посоветовал ей полюбить в самом деле то, что она притворяется, что любит! Не знаю, как другие, но я, хотя она и наделала мне горя, не могу на нее сердиться, потому что слишком хорошо ее знаю и слишком привыкла к ее лицу, да и слишком приятными минутами обязана знакомству с нею. Может быть, когда-нибудь поговорю с нею откровенно. Трудно решиться. Я не знаю, какие от того могут произойти последствия. Вдруг она, чтобы отделаться от меня, вздумает упасть в обморок.

Вторник, 8 апреля.

У Лавровых были еще тетенька, Бенедиктов с Мейснером и много молодых людей. Старушку Лаврову с дочерью Екатериной Лавровною я не считаю, они принадлежат к дому Лавровых, хотя и живут отдельно. Говорили о Хомякове. Иван Карлович нападал на него, а Петр Лаврович его защищал и прочел несколько его стихотворений. Читал также и Бенедиктов. Бенедиктов, чем стихотворение торжественнее, громче, пышнее, тем лучше читает, Лаврова же чтение как-то страстнее; он сам увлекается и увлекает слушателей. Чем больше я вглядываюсь и вслушиваюсь в Лаврова, тем меньше его понимаю; не то, что он говорит, а его самого.

Среда, 9 апреля.

От Полонского то и дело приходят письма, и очень интересные, а я о нем точно забыла в дневнике. Он уже не у Смирновых больше, он их оставил еще в прошлом году, и жил некоторое время в Женеве, занимаясь, под руководством Калама, живописью, а теперь, должно быть, находится в Париже, с графом Кушелевым-Безбородко, Григорьем, и его женой, рожденной Кроль. Этот Кушелев задумал издавать журнал и пригласил Полонского быть его редактором. Полонский теперь набирает себе сотрудников, и мама ему помогает. Она в постоянных сношениях, по поводу Полонского, с Майковыми. Выбор Кушелева все одобряют. Как-то раз была Катерина Павловна Майкова, жена Владимира, рожденная Калита, о которой я тоже, увы, в первый раз еще только упоминаю, у матери Дружинина, где было много

литераторов. Говорили о журнале Кушелева, и Анненков, между прочим, сказал, что можно поздравить Кушелева с таким редактором, как Полонский, — человеком надежным и благородного направления. Сам Дружинин больной и едва дышащий, несообщительный, и тот высказался, что лучшего выбора Кушелев сделать не мог. Дай бог Полонскому. Но есть уж завистники.

Кстати об Екатерине Павловне Майковой; это прелестная женщина, от которой все в восхищении. Гончаров от нее без ума. Она не очень хороша собой, но очень умна, грациозна и привлекательна. Она какая-то нежная и хрупкая, так что поневоле с ней и обращаются как-то особенно нежно и бережно.

Не пишу о Полонском, не пишу и о Щербине, который хотя и почти невидим для нас, но дает о себе знать не очень-то красивыми выходками. Майковы его обидели, даже не сами Майковы, а их знакомый Льговский написал критику на последнее издание его стихотворений, и вот теперь он стреляет самыми гнусными эпиграммами в Аполлона Майкова. Их штук пятнадцать ходит по рукам. Мы знаем не все, некоторые так гнусны, что нам их не читают; да мама вообще, будучи близка со всем семейством Майковых, не позволяет их читать у нас в доме. Недавно мы встретились с Щербиной у Ливотовых, и там он читал свои эпиграммы на Майкова, но только в кабинете у Шульца, да и то просил не говорить о них мама.

Четверг, 10 апреля.

Навела справки у мама, за что собственно Щербина так преследует Аполлона Майкова, какая тут связь с критикой Льговского Оказывается, что дело было еще в прошлом году. Во время отсутствия Дружинина Владимир Майков заведывал «Библиотекой для чтения», и в это время Льговский, будто бы по внушению Владимира Майкова и с его участием, и поместил в «Библиотеке» эту критику[163]. Во всяком случае Аполлон тут ни при чем, но Щербина, как волк в басне Крылова, этого не разбирает, и возненавидел весь род Майковых вообще, а Аполлона в особенности.

Прошедшим летом я не вела дневника, а тогда-то и произошел разрыв наш со Щербиной, т. е. он перестал к нам ходить. Дело было так: он приехал однажды, вместе с Солнцевым, Адрианом Александровичем, и вдруг начал читать свои пасквили на Майкова. Мама говорила потом, что сначала, она даже не поняла, что это он на Майкова, ну, а когда поняла, то заметила через Солнцева, что не желает ничего подобного в своем доме. В этот же день, вместе с Солнцевым и Щербиной, вздумал явиться к

нам и нахал Розальон-Сашальский, и это явление было тоже последнее.

Майковы, вся семья — старики, Аполлон с семьей, Владимир с семьей и неженатый Леонид — в прошлом году особенно часто бывали у нас, хотя Аполлон и жил не близко, а на Пильной, около Гатчины; все же прочие жили в Лигове, т. е. близко от нас, но той же Петергофской дороге. Вообще прошлое лето было очень интересное. Часто бывали у нас и Ливотовы и Шульц, хотя тетенька и Лиза с Иной Девьер и ездили за границу, но на короткое время. Иван Карлович, — о котором тоже почти не пишу, на том, кажется, основании, что знаю его слишком давно, и потому точно не замечаю, хотя следовало бы его замечать, и есть что о нем писать, — даже жил у нас во время их отсутствия. И Бенедиктов бывал очень часто. Тогда-то он и написал к портрету Ивана. Карловича:

С широкою душой, в широком, полном теле,
С живою мыслью и бойким языком,
Он мил в безделках, честен в деле,
И носит светлый ум под темным париком.

Забыла еще записать, что говорила мне мама еще по поводу Щербины. Когда он тогда летом приехал к нам и, как оказалось впоследствии, в последний раз, то был сначала так тих и мягок; что мама потому-то и не поняла его пасквиля, и, только когда Жадовский, желая проверить свою догадку, назвал Майкова, пришла в негодование; тем более, что в комнате были посторонние. Бенедиктов тоже был очень возмущен, а Солнцев сказал, что он рад, что Щербина написал эти свои гнусности не у него в доме, где он недавно только жил, потому что после всего этого он был бы вынужден отказать ему от дома. А как он умеет льстить и подбираться, к кому надо, этот Щербина. Не друзьям своим, литераторам, не другу Солнцеву, а Жадовскому, чиновнику, рассказал он, что поднес свой сборник императрице и надеется получить от нее перстень; и, сочинив ворох пасквилей на все так называемое правительство, начиная с квартального до министра включительно, он не уставал восхвалять учреждение всех этих должностных лиц, в ожидании перстня.

Читаю «L'histoire des Girondins»[164], Ламартина. Лавров говорит, что когда его сыну минет четырнадцать лет, то он даст ему читать этих «Жирондистов» Ламартина, *для того, чтобы он влюбился в революцию*. Я говорю, что я не понимаю Лаврова. По этим словам надо бы заключить, что Лавров сам отъявленный революционер, между тем, не говоря уже про его действия, его

речи никогда не заходят так далеко, как речи других, Ивана Карловича; Курочкиных, например; мало того, когда те заносятся, он, Лавров, возвращает их всегда в границы.

Что формы жизни человечества, политические, общественные, семейные, уж устарели и не годятся в настоящее время уже и обречены погибнуть, рушиться, — против этого он не спорит, он это, напротив того, сам и утверждает, но он это утверждает не с иронией, не со злобой, не глумясь и кощунствуя, а совершенно спокойно, как нечто непреложное и неизбежное, как смерть, например.

И вот, оттого ли, что я еще молода и легкомысленна, или оттого, что стала здоровее, но на меня его серьезные речи о неизбежном не действуют так убийственно, как колебания, как вышучивания всего того, что свято и дорого, этих других.

Мне как-то чувствуется, что у Лаврова есть идеал, может быть, грозный и беспощадный, но есть; у других же, в том числе и у Тургенева, — никакого.

Суббота, 12 апреля.

Три часа ночи, не смею писать. Было очень много гостей. Франкенштейн играл, рисовали, Горбунов говорил свои сцены из простонародного быта, в зимнем саду. Мои любимые дамы были почти все[165].

Воскресенье, 13 апреля.

Бенедиктов обедал сегодня, потому что не был вчера. А вчера он не был, потому что был приглашен на обед к Толстым. Обед этот Толстые давали в честь Шевченки[166], который, благодаря их стараниям и хлопотам, прощен и возвращен из ссылки, и ныне находится в Петербурге; говорят, что больше всех, т. е. первый, кто начал хлопотать о Шевченке, был Осипов. Бенедиктов сказался больным и на обед не пошел; и не пришел: и к — нам. Вчера было сорок восемь человек, и, кажется, то была наша последняя суббота до осени. Были тоже Глинки. На Глинок ныне смотрят, как на какую-то редкость ископаемую.

Понедельник, 14 апреля.

Чудная погода. Я только что вернулась с прогулки. Ходила два часа, и все по Невскому. Встретила С. И. Зарудного, про которого говорят, что он умен, как бес, и обладает необыкновенным красноречием и даром убеждать; он бывает часто у Ливотовых, но я его красноречия еще хорошенько не слышала. Встретила и Писемского, он стоял на углу Невского и Малой Миллионной и смотрел во все глаза на проходившее

войско. Что нашел он в нем замечательного, — не знаю; может, марш, который играли музыканты, погрузил его в задумчивость.

В «Пунше»[167] есть, — впрочем это уже старая новость, — карикатура: Александр II передает Наполеону III свою плеть и говорит: «Она мне более не нужна, а вам может еще пригодится».

Вторник, 15 апреля.

Сегодня вторник, но мы к Лавровым не поехали, мама не хотела. А я с утра сегодня ждала вечера, мне хотелось к Лавровым.

Хотела отвезти сегодня Лаврову отрывки из «Таинственной Капли», которые у нас есть, но, перечитав их сейчас, думаю, что и хорошо, что не удалось этого сделать: Глинку там подняли бы на смех.

Но как же я до этого додумалась теперь, а, слушая Федора Николаевича, никогда ничего подобного не думала? А вот что, кажется: когда читаешь сама, видишь все недостатки, и останавливаешься на них, и разбираешь их, когда же сам автор — читает, — недостатки скрадываются.

Федор Николаевич читает хорошо. Т. е. не то, чтобы хорошо, скорее даже не хорошо, нараспев, не следуя не только новейшим, но и старинным правилам декламации, но всей поэме его чтение очень соответствует. И в его чтении странный стих: «И с слов сих брызнул свет и пламень…» совсем не кажется странным.

Нет, я эти отрывки покажу Лаврову, когда он будет у нас, но на съедение его Зотовым и Кеневичам, да и нашим Курочкиным их не дам.

Четверг, 17 апреля.

Сегодня был чудный день. Вечером были у Ливотовой. Ужасно хочется спать. Весенний воздух утомляет, но вместе с тем и оживляет. Полонский отлично сказал;

> Воротилась весна, воротилась!
> Под окном я встречаю весну;
> Просыпаются силы земные,
> А усталого клонит ко сну.[168]

О Полонском имеем самые подробные сведения; он часто пишет к мама[169]. Теперь он из Неаполя едет во Флоренцию с графом Кушелевым-Безбородко, его женой и свитой. Он здоров, но не весел, его утомляет шумное общество Кушелевых; их ведь сопровождает целая толпа праздных людей всех наций; и вся эта ватага и едет и живет на счет Кушелева. Сестра графини, т. е. м-

ль Кроль, выходит замуж за знаменитого фокусника, духовидца, магнетизера и прочее, одним словом, — за Юма; спирит, вот как его зовут.

В. Курочкин когда услыхал эту новость, то стал кататься со смеху, как сумасшедший.

Воскресенье, 20 апреля.

В семь часов началась гроза с сильным вихрем. В девятом поехали к Майковым, и она еще продолжалась. У Майковых была лотерея. Маленький Коля Майков, сын Аполлона, вынимал билеты, сидя у меня на коленях, а я выкликала номера. Мы выиграли пропасть вещей. Гончаров подарил мне свой выигрыш, какую-то костяную штучку. В первом часу мы уехали, а гроза все еще продолжалась, с проливным дождем и ослепительной молнией.

Понедельник, 21 апреля.

У студентов уничтожена форма; большинству это нравится, верно потому, что ново, и как какая-то эмблема свободы; но неимущие недовольны, потому что форма обходилась дешевле.

Забыла сказать, что Майков подарил вчера мама только что отпечатанное в двух томах, полное собрание своих стихотворений. Майков и весел и грустен, ему и хочется к не хочется уезжать. Он ведь в числе других писателей — Григоровича, кажется, Льговского и не помню еще кого — посылается в.к. Константином Николаевичем в экспедицию. Целая компания литераторов ездила уже в прошлом году по России, теперь он посылает их дальше. Майков должен ехать в Грецию; Григорович в Тихий океан. Уезжает также и Мих. Михайлов, только не знаю, сам ли по себе, или тоже посылается. Полонский, через мама и Майкова, приглашает и Михайлова в сотрудники редактируемого им журнала, а также и Старова[170], этого восторженного учителя словесности.

Вторник, 22 апреля.

Сегодня утром, когда была я в школе, вдруг явился туда Гох; то был его первый выход после болезни. Но он долго заниматься не мог и, не кончив урока, остальное время просидел и проболтал со мной. После обеда пришел этот самый Старов, переговорить с мама насчет сотрудничества своего. Он хочет писать об идеалах Пушкина, и Гоголя. Мы рассчитывали в семь часов ехать к Ливотовым и, забрав с собой тетеньку и Лизу, отправиться с ними к Лавровым, но не тут-то было! Он говорил, говорил, не переставая и не простывая, т. е. с одинаковым жаром все время, и

лишь в девять часов ушел, и мы поехали, как намеревались, сначала за Ливотовыми и с ними к Лавровым. Лавров произведен в полковники.

Среда, 23 апреля.

Где интерес живее, чем в наших заграничных брошюрах Искандера? Сейчас получили седьмой, восьмой, девятый номера «Колокола».

Суббота, 26 апреля.

Сейчас ушли наши гости; их было немного: дедушка, старички Майковы, Лавров, Брюлло, Бенедиктов, Бланшар, Соколов, Панаев, Микешин, Яков Иванович, Каменский, Чубинский, Крестовский. Мама и старушка Майкова, Евгения Петровна, хотят женить Полонского, и Евгения Петровна нашла уж ему кого-то; мама и она все зовут его вернуться поскорее в Петербург. Он и вернется, кажется, скоро. Плохо я пишу. Ничего не пишу о стихах, которые посылает Полонский; вообще о стихах, которые то и дело появляются и читаются у нас. Майков читает нам каждое свое новое произведение, Бенедиктов также, и также В. Курочкин свои переводы Беранже. Читаются также переводы из Гейне, Мих. Михайлова. Сам он у нас, кажется, перестал бывать. Что-то там вышло с Шелгуновой, какие-то сплетни; но ее мне не жаль, а Михайлова жаль. Недавно мама получила письмо от Полонского с припиской на конверте: для передачи Михайлову, нечаянно раскрыла его, и ужасно растревожилась, чтобы опять чего-нибудь не вышло, чтобы Михайлов не подумал, что она прочла его письмо. Он согласен участвовать также в журнале Кушелева и потому отложил свой отъезд за границу, чтобы дождаться возвращения Полонского. Бенедиктов дает свои «Дзяды», перевод из Мицкевича, которых, впрочем, уж берет у него Старчевский, но он уступает их Полонскому; готово что-то и у Лаврова для этого журнала[171].

Весь день просидела я сегодня дома, учила детей, читала мама Майкова, кончила «Жирондистов» и не влюбилась в революцию. Крестовский просидел у нас сегодня с утра, и теперь даже ночует у Коли; читал нам свои стихи. Он еще их не печатает. Говорили о том, что он не может их подписывать *В. Крестовский,* потому что это имя уже есть в литературе, псевдоним Хвощинской, поэтому ему надо подписывать *Всеволод Крестовский*, полным именем.

Николай Курочкин получил место врача при обществе пароходства и торговли в Одессе и скоро отправляется туда[172]. Весь наш кружок жалеет, что он уезжает, но за него надо

радоваться. Он теперь обеспечен не только материально, но и нравственно!. Дорога будет ему полезна, не говоря уже о мягком климате Одессы и о постоянном занятии.

Воскресенье, 27 апреля.

Читала статью Лаврова *о воспитании*, жаль, что не все теории исполнимы. Мама уже убрала все книги, чтобы везти их на дачу; после обеда мы о ней туда ездили, зелени еще мало.

Вторник, 29 апреля.

В школу мы сегодня не ездили, лошадей не было. Были в Исаакиевском соборе, на пробе пения. Народу была тьма, не только весь Петербург, но приезжали и из Москвы. 30 мая назначено освящение собора. Наконец-то! Его строили больше тридцати лет. Папа, еще совсем молодым человеком, почти начал свою службу при нем. Певчих было тысяча тридцать человек, но заметно этого не было, до того храм обширен и высок, или акустика дурна. Впрочем, пение было слышно в самых дальних углах, но будет ли оно слышно там потом, при обыкновенном богослужении, когда поет обыкновенный хор, человек в шестьдесят? Еще не хорошо, что такой роскошный храм, где собраны несметные богатства живописи, золота, мрамора, малахита и лапис-лазури, темен и как-то тяжел, неизящен, не величествен.

Сегодня последний вечер у Лавровых. В воскресенье она с детьми уезжает в деревню, он остается еще до июня.

Щербина получил перстень от императрицы. У нас он не бывает с 30 августа, когда вздумал читать пасквили свои на Майкова.

Среда, 30 апреля.

Иван Карлович обедал у нас сегодня; он было надеялся пойти сегодня с папа есть устрицы, но папа уехал. Вечером у Ливотовых он читал стихотворения Майкова: «Жрец», «Сон в летнюю ночь», «Певец», «Он и она». Все превосходные вещи. Именно превосходные, но не прелестные, не задушевные. Говорят, Майков наш первый поэт в настоящее время. Да, он настоящий поэт настоящего времени, когда за ним требуется сознательность, далее в художественном творчестве.

Теофиль Готье говорит где-то — где, не помню, — что истинный художник в минуту творчества теряет сознание, не помнит потом, как творил; точно не он сам действовал, а кто-то другой, или что-то другое, его руками. Мне кажется, это очень верно. Совестно сказать, что я испытала нечто подобное с теми

восковыми цветами, которые мне особенно удавались; с той белой камелией, например, которую я принесла показать мама, когда у нее сидел Полонский, и он, думая, что это живой цветок, взял его легко, двумя пальцами, как берут цветы, но тяжелый цветок выскользнул из его пальцев, упал на пол и рассыпался.

Майков, я думаю, никогда не теряет сознания при творчестве, оттого его произведения совершеннее других и — холоднее. Но не художником его назвать нельзя, он именно художник, художник-пластик, который обладает особенным даром никогда не терять из виду ни картину, ни музыку своего произведения, но он не тот поэт, который сказал: «Ich singe wie der Vogel singt»[173], не Полонский, не Фет.

Понедельник, 5 мая.

Сегодня у нас уж укладывают вещи, а вечером мы с мама ездили из улицы в улицу и из лавки в лавку. Погода стоит чудесная. Жду с нетерпением завтрашнего дня. Завтра день рожденья тетеньки Ливотовой, и мы, весь наш кружок, едем к ней на дачу, на Крестовский остров, в один из *пяти домиков,* его праздновать. Весь кружок наш чуть не плачет, что Н. Курочкин уезжает; но сам он огорчен, кажется, больше всех, и сказал недавно, что был бы, вероятно, совсем иным человеком, если бы раньше познакомился с такими людьми, вот как Лавров и тетенька и прочие. Я не довольно близка с Курочкиным, чтобы мне стало особенно заметным его отсутствие, но за него, что уезжает он, я рада; и сам он согласен в этом со мной. Курочкин молод, умен, учен и беден, значит, у него все данные, чтобы выйти в люди. Разгонит ли только эта перемена в жизни его — его хандру? Кто знает! Я думаю, что разгонит, но только на время, не более. Курочкин возмущен против таких вещей, которые для него не переменятся. Таких озлобленных людей, как Курочкин, мало; но они, кажется, в моде теперь. Их озлобление называется протестом, и ему вторят, и его поощряют. Я не знаю, оттого ли они озлоблены, что несчастны, или оттого несчастны, что озлоблены. Такое настроение началось уже давно, вскоре после войны. Оно-то и пугало меня, когда я была больна, и я его избегала; теперь не избегаю, сижу и слушаю. Меня спасают от ужаса поэты Бенедиктов, Майков, Лавров; Лавров ведь тоже поэт. Но ужасны популяризаторы, обобщители этого настроения, как Иван Карлович, например. Боюсь, что Курочкины и Иваны Карловичи размножаются теперь; может быть, не такие остроумные, как Иван Карлович, но такие же озлобленные, как Курочкин, наверное.

Говорят о беспощадной последовательности логики Лаврова,

о бесстрашии его мысли, но это мужество. Ропот же и злобное издевательство, смелое на вид, в сущности же бессильное, — не мужество, а обратное ему. Курочкин довольно красив собой, и лицо его может быть приятным иногда, между тем в профиле его, в очертании носа и верхней губы есть что-то крутое, почти злое. Он не очень разговорчив, а в женском обществе даже как-то робок, как будто все боится не соблюсти какое-нибудь приличие, но у него есть способность точно ронять ядовитые слова. Их-то потом Иван Карлович и подбирает и подправляет солью своего остроумия. Ну, и все смеются… И всем жаль, что Николай Курочкин уезжает. Говорят, что злые не бывают толсты, ну, а Курочкин толстоват, с ярко красными губами, русой окладистой бородой и карими, умными глазами; нос у него прямой и несколько погнутый только к губе, что и придает ему злой вид; впрочем, он, может быть, не столько зол, сколько озлоблен.

Брат его, Василий, ниже его ростом, совсем не толст, и лицо у него длиннее, а глаза больше и темнее. Но в его глазах нет сосредоточенного выражения глаз его брата; в них, напротив, какая-то неопределенность.

Троица. Воскресенье, 11 мая.

У нас служили сегодня молебен. Потом приехали три художника: Соколов, Филиппов и Сорокин. Сорокин пробыл недолго. Он, кажется, спешил к Сергию, но не говорил этого; он очень набожен. Чудесная личность этот Сорокин, которую никакие соблазны суеты до сих пор не могли испортить. Он сын крестьянина, но, достигнув звания классного художника, он сделался вольным. Три года тому назад получил он большую золотую медаль по исторической живописи, но в чужие края до сих пор еще не уехал. Способности у него очень большие, но он не имеет почти никакого образования, и воображение у него совсем не развито, и едва ли он далеко пойдет как художник. Зато как человек, честный, набожный и смиренный, без унижения, как только русские умеют быть, он уже пошел дальше многих.

Филиппов рассказывал о Севастополе, этой кровавой эпопее, о которой уж мало говорят теперь, точно избегают вспоминать тяжелое время. Филиппов провел в Севастополе два года с половиной, т. е. все время осады и еще после нее.

Он рассказывал были, похожие на небылицы; по крайней мере было бы желательно, чтобы то были небылицы.

Четверг, 15 мая.

Славно жить на даче! Столько успеешь и нарисовать, и

почитать; читала «Ma biographie»[174] Беранжера. Его песня «Aux ètudients»[175] до тех пор вертелась у меня на языке, пока я не выучила ее наизусть[176]; также и другое стихотворение, оригинальное, но тоже не цензурное и переписанное в том же альбоме. Оно принадлежит Лаврову и начинается так: «Пусть гордой Франции презренный повелитель», а называется оно: «На 26 августа 1856 г.» В нем есть стихи:

Скажи ты пахарям святое слово: *Воля*,
Сними с них барщины несправедливой гнет;
Свободной общине отдай родное поле —
Тебя тогда народ *великим* назовет.

Воскресенье, 18 мая.

День рожденья Али, ему шестнадцать лет. Мама, Маша, Оля и я ездили сегодня в Лигово, к Майковым. Бедная Катерина Павловна серьезно нездорова и: лежит в постели в городе, а дети здесь, у бабушки; Женни все так же миниатюрна и мила, а Валеринька, с его бархатными глазками, такой красавец, что наглядеться на него нельзя. Семейство Аполлона Николаевича тоже уж здесь, а Николай Аполлонович еще в городе; он кончает иконостас в русскую церковь в Мадрите.

Гончаров прислал мама в подарок описание своего путешествия под заглавием: «Фрегат «Паллада». Гончаров кончил свой «Сон Обломова» и читал его некоторым друзьям[177]. Кто-то заметил ему, что главное женское лицо в нем слишком идеально. Гончаров отвечал, что он его писал с натуры и что оригиналом ему служила Катерина Павловна[178]. Гончаров должен ее знать хорошо, потому что видается с нею ежедневно, так как имеет у них стол. Катерина Павловна совсем исключительное создание. Она вовсе не красавица, невысокого роста, худенькая и слабенькая, но она лучше всяких красавиц, какой-то неуловимой грацией и умом. Главное, не будучи кокеткой, не обращая особенного внимания на внешность, наряды, она обладает в высшей степени тайной привлекать людей и внушать им какое-то бережное поклонение к себе. За ней все ухаживают: и муж, и родители мужа, и все близкие; и она необыкновенно мила и ласкова со всеми ими. Другая невестка Майковых, жена Аполлона, Анна Ивановна, прекрасная дочь, жена, мать, но она далеко не то, что Катерина Павловна, и, как ни ценит и ни любит ее все семейство Майковых, отношения совсем не те; Анна Ивановна — это будни; Катерина Павловна — праздник, светлый праздник. Майковы очень дружная, крепкая семья[179]. Обе

невестки совершенно всосались в нее, высоко держат ее знамя, но для Катерины Павловны, кроме Майковых вообще, перед которыми она благоговеет, есть еще ее Володя, муж, выше которого она ником не признает.

Но кстати и о Гончарове. Его наши *новые* люди не любят, во-первых, кажется, за то, что он цензор, а во-вторых, за то, что преподает русскую словесность наследнику[180]; что он, будто, выскочка, пробрался ко двору. Выходит, что Ап. Майков недаром, несмотря на слезы жены и неодобрение стариков, отказался от этой должности, когда в прошлом году Плетнев ему ее предлагал. Ап. Майков очень осторожен и очень дорожит мнением своих современников.

Помню, это было 6 декабря, и мы приехали к Майковым поздравить деда и внука с ангелом, и нашли все семейства в смущении. Аполлон Николаевич решил отказаться от предложения Плетнева и указал ему на Гончарова. Анна Ивановна плакала, и сам Аполлон Николаевич был очень расстроен. Гончаров принял предложение с сохранением места цензора, и теперь не нахвалится учеником, который так полюбил его уроки, что вместо двух в неделю берет теперь три.

Гончарову и горя мало, что на него косо смотрят, а Майков изъял из нового собрания своих стихотворений некоторые напечатанные в 1854 году, и «Коляску» свою не только нигде больше не читает, но о ней при нем и не упоминают никогда, как будто, она нечто позорное.

Один Лавров ее защищает, когда заходит о ней речь, и говорит, что именно Николай Павлович мог внушить всей личностью своей подобное к себе обращение, мог вдохновить поэта.

Лавров считает Майкова первым из современных поэтов и никогда не нападает на него. Недавно они познакомились домами.

Вот, кстати, образчики эпиграмм Щербины на Майкова, самые невинные:

> Он Булгарин в Арлекине,
> А в коляске Дубельт он.
> Так исподличался ныне
> Петербургский Аполлон[181].

Биографические черты:

> Нам в Арлекине воспевал
> Он третье отделенье,

Белье не часто он менял,
Но часто убежденья.

Каковы пошлости! Но те, которые нам неизвестны, еще хуже, говорят[182].

Среда, 21 мая.

Сегодня ночью была страшная буря, невозможно было спать, казалось, ветер вырвет дом и унесет его. Дождь рассыпался по окнам, как горох. Сегодня мои именины, но мы думали, что по причине погоды никто к нам не придет, однако, приехали милая тетенька с Лизой, Жоржиной и Чарли, Бенедиктов, Иван Карлович, Майков, Лавров, Струговщиков и Курочкины. Н. Курочкин простился; я ему в альбом ничего не написала. Лавров тоже простился, но не надолго, только на лето. И Бенедиктов уезжает, и Лиза Шульц. Погода прояснилась в продолжение дня, но было все же холодно и неприветливо, и тем не менее все были как-то веселы, даже предстоящие прощания не смущали.

Бенедиктов, А. Майков и В. Курочкин даже бегали взапуски; а Иван Карлович преуморительно — толстяк ведь он — упражнялся на гигантских шагах; говорили же так много и спорили, что только гул стоял. Теперь все разъехались, кроме А. Майкова, который у нас ночует. Вот опять начинается вчерашняя буря, лучше лягу спать.

Понедельник, 26 мая.

Были у Майковых и провели время очень приятно; ездили на ферму Кушелевой, тоже постройку папа, как и барский дом в Лигове, и много смеялись, как обыкновенно, когда вся семья Майковых в сборе. Анна Ивановна совершенная противоположность Катерине Павловне, но в то же время они и одинаковы, по положению и по духу даже; только одна — поэзия, а другая — проза, и не надо забывать, что и проза может быть прекрасна и возвышенна. Какую-то жену выберет себе Леонид, этот прозаик-поэт, пропитанный и начитанностью и анализом.

Аполлон Николаевич нет-нет да и вспомнит предстоящее ему путешествие, и задумается; кажется, он охотно отказался бы от него, если бы нашелся благовидный предлог.

Мы о мама читаем теперь, т. е. я читаю ей, полное собрание его стихотворений. Он предназначал себя в живописцы, но у него зрение слабо. По его стихам видно, что за художник он бы был. Его картины теперь в словах, а не в красках на полотне. У него

есть и ирония, но не некрасовская, он не объясняет и высказывается, а создает.

Теперь показывают в Петербурге женщину-обезьяну, зовут ее Юлия Пастрана. Она вся покрыта шерстью, и у нее борода. Она говорит по-английски, танцует и поет. Кто-то выдумал, что Мих. Михайлов в нее влюбился и изменил Шелгуновой. Какой вздор!

Среда, 28 мая.

Завтра едем ночевать в город, чтобы утром не опоздать на церемонию освящения Исаакиевского собора. Говорят, что церемониал великолепен, вроде въезда государя после коронации. Но гадкая история сцепилась с этой церемонией. Во время коронации Красная площадь в Кремле покрывалась красным сукном, которого пошло несколько тысяч аршин. Это сукно сначала хотели взять напрокат, но не сторговались как-то и решили его купить. Нынче опять понадобилось красное сукно, чтобы устлать им дорогу от Зимнего дворца до собора, и государь вспомнил про то, коронационное, и приказал употребить его. Списались с Москвой. Оттуда отвечали, что сукно очень плохо, что его моль поела. Государь приказал прислать его таким, какое оно есть. Тогда оказалось, что его вовсе не существует, и что оно никогда не было куплено, а было взято напрокат. Барон Боде, говорят, отставлен, и с ним еще несколько человек потеряли свои места. Об этой истории много говорят. Говорят, что сукно было действительно куплено, т.е. деньги поставлены в счет; а сукно потом продали и деньги поделили между собой.

Дедушка давеча посмотрел на меня и говорит: «А сукно привезут из Москвы, то, что было на коронации». — «Да, — говорю, — из Москвы! Вы разве не слыхали, какая там вышла история!» — «Слышал, матушка», — отвечал он. И сам стал говорить об этой истории, а то ведь все молчал или уверял, что сукно везут из Москвы.

Трое кадет сидят в Третьем отделении за то, что переписывали Герцена. И в то же время ходит по городу слух, что будто государь недавно громко спросил у своих приближенных, нет ли у кого из них «Колокола», что он давно ого не читал.

Вторник, 3 июня.

Уже за полночь. Мы засиделись внизу. Дачу[183] продали за 9600 рублей купцу Федотову. Вот и прощай, наша милая дача! Всем грустно, но она теперь не нужна, так как есть у нас Ивановка, и мы там будем проводить летние месяцы.

Сегодня, наконец, видели мы картину Иванова[184]. Говорю просто: «картина Иванова», и всякий поймет, какая картина,

потому что под этим названием она известна двадцать лет. Двадцать лет о ней пишут и говорят, и вот лишь теперь только она окончена, привезена из Рима сюда, и ее можно видеть.

Она произвела на меня странное впечатление, которое, конечно, остерегусь высказать вслух: она напомнила мне произведения безумных. Говорят, гений граничит с безумием Может быть, Иванов от гениальности так странен; или картина его от того кажется странной, что он писал ее двадцать лет, выслушал о ней столько мнений и критик, и сам переживал, работая над нею, свою нравственную или умственную ломку. Во-первых, в ней поражает отсутствие воздушной перспективы. Это заметно на фигуре Христа; она появляется вдали, а между тем вырисована. Положим, что там, на Иордане, воздух прозрачнее, но все же это поражает; положим еще, — и это самое главное, — что Христа художник с намерением не хотел затушевать, и, вдали ли он появлялся или на первом плане, *хотел* отделать его тщательно. Это, конечно, главное, и даже более того, и — есть вся суть. Для нее он пожертвовал воздушной перспективой. Но дело-то в том, что картина действует прежде всего, да и предназначена действовать — на телесные глава, а не на умственные, так что, покуда сообразишь и увидишь суть умственным оком, телесное уже поражено.

Но фигура Христа сама по себе превосходна, откуда бы на нее ни глядеть, издали ли или вблизи. Издали, несмотря на превосходно написанные фигуры Крестителя и крестящихся на первом плане, видишь, что не они главные, а главный *он, тот,* что приближается, не освещенный солнцем, не в ярких красках одежды, не победителем. Он в синем хитоне, как его изображают обыкновенно, и идет один. Полы хитона не висят, а как-то подобраны, рук не видно, они, должно быть, поддерживают хитон, отчего вся фигура получает какой-то необыкновенно смиренный и в то же время величественный вид. Так видит умственное око и восхищается, но неумственному кажется, что для такой дали Христос слишком вырисован.

Затем, вода написана невозможно; а самое странное, — и, признаюсь, когда я это увидела, то глазам своим сначала не поверила, — это вот что: возле главной группы, на первом плане, где и Иоанн Креститель, стоит дерево (впрочем, я, может быть, и ошибаюсь, может быть, оно и не на первом плане и не на одном с Иоанном, — при отсутствии воздушной перспективы это трудно разобрать, но стоит дерево), и между листьями этого дерева все просветы наполнены крошечными головками бегущих, кричащих или молящих людей. Это необыкновенно поразительно. Множество крошечных фигурок с беспокойными

телодвижениями, но всему дереву и как бы на одном плане с фигурами в натуральную величину. Вот в этом-то мне и кажется что-то безумное. Можно понять, отчего идущий вдали Спаситель не отделяется, или слишком мало отделяется воздухом от группы, стоящей на первом плане, но, что значат эти фигурки в дереве, — понять трудно.

Местность, на которой все это происходит, т. е. пейзаж, напоминает старинную, дорафаэлевскую манеру писать и как-то гармонирует с идеей, с фигурой Спасителя, но, опять-таки, с яркими, сочными, новейшими красками написанными фигурами остальных не гармонирует. Но довольно о картине, уже второй час утра. Папа видел Иванова, он собирается к нам.

В городе сегодня вдруг остановил нашу коляску, подбегая к ней, Григорович, Дмитрий Васильевич, со словами: «Прощайте! прощайте! уезжаю сегодня в шесть часов вечера в Тихий океан!» Ну, мы простились и пожелали ему доброго пути. Он уезжает на два года, так же, как и Майков[185] и прочие, посылаемый в.к. Константином Николаевичем.

Среда, 4 июня.

Была в Ивановке, там чудно! Неподалеку, в деревне, поселились цыгане, и приходили к нам. Странный и живописный народ.

Четверг, 5 июня.

Ах, бедная, бедная Аделаида Карловна Шильдкнехт! Сейчас получили известие, что муж ее, Александр Иванович, скончался. А она за границей и ничего еще не знает. Она была больна и поехала лечиться, а он, здоровый, молодой, умер скоропостижно; не даром ей так не хотелось уезжать.

Сегодня у нас обедали Майковы, а вечером был Бенедиктов; говорили, конечно, больше всего о смерти Шильдкнехта и о картине Иванова; ему назначена пенсия за нее, но картины не покупают, потому будто бы, что денег наличных нет. Выставлена она в Зимнем дворце. Говорят, что Иванов таким распоряжением, т. е. пожизненной пенсией вместо одновременно выданного капитала, доволен.

Бенедиктов приезжал прощаться, и хотя едет не надолго, только до осени, но, прощаясь, был очень растроган. Он оставил у мама тетрадь своих стихов, чтобы она выбрала из них, что хочет, для журнала Полонского, т. е. графа Кушелева. Теперь Полонский и Куше лев за границей. Полонский замедлил возвращением своим, потому что вставляет и лечит себе зубы в Париже, но кроме того есть у него еще какая-то таинственная задержка. Мама

очень усердно набирает ему и материал для журнала и сотрудников. Леонид Майков просит меня перевести еще что-нибудь для «Подснежника». В нем уж есть один мой перевод сказки Андерсена «Елка». На время отсутствия Владимира, Леонид заведует этим журналом. Я рада переводить, и услужить Майковым рада, но с временем не справлюсь, особенно при срочной работе; но постараюсь.

Пятница, 6 июня.

Погода отвратительная; ноет ветер и наводит тоску. Я не думала, что отъезд Бенедиктова на три месяца может иметь какое-нибудь значение, но он был так расстроен, что это передалось и мне.

Суббота, 14 июня.

Мама получила от Полонского письмо в двадцать страниц, письмо знаменательное: он женится.

Говорю так решительно: женится, потому что нельзя сомневаться, что будет так, хотя он сам, бедный, колеблется и сомневается. Не в избраннице своей сомневается, не в чувствах своих к ней, а в благоразумии шага, который сбирается сделать.

Три недели тому назад, пишет он, встретился он в первый раз с девушкой, которая сразу его очаровала, и очаровала, можно даже сказать, раньше, чем он ее разглядел, одним уж голосом своим, проговорив по-русски: «Все, что вам будет угодно».

Это было в Париже у Шеншиной[186] (рожденной Дегай), к которой он зашел, тоже в первый раз, о приятелем своим Сборовским.

Молодая девушка — полурусская, полуфранцуженка. Мать ее француженка, отец русский, псаломщик при парижской церкви нашей, фамилия его Устюжский.

Пробыв некоторое время у Шеншиных в обществе этой девушки и совершенно обвороженный, радостный и счастливый, отправился он к Кушелевым. Там ужинали, и за ужином графине вздумалось пить с Полонским на брудершафт. Полонский был на все готов и на все способен в этот вечер, он пил с графиней, пил с графом, поговорил с ними на «ты» и пошел к себе, но не лег. Сон в летнюю ночь еще продолжался у него наяву, и под его чарами он написал Сборовскому письмо, в котором излил волновавшие его чувства, намерения, и надежды. Запечатав его, он дал его коридорному, чтобы тот снес его утром по адресу, и тогда лег.

Утром сна в летнюю ночь уже не было, и он увидел свою опрометчивость. Чувство, внушенное пленительной девушкой, было все то же, но он сознал, что поступил слишком поспешно, и

хотел вернуть письмо, а оно было уже передано по назначению. Он бросился к Сборовскому. Оказалось, тот побывал уже у отца, а Шеншина у матери: отступления не было.

Конечно, Полонский в душе отступления и не желал. Одна только крайняя добросовестность его, мысль, что он поступает неосторожно, связывая судьбу девушки со своей, когда его положение так мало еще упрочено, пугала его, и, конечно, смущало и то, что, прежде чем он успел несколько больше познакомиться с девушкой и сколько-нибудь заручиться ее согласием или хоть некоторым расположением к нему, дело получило уже известную огласку.

Родители отвечали, что они требуют, чтобы дочь их оставалась в полном неведении намерений Полонского, а его приглашали бывать у них, с целью узнать его ближе, и чтоб он их узнал.

И вот Полонский у них бывает, и о каждым днем Елена Васильевна все больше и больше ему нравится, и он все больше и больше привязывается к ней, надеюсь, что и она к нему. Дай бог ему успеха и счастья!

Полонский — редкой души человек, думаю, что второго такого доброго, чистого, честного и нет. И он же еще и поэт, и какой поэт! Оценит ли его Елена Васильевна? Дай бог, чтобы оценила, и чтобы он был счастлив.

Воскресенье, 15 июня.

Были у Майковых. Я там опять поспорила со Льговским и с самим Аполлоном Николаевичем. Я говорю, что русские унижаются перед иностранцами, особенно перед французами, а они утверждают, что нет, и что если бы и да, то это хорошо, что надо признавать превосходство иностранцев перед нами.

Гончаров был. Это предмет негодования либералов и сам цензор либерал-ренегат[187]. Мама обыкновенно заступается за него. Лавров говорил мне, что ему хотят задать какую-то серенаду, дирижировать которой будет Кеневич, заклятый враг Гончарова. Но Кеневич-то сам как гнусен! Маленький, сутуловатый, желтенький человечек, как школьник на строгого учителя, озлобленный против всего, что зовется власть и начальник, радующийся, как находке, всему дурному, что увидит, ко всему придирающийся.

Воскресенье, 22 июня.

Вечером прохаживался дедушка в своем саду. Мы с мама его увидали и притащили к нам. Дорогой, приласкав меня, по обыкновению, он вдруг серьезно сказал: «Смотри, никогда не

употребляй слова «прогресс», государь его запретил». Я ничего не поняла, но, боясь растревожить дедушку, смолчала. Спрошу завтра у Ивана Карловича, что это такое.

Понедельник, 23 июня.

От Полонского два письма. Сватовство его идет на лад. Он написал мама за год около пятидесяти писем, и какие длинные. Дюма и Юм живут у графа Кушелева на его даче, в Безбородко. Про Юма много кричали, рассказывали даже почти сверхъестественные вещи, однако старая и более благородная слава Дюма оказалась прочнее. Его имя имеет честь войти в состав русских слов и склоняется: Дюма, Дюмы, Дюме, Дюмою, о Дюме. Оно имеет и множественное число, когда вместе с ним подразумевается и Юм; так что последний сам по себе исчезает в сиянии имени автора «Мускетеров»[188].

Еще год тому назад возникло в кружке Майковых, который принадлежит к «Библиотеке для чтения», редактируемой Дружининым, намерение противодействовать мутному потоку, пробивающемуся, со Щедриным во главе, в литературу, и придать ей, не отступая от действительности, несколько более изящное направление. Тургенев и Гончаров писали об этом из-за границы. Но партия Щедрина становится сильна. «Губернские Очерки» пришлись к дому; к этому направлению примыкает все молодое, появляющееся со всех сторон на смену господствовавшему до сих нор исключительно дворянскому сословию в литературе. Поклонники Щедрина и последователи его направления преследуют поэтов, достается и Тургеневу, но ему многое прощается ради «Записок Охотника», также Григоровичу за его «Антона Горемыку» и прочее. Дружинина выживают из «Библиотеки для чтения», чтобы заменить его Писемским, на Некрасова злы за «Тишину» его[189], а на Гончарова за все. В этом круговороте, можно себе представить, как будет трудно вращаться Полонскому, поэту в полном значении этого) слова, в качестве редактора, и не мудрено, что он так волнуется, приобщая к своей шаткой судьбе судьбу столь дорогого для него теперь существа.

Вторник, 1 июля.

Кокорев, зимой и устно и печатно разгромив откупа и откупщиков, взял ныне на откуп Восточную Сибирь, и, уверяя, что, как бы дорого откупщик за откуп ни заплатил, он, даже и при малой ловкости или изворотливости, в убытке не останется и свое возьмет, дал за свой теперь два миллиона рублей. Но говорят, что он это сделал с высшей целью. О, эти «высшие цели»!

Страшна неопределенность в литературе, отсутствие или игнорирование идеала, но эти «высшие цели» еще страшнее.

Что эти перечисления неправд и пороков, в которых будто бы погрязла Россия:

> В судах черна неправдой черной
> И игом рабства клеймена;
> Безбожной мести, лжи тлетворной
> И лени низкой и позорной
> И всякой мерзости полна!

Что все это! Это всякий может видеть и всякий презирает.

На эти Авгиевы конюшни, раздушенные духами высших целей, они ужасны! А если бы они хорошо пахли, послали бы Геркулеса их чистить? А ныне я Геркулеса нет. Но это бы ничего. Совокупные усилия нескольких могут сравняться с единоличною силой Геркулеса. Все, что перечисляет Хомяков, эти ваши конюшни, могут быть вычищены и будут вычищены, но лишь такими, какие они есть, не прикрытыми высшими целями.

Полонский помолвлен и объявлен женихом. В добрый час! И дай ему, боже, всего лучшего. Когда свадьба, еще не решено.

Среда, 2 июля.

Сегодня на похоронах у Монферана[190] познакомился отец с Дюма.

Утверждает Аполлон Николаевич, что будто русские не готовы на все для иностранцев: граф Кушелев посылает Дюма на свой счет в кругосветное плавание.

Четверг, 3 июля.

Иванов умер. Что это, право? Даже верить не хочется, какая грустная неожиданность. Умер он от холеры сегодня, в восемь часов утра. Двадцать лет творил он свое произведение единственное, явил его, наконец, миру и, едва пожав плоды своих трудов, едва, так сказать, коснувшись устами к кубку славы, умер.

Картина Иванова и Исаакиевский собор! Поколение родилось и взросло, пока они творились, а самим творцам не довелось насладиться тем, чему они посвятили целую жизнь.

Суббота, 19 июля.

Получено от Полонского письмо с известием, что 14 июля по нашему стилю, т.е. в понедельник, состоялась его свадьба. Ну, в добрый, час, и дошли ему господь счастья и благополучия, которого он, право, заслужил. Прислал он и портрет, фотографию

во весь рост, головка с двугривенный, жены своей. Какая же она красотка, просто прелесть. Никто не ожидал, что она так хороша, потому что Полонский о красоте ее ни словом не обмолвился. И я получила письмо от Бенедиктова. Сегодня мы были в городе, устраивали комнату молодым. Мы так все рады, что Полонский согласился остановиться у нас в доме с своей молодой женой.

Понедельник, 21 июля.

Мама получила письмо от Полонского, я от Бенедиктова[191]. Милый поэт, мой, не мамин, написал все длинное письмо в стихах. Мамин же поэт написал свое прозой, и какой еще печальной прозой, не до стихов ему, кажется, бедному нашему Полонскому. Накануне его свадьбы какой-то безжалостный приятель сообщил ему, что у Кушелева уже другой редактор для его журнала.

Несчастный Полонский пишет, что идет к венцу с улыбкой на устах и ледяным ужасом в душе. Редакторство это для него все в настоящую минуту[192]. И для чего было его смущать и отравлять ему такую минуту? Или думал этот барин, что Полонский накануне венца откажется? Думал его спасти от рокового, связывавшего его на всю жизнь шага. И неизвестно, узнал ли и когда узнал Полонский, что это вздор, фальшивый слух. Мы знаем весь ход его здешних дел. Это Моллер Егор, бывший актер бывшего театра нашего, подкапывается под него. Этот Моллер не знаю, что такое. Его привозили к нам Меи. Он что-то пописывает или переводит, вообще трется между литераторами[193]. Святский говорит, что он не подкопается, потому что Кушелев держит его, да и Меев также, в слишком черном теле. Бедные Меи! Они, право, достойны лучшей доли, но вот куда завела его несчастная страсть к вину, а ее несчастная страсть к роскоши.

Но тем не менее положение Полонского шатко. Что такое журнал графа Кушелева, на что он ему?

Сегодня вздумал издавать, завтра раздумает. Что за человек Кушелев? И человек ли или полоумный, если возит за собой Дюма и Юма, и еще целую свиту менее знаменитых людей, а мало ли еще чего делает?

А если он и не бросит журнала, что Полонского все же может бросить во всякое время. Не подкопается Моллер, которого он держит в черном теле, — подкопается кто-нибудь другой. И на графиню его, рожденную Кроль, надежда плоха; меценатство, может быть, в духе графа, но не графини. В Париже в один месяц они прожили сто тысяч рублей. Если так будет продолжаться, то какой уж тут журнал?

Среда, 6 августа.

Ну, молодые наши дома, на Миллионной. Все произошло, как предполагалось; вне программы оказалось только, что она еще гораздо красивее, чем на портрете, а он худой и желтый, как лимон. От тревог и волнений последних дней, предшествовавших венчанию, у бедного разлилась желчь. Но он все-таки смотрит счастливым, и хотя глаза у него желтые, но счастье сияет в них. Он знает теперь, что слух о перемене редактора был ложен, и по крайней мере на этот счет спокоен.

А она какая прелестная! Ей восемнадцать лет. На портрете она кажется старше, как обыкновенно выходят на фотографии очень хорошенькие. У нее прелестный овал и цвет лица, щечки полненькие, как должны быть на молодом лице(, и с нежным румянцем, на портрете же этот румянец вышел несколько темным и производит впечатление тени, отчего лицо кажется худее и старше. Я даже не, знаю, где она красивее, в натуре или на портрете, в натуре больше детского. Потом на портрете не видно цвета лица, прозрачного блеска цвета морской волны глаз, и не слышно прелестного голоса и смеха. Лоб, нос, рот — все в ней прелестно. Она полурусская, полуфранцуженка, но носик у нее совсем французский и нисколько не русский; точеный, не мягко-картофельный. Одно только, одно несколько странно в этой новоявленной чете, это то, что нет у них общего языка. Пробыв с ними несколько часов сряду и поговорив то с ней по-французски, то с ним по-русски и потом как-то в переметку, и на том и на другом, когда уж надо было нам уезжать, вдруг мелькнул у меня вопрос: а как же оставим мы их одних? Ведь ему трудно говорить на ее языке, ей на его? Конечно, то была излишняя забота, они уж не в первый ран вдвоем и отлично поняли и понимают друг друга. Вот это было единственное не гармоничное, а все остальное очень хорошо, и я очень рада за Полонского. Впрочем, «ни оба, вероятно, очень скоро навострятся говорить, он на ее языке, она на его. Нам с шею приказано звать друг друга по имени без отчества, мы тезки, но она Елена, я Леля.

Понедельник, 25 августа.

У нас был нежданый гость, кумир гостиных наших, Лавров. Мы все очень обрадовались ему, но не знаю уж, какая перемена во мне произошла, во всяком случае только не та, которой опасается Гох, а, должно быть, противоположная; только я убеждаюсь, что и Лавров не то, чего я ищу. Не то, чтобы я уж увидала его пятку, о, нет, я жмурюсь и ничего не вижу, и верю всем, что он высок, но мне надо верить не тому, что про него говорят, а тому, что он говорит, и вот этой-то веры у меня и не хватает.

Скоро год, что мы с ним познакомились. Собственно мое знакомство с ним произошло позднее. Случилось это по поводу статьи Никитенка о Сикстинской мадонне. Никитенко был за границей, видел мадонну и напечатал свое впечатление от нее в «Современнике». Иван Карлович, товарищ и друг Никитенка, пришел нам ее читать. Я была в то время больна, даже несколько дней пролежала в постели, и лежала еще, когда хотел читать Иван Карлович, но уже поправлялась.

Иван Карлович был в восторге от статьи, а мне она не понравилась. Мне казалась она деланной. Мне казалось, что, не знай Никитенко заранее, что картина очень знаменита, он десять раз прошел бы мимо нее и она бы ни разу его не поразила, тем более, что она в глаза и не кидается. В статье слышалось, что автор себя подвинчивает и «кипятит, а в сущности остается чуть тепленьким», я это и высказала и назвала еще вдобавок произведение это риторикой. Иван Карлович рассердился и ушел, обозвав и меня, в свою очередь, шплиттергексе.

Дня через два он вернулся и говорит: «Карла [Карлой зовет он себя], Карла, видно, дурак, потому что и Лавров назвал статью Никитенки риторикой, радуйтесь, сам Лавров! И я рассказал ему, что он шплиттергексе». Затем, в первое же свидание, Лавров подошел ко мне и улыбаясь заговорил о мадонне, Никитенке, риторике и прочем. И с тех пор помногу со мной говорит. Странно, что и с Осиповым я сошлась благодаря книге. То была знаменитая «Переписка с друзьями» Гоголя. Было то в 1853 году. Я ее читала, но, по правде сказать, ничего в ней интересного не находила, потому что не знала, в чем дело. Как-то графиня, с которой мы тогда только что познакомились, сказала, что желала бы прочесть эту книгу, и я предложила ей свою. Она очень обрадовалась и тотчас же подозвала Осипова, чтобы это ему сообщить. Он обратился ко мне и стал распространяться о книге и Гоголе вообще, и я сначала было обмерла, думая, что он пойдет меня экзаменовать, но дело обошлось благополучно, он объяснил мне то, что я не понимала, и с тех пор стали мы читать вместе.

Понедельник, 15 декабря.

А ведь я меняюсь очень. Уж я на многое смотрю иными, новыми глазами. Мы от Глинок. Бывало, я тоже удивлялась этому дому, этому обществу, но как-то иначе. Над диваном, в гостиной, висит картина, образ, может быть, Спасителя. Бледно-желтый лик, с неприятным выражением в глазах и с сиянием вокруг головы, похожим на штыки. Неужели он нравится Авдотье Павловне и напоминает ей богочеловека? Под ним на диване сидит студент. А его Авдотья Павловна понимает? Она думает,

что это тот самый студент, которого она знала прежде, т. е. один из тех. Но те разве садились на диваны, на первое в гостиной место? Подойдя ко мне, она, опять остановясь, притопнула обеими ногами, причем седые локоны ее тряхнулись, — жест ей одной свойственный, — и произнесла: «Говорят, что я невежда, что я отстала, что все идет вперед, а я отстала! Eh bien, oui j'aime le vieux Christ!»[194] И она с меня перевела глаза на студента, а с него на картину. Студент слегка улыбнулся. Самозванец на полотне не улыбнулся и ничего не ответил. Он даже не знал, что vieux Christ это он. Он не знал, что и студент, сидящий под ним, не прежний студент, и Авдотья Павловна этого не знала, ничего не знала. Знали только кое-что студент и я. Обернувшись снова ко мне, она сказала, что прочтет один рассказ, написанный девяностолетней старухой Хвостовой.

В предисловии, где эта старушка говорит, что она уже все потеряла и может только любить и помнить, раздался сладкий голос княгини-матери Шаховской: «Ah, que c'est beau!»[195] — этой княгини, сочетания стольких несообразностей.

Рассказ заключался в том, что Петр I назвал дураком молоденького сына Хвостовой, и мальчик оттого заскучал и, наконец, скрылся из дома и поступил в монахи. Тут Ростовцева стала плакать, а мне вспомнился Искандер, который называет ее мужа: «Иаков-энтузиаст», и целый рой мыслей засновал в голове моей. А невдалеке сидел сам старичок-хозяин, приговаривая то и дело: «вот как», и приглаживал свои височки и дергал себя за бакены. Я вдруг вспомнила и 14 декабря 1825 года, и он представился мне не беззубым стариком, а молодым адъютантом Милорадовича, избегнувшим более строгого наказания, чем ссылка в Олонецкую губернию, только благодаря предсмертной просьбе о нем Милорадовича. В это время до слуха моего долетели его слова: «Мужик привык есть редьку, а ему говорят: нет, ешь бламанже! Хочешь, не хочешь, а ешь!» Это говорил он: под словом «бламанже» подразумевалась воля; под словом «редька» — их теперешнее положение.

Сколько метаморфоз! Вот и Глинка декабрист. Разве это он сидит и рассуждает о редьке и бламанже? Глинка, студенты, я и сколько еще переменилось! Но Авдотья Павловна, со своими седыми локонами и прекрасными черными и блестящими, как у ящерицы, глазами, та, кажется, не меняется. Или в свое время, в то, когда подвергался чему-то худшему, чем простая ссылка, ее муж, и она предлагала бламанже вместо редьки и любила его больше редьки?

1859 год
Дневник

Четверг, 4 июня.

У Полонских родился сегодня утром в пять часов сынок, Андрей. Мама уехала к ним, завтра воротится. Назван он Андреем в честь папа, а мама будет его крестною матерью. Слава богу, и вот Полонский отец. Как это странно: Полонский — отец. Когда Елена совсем оправится, они всем семейством, т. е. отец, мать и сын, приедут на лето к нам, в Ивановку.

Пятница, 6 июня.

Мама вернулась от Полонских. Мать и новорожденный слава богу; но сам Полонский, бедный новый отец, за несколько часов до рождения сына упал с дрожек и зашиб себе ногу[196]. Ему бы делать холодные компрессы и лежать с протянутой ногой. С того было и начали, но началось и другое. Поглощенный этим другим, в тревоге и страхе Полонский позабыл про свою ногу, и вот она разболелась у него не на шутку.

А мальчик, Андрюша, говорит мама, миленький. Елена будет сама кормить его. Если все так пойдет, то недели через три они переедут к нам.

Среда, 8 июля.

А бедный Полонский все возится с своей ногой. Ему не только не лучше, а хуже. Он уже совсем не может ходить. Но, когда ему надоест сидеть, он спустится с кресла или дивана на пол и сидя поползет. Сначала было это всем как-то жутко видеть; теперь привыкли, и уж даже не вздрагивают, когда вдруг, неслышно приблизившись, он оказывается возле кого-нибудь и заглядывает в лицо своими добрыми, усталыми глазами, подняв свою исхудалую бородатую голову. Ужасно только жалко смотреть. Прежде я его не очень любила, теперь чувствую к нему что-то такое и, не умея выразить то, что чувствую, зову его дядей. А он это слово подхватил и стал звать меня теткой. Мы с ними соседи. Он помещается в комнате мисс Женнет, которая теперь перешла наверх, где и Елена с ребенком; самому Полонскому лазить по лестнице нельзя.

А как похорошела Елена! Чудо, что за красавица! Особливо когда с ребенком на руках. И он прелестен, но еще очень мал. Лечит Полонского гатчинский доктор Шульц; но что-то улучшения не видно еще.

Версты полторы от нашего дома, по дороге к пудуской мельнице, около песочных ям в лесу раскинули свой табор цыгане. Мы часто избираем это место целью наших послеобеденных прогулок. Мы все идем пешком, конечно, а Полонскому молодежь приспособила какую-то тележку, и возят его. Там мы отдыхаем, Полонский иногда рисует. Цыгане гадают нам, пляшут, поют; иногда и Полонский, или кто-нибудь другой читает вслух стихи или прозу. Папа отдыхает, мама собирает грибы, дети землянику. Место там очень красивое; мы его зовем Швейцарией. Обратно — везут Полонского иногда цыгане.

Понедельник, 27 июля.

Как хороша Полонская, и как жалок он. И, главное, такая молодая, такая красавица, и такая добрая жена и внимательная мать. Впрочем, по поводу материнства опять нелады с мама. То ребенок одет слишком тепло, то слишком легко, то зачем, кормя его, Елена шевелит ногами, то зачем громко говорит и прочее и прочее. Но если, готовясь стать матерью, она, скрепя сердце, и повиновалась иногда, в виду того, что тогдашнее ее положение было для нее действительно ново и неизвестно, то теперешнее няньчение ребенка, говорит она, ей не ново ни малейше. Она была старшая в семье, и нянек у них никогда не было. Все младшие ее сестры и братья — а их не мало — выняньчены ею; и она няньчит, как учила ее ее мать, и кормит, как кормила мать. Ну, и неприятности. И бедный безногий поэт подползает то к одной, то к другой. Как же не звать его дядей?

Он любит ее без памяти. Да и как мог бы он не любить ее без памяти, когда даже все посторонние удивляются ее преданности, ее нежности к нему, ее безукоризненному поведению? Никогда ни тени кокетства и, при всей веселости характера, склонности к шутливости, ни малейшего поощрения к ухаживанию.

13 августа.

Я лучше узнала Полонских, и меня тронула привязанность этой молодой, цветущей женщины к ее больному мужу. Как она за ним ухаживает, одевает, моет его, даже моет его ноги, и ласкает и бодрит его, и всегда только говоря ему полушутя: «Tu n'as pas de chance, pauvre Jacques!»[197] И тронут и сам он, этот pauvre Jacques[198], мой «дядя».

Мы здесь больше бываем вместе, задвижки у дверей здесь нет. Я его мало знала прежде. Не знала его голубиной души; не знала ни тревог, ни колебаний, ни сомнений, ни огорчений этой души. Про нее можно сказать: «Творец из лучшего эфира соткал живые струны»[199] ее; можно и прибавить, что «она не создана

для мира, и мир был создан не для нее». А между тем творцом же он послан в этот не для него созданный мир, бедный Полонский! Ну, что ж, другой поэт даст нам разгадку, объяснение, утешение и на этот раз. Вспомним Жуковского и его «Выбор Креста»[200]. Страдать мы обречены все, и за что не страдать, зачем не страдать, если настоящая наша жизнь вовсе и не здесь, а там, и если мы грешны?

24 августа.

Благодаря студентам, которые у нас бывают, я теперь часто слышу про университеты. Особливо Крестовский[201] так много рассказывал мне, и Чубинский[202] рассказывает, что я, кажется, знаю всех профессоров, точно в самом деле знакома с ними. Но, признаться сказать, некоторые из них, и именно те, которых они особенно любят и хвалят, мне не нравятся. И я им это не раз высказывала. Некоторые, как бы это сказать, на мой внутренний взгляд, слишком лебезят перед студентами, слишком перед ними нараспашку! Студентам это любо, но молодежь доверчива и легкомысленна, а главное, быстра в своих заключениях и действиях; во всяком случае, быстрее старых профессоров. Теперь все порицать, отрицать и обличать стало модой. Но старые профессора (впрочем, они не все старые, и старыми я их зову только, как старших относительно студентов) поговорят, поговорят, очаруют своим либерализмом молодежь, да и останутся сидеть такими же, какими и были, а на студентов их речи действуют совсем иначе. Для них слово еще не звук пустой. Я ведь знаю по себе, как в молодости все отпечатывается ярко, и все, покуда это все еще не пригляделось, имеет какое-то особенное значение.

Мало того, что старшие все порицают и отрицают, они еще внушают молодежи, что они, т. е. молодежь, — надежда России, что они призваны что-то совершить, переделать и устроить. И влияние этих речей уже заметно на студентах. Самый любимый у них — Костомаров, для меня самый несимпатичный. Он им льстит положительно.

Может быть, они и действительно надежда России, но ведь надежда только, т. е. будущее, а они ведь уже мнят, что сейчас так, в треуголках своих, они приготовлены спасать и переделывать что-то. Хорошо еще, что ждут и не начинают действовать, ограничиваясь покуда войной с полицией, как на похоронах бедной Бозио[203], например. Но, что они надежда России, в это и я верю. Иначе к чему были бы прозревание наше и пресловутый прогресс? Прошлое было не хорошо, будущее должно быть исправлено и быть лучше. Кому же это делать, как

не будущим людям, а будущие люди ведь они. Но надо сперва стать людьми, доучиться. Студенты еще не люди, они учащаяся молодежь. Но им толкуют, что они граждане.

Понедельник, 28 сентября.

Бойцы все говорят, все говорят и распаляют юношей. Это, с одной стороны, все-таки хорошо, потому что юноши таким образом стремятся к истине, но эти их бойцы-то, эти граждане с Кавелиным во главе, истинной ли истины они носители? Вот вопрос, с которым я ношусь столько времени, и разрешить который не могу. Вижу только, что все колеблется, падает, рушится, и говорят мне: «не бойтесь, так надо, и это хорошо!» И иногда, когда я их слушаю, этих бойцов и граждан, я тоже думаю: «так надо и это хорошо!» Но, когда я одна и когда старые основы, на которых я вскормлена и вспоена, становятся виднее, а злобный смех, сопровождающий новые слова, еще звучит в ушах, я спрашиваю себя: «этот смех и эти слова совместны ли с истиной?» Мало того, покуда это все еще слова, и у бойцов Чубинского, верно, словами и останется; деятели, те, которые слово должны приводить в действие, ведь не они. А эти Чубинские, надежда России, новые граждане, спрашивала себя, если дойдет до дела, не спрячутся ли эти бойцы в подворотню и не оставят ли расхлебывать всю кашу Чубинским?

За одного я ручаюсь, что он это сделает; ручаюсь за Ивана Карловича, самого отчаянного, бесшабашного обобщителя и говоруна. Других профессоров их любимых я знаю мало, но боюсь и за них. А в ком уверена, что он в подворотню не пойдет, а действительно выйдет с конспираторским и в то же время вдохновленным лицом на бой, это Лавров. С волками жить — по-волчьи выть, это я чувствую на себе. Я, несмотря на весь свой анализ, усваиваю уже себе и их образ мыслей и даже их образ выражений, но в такой только степени, как более юная и иначе воспитанная молодежь, например, Чубинский в своих письмах.

Гласность, например, такое общее слово в настоящее время, почти не сходящее с языка, в сущности, тот ли имеет смысл, который ему обыкновенно придают теперь? и который придает ему Чубинский, говоря, что у нас нет гласности, которая осудила бы Григорьева?[204] Видимо, Чубинский предполагает, что там, где есть гласность, каждый может прийти и уличить гласно другого в неблаговидном поступке. Но ведь камер для принятия таких обличений не напасешься, да и разбирать, не врет ли обличитель, людей не хватит.

Сдается мне, что и в тех странах, где есть гласность, люди прибегают чаще всего по-прежнему не к гласному обличению, а к

пощечине и пистолету.

Вторник, 6 октября.

Молодежь воюет с полицией; и поет республиканские песни извозчикам, и покуда еще этим как бы дает задаток за то, — что для оправдания возлагаемых на неё надежд совершит потом. В Академии Художеств вице-президент, князь Гагарин, хочет водворить византийскую живопись. Сам пишет картины в византийском стиле и хочет учредить или, лучше сказать, создать школу византийской живописи. Но ведь это либо живопись в ее младенчестве, либо уклонение от пути правильного ее развития. Как живопись в ее младенчестве, она и развивалась и росла, теряя понемногу свои местные особенности, которые не придавали ей ни красоты, ни правды, теряла условную узкость и сухость, и вот они-то и прельстили князя Гагарина, их-то он и хочет воскресить и увековечить.

Он подарил одну свою картину папа, а именно «Рождество Богородицы». В ней он хотел показать наглядно, чего собственно он добивается. Ну, и не показал. Его картина только светлее византийских образов, но ведь когда писались те, то были также, может быть, светлые. Затем, та же узкость и сухость линий. Ну, и что в этом! Этой сухости и узкости у него меньше, чем на ее прототипах, и потому можно сказать, что она их только напоминает. Является со своими светлыми красками только чем-то промежуточным, но типичным, и неприятно, не понимаешь, для чего эта сухость и узкость. А нарушь ее художник на самую малость, — то ничего византийского и не останется.

Четверг, 8 октября.

Сегодня делали Полонскому операцию, очень мучительную, кажется, и ожидают пользы от нее; дай бог. Мы были у них.

Там все приставали ко мне, и мама, и он сам, и Елена, — отчего я молчалива и грустна. А мне было, во-первых, жаль Полонского, доктор его как-то не внушает доверия, а, во-вторых, я думала и хотела разрешить один вопрос о нем же, т. е. не о докторе, а о Полонском. Аполлон Григорьев, роющий ему яму, уже сам слетел в нее, уже устранен от редакторства, и редактором «Русского Слова» отныне Хмельницкий.

Хмельницкий предлагает Полонскому постоянное сотрудничество в «Русском Слове», с условием, что кроме этого журнала он нигде больше не будет печататься, и за это предоставляет ему двести рублей в месяц. Вот этот-то вопрос, предосудительно ли будет Полонскому принять это предложение, и угнетал меня в то время. Находят, что Полонский должен

отказаться, что он, бывший редактор, не может принять его, еще хотя бы от самого Кушелева, а то от Хмельницкого, — человека, так низко стоящего в общественном мнении. Мама говорит, что принять надо, Елена также; сам Полонский ничего не говорит. Теперь дома я разобралась в этом вопросе, и согласна с мамой и Еленой, что принять надо.

Воскресенье, 11 октября.

Я, кажется, в самом деле немножко одичала в деревне. Мне как-то невыносимо скучными кажутся все эти салонные словоизвержения; кажутся каким-то повторением все одного и того же, сказкой про белого бычка. Хорошо, если подвернется чье-нибудь новое стихотворение и его прочтут, а проза вся сводится на одно: правительство действует глупо.

Среда, 14 октября.

Полонскому сделали вторую операцию, но вот его собственная записка карандашом, потому что писал лежа:

«Вчерашние эскулапы начали с того, что прежнюю рапу разрезали еще на вершок, по тому направлению, где проходил зонд. Было очень больно. Потом велели принимать йод и перед обедом железо».

Бедный Полонский! И когда-то все это кончится? С июня он не ходит, четыре месяца! Недели через три после рождения ребенка, когда нога эта его только разбаливалась, он, также лежа, писал раз маме с Миллионной в Ивановку: «Я не скучаю, потому что общество жены совершенно наполняет мое уединение. Я только сильно досадую, просто злюсь на свое глупое положение: глупее его я в жизни еще ничего не испытывал, и к тому же в такое время, когда ноги мне всего нужнее. Во всяком случае раньше 8 июля вы нас к себе не ждите, а потом как бог даст. Не утешайте меня тем, что лето впереди. Оно, чего доброго, превратится в осень и пахнет холодом, когда я встану. Ни судьба, ни природа меня не балуют, балуете только вы, за что вам и спасибо».

Предложение Хмельницкого Полонский принял. И принял не скрепя сердце, со злобой и ропотом на судьбу, но принял, как только с высокой и незлобивой душой человек мог принять, принял с благодарностию; благодарность — свойство высоких душ.

В только что приведенном письме Полонский пишет еще, между прочим:

«Граф [205] пишет ко мне, что 23 числа будет в Петербурге и что надеется со мной увидеться. Он 8 июля едет за границу. Не

знаю, к лучшему или худшему у меня нога болит. Быть может, придется мне вести переговоры с графом через Михайлова, который третьего дня приехал из деревни Шелгуновых и так там отпился молоком, что пополнел».

Вести переговоры через Михайлова не пришлось. Григорьев уже караулил добычу и захватил в свои лапы и Кушелева, и его журнал, и Полонского было, но Полонский отступился. Затем явился Хмельницкий и в свою очередь завладел Кушелевым и журналом, отпихнул Григорьева. Партия Григорьева и есть то общественное мнение, которое клеймит Хмельницкого. А в сущности: все они, начиная с Кушелева и кончая Хмельницким, хороши. Но воображаю, какое впечатление должна производить вся эта окружающая его пишущая братия на Кушелева. Сам он большой барин, больной человек и бесхарактерный. Он страдает виттовой пляской, и на него тяжело смотреть, как он вертится и шевелится. Родные и люди его круга от него отступились вследствие его женитьбы. Издавать журнал задумал он еще до нее. Он любит литературу и сам что-то пописывает. Но после его женитьбы и лучшие из литераторов тоже отдалились от него, а те, которые остались и составляют теперь как бы двор его, — не лучшие. К несчастию, находится там Мей и его жена. И еще, к великому моему изумлению, Баумгартен, друзья Бенедиктова, которые и лето проводили у него в подмосковной. Бывает у него и Бенедиктов, но редко, так же, как и Майков, Гончаров, Григорович.

22 октября.

Вчера много говорили о Фурье, Сен-Симоне и прочих. Лавров излагал их системы, но над некоторыми подробностями смеялся. Бенедиктов изучил эти системы не хуже Лаврова. Иван Карлович острил, но не шутя приходил в восторг от многого, а общий вывод был, как и всегда: как худо жить у нас. Но выходило в то же время, что и в Европе не лучше, что там уже износились все формы и политического и общественного быта, надо искать и создавать новые. Там надо создавать новые, а тут все вздыхают для нас по этим старым формам. Сами говорят, что Европа в безвыходном положении, и Герцен это пишет, а все мечтают и вздыхают, зачем у нас не так, как в Европе. Вот тут-то и стали разбирать социальные системы Фурье и прочих. Лавров уверял, что чем-нибудь подобным может кончиться, «что, впрочем, — говорил он, — не Европа, а сперва Америка, может быть, и выработает какую-нибудь такую эгалитарную систему, что все будут одинаково работать и одинаково сыты». Семьи, конечно, не будет; дети будут воспитываться государством; богатых и бедных,

простых и знатных также не будет. Все будут равны, одинаково образованы и обеспечены на старость. Иван Карлович приходил в восторг, Бенедиктов молчал.

24 октября.

Лавров — теоретик, он как-то смотрит в даль, и по его теории, теории вероятностей, самое невероятное выходит вероятным.

Иван Карлович не дает себе труда, да, может быть, и не способен проследить ход мысли до ее вывода, т. е. принимая во внимание все исторические и прочие данные ее развития. Он берет только вывод, и чем этот вывод сокрушительнее, чем решительнее он опровергает и опрокидывает все существующее, тем больше он кричит и больше радуется.

Бенедиктов, — даром, что поэт кудрей[206] и даже кудрявый поэт, — обладает, кажется, мыслительною способностию не хуже Лаврова[207]. Он, по-видимому, много мыслил и много читал и изучал философию, но он очень скромен и очень трезв, хотя и поэт. Когда все кругом не кричат, например, когда нет Лаврова и Ивана Карловича, он тоже иногда развивает те же идеи, что и Лавров, и приходит к тем же выводам, но в другом освещении, гораздо менее веселом, и, преподнося их, как будто говорит: «Вот, вам нравится, так берите, а я тут ни при чем».

27 октября.

Но Лавров все продолжает удивлять меня. В обществе он слывет не только за философа, но и за вольнодумца, революционера и либерала. И таков он как будто и есть; таковы его речи и писания, если не действия; между тем бывают минуты, когда он обратно противоположен. Т. е. обратно противоположен, может быть, не верно сказано, он остается сам, чем есть, но как-то радуется, что другие противоположного мнения. Таким является он иногда относительно меня. Например, он спросил меня на днях, что я думаю насчет этих фаланстерий и прочего, хорошо ли, по моему мнению, будет тогда жить на свете. Я отвечала, что, по моему мнению, нынешнее неустройство и всякое неустройство, расстройство и переустройство лучше такого устройства. Он засмеялся как-то особенно весело, ласково как-то посмотрел на меня и проговорил: «Так, так, вы правы, совершенно правы». Что это такое? Что он меня не считает дурой, я имею тому много доказательств, и что он не смеялся надо мной, тоже имею доказательства. И если бы подобный случай был в первый раз! Нет. И я думаю вот что, я думаю, что по природе, по характеру Лавров — идеалист-мечтатель, даже со склонностию к

сентиментальности. Но как-то он пришел к убеждению, что для пользы человечества надо быть революционером и жестоким отрицателем всего.

Что он мечтатель-идеалист, вовсе не противоречит последнему. Именно мечтатель-идеалист, страдающий за человечество, и мог прийти к такому выводу и убеждению вопреки своим склонностям. Вот еще одна черта для обрисовки его характера. Не моей обрисовки, — что я умею рисовать и обрисовывать! Но записываю ее на всякий случай. Как состоящий на государственной службе, Лавров обязан ежегодно говеть. Теперь принято не верить в бога и его промысл и пренебрегать церковными обрядами, и таинство не признавать за таковое. Люди, верующие и признающие таинства и церковные обряды, называются мистиками. Обыкновенно с говением поступают так: бывают у исповеди только, которая и записывается, а к причастию и не идут. Лавров, само собой разумеется, считается неверующим и никогда ни словом, ни делом этого мнения не опровергает. Между тем, вот что рассказывал про него Бенедиктов, слышавший этот рассказ от священника, духовника Лаврова, считающего его искренним христианином. Лавров исповедывался у него, и исповедывался долго и с умилением. Наконец, кончил, священник взялся уже за епитрахиль, чтобы прикрыть голову кающегося и прочитать отпустительную молитву, как этот кающийся вдруг поднял голову, встал с колен и снова начал каяться, он вспомнил еще какой-то грех свой. Разве это не характерно?

Скажут, может быть, он рисовался. Да перед кем же? Перед священником. Но к чему же? Чтобы священник считал его набожным человеком? Зачем это ему, когда окружающие его и не одни окружающие, но все его знающие уважают его, именно за то, что он не набожный и не верующий? Желать, чтоб священник это рассказал, он не мог, потому что не может желать прослыть мистиком. Вот так-то глубока и таинственна и неуловима душа человеческая. Не даром же говорят, что чужая душа потемки.

3 ноября.

Мама отдает мне на хранение все более или менее замечательные бумаги и все письма более или менее замечательных людей.

Сегодня я рылась в них и нашла одно письмо Майкова, Аполлона Николаевича, от прошедшего года, из Рагузы, писанное к мама через два месяца после выезда его из России.

Так как обрисовывать людей я не умею, то буду время от времени помещать на страницах дневника моего или моих

записях; я сама не знаю, что это за страницы, письма. Пусть авторы их таким образом сами себя дорисовывают и исправляют свои погрешности в характеристике их.

Письмо это интересно. Оно писано к мама, но с правом сообщить его мне. Правда, в заголовке его стоит: «Марье Федоровне в собственные руки, секретно», но эта тетрадь разве сама не секрет? Кто увидит, кто прочтет в ней что-либо? Вот это письмо:

«Милейшая Марья Федоровна!

Наконец, чувствую себя в способности беседовать с Вами, потому что нахожу себя счастливым так, как только может быть счастлив морской путешественник. Из этого приступа вы уже догадываетесь, в чем дело, отчего я столь счастлив, женское сердце ваше должно подсказать вам, и вот именно потому, что я знаю у вас это женское симпатизующее сердце, мне хочется, хотя заочно, хотя на жалком письме, поговорить с вами[208]. Мы, наконец, добрались до Рагузы, куда на первый призыв переехала из Триеста и жена моя с детьми. Теперь мы опять на некоторое время вместе, и вот третий день все еще рассказываем друг другу то, что прожили розно. В Рагузе, впрочем, меда постигло маленькое разочарование, потому что я ожидал здесь найти драгоценный пакет с словесным и еще более от того приятным письмом от вас, но я тут же понял, что прежде должен был заслужить эту милость и это счастие и предупредить вас. Только этим я и объясняю себе ваше молчание, ибо иной причины быть не может. Я ни в чем не виноват перед вами, и так люблю и ценю вас, что вы не можете этого не знать. Ваше постоянное внимание ко мне и к моему семейству, наконец, наша общая с вами любовь к нашей литературе — это такие узы, которые для меня священны. Но полно изливаться в чувствах. Видно, я так уже теперь настроен, что кроме сердечных излияний ничто нейдет на ум…

…Ах, милая Марья Федоровна, как бы я желал теперь забраться к вам в ближайшую субботу и за два месяца вдруг узнать, что делалось в нашей литературе; ведь ваш дом есть художественно-литературный, один из немногих петербургских, который ценишь лучше, когда удалишься из Петербурга! Навещаете ли Вы моих старичков? О, ради бога, заклинаю вас, не оставьте их в сиротстве: они теперь часто одни. Катя больна, сидит дома, живут далеко. Мысль о них меня сокрушает. Напишите мне о них. Папенька, мне все казалось, тает с каждым днем. Как вам со стороны кажется его здоровье? Не изнуряет ли он себя работой? Тормошите их, ради бога, ведь у вас любящее сердце, у вас есть тоже старичок, и потому вы поймете мои

чувства. Что Андрей Иванович? Его здоровье? Елены Андреевны? (ей и только ей покажите мое письмо, потому что в нравственном отношении она есть повторение вас, и потому я так же горячо целую ее ручку, как и вашу). Но полно! Кажется, я уж слишком много сказал вам, простите, мое сердце теперь открыто для излияний под влиянием встречи со своими. Всем вашим мое искреннее приветствие, а Андрея Ивановича поцелуйте от меня.

Ваш Ап. Майков».

1858 г.

1 декабря.

Цензура отходит из Министерства Народного Просвещения и переходит к барону Корфу, автору книги «Восшествие на престол Николая I». Освобождение крестьян подвигается вперед, но подробности хода дела этого не проникают наружу. А если и проникает что, то никогда нельзя знать, что слух именно оттуда, а не сочинен досужими людьми. Конечно, говорят об освобождении, эмансипации, как называют это освобождение, очень много, но того, что делается в главном комитете, где под руководством самого государя председательствует Я. И. Ростовцев, не знают толком. Кроме этого комитета, так называемого редакционного, еще множество комитетов, комиссий, особых мнений, записок, проектов и прочего, и обо всем-то говорят и их обсуждают. Жалуются все, что людей нет, а вот Екатерина II находила же их, хотя неизвестно, было ли их больше при ней, чем ныне, и отчего больше.

Но дивны мне либералы. Есть ли тираны на свете пуще их? Они пикнуть не дают против эмансипации, сейчас заклеймят: крепостник, ретроград, консерватор, а ведь это страшнее анафем. И вот тут и ораторствует Иван Карлович, Иоанн-безземельный, и раздает эти титулы, и таких безземельных ораторов много, но надо сказать, что и земельных между либералами много тоже. И это, конечно, прекрасно. Отмена крепостного права дело святое. Как оно сделается, как скажется, что из него произойдет, не знает никто, ниже сами деятели его, но одно покамест несомненно, а именно то, что если крестьян нужно освободить от помещиков, то еще нужно освободить помещиков от крестьян; положение помещиков, помыкающих себе подобными, гораздо безнравственнее положения помыкаемых.

Вот что вывела я из разговоров и споров, в которые никогда не вмешиваюсь и только слушаю их. Моего мнения, конечно, никто не спрашивает, потому что заранее подразумевается, что я не принадлежу к партии крепостников, ретроградов и консерваторов. Да я к ним и не принадлежу; тем более, что сама

и мои родные из Иоаннов-безземельных, так как *душами* не владеем.

1860 год
Дневник

10 января.

Нынешним вечером было первое публичное чтение, т. е. первый публичный литературный вечер в пользу Литературного Фонда в зале Пассажа. Это событие.

Началось оно в половине восьмого. Зала была полна.

Первым читал Полонский. Бедный, бедный, сынок его умирает.

И ради этого чтения сегодня в первый раз после своей болезни вышел Полонский из дома, в первый раз и с сокрушенным сердцем. Его пустили первым, чтобы он раньше мог уехать домой. Он был очень расстроен; рассеян же он всегда.

По причине ли новизны дела, или не было толкового распорядителя, но публика еще не сидела на местах своих, как Полонский уже появился на эстраде и, в ту минуту, когда застигнутая врасплох публика кинулась рассаживаться, стал читать. Он читал «Наяды» и «Иная Зима»[209].

Некоторые не любят чтения Полонского. Что же касается меня, то я его очень люблю, мне очень нравится, как он читает; и Осипов всегда восхищался им. Сегодня Полонский читал не так хорошо, как-то тускло и слишком медленно. Видно, слишком тяжелый камень давил его; на слове «няня» в стихотворении «Иная Зима» голос его дрогнул[210]; когда он кончил, ему много аплодировали.

Но что было, когда на смену ему вступил на эстраду Тургенев, и описать нельзя. Уста, руки, ноги гремели во славу его. Он читал свою статью: «Параллель между Дон-Кихотом и Гамлетом». Она, ну скажу, просто мне не понравилась. Лавров говорит: «умно, очень умно построена, но парадокс на парадоксе».

Гамлета Тургенев называет эгоистом; Санхо Панчо и Полония как-то странно сравнивает друг с другом и говорит, что если люди над чем-нибудь смеются, то значит начинают это любить. Вот, например, смеются над всеми министрами, так это значит, что их начинают любить? Совсем неожиданный вывод и для министров и для смеющихся. Не указать ли на него хоть Ивану Карловичу? Но всего, что есть в статье, не передать. Такой же взрыв рукоплесканий, как при встрече, и проводил его.

За ним читал Майков «Приговор».

Майков читает хорошо, умно.

Публично ведь все они читали в первый раз. А это ведь не то, что читать в гостиной, в знакомом кружке.

В средине чтения Майкова прорвался неожиданный, но общий аплодисмент на слове «свобода»[211].

После Майкова читал Бенедиктов «Борьбу» и «И ныне». И «Борьба» произвела фурор, публика просто неистовствовала от восторга и заставила ее повторить[212]. Странная это штука — публика.

Когда-то Бенедиктов был ее кумиром. Конечно, она ему руками не аплодировала тогда, потому что он перед ней ведь никогда не появлялся, но она им зачитывалась, и он был ее любимейший поэт. Затем явился Белинский и развенчал любимейшего поэта, и, развенчанного, его забыли. Печатался он после того редко и в каких-то мало распространенных журналах.

О нем не упоминали совсем, и оттого-то шесть лет тому назад и могла я предполагать, что его уже нет на свете. Теперь он печатается иногда в «Библиотеке для чтения», но «Современник», например, не только не спрашивает у него стихов, но гонит и преследует его изо всех сил. И что же? Некрасов, заправила «Современника», почуял вкус публики и время, и не успел еще прийти в себя от произведенного им восторга Бенедиктов, еще публика неистовствовала и громко его звала, а Некрасов уже завладел обоими произведениями для своего журнала, для того самого «Современника», который Бенедиктову жить не давал[213].

Некрасов читал вслед за Бенедиктовым: «Блажен незлобивый поэт» и «Еду ли ночью по улице темной».

Публика требовала «Филантропа», объявленного на афише. Но Некрасов объяснил, что его ему прочесть будет трудно для груди. Некрасов действительно читает каким-то гробовым голосом, что можно поверить, что ему трудно читать. И публика поверила[214], должно *быть,* потому что прокричала «браво!» и успокоилась.

Последним читал Маркевич и нельзя было выбрать чтеца, т. е. голоса, противоположное некрасовскому, чтобы читать тотчас после него. У Маркевича в чтении чудный, бархатный какой-то голос. Но то, что он читал, а именно отрывок из «Ричарда III», Шекспира, в переводе Дружинина, не следовало пускать под конец. Это вещь слишком тяжеловесная.

Так прошел и окончился первый наш литературный вечер. Его ждали с нетерпением и уже давно приготовлялись к нему. Мама и я члены Общества Литературного Фонда, которое и устраивало вечер. Один из его деятельных членов — Лавров. И все литераторы, конечно, члены.

Иван Матвеевич Толстой привез во время чтения уже от

государя тысячу рублей, как ежегодный взнос его в пользу общества. При разъезде указали мне на одного господина, как на шпиона; я указала его Бенедиктову и говорю: «берегитесь, вот, говорят, шпион», но каково было мое удивление, когда в эту же минуту этот подозреваемый господин подошел к Бенедиктову и оказался его знакомым.

Бенедиктов, Майков и Лавров приехали с вечера к нам пить чай и много и долго говорили о нем и делились впечатлениями. И было уж все это не сегодня, а вчера, потому что первый литературный вечер в Петербурге происходил не 11, а 10 января 1860 года.

Воскресенье, 28 февраля.

«Мне не дал бог бича сатиры…»[215] — читал недавно Полонский в зале университета, подняв нос и бороду превыше мира и сует. Эти стихи все преследуют меня сегодня. Да, бог ему не дал бича сатиры, но потеря ли это? Зачем ему этот бич? Он и без него хорош; даже, вероятно, с ним был бы хуже. Уж довольно у нас этих бичей. Бьющих, кажется, уж скоро будет больше, чем подлежащих битью. Всякий норовит теперь овладеть этим бичом и машет им направо и налево, попадая и в виноватого и в правого. Но, впрочем, и трудно разобрать, кто прав, кто не прав.

И как-то тоскливо, тошно делается ото всего этого. У России появляются какие-то гувернантки, злые, придирчивые старые девы. Им просто хочется сорвать свою досаду за неудачную жизнь, и они выставляют свои благие цели и намерения напоказ. Но и я, точно старая дева, если не злая, то плаксивая, все вижу черное впереди.

Да здравствует разум! И скроется тьма… Надо итти вперед и искать правды впереди. Надо всеми силами помогать ломать старое, негодное и вносить свет разума в потемки невежества и давать воздуха и простора молодым росткам лучшего будущего.

20 марта.

Вчера был в университете диспут Погодина с Костомаровым о происхождении Руси[216]. Событие — давно ожидаемое, и на котором, к сожалению, по нездоровью я присутствовать не могла.

Ждали серьезных и, может быть, сухих прении, вышел перекрестный огонь острот, и, не решив вопроса, диспутанты кинулись в объятия друг друга, точно надо было им мириться. Или думали они поцелуями разрешить вопрос? А легкомысленная толпа молодежи подхватила их, слившихся так в объятиях, и понесла их обоих вместе и выломала двери даже. О, студенты, узнаю вас!

Как легко увлекать их и как легко ими владеть! А близкие им люди, профессоры, не хотят этого понять. Они ищут популярности, льстят им, стараются им нравиться, говорят им о гуманности, либерализме, прогрессе, о передовом человеке и уважении личности. Словом, стараются и идут к ним навстречу, заискивают, когда можно овладеть ими, не сходя с места.

Да в сущности, чтобы привлечь к себе, и надо твердо и крепко стоять на своем месте, иначе привлечения и не будет, а будет увлечение, потеря почвы.

Может быть, профессоры этого и хотят? Студенты — удивительно добродушный и доверчивый народ в массе.

Их можно направить, куда угодно; теперь их слишком направляют именно лестью. Они не прозорливы, но молодость чутка. Разобрать и отдать себе отчет они в большинстве случаев еще не могут, но презрение к старому и старым и возвеличение нового и молодого и их, молодых, видят; что не нужно авторитетов, — слышали также. И вот уж чувство уважения в них умаляется, а растет самомнение, самоуважение. Хорошо ли это? А они в сущности так добродушны, так наивны, так прекрасны в массе. Не надо забывать еще, что это все школьники времени Николая Павловича, и вдруг им такая разница в обращении.

Они еще восторженно верят, — несмотря на то, что их учат не верить, — и в науку, и в будущее, и в Кавелина, и в Костомарова, но ведь и это авторитет, а авторитетов не нужно.

Что несли они Погодина и Костомарова на руках, напомнило мне овации к Тамберлику и покойной Бозио, когда они певали на университетских концертах. Они и их так выносили. И раз Тамберлик убежал от них, схватив вместо своей шляпы студентскую треуголку.

У Коли еще хранится кусок носового платка Бозио, который они у нее взяли и разделили между собой. Бывало, слышишь гам и топот тысячи ног по университетскому коридору, и можно подумать: вор спасается и его ловят, а это бежит Тамберлик и его поклонники за ним. Когда хоронили Бозио, студенты поборолись с полицией и затерли ее, но, впрочем, беспорядков не было, и с них за то не взыскивали, т. е. за борьбу с полицией, и они были очень горды и довольны, что показали свою силу, что полиция не смела им противодействовать и они победили. И все это было бы прекрасно, если бы ко всему этому не примешивалось другое и если бы каждый знал точную мерку, до которой можно и надо итти, но этой мерки никто не знает: все постоянно зависит от минуты.

Года два тому назад, а именно в 1858 году, летом, в Москве, студенты кутили, перепились и шумели. Происходило это,

должно быть, на квартире, т. е. в комнате одного из них, и, вероятно, хозяева квартиры послали за полицией. Полиция явилась, но студенты не хотели ее пустить, завязалась борьба, и в результате оказались избитые, говорят, даже убитые студенты: кажется, и полицейские. Наутро доложили Закревскому. Закревский послал государю донесение о случившемся в таком духе, что будто студенты бунтуют. Против этого места на полях донесения государь написал карандашом: «Не верю!»

После этого ждали, что Закревский слетит. Закревского уже давно точат Герцен и вся новая партия, но он еще остался, усидел на этот раз. Студентам также не было ничего, но с полиции взыскали.

Конечно, и это их подбодрило. Но можно ли рассчитывать, что такое постоянно будет сходить, им с рук?

Нынешнее царствование тем отличается, что никто никогда не уверен, что то, что худо или хорошо сегодня, будет худо или хорошо и завтра.

Государь, конечно, новый человек и либерал и сам, и, должно быть, очень добрый человек, к тому же и чувствительный. Решать и вершать же человеку такого рода очень трудно. Он вечно колеблется.

Сегодня огромный шаг вперед, и либералы торжествуют. На завтра шаг этот кажется уже слишком огромным, и отступают на полшага; потом делают шаг в сторону, и затем еще неуверенность и в промежутках этих колебаний возможность обделывания разных темных дел, которые в конце концов падают на счет правительства и колеблют его основы. Это восхищает иных, так как колебать основы и есть задача настоящего времени, и нельзя не сознаться, что само правительство бессознательно служит ей.

Недавно я слушала Екатерину Павловну Майкову; что за прелестная женщина, и как умно, плавно, красиво, прекрасно она говорит, и как спокойно и просто. Т. е. нет, не спокойно, она волнуется, но она волнуется потому, что предмет разговора ее волнует, а не от собственной неуверенности или робости.

Воскресенье, 27 марта.

Гончаров вообще любит шутить и поддразнивать, так меня все дразнил Бенедиктовым и уверяет, что я им всецело владею, и пишет также шутливо. Вот, например, записки прошлого года по поводу лотереи для бедных, которую устраивала мама:

> «Теперь я окончательно убедился, что доброе дело без награды не остается: какие милые выигрыши! Но мне хочется посеять еще больше семян, чтобы в будущем

году стяжать еще лучшую награду, во-первых, у Вас на предполагаемой с Евгенией Петровной[217] лотерее, а во-вторых, на небеси. Поэтому позвольте, Марья Федоровна, возвратить нынешние мои выигрыши с просьбой обратить их на будущую лотерею. Прилагаю также «Обыкновенную Историю» для минувшей лотереи и «Фрегат «Палладу» для будущей, присовокупляя торжественное обещание принести на алтарь добродетели и экземпляр «Обломова», если он будет уже к тому времени напечатан.

Очень жалею, что Николай Андреевич не застал меня: по его обещанию, я ждал его накануне. Рукопись его, подписанная мною, отправлена в цензурный комитет для приложения печати[218]; там можно получить ее во всякое время.

Свидетельствую мое почтение Вам, Андрею Ивановичу и всем Вашим; перед Еленой Андреевной, кроме того, извиняюсь в том, что почерк не хорош, хотя я и старался.

И. Гончаров».

1859 г.

Так в одном из писем поддразнивает он добрейшую старушку Евгению Петровну Майкову, которую очень любит и уважает. Перепишу и это письмо:

«Не знаю, как благодарить Вас, милостивая государыня Марья Федоровна, за присланный 24 июня восхитительный букет, несмотря на то, что к нему приложен был сарказм о нелюбви будто бы моей к цветам: Евгения Петровна около двадцати лет прибегает ко всевозможным средствам, чтобы извести меня, и чего-чего не делает для этого! По воскресеньям дает мне съедать от трех до двенадцати блюд, чтобы я погиб от несварения пищи; однажды отправила вокруг света в надежде, что я пропаду, а теперь вот действует посредством клеветы, но провидение, должно быть, за мою простоту и добродетель хранит меня от ее неистовых гонений!

Если бы даже это была и правда, т. е. если бы я и не любил цветов, то такой букет помирил бы меня с ними.

Поручение Ваше исполнил давно, т. е. прочел стихи Я. П. Полонского[219], но по крайней тупости моей мне только сегодня пришла мысль отправить их на Вашу городскую квартиру, с которою, вероятно, у Вас бывают

частые сношения. Вот почему стихи не дошли до Ваших рук. В них нет ничего противного цензуре, выключая «Молитвы», которую я и отметил карандашом.

На днях я встретился с Н. К. Гебгардтом и заключил с ним договор явиться в непродолжительном времени к Вам и лично поблагодарить за Ваше милое внимание.

Прося покорнейше передать мой искренний поклон А. И., Е. А. и всем Вашим,

честь имею быть и проч.

И. Гончаров».

5 июля 1858 г.

Пятница, 15 апреля.

Кто-то из московских, не то Аксаков, не то Островский, сказал про Щербину:

Полухохол и полугрек,
Грек Нежинский, не Грек Милетский
Зачем, бессильный, злобой детской
Свой укорачиваешь век?

На это разъяренный Щербина поспешил огрызнуться:

Хоть Эллин я из Таганрога,
Но все ж я Грек, не сын рабов…
За нами в прошлом славы много,
К нам уважение веков…
У вас застенки, плети, клетки;
У нас свобода дел и слов;
И чем древнее ваши предки,
Тем больше съели батогов.

Как пошло!

Теперь достается от него Григорьеву Аполлону и Розенгейму. Много припасено у него про них всяких эпиграмм, запомнила две. Григорьеву:

Бесталанный горемыка
И кабачный Аполлон,
Весь свой век не вяжет лыка
И мыслете пишет он.

Розенгейму:

Жалки мне твои творенья.
Как германский жалок сейм;
Тредьяковский обличенья,
Стихоборзый Розенгейм.

Говорят, т. е. он, Щербина, сам говорил Полонскому, что все стихи свои пишет он сперва прозой и потом уж отделывает в стихотворную форму. Как это странно! Полонский говорит, что если бы он поступил так, т. е. стихотворение свое написал бы сперва в прозе, то оно прозой бы и осталось, что хоть убей его, а в стихи оно бы не вылилось, и накроить из него стишков он бы не мог; что него, да и у других поэтов, сколько известно, когда они творят, то наряду со смыслом творимого слышатся и его гармония, ритм, музыка стиха.

Странный прием у Щербины, да и сам он странное явление посреди поэтов. Никто так, как он, не припоминает и не подтверждает, что богиня счастья слепа. Одарила она его даром песен и умчалась, и не знает, на что ему и пригоден ли этот дар. Ему бы торговать губками или халвой в Таганроге, а он томится в чужом кругу, на холодном севере, и то тоскует по своей Греции, которой, впрочем, никогда не видал, то завидует и злится, что у него нет денег и чинов.

Какой у него разговор, если он не ораторствует и не острит? «Это кто такой?» — «Такой-то». — «А какой у него чин?» — «Такой-то», или «не знаю». — «А сколько у него дохода?» Эти вопросы задает он постоянно, и так, по-видимому, чужд духу и направлению нашего круга, нашего общества, что даже не видит, что подобные вопросы в нем вовсе не у места, потому что чины и доходы наших знакомых есть последнее, что мы о них узнаем. Не говоря уже о Майковых, Гончарове, Григоровиче, о которых я никогда не слыхала, есть ли у них чины и доходы, но я этого вовсе не знаю, и о таких людях, как Яков Иванович, Жадовские, Панаев, Святский и прочие и прочие. Верно есть у них чины, потому что они служат, потому что они чиновники, но какие чины, не знаю; даже не знаю, какой чин у Ф. К. Шульца. Между тем даром песен обладает Щербина несомненно, хотя, если верить его собственным, впрочем, словам, и рубит он их из прозы.

И еще особенность. Он поэт, писатель, а между тем у него почерк, как у лавочника или у какой-нибудь купчихи, которая берется за перо раз в год и для которой написать что-нибудь составляет событие в жизни. Полонский, Майков, Гончаров, который дразнит меня своим почерком, пишут неразборчиво, но

своим выработанным почерком. Почерк же у Щербины очень разборчив, но, глядя на него, думаешь, что этот человек только что выучился писать и криво и косо рисует каждую букву отдельно.

В заключение выпишу его пасквиль на Ивана Ивановича Панаева, давно уже сочиненный им, но в то время я не успевала вносить в дневник ни стихи, ходящие по рукам, ни письма; тогда я писала дневник, а теперь пишу, что на ум взбредет и когда взбредет. Напечатана же эта прелесть не была, да верно и не будет никогда.

Превращение Фаддея в «Нового поэта»[220]

(Дополнение к Овидиевым «Превращениям»)

Он «Пчелы» метаморфоза,
И Фаддей явился в нем
Кучей смрадного навоза
Под голландским полотном.
Грязный циник в коже франта,
Шут нарядный и нахал,
Как соперник новый Брандта,
В милость к «Пчелке» он попал,
Тем, что шуткой площадною
Фельетоны наводнил
И бесстыдной клеветою
Литераторов чернил.
И, как мутные потоки,
Полились с его пера
Сплетни, личности, намеки
С остроумием комара.
Он своим безвредным жальцем
И ничтожеством спасен:
Мы его не тронем пальцем,
Нам он жалок и смешон…
Но в подобном превращение
Как узнал себя Фаддей,
Стал молить он о прощенье
У богов и у людей:
«Нечестивыми делами
Долгий век мой заклеймен,
И в Панаева богами
Я нежданно превращен!..

На позор и нас мех свету
В нем Булгарин измельчал:
Он на мелкую монету
Подлость «Пчелки» разменял…
Был я низок колоссально,
Артистический подлец,
И мой лик монументальный
Он опошлил наконец!..
Вы ко мне чрез меру строги,
Кара ваша тяжела:
Превратите лучше, боги,
В Апулеева осла!

Этот манускрипт, писанный на папирусе, найден при разрытии Геркуланума в навозной куче у лавки парикмахера, что рядом с лавкой портного».

Перевернула поскорее страницу, потому что самой противно. Но в свое время, т. е. года четыре тому назад, вещь эта имела большой успех, и «Был я низок колоссально» и прочее повторялось с восторгом.

Теперь уж все пошло дальше, и даже Панаева, а не то что Булгарина или Греча, оставляют в покое.

Булгарин и Греч уж древняя история. Впрочем, вот пародия В. Курочкина на «Шопот, робкое дыханье…» Фета.

Мрак, донос неуловимый…
Критик Полевой,
Гермион и Серафима,
Трель Ростопчиной…
Греч и Третье отделенье,
Все своя семья!
И природы омерзенье
Я, Я, Я, Я, Я!

Я перебирала шкатулку с разными неизданными стихами и некоторые хочу вписать сюда, потому что в тетради они лучше сохранятся. Между прочим нашла я несчастную «Коляску», которую Николай Павлович не принял и за которую столько пострадал сам автор ее, что, пожалуй, в настоящее время не имеет сам ни одного ее экземпляра, так что и рукописная она будет через несколько лет редкостью.

16 мая.

Были у нас Полонские. Ах, как она похудела и какою жалкой смотрит! Так перемениться, в такой короткий срок! Она все еще очень хорошенькая, но личико у нее стало какое-то маленькое, и она сильно кашляет.

Была у нас в день их приезда необыкновенно ужасная гроза, напугавшая всех.

Полонский, несколько лет проживший на Кавказе, говорит, что ничего подобного он не видал даже там. На него она почему-то, может быть, потому, что он поэт, произвела какое-то особенно тяжелое впечатление. «Что-то она предвещает?» — все повторял он, и как будто зловещее какое-то предвещание ее относил к себе. Мы смеялись, конечно; когда она прошла и у всех отлегло с души, старались его разговорить, но он оставался мрачным.

22 мая.

Ездили в Петербург поздравлять с прошедшим днем ангела Елену, и нашли ее в постели. Первое слово ее при виде меня было: «Леля, а часы? Что, очень рада им?» — «Какое рада!» — отвечала за меня мама, и рассказала всю историю[221]. Елена даже руками всплеснула. Отказаться от таких часов, да еще с бриллиантами! «Слышишь, Жак! — обратилась она к вошедшему мужу. — Леля отдала назад часы». Но Полонский не принял к сердцу часы с бриллиантами. Он озабочен здоровьем жены; она бриллиант его и единственный в мире, который его интересует. У нее жар, но Каталинский говорит, что опасного ничего нет; ей только надо лежать. Она довольно весело болтала с нами и смеялась. И такая она хорошенькая, с красными щечками и блестящими глазами. К обеду вернулись мы домой. Теперь все уже спят, а я пишу без свечи, майская ночь светла, но и мне пора на покой.

23 мая.

Приехал папа и говорит, что Елена очень больна. Он был у них, но ее не видел. Дали знать в Париж, и ждут мать. Господи! Что же это такое? Прошусь к ним, но говорят, — что нельзя и не надо.

1 июня.

Получила раздирающее душу письмо от Полонского, он желает, кажется, чтобы я приехала, а меня не пускают. Он пишет: «Я страдал невозможно. Бабушка Ольга Алексеевна молчит и качает головой; Каталинский не хочет обнадеживать меня. У жены моей какая-то тифоидальная лихорадка, — так, по крайней мере, сказал мне Каталинский, — с упадком жизненных сил. Уже

пять суток, как не спит ни днем, ни ночью. Все внутри у ней горит, она харкает кровью, губы и язык черны. Глядя на нее, все во мне рыдает и плачет, но плакать я не смею. Вот мое положение, и я один, совершенно один! При одной мысли, что мать может не застать уже дочь в живых, что я могу потерять ее, я готов с ума сойти».

Нет, я должна ехать! Не пустят — уеду тихонько, вечером. Аля берется мне помочь…

8 июня.

Господи! господи! спаси и помилуй Полонского, Елена скончалась.

18 июня.

Вот уже прошло десять дней, что нет на свете Елены Полонской, что ее похоронили. И ее не было уже тогда, когда читала я его скорбное письмо. Она умерла 8 июня.

11-го ее похоронили на Митрофаниевском кладбище возле могилки сына ее. Они покоятся рядом. Они покоятся, а Полонский? Где бы деться ему и тоже найти покой, забыться. О, жестокое горе! Если вчуже так ужасно тяжело, то каково ему? К нам он не хочет, говорит, что не может; не может перенесть воспоминаний здешних прошлого лета. Впрочем, у него теперь Устюжская, мать ее, она не застала уж дочери. Теперь она собирает все ее приданое и укладывает и увозит в Париж. Полонский отдает ей все, и она все берет, даже и то, что они сами здесь заводили. Полонский снял маску с покойницы и слепок с ее руки. Вот только с этим он не расстается, этого не отдает. Господи, за что? Только два года! Такая молодая, цветущая, полная сил! И вдруг — ничего! Ни жены, ни детей. Один, больной! «Все во мне рыдает и плачет… но плакать я не смею». Теперь плачь! Теперь можно. Теперь та, которую берег ты, не увидит твоих слез. Но слезы твои неутешны… Разве тебе можно утешиться? Дядя — сирота! «Tu n'as pas de chance, pauvre Jacques!»[222]

22 июня.

Еще ничем нельзя заняться. Еще ничего не идет в голову. Там только Полонские, она мертвая, он живой.

И странная вещь, живое лицо ее я не могу вызвать в своей памяти.

Но как-то особенно ярко запечатлелись в голове похороны. День тот был такой ослепительный и знойный. Солнце, точно какая-то страшная и расплавленная печать, жгло и светило, и

кругом была какая-то томительная, без всякой тени зелень; все молодые деревья и кусты.

Мы все стояли над могилой, машинально следя за заступами, ее засыпавшими, и ничего не слыша в воздухе; на зное этого утра, посреди тишины, царствующей вокруг нас, жужжание насекомых. Никто не шевелился, точно боясь разбудить что-то ужасное, что заснуло тут. Наконец, сам Полонский прервал оцепенение и пошел, и за ним пошли все: вся семья Майковых, Мих. Михайлов, Старов, Щербина, мы все и еще кто-то, много было там. Полонский шел, и мы следовали за ним. Нищие причитывали вдоль дороги и кланялись низко и крестились; Полонский все шел, не останавливаясь, не опуская головы; дошел до большой дороги и остановился было как бы в раздумье, куда теперь, куда деваться? И перешел дорогу вместо того, чтобы отправиться направо в город. Перешел дорогу, вступил на мостик, перекинутый через канаву у чьего-то дома, и сел на его перила. Мы все его снова окружили и все продолжали молчать; и никто не знал, зачем остановились тут, даже не на кладбище, а у ворот чьего-то дома. И Полонский молчал и смотрел поверх наших голов куда-то вдаль или в пустоту; никто не отходил, не оставлял его в покое и одного. Он казался мне каким-то травленым оленем, а мы собаками. И я понять не могла, зачем мы все за ним ходим, когда не знаем, — ни что сказать, ни что сделать.

Вдруг он сорвался с перил, на которых сидел, быстро подошел ко мне, поцеловал мне руку, сказал отрывисто: «прощайте!» и, не взглянув даже на других, повернулся и зашагал по пыльной дороге.

Тут, наконец, сошло оцепенению и о нас. Все задвигались, заговорили, стали рассаживаться по экипажам.

Но куда шагает Полонский? Что будет с ним? Каталинский всех успокоил. «Будьте покойны, — говорит, — предоставьте его мне. Мы, врачи, умеем врачевать не одно только тело. Я не отойду от него и не выпущу его из рук». И он, приподняв шляпу, поспешил за Полонским, догнал его, и мы видели, как усадил его на извозчика и увез.

Тон, которым говорил Каталинский свои успокоительные слова, жестоко противоречил тону, настроению минуты. Не ему, не этому врачу, было бы врачевать живую язву душевную. Вот если бы Мих. Михайлов пошел за Полонским. Но мне, младшей изо всего общества, не подобало рассуждать вслух.

А кто знает, может быть, сильные и грубые средства в таких случаях и полезны, но только ужасны. Впрочем, все ужасно. И едва ли в тот день был Полонский в состоянии заметить, кто около него и что с ним делают.

Его порыв ко мне там на мостике я, кажется, поняла: меня зовут Еленой так же, как звали покойницу. Вот отчего кинулся он ко мне. Но мне его движение перевернуло душу; ведь я, может быть, всех меньше любила его, а он выбрал именно меня. Больно и совестно было мне.

Слишком рассеянный и слишком сосредоточенный в себе, чтобы разбирать людей, и слишком неизбалованный симпатией и беспритязательный, он, может быть, и не замечал, что я мало его люблю, сам вообще мало замечал меня, т. е. мало обращал на меня внимания. Но теперь это будет иначе, по крайней мере с моей стороны. Не знаю, будет ли он опять обращаться ко мне, но мне надо наверстать за прошедшее. Дядя, дядя, я ведь уж и люблю тебя теперь, очень, очень! И если бы знал ты, с какою радостью я поменялась бы с покойницей! Легла бы вместо нее в ее могилку, а она бы жила для тебя, радуя своею прелестию всех.

28 июня.

Полонский приезжал к нам и ночевал даже, но очень страдал. После того он написал мама:

«В Гатчине у вас не буду, она для меня в настоящее время то же, что отрава.

«Когда я был у вас, мне беспрестанно в саду и в доме слышался голос моей Елены: «Жак! Жак!»

«Мне беспрестанно хотелось крикнуть: «Елена, перестань прятаться, выходи скорее, не шути со мной!»

«Я все силы свои напрягал только на то, чтобы не показаться вам сумасшедшим. Нет, не могу еще я быть у вас в Ивановке. Я любил ее всем существом моим, всеми силами моей души, и только через нее и ради нее примирялся с жизнью.

«Где буду завтра, где буду через час, не знаю».

Вспоминал Полонский в этот приезд свой и ту грозу, что разразилась тогда, когда Елена была у нас в последний раз, немного более месяца тому назад, в мае. «Небывалая туча, — зовет он ее, — невиданная, неслыханная». Он говорит, что предчувствовал тогда недоброе, и что предчувствие его не обмануло и никогда не обманывает.

А мне вспоминается прошлогоднее пророчество Соковнина. Он, я думаю, не поверит, когда узнает о печальном событии. Да и можно не поверить. «Вдова Полонская будет гулять здесь!» Вдовы Полонской нет, а есть вдовец Полонский. Но и он здесь не гуляет. И не только не гуляет здесь, но и видать здешних мест не может.

А какое облегчение было бы для всех нас, друзей его, если бы мог! Куда-то денется он теперь?

И как чудесно здесь! Какая тишина, какой простор!

9 августа.

Не говори с тоской: «их нет», а с благодарностью: «были».

Когда скажет с благодарностью Полонский слово это? Бедный! Переехал на новую квартиру на Васильевский остров в университет, и один. Эта квартира казенная. Он теперь получил место секретаря комитета иностранной цензуры и имеет готовую квартиру. Получил ее еще при жизни покойницы, и она видела ее и любовалась ею. Комнаты в ней большие, высокие и удобные.

Для Полонского желалось, чтобы лето проходило скорее и Петербург наполнился бы опять его друзьями и знакомыми; теперь он так одинок. К нам всё еще не хочет.

19 сентября.

Мне попалась вчера в одном из журналов одна статья (нарочно не называю ее), до того циничная, до того отвратительная, что я даже мама не скажу, что читала ее; хотела рассказать Лизаньке и мисс Женнет, но и то не могла. Книга, между тем, валяется по всем комнатам и может попасться в руки Маше. Автор ее Семевский, тот самый офицерик, Михаил Иванович Семевский, знакомый Коли и Крестовского, что танцовал на наших субботах и даже раз дирижировал танцами. Но и в бальные кавалеры он годится так же мало, как в авторы серьезных исторических статей. Понадергал из архивов, скомкал и со всею грязью преподнес публике в общедоступном журнале. Вот где дело цензуры смотреть и ее законное право, если только цензура должна существовать, вычеркивать и очищать. Да, видно, и нужна действительно цензура, если у общества и у писателей нет чутья. И точно нельзя было описать этот исторический эпизод из Петровского времени, не размазав столько грязи? И что в нем нового и интересного? Только гадость на печатных страницах — и нова. Что-то скажут о ней? Достанется ли цензору и издателю журнала?

Или пройдет, проскочит? Необразованный человек Семевский, оттого он и шлепает так; и нет у него чувства изящного, так что и цинизм у него не намеренный, а наивный.

4 окгября.

Помню, в прошлом году, когда вышло тургеневское «Накануне», посреди споров и толков о нем, когда Иван Карлович чуть не дрался за Шубина и проклинал мое равнодушие к нему, когда дамы находили небывалые добродетели и небывалые пороки в Елене, а мужчины, непередовые, конечно, а допотопные или дореформенные, говорили, что она самая безнравственная из

безнравственных, тогда, помню, Лавров сказал одно только, что он не понимает, как могла Елена писать такой дневник, и даже вообще дневник. Ну, вот теперь я хотела бы знать, что сказал бы Лавров про мой? Он видел мало связи, мало общего между Еленой, какою изобразил ее Тургенев, и Еленой, какою являлась она в своем дневнике. Между тем мне кажется, что и я в жизни и в дневнике не одна и та же. Но Елена в «Накануне» писала в не дневник вовсе. Тургеневу просто надо было показать ее внутренний мир, и, правда, вышло это у него не совсем удачно. А что касается. «Накануне» вообще, то столько было из-за него шума и крика, что я, право, не знаю, какого я о нем мнения. Мне гораздо больше нравится «Дворянское Гнездо».

Говорят, что первоначально Тургенев задумал героя-поляка, но по цензурным условиям сделал его болгарином. С поляком произведение много выиграло бы. Поляки антипатичны вообще, но отдельные личности можно сделать привлекательными, и уж Тургеневу ли этого не суметь бы. Ну, а из этого болгарина и Тургенев многого сделать не мог. Еще ему помогло то, что нынче студенты в моде. Волгаре, что это такое?

Кажется, сам Тургенев не знает. Можно предположить, что он напустил тут некоторую таинственность из-за цензуры же, а думается, что, может быть, и ради того, что и сам-то он не мог сказать более и обстоятельнее, и оттого и уморил Инсарова, да и Елену туда же.

Говорили также, да и говорят еще, потому что толки о «Накануне» еще не смолкли, что Тургенев выставил героя не русского именно в противоположность русским, лишенным будто бы всех тех элементов, которыми обладал Инсаров и обладают, по мнению Тургенева, все народы, исключая русских, — элементов, из которых состоит революционер, т. е. идеальный человек нашего времени.

А что приурочил Тургенев рассказ свой к Крымской войне и назвал «Накануне», не ошибка ли с его стороны? Ничем ведь Болгария не проявила себя в ней. Или не проявила потому, что Инсаров умер в Венеции? Что же касается Шубина, Берсенева, то они действительно живые люди и очень похожи на нынешнюю молодежь, студентов.

Шубин, например, очень напоминает Соковнина; и юмора в Соковнине очень прибавилось, когда он прочитал «Накануне». Сам же Тургенев очень странное явление. Такой большой человек, а голос — как у дитяти; такой большой талант, а душа маленькая и боязливая.

16 октября.

Некоторые думали, что Полонский утешится со временем, что Полонский, дитя и поэт, займется какой-нибудь фантазией. Но вот поэт-дитя чахнет, фантазий нет, кроме одной, впрочем, туманной фантазии спиритуализма. С его помощию он ищет сообщения с тем миром, в котором скрылась его Жена. А горе между тем все забирает и забирает его. Его жена была ему и женой и ребенком; и вот у него отняли и то и другое. Что же осталось ему? Ничего. Нет даже здоровья, молодости и присущих ей сил и надежд. Жена была для него, серьезного и так много старшего, чем она, ребенком, но вместе с тем была она для него, больного, и нянькой; отняли и няньку!

Как хороши стихи его: «Безумие Горя» и «Последний Вздох!»[223]

Последний вздох принял он один. При этом таинстве, таинстве смерти, не присутствовал никто, кроме тех, над которыми оно совершалось, т. е. кроме ее и его; но погребение видели мы все. Мы все на нем присутствовали и видели и ее маленький гроб и его просторный, пестреющий лазурью и зеленью; и как горел на нем прилаженный, как бляха, диск солнца…

Как верно передал он это гнетущее впечатление пестроты, света и безвыходности. Когда читал он стихи эти, я точно переживала вновь это ужасное утро.

1 ноября.

Мы только что от Ливотовых, Коля, Маша, Оля и я. Спорила я там с Михайловой о воскресных школах[224]. Михайлова утверждает, что учеников воскресной школы надо учить читать и писать и ничему более, а я нахожу, что никто не имеет права ставить границы знанию. Наше состязание занимало присутствующих, и за ним следили, не вмешиваясь в него; но надо признаться, что большинство было на моей стороне[225]. К сожалению, кончить спора не пришлось. Становилось поздно, а нам было приказано не засиживаться. Михайлову поддерживала, впрочем, ее тетка Александра Михайловна, очень умная старая дева.

Ах, эти воскресные школы! Мне опять предстояло участвовать в одной из них, которую устраивает Сорокин и еще несколько человек на Васильевском острове. Но мама уже отказалась от нее для меня, даже и не спрашивая меня, желаю я или нет. И я не говорила, желаю или нет. Мню и в голову не приходит ворочать камни, на которых построен наш быт. Но желала бы я участвовать в этих школах, желала бы иметь занятие и полезное занятие? Верно оттого меня и не спрашивают, что знают заранее, что да.

Сорокин говорит, что эта школа теперь, пожалуй, и не устроится, потому что они очень рассчитывали на меня[226]. Ну, мир не клином сошелся, найдут другую. А я поищу занятий дома. И надо ли долго искать? Дела непочатые углы. Только бы охота заняться невзрачным трудом. Охота у меня есть, так чего же искать за три-девять земель того, что находится у домашнего очага.

5 ноября.

Мы в последние три-четыре дня перевидали многих из наших близких знакомых. Вчера А. Н. Майков как только пришел, то тотчас же сказал: «Дайте-ка, я вам прочитаю, я и сам его хорошенько еще не слышал!» Это было только что им оконченное стихотворение «Неаполь»[227]. Очень хорошенькое, если характер неаполитанцев действительно верен.

Вскоре явился его отец, он и ему прочел. Старик что-то переспросил. «Конечно, — сказал Аполлон Николаевич. — Надо переделывать». — «Да зачем, так прекрасно, что вы хотите переделывать?» — завопили все.

«Нет, не хорошо и вовсе не прекрасно, — отвечал Майков. — Если папеньке не все ясно и он переспросил, значит не хорошо и надо переделать и исправить». Старик уж был не рад, что молвил, да нечего было делать.

Майков только теперь расписался, под осень; летом он обыкновенно не пишет. Да и теперь долго не писал, хандрил. Удалось только вчера в первый раз, и он был в восторге, что чары молчания снялись наконец. Теперь опять, пожалуй, замолкнет.

Вечером много толковали о Юме, о снах и привидениях[228]. Полонский затеял разговор этот. У него теперь одна идея и одна цель в жизни: увидеть во сне ли, наяву ли жену-покойницу.

«Ну, что же, и увидит! — говорит Лавров. — Человек уж так устроен, что непременно подобное его желание исполнится». — «И он помешается», — добавила мама. «И помешается более или менее; да кто же не помешан?» — отвечал Лавров.

12 ноября.

Лавров собирается читать публичные лекции о философии[229] в пользу Общества Литературного Фонда. Мне страшно. Я так от всей души желаю Петру Лавровичу полного успеха, но боюсь, что он иметь его не будет. Что массе не только до философии, но и до поэзии и искусства? Она откликается только на ловкую фразу, в которой были бы слова «свобода», «гласность», «гуманность» и прочие в этом роде, а до философии ей еще мало дела. Русский человек, по крайней мере

петербургский, при всем своем развитии еще, кажется, не заглянул в себя. Некогда ему было, когда надо еще только отбиваться и воевать с внешним. Едва ли отзовется он на философию, да еще Лавровского диапазона. И будет глас его — глас вопиющего в пустыне.

21 ноября.

Вечером была на чтении в пользу воскресных школ, в Пассаже[230]. Читали Бенедиктов, Полонский, Майков, Писемский, Достоевский и Шевченко.

Вот, век изучай и все не поймешь то, что называют публикой. Шевченку она так приняла, точно он гений, сошедший в залу Пассажа прямо с небес. Едва успел он войти, как начали хлопать, топать, кричать. Бедный певец совсем растерялся.

Думаю, что неистовый шум этот относился не столько лично к Шевченку, сколько был демонстрацией. Чествовали мученика, пострадавшего за правду.

Но ведь Достоевский еще больший мученик за ту же правду. (Уж будем все, за что они страдали, называть правдой, хотя я и не знаю хорошенько, за что они страдали, довольно того, что страдали.) Шевченко был только солдатом, Достоевский был в Сибири, на каторге. Между тем Шевченка ошеломили овациями, а Достоевскому хлопали много, но далеко не так. Вот и разбери.

С Шевченком даже вышло совсем удивительно. Он нагнул голову и не мог вымолвить слова. Стоял, стоял и вдруг повернулся и вышел, не раскрыв рта. Шум смолк и водворилась тишина недоумения. Вдруг из двери, через которую выходили на, эстраду чтецы, кто-то выскочил и схватил стоящие на кафедре графин воды и стакан. Оказалось, что Шевченку дурно. Через несколько минут он однако вошел снова. И ему снова было стали хлопать, но, вероятно, щадя нервы его, раздалось несколько шиканий. Он стал читать, останавливаясь на каждом слове, дотянул однако благополучно все три стихотворения. Последнее даже шло уже как следует, и им закончился сегодняшний литературный вечер. Провожая Шевченку, ему хлопали уже гораздо меньше, точно восторг весь выдохся при встрече, или точно то, что он прочел, его охладило. В нашу ложу явился Шевченко уже совершенно оправившимся.

Достоевский читал «Неточку Незванову», вещь немного длинную и растянутую для публичного чтения. К тому же у Достоевского голос слабый и однообразный, по-видимому, не применившийся еще к подобному чтению.

Что же касается остальных исполнителей, то тут я опять узнала и поняла мою публику. Не нужно ей лучшего, дайте

только то, что бросается в глаза и что в моде.

Полонский прекрасно, как редко читает, прочел «К женщине», прекраснейшее произведение свое, — публика отнеслась холодно; но его «Нищий» привел ее в восторг, и она заставила его повторить. Майкова, помня его прошлогоднюю «Ниву», она приняла с исступлением, а «Савонарола» не понравился.

Что же касается стихотворения «А мы» — Бенедиктова, то публика поняла его как раз обратно, т. е. противоположно тому, как поняла его Авдотья Павловна Глинка, причислившая за него Бенедиктова окончательно к своим: публика его за стихотворение это только отчислила от своих.

Лучшей же из прочитанных вещей была, бесспорно, вещь Писемского, первый акт его «Горькой Судьбины», и он читал превосходно, изредка только мурлыча себе под нос, но сравнительно ее мало оценили. Бенедиктов говорит, что сегодня опять подходил к нему тот господин, которого в прошлом году мы приняли за шпиона. Теперь пора спать.

22 ноября.

Лекция Лаврова сошла прекрасно, гораздо лучше, нем можно было ожидать. Зала была полна; присутствовали три-четыре священника. Говорил Лавров прекрасно, плавно, просто, с полным самообладанием и с уверенностью в обладании и предметом речи своей. Публику не потешил он ни одной забористою, модною фразой, на которые она так падка и за которые всегда награждает рукоплесканиями; она и рукоплескала, но не в середине речи, а когда он входил, особенно же когда кончил. Лучшего успеха ожидать Петр Лаврович не мог. Он очень хорошо знает, с кем имеет дело, и высказал это во вступлении. Читал он сидя, одетый в полную форму, и со всеми своими знаками отличия на груди.

Теперь в моде скрывать свои знаки отличия, но Лавров никогда этого не делает. Говорил он с обычною своей быстротой и обычным обилием слов, и с той же, столь знакомой нам интонацией, и говорил очень просто и ясно, гораздо яснее, чем пишет. Так решили все.

23 ноября.

Читала «Мельницу на Флоссе», роман Элиота. Что за прелесть! И какая простота, и в английской литературе что-то совсем из ряда вон выходящее. Замечательная вещь. И автор женщина; Джорж Элиот — псевдоним. Главное, герои обыкновенные люди, и жизнь их самая обыкновенная, и среда мещанская. Ничего особенного в ней не происходит, а читаешь с

увлечением. Очень художествен чудесный роман Диккенса «История двух городов», а «Мельница на Флоссе» читается не с меньшим удовольствием, хотя в ней и нет м-м Дефорж с ее страшным вязанием, и в ней гипсовые головы не глядят в безмолвную ночь, и телеги не рассказывают истории Франции, и никто не пускает дыма в лицо другого, чтобы его усыпить.

Какая разница со знаменитым немецким романом Фрейтага «Soll und Haben»[231]. Там все напыщенно и все на ходулях, хотя среда тоже мещанская. Мне его принесли на днях, я почитала, но до конца осилить не могла. Жаль, что по части беллетристики появляется так мало хорошего.

25 ноября.

Лавров говорил опять, и на этот раз, сверх всякого ожидания, зала не только не была менее полна, чем в первый раз, но была набита битком; желающих слушать было более, чем мест в ней, и слушатели стояли и теснились во всех проходах.

Рукоплескали ему очень много. Признаюсь, я этого не ожидала. Я думала, что первый успех был Succès d'éstime[232] и любопытства, и вдруг такая ласка народа и такие аплодисменты. Они прорывались и в середине речи, хотя и на этот раз Лавров не делал ничего, чтобы угодить толпе и кинуть ей то, что она привыкла ныне ловить и чем привыкла тешиться, то, к чему в настоящее время приучили ее и пишущие и говорящие стихами и прозой. Но какое обилие познаний у Лаврова, и какая способность говорить! Как плавно и легко он говорит! Он не ищет выражений, не останавливается и не спотыкается, и не устает, по-видимому. Если в первый раз он имел успех, то сегодня он имел его вдвое, сегодня он привел слушателей в восторг, наэлектризовал их, и они проводили его уже не просто рукоплесканиями, а громом рукоплесканий.

Сегодня говорил он о философии в творчестве, иначе сказать, об искусстве и о жгучем в настоящее время вопросе искусства для искусства, который столько раз и так горячо обсуждался у нас.

Истинные художники стоят за искусство для искусства и не хотят подчинять его потребностям данной минуты. Лавров говорит, что и в творчество надо вносить критику. Иными словами, художественное творчество есть воплощение в форму посредством резца, красок, слова и прочего — идеи. Последователи искусства для искусства говорят, что художественная идея должна быть чиста, возвышенна, прекрасна. Если идея не такова, если она низменна, не чиста, не красива, художественное творчество не должно давать ей формы, не должно ее воплощать, не должно ей служить. Но тогда

художественное творчество отстает от жизни, потому что бывают эпохи, когда жизнь не дает или дает мало чистого, возвышенного и прекрасного. Вот, собственно, вопрос, из-за которого спорят между собою художники-эстетики и нехудожники и неэстетики, желающие подчинить искусство, творчество господствующей в данную минуту идее, какова бы она ни была, а отжившей идеи и знать не хотят. Лавров говорит, что в творчество надо вносить критику. Значит, он спор как будто бы решает, но он его не решает.

Критика это значит движение, перемещение. Критика не уважает авторитетов и не щадит их. Если народилась новая идея и ее нужно облечь в художественную форму, то, как бы неизящна она ни была, искусство обязано дать ей эту форму? Вот в чем вопрос, и это вопрос действительно.

26 ноября.

Для всех Лавров является ученым, философом и математиком, бесстрастным мыслителем, который поборол в себе все житейские слабости и живет только мыслию и долгом.

Но шплиттергексе, кажется, подглядела иное, благодаря тому, что у нее двое ушей, два глаза и один только язык за двумя рядами зубов и двумя губами, которые в обществе очень редко открываются, т. е. именно оттого, что губы не открываются и не дают воли действовать языку, она и имела досуг подглядеть многое. Может быть, он и убивает свою плоть, но далеко еще не убил. Напротив того, под ученой, холодной оболочкой живут и мечутся фантазии, плоды чувств.

Он романтик. Он опоздал родиться. Ему бы родиться столетием раньше или в рыцарские времена.

Говорят, впрочем, иногда, что он честолюбив. Да, он честолюбив, но не в общепринятом значении этого слова. Ему не нужно ни чинов, ни крестов, ни самого высокого положения в свете. Остановившись на сцене, когда заговорщики упали на колена перед Фиеско, он им и говорит: «Республиканцы! вы лучше умеете проклинать тиранов, чем их взрывать на воздух!» А Веррина, не преклонивший перед ним колен, на это отвечал ему: «Фиеско, ты великий человек! Но… встаньте, генуэзцы!» Лаврову пришло на ум, чье положение выбрал бы он, если бы ему дали на выбор — быть Фиеско и сказать эту фразу коленопреклоненным перед ним; или быть Верриной и, не склоняя перед ним колен, сказать слово? Он бы задумался и не решил бы, что выбрать. Оба положения должны ему казаться соблазнительными. А что назавтра Фиеско погибнет в волнах, это второстепенно, главное — это положение. Да, наконец, как и отчего погиб Фиеско, ведь

не осталось безвестным.

Я хотела сказать, что Лавров романтик, и что для него показная сторона, как бы он ни цеплялся за идею, в тайнике души и почти бессознательно все-таки дороже всего. Она прельщает его в революции, особенно когда вышла «История Жирондистов» Ламартина. И в вопросе искусства для искусства, подчиняясь последнему слову прогресса, которому приписывается высшая правда, он и хочет поставить искусство в служебное отношение к идее, но внутри души все же стоит за его самостоятельность и свободу. Не помню, записала ли я, как раз, когда был у нас великий спор по этому предмету, он вдруг обратился ко мне с вопросом, зачем я все молчу и какое мое мнение, за искусство ли я для искусства или нет. «Конечно, да», — отвечала я. Лицо его как-то просияло вдруг, он как-то особенно одобрительно глянул на меня, улыбнулся и проговорил: «Хорошо, хорошо, так и верно, так и надо, и оставайтесь так!» Меня эти слова его тогда совсем опешили. Я не нашлась, чтобы попросить у него разъяснений их; да, впрочем, и нельзя было, потому что его тотчас же снова увлекли в спор. Странный человек!

30 ноября.

Опять он говорил, и сегодня в последний раз. И сегодня это был уже не успех, а триумф. Вызовам и восторгу конца не было. Но хороша я! Не записала даже заглавия этих трех лекций. Заглавие их: «Три беседы о современном значении философии». Лавров теперь сделался каким-то героем и вне нашего кружка, где он им и был. Эти лекции очень увеличили его известность.

Хотела бы я через много, много лет, лет через тридцать-сорок, послушать, что тогдашние люди будут говорить про Искандера.

Кажется, я взяла слишком короткий срок, через тридцать-сорок лет я сама еще могу быть жива.[233] Но, впрочем, тридцать лет немного, но перемен во взглядах может совершиться много, а также и перемен направления. Если же мы неуклонно будем следовать по настоящему направлению, то и Искандер покажется, пожалуй, отсталым. Искандер тормошит личности, и в этом, кажется, и главная сила его. Боятся попасть ему на зубок и стараются изо всех сил этого избегнуть. С другой стороны, лестно заслужить его одобрение, и стараются изо всех сил действовать в его духе. Но вопрос в том, как он все узнает? И узнает первый и из первых рук. Что побывать у него считают как бы долгом все отправляющиеся за границу, в особенности в Лондон, почти не тайна. Когда провожали цензора Крузе, смещенного со своего места, и делали ему обед в помещении шахматного клуба, то ему

прямо кричали, правда, подпив: «Прощайте, и будете в Лондоне, то кланяйтесь Александру Ивановичу». Иван Карлович было охнул со страха, и не рад был, что пошел на обед, но все обошлось.

Воскресенье, 11 декабря.

Были опять в театре, в немецком на этот раз. Смотрели Гаазе. Превосходный актер. Сколько бедных немецких сердец, думаю я, погубил он! Впрочем, он слишком прост для немок; слишком мало в нем божественного картофель-салата. Сегодня был его бенефис, и он являлся в двух совершенно противоположных ролях: в нелепой комедии Гуцкова «Юношеские годы Гете», где играл французского генерала, и в такой же нелепой комической пьеске, где играл застенчивого теолога, неподражаемо хорошо. Были мы в ложе Кавоса в Мариинском театре. Театр прелестен, но как попала в него живопись на потолке и на занавесе, отвратительнейшая мазня? Автор ее итальянец, и Кавос тоже итальянец. Но я подожду осуждать его. Может быть, и он был связан, как был связан папа, когда навязали ему Тирша.

Князь Гагарин, византийский князь, преемник в Академии благородного старика графа Ф. П. Толстого, выписал из-за границы этого Тирша и, обязанный, как вице-президент, пещись о наших художниках, устроил так, что Тиршу этому дали писать образа для церкви Николаевского дворца. Ему, иностранцу, во-первых, а, во-вторых, когда уже у папа были намечены для этой работы наши художники, между прочим Сорокин. Теперь все они и папа остались с носом. И на папа еще ропщут, что он мало боролся с Гагариным. Но у этого Гагарина рука и связи везде, и он протер своего protégé. Не возмутительно ли это? Гагарин отнимает хлеб у тех, о которых обязан заботиться, и не взирает даже на то, в какое положение ставит папа. А все оттого, что этот Тирш вторит его византийским стремлениям.

Вот отчего папа не хотел знакомиться и с Белоли. Он тоже мечтает расписывать потолки и прочее и юлит перед папа. Теперь Тирш поместился в Академии и принялся за работу, а Сорокин и Бейдеман пошли к нему в помощники-поденщики. Поступок князя Гагарина возмутительнее поступка князя Барятинского, выписавшего Тонифевра расписывать потолки.

Князь Барятинский военный человек, он Шамиля взял; а князь Гагарин вице-президент Академии Художеств. Граф Толстой так не поступал. Но граф Толстой был русский, а князь Гагарин даже по-русски не говорит.

Пятница, 16 декабря.

А у нас в прошедшую субботу были Иван Карлович, Полонский, Эрасси, Кавосы, мать и дочь, Яков Иванович, Николай Миллер и м-лль Корсини, та самая, что рисует в рисовальной школе, Катенька, дикая козочка. Мы познакомились с Корсини недавно, но уже слышали о них много, так как она и ее сестра Наталья — в некотором роде знаменитости, и о них много было говора прошлой весной. Они студентки, передовые девушки. Девушки, но есть в кругу нашем и передовая женщина, Анна Николаевна Энгельгардт. Та, впрочем, не студентка, т. е. в университет не ходит. Анна Николаевна — жена приятеля Лаврова, тоже артиллериста, Александра Николаевича Энгельгардт.

В один из вторников у Лавровых Энгельгардт почти целый вечер ораторствовал на ту тему, что в настоящее время жениться нельзя, что все барышни и требовательны слишком и слишком пусты, не развиты, не подруги мужьям; а если развиты и умны, то еще хуже Лавров слушал, слушал, и наконец обратился ко мне, чтобы я заступилась за себе подобных. Но я уклонилась. Я не кандидатка в жены, и какое мне дело.

Затем Энгельгардт пропал и не появлялся несколько вторников, и вдруг явился в один прекрасный вечер с женой. И в тот же вечер все признали, что счастливый Энгельгардт нашел то, что в речи своей, предшествующей исчезновению его и его женитьбе, объявил несуществующим, — перл.

Молоденькая и хорошенькая жена его была проста, мила и умна без всякого жеманства. Просто одетая, нисколько не застенчивая, но и не резкая, она тотчас же приняла участие в общем разговоре и грациозным задором своим очаровала всех. Говорили о литературе и о женском вопросе. И по одному и по другому предмету она выказала много оригинального. Видно было, что она много читала и много размышляла, и видно было по второму предмету, что она никогда не будет ни бременем, ни помехой, ни игрушкой для мужа. Но главная прелесть ее это задор, горячность, пыл, с которым высказывает и отстаивает свои взгляды. В ней все особенно и оригинально, даже голос ее немного, говоря словами Тургенева, надтреснутый и подчас чуть-чуть хриплый. Она дочь помещика Тульской губернии, Макарова[234], значит настоящая барышня, между тем на барышень-помещиц именно-то и не похожа. Все от нее в восторге и признают ее за передовую женщину. Нашедший такой клад муж ее щиплет свой ус и самодовольно улыбается, слыша восторженные похвалы ей и своему выбору.

Анна Николаевна в споре напоминает Екатерину Павловну Майкову: та же горячность, но, не будучи резкой вообще, Анна

Николаевна все же проявляет некоторую резкость и решительность, которой у Майковой нет новое. И в этом-то и состоит главная разница между передовой женщиной и непередовой.

У Екатерины Павловны прежние идеалы веры, добра, как его понимали прежде, семьи, папенька, маменька, Аполлон, Анета, Леля (Леонид), Володя (ее муж). Главное Володя, он выше всего, еще на уме и на языке, — у Анны Николаевны всего этого уже нет.

Екатерина Павловна как будто говорит: «любите меня!» Анна Николаевна как будто говорит: «я могу ослепить вас блеском моего ума и моей речи и ослеплю, а там делайте, как хотите, любите или не любите».

Обе они прекрасные цветки, только одна на гибком стебле, другая на твердом.

Но возвращаюсь к Корсини. За чайным столом ее посадили рядом с Софи Кавос. Они обе одних лет, обе полуитальянки (русские матери и итальянцы отцы), обе дочери архитекторов, вот в этом их сходство. Несходство же в том, что одна была в — светлом шелковом платье с розовыми ленточками и в модной прическе, другая в простом черном шерстяном, без всяких украшений, и стриженая. Одна еще не вышла из-под крыла матери, другая по матери уж сирота и пользуется некоторой свободой, дозволенной отцом, выходит одна, посещает университет, окружена молодежью, студентами.

Обе они несколько времени молча поглядывали друг на друга, одна на черное платье и стриженую голову, другая на модный наряд и модную прическу; наконец, Катенька заговорила первая. «Интересуетесь вы наукой?» — спросила она свою соседку. Та даже вздрогнула, кажется. «Да», — отвечала она робким голосом; потом спохватилась и прибавила: только мало, не так, как вы». — «Ах, и я мало, совсем не столько, как вы думаете», — отвечала Катенька.

Мне ужасно понравилось это начало, но обе замолчали, исчерпав, по-видимому, весь вопрос о науке. Однако вскоре Sophie начала опять: «Много вы выезжаете?» — спросила она в свою очередь и по своей специальности. «Я-то? — с живостью переспросила Катенька. — Ах, нет, нет, нет! Во всяком случае, не так, как вы…»

Меня отозвали, и, к сожалению, я конца не дослушала. Когда я вернулась снова, около Sophie сидел уже влюбленный в нее Николай Миллер, а Катенька горячо спорила с Полонским о женском вопросе, а с Иваном Карловичем об ангелах вообще и в живописи в особенности. Видно, что у Катеньки есть ключ к

азбуке наших современных вопросов, но она слишком торопится читать. Она студент; как для студентов, так и для нее — вопросы эти главное в жизни, даже самая жизнь.

Sophie не развита, но и Катенька не развита, она только еще развивается.

Она точно наш Андрюша, который также владеет ключом к этой цифирной грамоте, и со всем пылом молодости кинулся ее разбирать.

Выучиться этой азбуке не трудно, Sophie может, если захочет.

Во всяком случае, Катенька прелестна, но и грустно как-то за нее. Куда, куда? — думается, глядя на нее. — И ты ждешь каких-то чудных результатов! И вдруг увидишь голую, неизмеримую степь или вечный, утомительный праздник, и сломишься или отступишь.

С кем так не бывало! И кто, отступая, не скатывался в свою прежнюю, будто бы предназначенную ему самой судьбой конурку?

Но ты, пожалуй, вырастешь на пути, и уж в маленькой конурке своей не поместишься?

1861 год
Дневник

11 января.

Были на литературном вечере в Пассаже в пользу воскресных школ[235].

Читали: Писемский — «Гаваньские Чиновники»; Ристори — из Данта, «Франческу Римини»; Бенедиктов — «Человек», вместо, стихотворения «Воскресные Школы», не пропущенного цензурой; Майков — «Два Карлика» и «Ниву»; Полонский — «Тамару», «К Италии» и «Аспазию»; Достоевский — отрывок из романа; Чубинский, наш Чубинский, — из «Ямб» и «Элегий» Щербины. «Гаваньские Чиновники», в своем роде, вещь мастерская, но все-таки долго выслушивать ее было скучновато. Читал Писемский с любовью. Он, говорят, в восторге от этой вещи и выучил ее наизусть, и публике, кажется, она очень понравилась. Писемский вывел и представил публике самого автора. Ристори вручил Бенедиктову, как старейший, от имени литераторов лавровый венок. «Два Карлика» Майкова — стихотворение грациозное, миленькое, умненькое, но есть в нем одно слово — «деспот», — это слово публика подхватила и стала хлопать. Ей как будто иногда и дела нет, к чему иное слово относится. Говорят, что отставные кавалерийские лошади, заслышав военную трубу, хотя бы в ту минуту и были впряжены в водовозную бочку, тотчас начинают выделывать все аллюры, которым их когда-то учили. Вот так и публика.

Затем стала она требовать «Ниву», но Майков объявил, что не может вдруг ее припомнить наизусть. «Конец!» — закричал кто-то, и Майков прочел «Конец», за которым последовал такой грохот рукоплескании, какого, кажется, в Пассаже еще и не слыхивали. Полонский на взбалмошную публику потрафить еще не может. Он протянул ей свои три стихотворения, она похлопала ему из учтивости и вдруг потребовала «Нищего»; он прочел. Чубинский читал недурно, и ему также хлопали.

26 января.

Лаврова можно, кажется, на куски изрезать, и он все будет хвалить своих врагов и противников. Я сегодня во сне видела, что он, наконец, согласился, что Чернышевский в своих писаниях кажется запальчивым мальчишкой.

Чернышевский уважается как социалист и как человек, твердо выдерживающий и проводящий свои убеждения, но зная

его лишь по его сочинениям, уважать его никак нельзя. Он антипатичен. Его юмор нахален и тяжел, а все серьезное дышит самомнением и самоуверенностью, хотя и напоминает он беспрестанно, что не имеет претензии на ученость.

Но в его критических статьях чувствуется не один недостаток учености, но и недостаток познаний. Или это преднамеренная подтасовка фактов и умолчание его об одном, то о другом, и выводы очень решительные, но неверные, в угоду злобе дня? Говорят, что иначе писать нельзя *у нас*. Но ведь это путает всякие понятия, дает ложные сведения, и разве писатель пишет в угоду лишь данной минуте, а не» во имя вечной правды? Что о нем подумают, когда минута с ее потребностями пройдет, — что он морочил и лгал? Да лучше совсем не писать, чем сбивать с толку людей, и еще юное поколение вдобавок. И во имя чего? Во имя отрицания. Где его идеалы? Нет их. Если б они у него были, слышалось бы в статьях его благородное негодование, а теперь слышится только раздражительность придирчивой, нервной женщины, еще злой вдобавок. И это критик? И почти единственный.

Как это случилось, что у нас, насквозь пропитанных анализом, протестом, и не боящихся гласности, нет критика? Может быть, это оттого, что анализ наш поверхностный, и мы не им, а жаждой лишь его проникнуты насквозь. И, может быть, он и не столько поверхностный, сколько условный. Во всяком случае у нас, кажется, смотрят, но не вглядываются, а главное, не вдумываются и слишком торопятся говорить в то время, как и всех нужных слов-то еще нет.

Торопятся говорить, потому что говорить — диковинка.

Он социалист. Цель социалистов — благо для всех; не для одной части человечества в ущерб остальной, но для всего человечества, одним словом, или, вернее, тремя словами: свобода, равенство, братство! Чтоб водворилось это благо, надо уничтожить все старые порядки, которые его не давали, уничтожить дотла, чтобы и зараза старого не передалась новому, и на пустом месте построить новый храм, храм всеобщего блага. Но ведь в этот новый храм войдут люди и внесут с собой все свои присущие им страсти: и зависть, и жадность, и честолюбие, и самолюбие и прочее, и прочее. Что же станется тогда с благом? Чем созидать новый храм и ради него все уничтожать, не лучше ли и не проще ли прежде приготовить себя для будущего блага этого? Вглядеться каждому в себя и, чем разрушать все окружающее, — разрушать свои страсти, себя совершенствовать, тогда благо водворится и само собой, и храма не будет нужно. Но к этому все глухи Дух разрушения обуял, и носители его

считаются пророками и апостолами, и им разрешается лгать во имя этого духа.

И Лавров такой апостол, но он поэт, не бурсак[236] и, говорят, истеричный человек, у него это выходит не так жестко. И Иван Карлович, сам того не сознавая, таков же, да и все почти.

И отчего так страшно.

Я начала о Чернышевском и увлеклась.

Он страшен, как и все носители идеи разрушения, но начала-то я не о том, а о том, что Чернышевский кроме того противен заносчивостью, и это уж далее к социализму и не относится.

Суббота, 28 января.

Какими словами передать то, что творится, почти уже сотворилось и что сулят нам в самом близком будущем, в нынешнем месяце даже: освобождение крестьян! Даже не верится. Может ли это быть! Такое важное и великое дело совершится и в одно мгновение, словом одного человека, разом совершенно изменит положение, жизнь, ее смысл и быт десятков миллионов людей.

Два года разрабатывается крестьянский вопрос, и то захватывающее впечатление, которое производил он вначале, с течением времени сгладилось в ожидающей публике, хотя там, в комитетах, говорят, и бывали бурные сцены. И вот теперь все кончено, готово, и вопрос уже перестал быть вопросом; он разрешен и на днях вступит в жизнь. Ах, как это чудно, как удивительно!

Вот революция, каких еще не бывало, — бескровная.

Бескровная, а есть люди, которые предвидят кровь и пугают ею.

Но если вдуматься, какой это великий шаг, какое великое дело взял на себя государь, он, которого считают слабым! Но, может быть, именно такой-то и мог его совершить, слабый, т. е. добрый, благонамеренный и, само собой, облеченный неограниченной властью. Сколько нужно было доброго терпения и сколько ее, т. е. неограниченной власти, чтобы довести дело это до доброго окончания! Сколько надо было умиротворять, доглядывать и взвешивать, ограничивать крайности, сглаживать противоречия, сдерживать и направлять, чтобы не обидеть ни тех, ни других!

Вот бранили Я. И. Ростовцева, а говорят, что покойник сильнее всех настаивал на освобождении крестьян с землею. Но как же будет все это, и что из этого произойдет и непосредственно за событием и в конце концов? Освобождения крестьян с землею не ожидают даже за границей; даже сам

Герцен, кажется, о том не мечтал.

А как противны эти травли помещиков. Крепостник! Крепостник! Да, крепостник. И крепостник покорно поступается своим достоянием, всей собственностью, но вам этого мало, и вы требуете, чтобы он еще пел и плясал от радости?..

Среда, 1 февраля.

Странная случайность! В прошедшую субботу, 28-го, когда было первое заседание в Государственном Совете по крестьянскому делу, т. е. оно читалось в окончательном виде, упала вдруг во время речи государя корона с одного губернского герба, украшающего карниз.

Герб оказался виленский, и странная случайность заключается в том, что именно с этой губернии начался опыт эмансипации и что в ней особенно не жалуют царя, и даже была попытка на враждебную ему демонстрацию во время его проезда.

А речь царя хвалят, но ко всему относительно его один припев: он слаб. «Он слаб, — говорят консерваторы, — он слишком уступает новым веяниям»; «он слаб, — говорят либералы, — он не имеет духа смело итти по пути прогресса». Только и те и другие соглашаются в одном, — в том, что он добродушен. Но сия добродетель нынче обретается не в авантаже и приравнивается к глупости.

Ну, а если бы вдруг завтра очутился на троне вместо Александра Николаевича Петр Первый, которого так превозносят теперь, куда спрятали бы мы все наши только что расходившиеся языки, да и еще многое что?

Он слаб, а какое дело совершает!

Он Гамлет, но не всегда колеблется между «быть или не быть».

Среда, 8 февраля.

Приближается день освобождения крестьян, день 19 февраля, и так чудно делается на душе, что и описать нельзя. Крестьяне освобождаются с землею. Этого еще нигде не бывало. Они не только освобождаются, но обеспечиваются, делаются сами вроде помещиков. Хвала и слава Александру Николаевичу, этому слабому, как его называют. Чем он слабее, тем он более герой. «Вы необыкновенно счастливы», — писал ему Герцен. Но счастлив ли он в самом деле? Слабые люди, совершив подвиг, обыкновенно счастливы не бывают, потому что тут-то более, чем во всякое другое время, и начинает их грызть сомнение. А уж если когда сомнение может загрызть до смерти, то это в этом случае. Александр Македонский разрубил гордиев узел и пошел себе, и

забыл о нем, пожалуй. Рубил он живых людей, себе подобных, не поморщась, так что ему какой-то узел; да и что это был за узел, кто его знает. Во всяком случае не были им связаны миллионы поколений.

Наш герой, тоже Александр, но не привыкший рубить живое мясо, тоже разрубил гордиев узел, но которым связаны миллионы поколений. Каково-то ему?

Он не слышит, конечно, всего того, что теперь гулом стоит и не смолкает, так как приближается последняя минута.

Говорят, что вопрос 19 февраля именно разрубается, как разрубался гордиев узел, и что это очень страшно, что решать такие великие задачи одним взмахом пера, в один день, нельзя. Правда, над задачей этой трудились два года, но и два года мало; а главное, решенное приводить в исполнение надо было постепенно. Сулят ужасы. Но что ужасы? Авось, бог даст, их не будет. И к чему бы, т. е. почему бы им и быть? Вот их-то, конечно, пророчат, ими пугают те, которые против великого события. Но есть другое. Это последствия. Если бы можно было сделать опыт сначала, как все прилаживается и как действует, но ведь это невозможно. Но и это не все.

Есть еще то, что вместе с дурным сойдет с лица земли и много хорошего. Например, безделица, кажется, а как жаль, — не будет уж тех старых слуг, нянек, дядек; а, что важнее, не будет помощи от помещика в случае пожаров, мора, голода. Теперь каждый за себя, только один без рук, другой без головы.

Суббота, 11 февраля.

Ну, вот и нет, ну, вот и не будет ничего 19-го. В газетах напечатано сегодня коротенькое, сухое объявление от с. — петербургского генерал-губернатора Игнатьева, что 19 февраля не будет ничего.

Что же это такое? Все в напряженном состоянии, и как же разрешится оно? Но сам пациент этой небывалой и неслыханной операции (простой народ, мужики) спокоен, кажется. Впрочем, отсюда что видно, из столицы-то? Гостиный Двор пуст, магазины пусты. Никто ничего не покупает.

Рассказывают еще, что будто бы в народе слышно: «Мы больше ждать не будем!». Уж это-то слишком глупая выдумка. Ждал, ждал народ спокойно, да даже и не ждал и не думал вовсе, и вдруг будто бы заговорил.

Понедельник, 20 февраля.

19-е прошла, и ничего не было, и народ не заговорил; заговорила только Варшава, да еще нежным языком цветов

заговорил кто-то: памятник Николая Павловича у Синего моста усыпан гирляндами и венками. Памятник стоит два года, но это случилось еще в первый раз. Говорят, что это демонстрация помещиков, а другие приписывают ее купцам. Но купцам к чему же? Два студента вздумали на днях проповедывать купцу какому-то конституцию. Купец донес, и их забрали, и ищут еще двоих.

В маленьких обществах, хоть бы, например, в разбойничьих шайках, часто случается, что для какого-нибудь тяжелого дела кидают жребий, и тот, на кого он падает, не жалуется и не считает то несправедливостью, а безропотно покоряется. Отчего же в том огромном обществе, которое зовется человечеством, это иначе? И отчего мы, которые кичимся нашей любовию к человечеству, лишь только неприятность коснулась нашего я, начинаем роптать?

«Люби, ближнего своего, как самого себя». Но это оказывается еще труднее, чем богатому войти в царствие небесное.

Если бы могли мы не понять (мы его понимаем), а проникнуться смыслом этого божественного изречения, то и всякое горе исчезло бы о лица земли. Потому что любить ближнего, как самого себя, не значит только сочувствовать ему в его несчастий, но и радоваться его радости.

Ну, да, я из несчастных, я калека. Не могу ходить, бегать, танцовать, как другие. Моя жизнь пойдет не торным путем, не с другими, а в стороне, и как не намечено. Я не выйду замуж, не буду любима, не буду иметь детей, свою семью, свой дом. Я брак в жизни. Но что же, ведь кому-нибудь надо же быть браком. Кругом меня ведь не бракованные же. Радуйся же и не ропщи, и не унывай. Вон тоже «я», только зовут его не Лена Штакеншнейдер, а Лиза Шульц, молодая мать. У нее ребеночек, беленький, голубоглазый, Вика. Она шесть лет ждала его, И наконец дождалась. Нарядила его, как царевича, и не наглядится на него. Муж, тетка, все Шульцы, Иван Карлович, мы все тоже не наглядимся на него, но она мать, — радуйся ее радостию, усвой ее.

Вот пораздумала, пописала, и стало как будто легче, точно вернулось что-то потерянное.

Понедельник, 27 февраля.

Ну, великое совершилось! Крепостное право не существует! Великий день настал, и даже уж и прошел он, как проходят все дни, в которые ничего великого не совершается.

Вчера вечером привезла нам великую весть Ливотова, — узнавшая ее от Бориса Николаевича Хвостова, а именно, что сегодня будет обнародован манифест.

У нас общество разделилось на две партии, одна верила, — другая нет. Скептики говорили, что генерал-адъютанты еще только что уехали по губерниям и не доехали еще до мест назначения своих, обнародование — же манифеста и Положения должно произойти одновременно повсюду. Я держала с Полонским пари, что *будет*. Так прошел вечер.

Сегодня я одевалась в двенадцатом часу, чтобы ехать в театр, вдруг вбегают с оглушительным криком Маша, Оля и Володя, и у Маши в руках манифест!

После обедни по всем церквам читался этот манифест, и потом было торжественное с коленопреклонением молебствие. В Казанском соборе присутствовал генерал-губернатор Игнатьев и поздравил народ. И вот, крепостных больше нет! Мы, которых это дело в сущности — не касается, волнуемся, а он, т. е. народ, которого оно касается, спокоен, как всегда. Но есть некоторые поводы волноваться, от полиции вышел приказ держать все ворота в домах на затворе, и дворникам от домов не отлучаться.

В театре я говорю Але: «Хоть бы «Боже, царя храни» сыграли. Как бы шепнуть об этом?» — «А я, — говорит Аля, — пойду в раек, да и шепну там, чтобы потребовали», — и встал было, но тотчас же сел опять: «Нельзя, — говорит, — нив есть за кого примут».

Из русского театра мы поехали во французский, и там в одном антракте сыграли «Боже, царя храни», но публика встала, как всегда встает, и только; ни сочувствия, ни восторга. Так прошел великий день, которого так ждали, так боялись, и если бы не манифест, никто бы не узнал, что это тот исполненный неизреченного значения день.

Вечером у нас все окна были иллюминованы, может, так было у всех или хоть у многих, не знаю, так как от нас других домов не видно.

Воскресенье, 5 марта.

Уже несколько дней ходил по городу слух, что в воскресенье, т. е. сегодня, на площади около Зимнего дворца народ, с рабочими стеклянного завода во главе, будет благодарить государя. Опять, как всегда: одни верили, другие нет. Часу в первом отправились мы — мама, Маша, Оля, Володя и я — в открытой коляске, а Коля пешком ко дворцу.

От царского подъезда и до Невского во всю длину торцовой стоял народ. Мы остановились напротив царского крыльца. День был чудный, светлый и теплый, но на улицах грязь невылазная, и также на площади перед дворцом все мерзлый снег, лужи, лед и грязь. Расчищена была торцовая для проезда царя, но зато весь

снег и вся грязь с нее была накидана по сторонам, и на ней-то и стоял народ.

На адмиралтейских часах пробило час дня, когда подали царскую коляску и на крыльце явился Александр Николаевич.

«Ура! ура! ура!» — грянуло и раскатилось по площади. Царь сел в коляску и медленно поехал мимо народа.

Сняв шапки, не переставая кричать «ура!» — народ упал на колени.

Царь ехал бледный, как полотно, и по мере того, как подвигалась его коляска, народ все падал при ее приближении, а задние вставали и бежали за коляской, и все гудело: «ура!».

Только «ура» и больше ни с одной стороны, ни с другой ничего. Бледный и безмолвный человек в коляске, и мокрый, опускающийся в грязь и поднимающийся из грязи народ, и это «ура». Точно единственное слово, единственный звук речи глухонемого.

И этим народом пугают. Бедный, бедный царь и бедный народ, не понимающие друг друга, и которым нужно, чтобы попять друг друга, это немецкое «ура»!

Бледный царь ехал в манеж, по колено мокрый народ бежал за ним. В манеже ждали его рабочие стеклянного завода о хлебом-солью на серебряном блюде и благодарственным адресом, написанным Политикой.

Воскресенье, 12 марта.

Странное наступило время: «своя своих не познаша». Я не узнаю, например, Якова Ивановича, он говорит теперь то, что прежде говорил совсем не он. Роли переменились. Яков стал Иваном, Иван — Яковом, консерватор — вольнодумцем, вольнодумец — консерватором, плантатор — либералом, а либерал — плантатором. Что случилось? Случилось то, что революция прошла по России, прошла такою, какой ее не ожидали, и по пути все перемешала.

Семен Семенович Лихонин, восхищавший всех своим либерализмом, пока дело ограничивалось планами, теперь вдруг превратился, по словам Ивана Карловича, в плантатора Южной Каролины; тетенька Ливотова, слушая его, впадает в тоску.

«И это в Петербурге! — восклицают иные, — и это либерал! Что же сталось с провинциалами и с теми, которые никогда либералами и не были?»

Понедельник, 13 марта.

Сегодня опять один из тех мучительных дней, когда душа тянется на какой-то простор, которого нет, куда-то, где она когда-

то будто бы была. Эти прозрачные весенние сумерки, эта просыпающаяся природа, городской шум на обнажившейся мостовой напоминают что-то, чего, может быть, никогда и не было.

Дневник Е. А. Штакеншнейдер здесь прерывается до сентября, но в ее бумагах имеются позднее записанные воспоминания об этом периоде, из коих мы приводим наиболее интересные страницы.

* * *

Познакомились мы в ту весну, 1861 года, и с Помяловским, молодым и талантливым, и так рано покинувшим не только литературное, но и земное свое поприще, писателем, автором «Мещанского Счастья». «Молотова» и «Воспоминаний о бурсе».

Тургенев создал слово «нигилист», сделавшееся ныне общепринятым и даже официальным словом, Помяловский создал выражение «кисейная барышня», хотя и не пользующееся подобно слову «нигилист» всесветной известностью, но всероссийской несомненно.

Получить в 60-х годах прозвание «нигилист», «нигилистка» было почетно, «кисейная же барышня» — позорно.

А сам Помяловский слыл у нас под именем «Зефирот». Что такое «зефирот», теперь немногие, пожалуй, помнят, и я уже отчасти забыла. Была какая-то мистификация, кажется в «Петербургских Ведомостях», что где-то появились странные крылатые существа, с человеческими обликами, красивые, голубоглазые, с золотистыми волосами, которых зовут зефироты.

В тот день, когда эта мистификация была напечатана, в первый раз явился к нам Помяловский и читал ее вслух. И по мере того, как он читал, каждый из слушающих находил удивительное сходство между чтецом и описываемым странным существом, конечно, в лице только. Бедный Помяловский, бедный Зефирот! Какой милый был он, сердечный человек, — несчастная страсть к вину сгубила его, он пил запоем.

Полонский очень полюбил его и пригласил его жить с ним, делить его одиночество на его обширной казенной квартире. И всячески старался Полонский спасти его и отвадить и уберечь от его ужасной страсти, но ничто не помогало. Помяловский сознавал свое положение и страдал ужасно, но преодолеть страсти не мог, и умер в больнице от белой горячки.

Это было в лето 1861 года, может быть, в августе. Гости расходились от Василия Степановича Курочкина. В их числе были

Иван Карлович, Лавров, Михайлов (М. И.), Шелгунов, Серно-Соловьевич. Они собирались толковать о шахматном клубе, который и устроили вскоре после того и который с тех пор давно уж рушился[237]. Лавров жил недалеко от Ивана Карловича, он предложил ему проводить его и, заговорившись, вероятно, проводил на самую его квартиру. Там Сергей, лакей Ивана Карловича, подал ему пакет, полученный в его отсутствие. Иван Карлович вскрыл его — прокламация![238]

Поднялся шум. Иван Карлович был так поражен, что совсем растерялся. Прибежал на шум его брат, живущий с ним, досталось Сергею, ничего не понимавшему. Кто принес? Сергей не знал, — какой-то маленький, худенький, черненький. Мало ли таких. Кто бы это был, — не прибрали. Когда стало известно, чья это прокламация, тогда догадались, что маленький, худенький и черненький господин был сам Михайлов, но что даже близкие друзья Михайлова этого не предполагали. Когда он был взят и посажен в Третье отделение, общество литераторов написало адрес государю, в котором просило освободить Михайлова и ручалось за его невинность. Адресов было несколько, выбрали один. Между прочим писал Лавров, но его отвергли за *резкость* выражений. Он в своем адресе, вполне убежденный в своих словах, писал: «Михайлов настолько же виновен, насколько мы все виновны». Так был он убежден в невинности Михайлова, так были в этом убеждены Розенгейм и, кажется, Серно-Соловьевич, составлявший вместе с ним адрес.

В это время, т. е. когда Михайлов уже сидел, снова в отсутствие Ивана Карловича приносят к нему прокламацию; на этот раз то был Серно-Соловьевич. Сергей, на которого грозные увещевания Ивана Карловича произвели желанное впечатление, догадался и погнался за ним на лестницу с лестницы. Серно-Соловьевич спасся только тем, что разбил рукой фонарь на лестнице и скрылся в темноте, и тем спас не только себя, но и Ивана Карловича. Ведь не слишком весело было бы и ему, если бы Серно-Соловьевич был меньше находчив или фонарь висел слишком высоко, и ему пришлось или выдавать знакомого, или скрывать агитатора. Воображаю себе его физиономию, если бы Сергей представил ему самого Серно-Соловьевича, эту живую прокламацию.

Студенческие волнения 1861 года [239]

С. Петербург, Миллионная.
28 сентября 1861 г.

Новым постановлением предписано студентам, всем и каждому, не соображаясь, как прежде, с их средствами, платить в университет пятьдесят рублей серебром в год.[240] Постановление это учреждено отеческим правительством не для облегчения способов к образованию. Много студентов пришло издалека, пешком, совсем без денег, совсем бедных, не знающих ничего о заботах о них правительства, и, совершив свой нелегкий путь, кто из Перми, кто из Кавказа, — очутились они при дверях университета без права войти в них и, что еще хуже, без нрава жить, потому что, только внесши деньги, они получали вид на жительство.

В субботу, 23 сентября, была по этому поводу сходка, и шумная[241]. В воскресенье закрыли университет. В понедельник утром собрались у запертых дверей студенты и решились итти к попечителю, генералу Филипсону. Они послали сказать о том в Медицинскую Академию, и четыреста тамошних студентов, оставя занятия свои, присоединились к ним, и так двинулись они пешком две тысячи человек длинным, спокойным шествием, от университета по Невскому, в Колокольную улицу[242].

28 сентября 1861 г.

События идут, не останавливаясь, неудержимые, никем не направляемые От них общество в страхе шарахнулось, и только, одно молодое поколение смотрит им прямо в глаза, как знакомым, и, не боясь, несет свои молодые головы, чтобы положить их ступенью грядущему дню. Да еще правительство не отстает, — правительство мечется, как угорелое, как рогатый скот на пожаре. Мы переживаем странные, потрясающие дни.

Когда 25 сентября студенты пришли в Колокольную улицу, их Филипсон не принял. Их приняли обер-полицмейстер Паткуль, генерал-губернатор Игнатьев, жандармы и взвод солдат, идущий на смену караула и остановленный Игнатьевым. Их послали обратно в университет ждать там Филипсона. Студенты пошли, но уже не длинным шествием, как сначала, а кто на извозчике, кто на лодке, кто пешком. Они раньше попечителя были на университетском дворе (в университет не пускали) и, выбрав депутатов для переговоров, спокойно расположились ждать в аркадах, на дровах; иные взбирались на дрова и говорили. Наконец, приехали Филипсон, Игнатьев и Паткуль, и взвод

жандармов встал вдоль университетского сада. Они приехали в мундирах, Филипсон без пальто. Студенты были спокойны, безоружны, у некоторых были палки в руках. Говорят, в Колокольной улице шальной жандарм подвинул на них свою лошадь, другие вынули палаши, и палки поднялись, но тут же и опустились, жандармы отъехали. Филипсон вошел в университет, переговорил с депутатами[243], между тем на улице собралась толпа, любопытная, удивленная; меж нее сновала полиция, просила проходить, не останавливаться Переговоры кончились, Филипсон обещал рассмотреть дело, просил разойтись. Один из депутатов, Михаэлис,[244] став на дрова, передал этот результат товарищам. Оставаться долее было незачем, студенты стали расходиться. В три часа брат Андрей был уже дома.

Так прошел этот первый день. Вечером в целом Петербурге только и говорили о студентах.

В ночь с понедельника на вторник Утин, Михаэлис, Ген и еще несколько студентов были взяты жандармами и отвезены, неизвестно куда[245].

В среду, 27-го, студенты снова собрались около университета. В одиннадцать часов вот какой вид имела эта местность. Университет запертый, и ворота проходного двора, выходящие на Малую Невку, тоже запертые, и при них взвод солдат Финляндского славного полка (да перейдет это имя в потомство); у отворенных ворот, на Неву, такой же взвод того же полка с штыками, готовыми на все. На дворе, запертые со всех сторон, человек четыреста студентов держали сходку; остальные, пришедшие позже, стояли на улице; с одиннадцати часов на двор не пускали. На набережной густая масса народу, такая же около университета, а в средине улицы пусто, и только поминутно приезжающие во весь дух кареты с генералами, в мундирах, с озабоченными физиономиями. Они приезжали в фуражках, но, выходя из карет, надевали каски.

На дворе составился адрес министру[246], под ним подписались семьсот лип, в том числе три дамы — Энгельгардт, Богданова и Коркунова.

До часу продолжалась эта тягостная, неспевшаяся тройная манифестация студентов, правительства и народа. Три различных чувства собрали их в одно место и одно общее ожидание.

С утра шел дождь, или, лучше сказать, он не шел, а стоял в воздухе, холодный, мелкий, какой-то колючий, раздражающий дождь. На небе ни цвета, ни радости, какая-то свинцовая тяжесть на небе, давящая весь дым, всю копоть, все грязные испарения земли обратно на землю. Вот картина этого мрачного утра. И безмолвие кругом, говорилось только на дворе. Это безмолвие

было прервано раз, но возмутительным и раздирающим все нервы образом: медицинский студент пробирался на двор, его остановили вопросом, куда он и зачем; он отвечал: к товарищам. «Это не ваши товарищи», — заметили ему, и хотели его схватить, но он вырвался и побежал, за ним погнались. Тут сказалось страшное слово, невероятное, беспредельно возмутительное, из нечистых уст Игнатьева сказалось слово: «стреляй»!

24 октября 1861 г.

Однако не стреляли, конечно, не стреляли! Не кончив ничем, не получив никакого ответа, студенты снова разошлись[247].

Тут начались аресты. Артиллериста Энгельгардта и еще трех офицеров арестовали за *грубость*, а студентов брали за все и везде; их брали ночью с постели, с улицы днем, по нескольку человек вдруг, по одному; Сперанского, хорошенького мальчика, вели на веревке по городу[248]. Аханова, родом из цыган, недавно приехавшего в Петербург, еще дурно говорящего по-русски, молоденького, только шестнадцати лет, ничего не знавшего о сходках, посадили рыдающего, как ребенок, в карету, и увезли[249]. Прахова пришли брать ночью, перепугали всех, мать захворала. Один отец умер, пока сын был под арестом; перед смертью он умолял о свидании — отказали, и он умер. Словом, была водобоязнь, студентобоязнь. Правительство явно теряло голову, спотыкалось, ловило воздух, думая словить заговор. Общество приходило в восторг от студентов, бранило правительство. Говорило много о просыпающейся жизни, о шаге вперед, о своем сочувствии, но на дне всех прекрасных фраз лежала смутно-сознанная роковая мысль — органический недостаток России: «наше дело сторона». Царь жил себе в Ливадии. Таковы были дела.

4 ноября 1861 г.

Между тем воем ведь известно, что у нас теперь гласность, дневник приключений тому доказательство. При Николае I запретили бы слово «студент», — при Александре II печатали *о беспорядках в университете* во всех газетах.

Так, напечатали, что университет закрыт, после того, как все студенты уже ходили по этому поводу в Колокольную улицу, и в целом городе только и говорили, что об этом событии.

Петербург был в странном волнении, только ему одному свойственном. Узнали, что арестованные студенты отведены в крепость, и некоторые лица из общества захотели заявить себя, заявить общество, написали адрес государю, и стали собирать подписи[250]. Адрес этот проникал, размножался в копиях, но

подписи? История о подписями просто прелесть! И смех и слезы! Пятьсот человек подписались! На четыреста тысяч жителей — пятьсот! Да как еще? Подпишут сегодня, а завтра придут просить, нельзя ли вычеркнуть. Так и заявило себя общество! Адрес оставалось сжечь, так и сделали. Не подавать же государю общественное мнение в пятьсот голосов.

10 ноября 1861 г.

Да, чудное время! Его бы записать, его бы увековечить, да всего не сообразить. Восемь недель, что Михаэлис, Утин, Ген, Жук, Неклюдов, Залесский, Городецкий, Фан-Дерфлит, Орлов, Данненберг, Лобанов и прочие сидят в крепости, и с лишком шесть, что сидят там альбертинцы,[251] в том числе брат Андрей; а в четверг пять недель будет, что взяты 280 человек и отвезены в Кронштадт.

23 сентября была шумная сходка, после которой закрыли университет, 25-го пошли студенты своим *страшным* ходом в Колокольную, 27-го была вторая сходка, после нее начались аресты; в четверг, 28-го, студенты вздумали было собраться на Невском, но, к счастью, их успели отговорить от этого; в воскресенье, 1 октября, должна была быть *от общества* демонстрация. О! о, слышите! Демонстрация от общества! План был таков: собраться в Казанском соборе, и после обедни выйти оттуда. Ведь как придумано! Пойти в церковь и выйти оттуда. И эта демонстрация вполне удалась. День был чудный, народу множество, гуляли до четырех, кажется, часов, погуляли, разошлись по домам, пообедали. Условлено было так, что студенты ни один не пойдет, общество не хотело делиться славой. К счастью, студенты любопытны, не удержались, пошли посмотреть. Я думаю, были довольны! Но во всей этой трагикомедии, в этих событиях, потрясающих так глубоко, и так, с другой стороны, пошло-возмутительных, был один кровавый день. Именно четверг, октября 12-го. Это же был и единственный день, в который студенты сделали шаг, может быть, не совсем обдуманный: они, не взявшие матрикул, пошли уговорить уничтожить его взявших. Вот как было дело Матрикулы, т. е. правила, были составлены еще летом особой комиссией о Строгановым во главе. Я их не видала, ибо ни, у моего брата, ни у кого из знакомых их в руках не было, но из-за них-то собственно все и вышло. Ими запрещались сходки, обязывались студенты платить, отнималась у них касса и библиотека, запрещалось посещать другие аудитории, кроме своего факультета, и матрикулы эти, в виде книжечек (ценой 25 копеек), был обязан каждый студент носить при себе, и недель, т. е. солдат в особой

ливрее, что-то среднее между дядькой и будочником, стоящий у всякой аудитории, обязан был наблюдать за поведением студентов, и каждое преступление правил вносилось в вышеозначенную книжечку. Ясно, что всего этого взять на себя студенты по совести не могли. Они так и сказали. Они сказали попечителю: «Мы будем принуждены взять потому, что давать их нам будут поодиночке, с угрозой исключения из университета, но, взявши их, ссыплем их в одну кучу и пожжем».

Начальство, эта злая мачеха, приняло все к сведению и распорядилось по-своему. Студенты вынуждены были ходить в университет для получения проклятых матрикул, нельзя было собраться, чтобы сжечь их; по газетам было объявлено, что желающие продолжать слушание лекций должны прислать через городскую почту, бесплатно, просьбу в известной форме о доставлении матрикула; матрикулы пересылались тем же путем. А срок назначен был полночь, с 7-го на 8 октября, самый час-то бесовский.

Много ли, мало ли было принявших матрикулы, по сию минуту неизвестно, говорят, в университет теперь ходят человек пятьдесят, не более, но это, говорят, наверное узнать невозможно.

Вот эти-то матрикулы уничтожать собрались 280 человек в четверг, 12 октября, и этот-то день и был кровавым днем. Как обыкновенно, готово было войско. Студенты, не принявшие матрикул, стояли на улице и ждали, чтобы говорить с товарищами, принявшими их, окончания лекций. Вдруг жандармы их втолкнули на двор, прижали к стенам и стали бить, бить, топтать лошадьми, вязать…

Связали и повели, а профессора, ректор, студенты, выбежавшие из аудиторий, глядя на это, только плакали. Так повели. Тут некоторые были и взявшие матрикул, вязали всех, кто попался, никого не слушали. Одного жандарм ударил прикладом, не студента, кандидата, он схватил его за бакенбарды, а красный жандармский корнет отсек ему палашом ухо. Имя этого кандидата Лебедев[252], он сильно болен, двое умерли… Так их избитых 280 человек повели.

В этот день отличался Преображенский полк. Этот полк теперь заклеймен; конечно, не надолго, у нас забудут, но покамест Преображенским офицерам нигде показываться нельзя. Один находчивый, говорят, когда надо было выводить солдат, упал в обморок.

14 ноября 1861 г.

Другой благодарит бога, что не был в Петербурге в этот день. Третий сказался больным и вышел в отставку, но некоторые все

же пошли, и полк все же заклеймен.

15 ноября 1861 г.

Проходят дни, месяцы проходят, студенты все сидят заключенные, и не предвидится конца их сиденью. Петербург все занят ими, об них все говорят, но оттого об них писать трудно. Не знаешь, как выбраться из роскоши материалов; к тому же на каждую новость по нескольку редакций; какая верная, нет никогда возможности узнать. В том, что я написала, может быть бездна ошибок, я не всему была свидетельницей сама; да, впрочем, два очевидца рассказывают обыкновенно об одном и том же деле различно. До сих пор не знают, сколько человек приняли матрикул, сколько посещают лекции. Еще труднее писать мне, собственно мне, потому что события прошлись слишком близко, потрясли семью, ведь брат взят. Когда общественное дело стало делом частным, взгляд на него стал пристрастнее, внимание болезненнее. К нам новости летят теперь с усиленной быстротой и, перекрещиваясь, путаются до невероятности.

4 декабря 1861 г.

Теперь я именно приступаю к тому отделу студенческой летописи, которая касается лично нас, ко взятию брата. Он мне раз поздно вечером, когда я, как обыкновенно, сидела у него в комнате, говорит: «Завтра вечером я пойду к Альбертини». — «Да ведь ты его не знаешь?» — «Познакомлюсь, там собираются студенты, и меня зовут». — «Что же вы будете делать?» — «Говорить». — «О чем?» — «О наших делах, как поступать; ведь поступать уж надо одинаково». — «Больше ведь у вас ничего нет?» — «Конечно, нет, не до политики теперь, юны мы еще, Лелька», — прибавил он, закинув голову за ручку дивана и подняв ноги. «Юны, да, это пройдет, а в школе вы хорошей учитесь», — заметила я глубокомысленно. В этом тоне разговор продолжался. На другой день я совершенно забыла об Альбертини, перед обедом была у меня Наташа Корсини, мы с ней составляли разные проекты об освобождении студентов, между прочим один: хотели отправиться только дамы, хорошенькие впереди, к государю, когда он гуляет по набережной, и подать ему адрес, уж и адрес был написан, да государя еще не было в Петербурге; его ждали в воскресенье, 8-го, а то был четверг, 5 октября; Андрюша уговаривал Наташу остаться обедать, предлагал проводить ее домой после обеда, говоря, что и ему надо в их сторону, а я и забыла, что то было к Альбертини. Наташа не осталась, после обеда и Андрюша ушел. То был его последний обед. Сегодня ровно два месяца, что он в заключении.

Говорят, и что-то верится, оттого ли верится, что хочется верить, будто завтра их выпустят… т. е. не завтра, но сегодня, теперь бьет $12^1/_2$ ночи, я пишу, сидя в постели; говорят, он сегодня днем придет, — придет ли?

Я не радовалась, пока была с мама, даже делала физиономию, будто не верю, вдруг завтра ничего! — бедная мама! бедный папа!

Вот что значит личность затронута, вот что значит субъективность и объективность, вот я и отступила от общего для близкой крошки; я возвращаюсь, куда следует.

Елизавета Яковлевна, Маша и Коля отправились к Ливотовой, туда должен был прийти и Андрюша; мы с мама остались дома. В двенадцать часов они воротились. Андрюша к Ливотовой не приходил. «Что это значит?» — сказала мама. А надо заметить, что так как студентов брали повсюду, и в домах и на улице, и мама это очень беспокоило, то Андрюша дал слово, по возможности — по вечерам и к обеду никогда не опаздывать, чтобы в урочный час быть дома, и держал слово. Пробило $12^1/_2$, нет Андрюши. Однако мы простились друг с другом и разошлись, только Елизавета Яковлевна увела меня к себе и там рассказала, что Иван Карлович прибежал к Ливотовой испуганный, спрашивая, дома ли. Андрюша, и говоря, что сейчас из дома напротив его квартиры увезли жандармы шесть карет студентов. Я хотела припомнить, куда же пошел Андрюша, где же он мог быть, и не могла припомнить. Мама и папа мы о том, что видел Иван Карлович, ничего не сказали, а Колю послали обратно к Ливотовой, узнать, из чьей квартиры увезены студенты. Коля воротился полууспокоенный тем, что студенты эти взяты у Альбертини, у которого Андрюша не бывает; тут я вспомнила, значит, ни сомневаться, ни ждать было нечего. Бедная мама пришла к нам наверх, ей не спалось, и папа не спал. Мы ее не успокоили, но и не сказали ей ничего; духу не достало, да и самим как-то все еще не верилось. На другой день было Машино рожденье, мы встали тяжело. За чаем мама заплакала, мы стали ее потихоньку приучать. Она догадалась и приняла тяжелую мысль скоро; но с папа было труднее; он не догадывался. В десять часов он отправился на постройку в Михайловский дворец, к нам стали приходить, поздравлять Машу. Коля пошел к Помяловскому. В одиннадцать часов воротился папа. «Знаете, где Андрюша? — спросил он, входя, — мне сейчас сказал в.к. Михаил Николаевич, он в крепости, его взяли у Альбертини».

5 декабря 1861 г.

В продолжение дня явился к мама кто-то военный, с тем же

известием. Этот кто-то не сказал, кем он прислан, даже просил не говорить о его появлении вообще, и старался успокоить мама, говоря, что там, «в крепости», очень хорошо и весело, и они все вместе.

Мама просила позволения послать Андрюше белья; незнакомец сказал, что не нужно, что более трех дней арест не продолжится.

Между тем прошли три, четыре дня, Андрюша не возвращался, прошла неделя. Ровно через неделю по взятии альбертинцев, в четверг, произошло то кровавое дело около университета, когда отрубили ухо Лебедеву и взяли 280 человек. Этих 280 человек увезли в Кронштадт, и надо всеми студентами нарядили следствие. Производителем следствия над здешними, крепостными, назначен Валянский, известный как хороший человек, а над кронштадтскими — Пущин, тоже хороший. Государя все еще не было.

Петр Лаврович Лавров (1823–1900), с фотографии 60-х гг., подаренной Е. А. Штакеншнейдер.

5 декабря 1861 г.

Наконец, над Зимним дворцом появился флаг, приехал государь. Тут сведения снова сбиваются, говорят, государю

навстречу ездил гр. Шувалов, шеф жандармов, и так наканифолил его, что он, приехавши, первым долгом счел благодарить преображенцев, а офицера, ведшего их, Толстого, сделал флигель-адъютантом[253]. Как бы то ни было, но студентов, не принявших матрикул, вышло повеление выслать из столицы, каждого в свой город.

Опять смельчаки стали подбивать общество на подвиги, вздумали собирать деньги для высылаемых нематрикулистов; но на этот раз, к чести общества надо сказать, труд был не напрасный; не то, что с адресами. Деньги собирались, несмотря на то, что ведь то был протест, опять заявление общественного мнения. Местами встречались сопротивления, но тогда от слова «нематрикулист» отнималась частица «не», оставалось «матрикулист», а для матрикулистов жертвовали, — в этом ничего предосудительного быть не могло.

Студентам, не желающим выезжать из Петербурга, дозволено было поступать на поруки к родственникам, но запрещалось подходить к университету, собираться большими компаниями, посещать публичные собрания.

«Украина глухо волновалась…» т. е. Петербург глухо волновался. Его волненье трудно передать. О взятых студентах между тем не было ни слуху, ни духу. Где они, каково им, никто не знал. Уж неделя между тем прошла со взятия альбертинцев; мы все ежечасно ждали Андрюшу[254]. Раз приходит к нам Павел Брюллов. «Хотите послать что-нибудь Андрюше, говорит он, я нашел лазейку».

И стала мама посылать Андрюше белья, съестного и папирос. Все это передавалось некоему Емельянову, гнусной личности, находившей в том свою выгоду. Наконец, кажется, через три недели по заключении альбертинцев, вышло позволение их видеть. Я никогда не забуду этого дня.

С.-Петербург, Миллионная.
26 декабря.

Студентская история, этот вихрь, взбунтовавший нелепый штиль нашей обыденности, стихает. Житейское море, кое-где изменив свои границы, опять входит в берега. Общество, наговорившись о том, как девицы ходят в университет, и видев своими глазами, как студенты ходили в Колокольную, тоже приходит в свое нормальное положение; не грозит ни адресами, ни демонстрациями и не говорит почти ни о чем.

Михайлова обстригли, заковали в кандалы, сломали над ним шпагу и сослали[255]. Семь человек, студентов тоже сосланы: остальные исключены из университета — нематрикулисты вместе

с матрикулистами, и университет вторично заперт[256].

Цо то бензе… цо то бензе!..[257]

1862–1866 годы
Дневник

1862 год

Ивановка, 8 апреля.

Вчера были вечером у Полонского. Я познакомилась там с сестрами Сусловыми. Мне было с ними очень ловко говорить, не так мама. Она подошла к старшей, к Апполинарии, сказала ей что-то вроде комплимента, а Апполинария ответила мама чем-то вроде грубости. Мне это жаль, очень жаль. Я только собиралась позвать Суслову к себе: хорошо, что еще не позвала. Все вышло от непонимания друг друга, как это беспрестанно бывает. Мама шла к Сусловой в полной уверенности, что девушка с обстриженными волосами, в костюме, издали похожем на мужской, девушка, везде являющаяся одна, посещающая (прежде) университет, пишущая, одним словом эмансипированная, должна непременно быть не только умна, но и образованна. Она забыла, что желание учиться еще не ученость, что сила воли, сбросившая предрассудки, вдруг ничего не дает. Суслова могла быть чрезвычайно умна, чрезвычайно тонко образованна, но совершенно не потому, что она эмансипированная девушка: пламенная охота учиться и трудиться не обязывает к тому же. Мама не заметила в грубой форме ее ответа наивности, которая в моем разговоре с Сусловой разом обозначила наши роли и дала мне ее в руки. Суслова, еще недавно познакомившаяся с анализом, еще не пришедшая в себя, еще удивленная, открывшая целый хаос в себе, слишком занята этим хаосом, она наблюдает за ним, за собой; за другими наблюдать она не может, не умеет. Она — Чацкий, не имеющий соображения. Грибоедова напрасно бранят за эту черту в характере его Чацкого, она глубоко подмечена, она присуща известной степени развития.

В тишине, в глуши, вдали от шумного света проводим мы праздники, встречаем весну. Кругом нас только немая, просыпающаяся природа, без людей. Внутри, и посреди нас самих, нам очень слышимая, нас занимающая, жизни беготня, да долетают к нам извне, издалека, еще нестройные звуки того великого концерта, на который еще музыканты не все сыгрались, да и инструменты еще не все готовы.

Неожиданно сегодня приехал Полонский, удивил, обрадовал. Он привез свои стихи. Еще привез он где-то добытую новую

прокламацию под названием «Офицер». К чему она… Какая ее цель? И что она такое… прокламация. Что такое прокламация?

Прокламация это клич, горячее слово, слово, доходящее, пронимающее, с земли подымающее, — ничего такого я не читала. Не досадно ли, что ничего не удается, точно заколдованы мы: есть смелость писать эти прокламации, есть средства, напечатали, мы пустили в свет, — не удалось, так они неудачны, напечатаны плохо. Хотели пустить их в общество, — написать не умели. Ничего мы не сделаем, одна в нем только прелесть и есть, что они опасность.

Не будь они запрещенный плод, никто бы их читать не стал. А между тем того, и гляди их творителей отыщут, возьмут, сошлют, и падут они жертвою напрасною.

Положим даже, что и не напрасною, положим даже, что и такая и всякая жертва весьма угодна нашей великой богине, все же жаль, что не только дела, да и слов-то порядочных нет.

Среда, 11 апреля.

Полонский уехал и долго не приедет: он отправляется в Москву, Киев; ему хочется пожить с москвичами в московском литературном кругу; ему это нужно для «Свежего Преданья»[258]. Бедное «Свежее Преданье», бедный Полонский, опоздавший. Не совсем приятно явиться прежде времени, но опоздать даже очень неприятно.

Всего здоровее то, что является в свое время, но, потом, уж лучше яриться прежде времени, чем опоздать. В преждевременном явлении есть молодые, хоть не развитые силы, есть задатки будущего, ну, их хоть и не разглядят, так они все же своей собственной силой крепки, а в опоздавших ничего нет. Какие в нем силы… Какие силы в свежем преданье… Силы таланта Полонского… Полонский не романист. Будь он романист, может быть, победил бы он и самую несвоевременность. Он этого сначала не разглядел. Полюбив свою мечту, он было оскорбился, что другие также не полюбят ее.

— Дядя, — сказала я однажды, — вы говорите, что «Свежее Преданье» нашло мало сочувствия, а я удивляюсь, что оно столько нашло его.

Подумайте вы сами, кого интересуют подобные вещи… Если вам нужно непременно сочувствие публики, бросьте писать. Если вы можете обойтись без него, пишите, но на сочувствие не рассчитывайте, оно не может быть, оно не в порядке вещей и не будет.

Четверг, 12 апреля.

Носятся слухи, что государь к тысячелетию России готовит ей сюрприз: хочет отречься от престола.

России от этого легче не будет, но ему будет положительно легче. В царях он один из лучших, другой лучше едва ли будет, а будет другой. Останется ли Россия на прежнем основании с новым царем, — худо, будет ли конституция, — худо: ее слишком желают дворяне-помещики, чтобы она не была к худу. Как ни кинь — все клин. И что ей не к худу. То разве, что сложится само собой, только направленное, но не ускоренное, не надколотое, как незрелый плод булавкой.

Зачем удвоенные караулы во дворце, зачем осматривают всех, входящих во дворец с узлом, зачем эти убийственные предосторожности. Кто выдумал бедному человеку эту пытку. Ведь не сам же он? За что же станет он себя казнить?..

Понедельник, 17 сентября.

Мы только что из-за границы. Ну, что же, сильны были впечатления, полученные в чужих краях? Ну, что же, сильна была радость воротиться в родное гнездо? Ни то, ни другое! Есть ли что-нибудь в Европе неизвестное, не описанное? Есть ли что-нибудь замечательное, к чему бы путешественник не был приготовлен? Есть ли что-нибудь прекрасное и не опошленное? На что смотреть? Чему радоваться? Красотам Швейцарии? Там люди портят пейзаж, заученные восторги нарушают гармонию. Там все исхожено, исщупано, избито.

Смотрели на ослепительную роскошь Парижа? Но ведь сквозь эту роскошь, пристальнее, чем вы, глядят на вас чахлые глаза пролетариата, и отвернешься с содроганием и от роскоши и от него.

Пить пиво в Германии, любуясь прекрасным устройством, наслаждаясь покоем? Но от этого покоя потянет в беспокойную Россию; а там с первой станции радости: залитые столы, грязные чашки, кофе, которого нельзя пить.

И захочется после всего этого одного: усесться где-нибудь на месте и не видеть ничего, и сообразить.

И, сообразив, придешь к тому заключению, что жить-то, собственно говоря, можно только в России. Тут хоть красоты-то неизвестны, следовательно не опошлены; тут-то хоть роскошь-то не призрачна; тут хоть от покоя не хочется бежать, потому что его нет; а грязные чашки — ну, они вымоются, это дело можно поправить.

Суббота, 15 декабря.

Мы прочитали «Мизераблей» («Les Miserables»), Мы

прочитали их уже давно. Читать меня подмывало желание высказаться о них. Сегодня на досуге превозмогла я лень или отвращенье, чтобы сказать, что хотела говорить.

Если бы «Мизераблей» не хвалили, их бы можно было довольно спокойно дочитать до половины и отложить в сторону, как скучный роман, но мне хвалят, — и рождается отвращение к нему: мало что отвращение, становится тяжело…

1863 год

Четверг, 31 января.

Не ошибается ли Белинский… В самом ли деле так отвратительна и так неуместна, уродлива (лучшего слова не нахожу) женщина-писательница…

Есть исключения, я, например, женщины неудавшиеся, брак, — об них и говорить нечего, нечего и заботиться, им дела-цели не положено, места на пире жизни нет, или есть слишком много, да только не на пире.

Если бы такая женщина имела право на дело, она бы сказала, что и она его хочет, что так как ей не положено, как всем другим, то ей надо необыкновенного, но женщина эта исключение, — она не имеет прав, не имеет голоса, у ней только отнято и взамен не дано ничего.

Зато, если бы другие обстоятельства, например, ведь могло бы так случиться, что девушка здоровая и хорошенькая, одним словом, не исключение, не такая, как я, попала бы в ту среду, в какую попала я. Белинский говорит: «Пускай она, женщина, знает то-то и то-то, а об остальном остается в милом неведении»; в той среде, в которой провела я свою первую юность, неведение было невозможно. На ведение я права не имела, но ни перестать знать, ни забыть не могла, а с этим неведением сидеть сложа руки трудно. Если делать нечего, как же быть?

Суббота, 2 февраля.

В Польше страшно. Из Петербурга выходят полк за полком и все туда. Чем-то это кончится… Устанут ли биться и сломятся ли опять под нашей железной рукавицей, или устанем ли мы…

Стрелок Васильев говорит: «Теперь кончится, мы решим…» Решите… Сегодня выходят стрелки. Полетаев говорит: «Найти только зачинщиков». У меня с Полетаевым был жаркий спор о поляках. Он утверждает, что то все заговор нескольких лиц, а масса на нашей стороне, но ее принуждают силой резать, и она режет.

Мне кажется, что заговорщиков даже не несколько, а всего один, да стоглавый: отрубишь одну — вырастет другая.

Мне кажется, что массу заставить нельзя действовать, как действуют поляки. В них остервенение. По чужой дудке плясать можно; а по чужому желанию пилить людей, резать им носы, уши и прочее, и все это класть в рот — нельзя Не потеряв головы, все это делать нельзя, а от чужой боли головы не потеряешь… Надо, чтобы у самого болело.

Я читаю Гейне, прозу его: вот чтение по мне, но делиться чтением не с кем. А Осипов… О, вы все учителя и друзья мои, где вы? Когда же приедет Лавров? Мне надо сказать Лаврову, что я не успела исполнить его совет: не напомнила Ивану Карловичу того, что он начинает забывать. Не уверь меня Лавров, что это надо непременно сделать, я бы не решилась никогда: духу не хватило бы. И теперь еще не знаю, как скалку:

«Иван Карлович, помните тот вечер…» Ну, не глупо: «тот вечер!» — точно объяснение в любви, а как же может он запомнить вечер? Иван Карлович, помните вы взяли с меня слово, что я не дам вам отстать. Помните, вы говорили, что вам страшно, страшно, когда вы видите, как стареют, как изменяют, как вам страшно, что и с вами может так случиться, и вы вдруг отстанете, остановитесь. «Поддержите меня, поддержите меня тогда, Елена Андреевна», — говорили вы, и я вам дала слово. Я его дала легко, уверенная и вас уверяющая, что никогда не надо будет исполнить его. Но вышло иначе. Вышло, что вы отстаете, отстали, стареете, а я не имею духу вам это сказать. Я себе представляю вот какой результат моих слов: вы прогоните меня к чорту (хоть мысленно), или посмеетесь над моей наивностью, или же примете слова мои к сердцу, и они вас огорчат, а пользы все-таки не принесут. Едва ли есть вам возврат. Едва ли он возможен. Ведь вы уже не тот Иван Карлович, тому бы я сказала, тот бы понял. Вы, может быть, не только забыли наш тогдашний разговор, вы, может быть, и не знаете его, тот, прежний Иван Карлович, вам его не передал.

А Лавров говорит: «вы должны исполнить свое слово». Ну, я его исполню, если должна. Лавров говорил и исполню, веря ему. Посмотрим, что выйдет.

Мыза Ивановка. Вторник, 5 февраля.

Полонский пишет повесть, он читал мне ее вчера[259]. Небольшая забавная вещь, — война барина с лакеем (забыла их имена). Или ему этот род лучше удается, или его проза окрепла как-то, стала гораздо лучше.

Воображение, верность рисунка и какая-то прелесть рассказа

были у него всегда, но с тем вместе в его рассказе было что-то такое, что должно стоять, но не стояло, а валилось киселем.

Данилевский написал «Беглые воротились» — не знаю, стану ли читать.

Его «Беглые в Новороссии» недурно, но длинно. Их читают, я думаю, не столько для них самих, как потому, что говорят: «Посмотрите, как Данилевский хорошо написал», и, чтобы посмотреть, как Данилевский хорошо написал, и читают, и потому-то, так как я уже знаю, что Данилевский хорошо написал, я думаю, и читать больше нечего.

А он на нас в претензии, зачем мама его не позвала в субботу, когда мы были, в городе: а мама и Полонского позвать не догадалась, а потом и не знала, где его искать. Он еще был в претензии, зачем мы долго не читали его «Беглых», он тоже говорит, что они очень хороши.

«Капля Таинственная» вышла в Берлине и послана в комитет иностранной цензуры. Вот Глинка и пишет Полонскому письмо, да такое, что до смерти нахохочешься, просит оказать покровительство берлинской сироте и жмет Полонского «теплую поэтическую руку»[260].

И Чаадаева приплел, и стихи на нигилистов сочинил, вот они:

Надменный нигилизма век,
Кому святое не игрушка,
Твердит что человек — лягушка
И что лягушка — человек…

5 февраля.

Читала вслух «Домби и сына» — на нервы действует. От наших родных, действительно, мы не имеем права отворачиваться, но прочитать целую громадную историю — как-то охоты нет; к тому же в переводе, по-французски. Все в той книге такое болезненное, такое мучительное и мрачное. Если это вымысел, а не общественное зло, то мы имеем право отвернуться. Вот что возмущает меня в «Мизераблях» — это наслаждение, с которым Гюго ковырял раны без нужды. Для таких больных, для таких énervés[261], как французы, это возмутительное средство, а здоровых тошнит…

Среда, 6 февраля.

Гейне в философии и политике все-таки дилетант. Когда он говорит об искусстве, его отрицание кажется умом; когда он

говорит о политике, его ум кажется отрицанием.

Суббота, 9 февраля.

Маленький Домби умер.

Какая разница: «Домби и сын», одно из первых произведений Диккенса, и «Повесть о двух городах», одно из последних.

Какая разница в приемах. В «Домби» виден громадный талант, но есть неровности, есть характеры книжные, стереотипные. В «Повести о двух городах» этот громадный талант вполне развился, неровностей нет, все характеры самостоятельны, вполне выдержаны, там все стройно, отделано вконец, художественно в высшей степени, прием какой-то необыкновенный, новый совершенно, но в некоторых отношениях «Домби» — выше.

Воскресенье, 10 февраля.

Мама и папа были вчера в Гатчине. Там, говорит мама, все мрачно под влиянием недавнего, прощанья со стрелками, ушедшими в Польшу.

Они шли неохотно по каким-то предчувствиям.

Да, в самом деле, вот узел хуже гордиева, его и разрубить нельзя, или можно? Посмотрим, теперь должно разрешиться.

О великая Екатерина, о, вы все великие, мечтающие об увеличении царства, счастливы вы, что не вам приходится за то платиться! Что принесла Польша России, кроме лишнего громкого звука в императорском титуле? Теперь плати кровавый долг предков… Иегова, наказующий детей в пятом колене за грехи отцов.

Мрачно было, говорят, прощание. Бесславно умереть зарезанным из-за угла — кому хочется? Убивать безоружных — кому хочется?

Чем же это все кончится, чем кончится?

Ивановка. Четверг, 14 февраля.

Ведь мне скучно, ведь мне в самом деле скучно. Мне надо этих говорящих, этих горячих людей, к которым я привыкла. Мне надо послушать эту речь родную.

До сих пор я не скучала. Прошедшей весной я рада была уехать из Петербурга, я была утомлена, больна, я была более всего занята трудным делом семейным, Петербург ему мешал, я рада была его покинуть. Потом мы уехали за границу, потом воротились, и опять было хорошо отдохнуть. Теперь отдохнула, что же делать теперь?

Пятница, 15 февраля.

Ждем сегодня Глушановскую, Машу Михаэлис и Печаткина, только выпущенного из крепости[262]. Я им и рада и еще более не рада. Если бы я была одна, или я б свободно принимала этих самых девушек, эту новую молодежь, но я так стеснена. Я все думаю, что будут они делать, чтобы не скучать, и не наделали бы они того, за что целый год будет их корить наш суд великосветский.

Вот эта-то неприязнь, эта нетерпимость в сестрах и маме и убивает меня. От нее и рада была уехать прошедшей весной. Я бы хотела, чтобы Маша была терпимее, чтобы она смотрела на вещи, как смотрела прежде.

Эти девушки и подходят по-настоящему к Маше более, чем ко мне, по летам и по многому мне не угнаться за ними, они так юны, несмотря на весь свой нигилизм. Нигилизм их так полон веры, что я не раз желала быть тоже двадцатилетней, как они, и, как они, нигилисткой.

21 февраля.

Великий день 19 февраля прошел, как проходит у нас все великое — незаметным, неоцененным вполне.

Но с какой точки смотрело на него правительство, что приготовило войско и велело запереть в Петербурге все ворота и всем дворникам быть при них?

Согласно ли оно в самом деле с Ф. Н. Глинкой, что мужику надо хлеба, т. е. неволи, а ему дают бламанже, т. е. волю, и думало ли оно, что освобожденный мужик вооруженной рукой будет ломиться в затворенные ворота, требуя неволи? Или, может быть, думало оно, что помещики взбунтуются? Появилась еще прокламация, и едва ли не лучшая из всех являвшихся до сих пор. Эта прокламация с печатью «Земля и Воля», по поводу Польши.

Да пройдет она благополучно, не наделав бед!

Пользы от нее, т. е. достижения той цели, для которой вообще пишутся прокламации, вероятно, не будет, хотя написана она с большим одушевлением, чем все прежние, но упаси бог от беды. Потянут опять невинных с виновными, опять жертвы падут: а их, юных и радостных и готовых итти на жертвоприношение, хоть на заклание, так много.

22 февраля.

Сегодня опять великолепный день. Говорят, что через шесть недель все будет зелено, потому что гуси несутся. Снегу в этом году мало, а потому поля уже почти обнажились, а воздух, воздух какой! А мне скучно. Скучно, потому что душу отвести не с кем.

Застой грозит, но только не для меня, моя песня спета, а для сестер.

Слава богу, слава богу, что Андрюша не едет в Гейдельберг[263]. Он — последний краешек голубого неба, он еще приносит хоть сколько-нибудь свежего воздуха, но мало. Он, как и я, слишком свой, чтобы много сделать. Он, как и я, не только не приносит нового, но подпадает сам под влияние пошлости, сила перетягивает.

Ах, сестры, мои сестры! Как бы хотела я открыть вам всю душу, сказать, вам правду, и — нельзя.

И найти вас не могу, и не дадут нам, да и духу нет, в себя веру потеряла.

Да уж и самое то, что Маша считает меня одержимой теми недостатками, против которых я восстаю, уже одно это лишает меня всякой силы, и я не смею говорить.

28 февраля.

Пятнадцать градусов морозу и солнце. Деревья, солома, которою укутаны редкие растения, палисады — все в инее; река дымится.

Сквозь пар пробиваются лучи выходящего солнца и кидают длинные тени по мерзлой побелевшей земле. Бирюзовое небо над этой белой землей великолепно.

Вторник, 5 марта.

Получила сегодня письмо от Андрюши.

Светлая личность — юность.

Что за плодотворная почва наша!

Разбери ты нашу страну, Бокль, расскажи мне, отчего в этом черноземе, пропитанном столько столетий потом рабов, среди всевозможных мерзостей, обманов, двоедушия, среди прошедшей лжи, неизбежной путаницы нашего детства, и среди современной неурядицы произрастают личности, подобные личности моего брата? Откуда берутся они?

Каким законом или Чудом каким растет у нас то, что не сеется? Откуда этот пышный цветок?

Я вижу в Андрюше не моего брата, я вижу в нем современного человека, нового человека. И это отрадное явление наполняет меня такой радостной гордостью, какую я и описать не могу.

Ах, только сестры, сестры мои!

Когда же луч правды озарит ваши маленькие заморенные сердца? Никогда, если не отойдет та, которая мешает правде. А как же ее отвести, несчастную?

Вот я на чем когда-нибудь помешаюсь.

Четверг, 7 марта.

Брошу детей, им ведь ничего не сделаешь, (а правду сказать сил нет), и уйду наверх, в Софьи Ивановны комнату.

В прошлом году я всеми силами держалась за них, потому что нам грозил раскол. Они, назвав себя смиренно *отсталыми*, гнали нас, назвали нас *студентами.* Они лучше всего любят сидеть или, вернее, лежать у себя наверху, на диване: лежать и вянуть в истериках, в вечных жалобах на скуку, или приготавливать наряды, в которые, впрочем, одеваться было лень.

Тогда, чтобы не дать им совершенно отделиться, я всеми силами вливалась в них. Говорить я не хотела, да и не могла. Мне хотелось исподволь, помимо них самих, познакомить их с нами, *студентами),* с лучшим воззрением, с этой чистой и возможной нравственностью, представителем которой является Андрюша.

Я вошла в них, стала говорить их языком, интересоваться, чем интересовались они: но на место того, чтобы поднять их к лучшему, опошлилась сама.

Моему плану помогло то, что мы оставили Петербург, но в то же время и повредило. Я могла быть постоянно с ними, но какая польза от меня одной? Если бы я была проводником лучших воззрений, тогда бы еще хорошо, но, запертая от внешнего мира, я им не приносила живой воды, я опошлилась сама.

Воскресенье, 10 марта.

Какую чудесную книгу я читаю. Вот подобные книги могут восстановить падший дух. Эта книга — «Geschichte der Civilisation in England» — Bucle[264].

Я вчера напала там на одно место, где Бокль, говоря о преимуществе *знания* над *моралью*, подводит то заключение, что с умственным развитием *только* стали войны реже; что самые нравственные учения ничего против них не могли, что только с образования нового класса людей, людей мыслящих, деятельных, одним словом среднего сословия, стал уничтожаться воинственный дух. В доказательство своих слов он приводит Россию, где, говорит он, среднего сословия совсем нет, все молодые люди стремятся в военные, и все невоенное презирается. Между тем, замечает Бокль, страна эта не безнравственнее других, она религиозна, духовенство в ней уважается, но она военная по преимуществу, потому что невежественная.

Я остановилась на этом месте потому, что не узнавала моей России.

Где-то была огромная ошибка. Я ее отыскала наконец: Россия

1855 года, в котором писал о ней Бокль, и Россия моя, которую я знаю в 1863 году, не одна и та же.

О, радуйтесь же, радуйтесь, кому дорого все благое, кто сердцем сочувствует преуспеванию своей страны.

Смотрите же, какой огромный шаг сделала в эти восемь лет! Посмотрите, ее узнать нельзя!

Жозефина Антоновна Рюльман (1844–1920), портрет маслом 60-х гг. неизвестного мастера.

О, когда будет у нас свой Бокль, чтобы разобрать ее, эту необыкновенную страну?

Когда объяснят, каким законом делаются в ней чудеса?

Бокль говорит: «В России военные всех презирают». Как военные презирают? Военных все презирают, — так по крайней мере мы привыкли знать.

Привыкли? Вы? Давно ли? В восемь лет! В восемь лет такая перемена. Еще наши родители не опомнились, а уже наши дети не поймут даже, что их так поразило.

Бокль говорит: нет среднего сословия! Кто же это наделал, нечто, от чего не могут опомниться?

Кто пугает правительство? Призрак, что ли? Нет, это не призрак. Не призрак правит делами в Сибири, не призраками полна Петропавловская крепость.

Воскресенье, 17 марта.

Есть много о чем писать: ведь я была в городе. Немножко попиталась, видела довольно много Лаврова, в среду едем опять в концерт Балакирева.

Есть много о чем писать: в городе я столько слышала, стольких видела, была на чтении в пользу студентов.

В четверг выпускают Кудиновича, он просидел в крепости девять месяцев[265]. Чернышевский еще сидит[266]: взяты и авторы последней прокламации о Польше («Земля и Воля») Жуков и Степанов. Они приговорены к расстрелянию[267]. Вот и еще жертвы.

Они взяты около Острова, в мужицкой избе или харчевне. Они остановились ночевать, с ними были и прокламации, и печатный станок. Они вздумали читать их мужикам: мужики их схватили, связали и привезли в Петербург. Дорогой они откупались большими деньгами, но мужики не сдались.

Понедельник, 25 марта.

Вышел «Современник», № 3. В нем роман Чернышевского[268]. Я этим романом наэлектризована. Он мне доставил наслаждение, какое доставляли книги в юные годы, он мне согрел душу своим высоконравственным направлением, наконец, он объяснил то восторженное… поклонение… иначе назвать не умею, которое питает к его автору молодое поколение, то влияние, которое он на него имеет. Мне теперь понятны те слышанные мною дерзкие отрывки речи, такие антипатичные на первый взгляд.

Страстная недоля. Четверг, 28 марта.

Кудиновича выпустили, я была в то время в Петербурге, он пришел к нам такой радостный, такой праздничный; я приняла его сухо. Я это только поздно заметила и пожалела. Не то чтобы совсем сухо, но не так радостно, как он, как будто равнодушно, а

между тем я не была равнодушна.

Четверг, 4 апреля.

Полонский хочет на лето нанять в Гатчине (вот было бы хорошо) дом.

«Найми, дядя, — говорю я вчера, — если ты хочешь, если это доставит удовольствие».

«Найму, тетка», — отвечает дядя.

Между тем он также едет в Москву и в деревню к Тютчевым; и в деревню к брату своему Дмитрию.

Потом, нанять в Гатчине он может в таком только случае, если получит место младшего цензора (иностранный цензор)[269] и две тысячи пятьсот рублей жалования без квартиры, которую тогда сам будет нанимать.

Когда Полонский сделается цензором, немецкие книги цензуровать буду я.

Пятница, 5 апреля.

Сегодня во время обеда явился вдруг Майков.

Суббота, 6 апреля.

О Чацкий, как завидую я твоему несравненному дару! О наивность, хоть ты бы не покинула меня. Какое богатое поле для красноречия Чацкого — беседа с Майковым. А я не умею воспользоваться. Мне его суждения были до того дики, что и отвечать было нечего, и досадно даже не было.

Началось дело с Польши, в которой, выражаясь словами старого, сенатора, «француз гадит».

А что умные люди говорят?

Умные люди говорят: полякам надо сочувствовать, а дураки говорят: вон они и Курляндию, и Киев, и Волынь хотят. Тут уж не свобода, тут до России добираются.

Отечество в опасности!!!

Океан в опасности: в него грозит влиться капля. Уж ищут, конечно, вопрос не в свободе Польши, теперь вопрос — не взяли бы они России.

Ну как косиньеры придут да косами-то своими скосят пол-России.

Как бы Чацкий об этом предмете распространился. Как бы стал убеждать Майкова. «Вот то-то — и есть», — говорила обрадованная мама, но Майков не смотрел на нее, он смотрел на меня.

Мне его глаза надоели. Будь Маша и Оля там, я бы отвечала, а то для кого ратовать? За истину? Я не Чацкий…

За Польшей следовал Катков, «великий», «достойный только быть редактором «Таймс».[270] Потом возник вопрос; какое мое мнение о «Что делать». Потом прошлись по молодому поколению.

И все время черные зрачки его, в уменьшенном виде блестевшие на выпуклых очках, искали моих глаз.

О дух Чацкого, что ты не посетил меня!

Шутки в сторону, не потеряв головы, разве молено спорить с… ну, назовем их хоть Катковыми. Спорить без веры нельзя, а во мне не только нет веры убедить Майкова в несправедливости его взгляда, но нет веры и в то, что он сам убежден в его справедливости.

Воскресенье, 7 апреля.

Давно, давно, может быть, с самых светлых дней юности, я не была так потрясена восторгом, как вчера. Вчера Майков читал «Смерть Люция»[271].

Если бы сегодня надо было, пешком пройти шесть верст, чтобы услышать ее, я бы пошла. Восторг был общий, потрясающий, только, к несчастью, его так трудно вполне выразить. Разве, как графиня Толстая, ломая руки, сказать про Люция: «Консерватор, и так прекрасно умирает!».

Да, картина смерти старого Рима и картина новой жизни, эти стены в подземелье — великолепны.

Великий художник Майков, великий поэт!

Лаврову нравится первая часть больше. Отчего.?

Или я подкуплена чтением, что не согласна с ним?

Вчера все решили, что лучше вторая, сам Майков того же мнения, но Лавров и Полонский противного.

Но только, Майков, Майков, ведь ты наш?

Вторник, 9 апреля.

Раз я говорю: «Серебряного» надо бы пустить в продажу по дешевой цене, для народа».

«Зачем вы хотите отравлять народ? — говорит вдруг Лизавета Яковлевна, — вам, esprits forts[272], везде надо вливать каплю яда».

Какой яд, что такое, что такое «Серебряный», что такое народ? Я хотела было отвечать, но тут Маша восстала за народ же, который я отравляю, и я замолчала, и осталась со своей каплей яда на душе.

Безнравственное влияние!

Пока мы тут заняты своими мелкими делами, кропотливо живем и мучаемся и мучаем других, пока весна идет в своем величии и блеске, польский вопрос стал вопросом европейским.

Нам грозят Франция и Англия. До какого униженья мы дошли!

Наполеон требует, чтобы уступили полякам все губернии, которые они желают, и порт Либаву, в противном случае… что? — Война!

Пятница, 19 апреля.

Была в городе и опять скоро поеду. Отдали все квартиры, и надо искать новую: мама берет меня с собой, я ничего не ищу, ничего полезного не делаю, так, сбоку припека.

Учреждается новое общество для доставления средств неимущим женщинам зарабатывать хлеб честным трудом. Лавров записал мама и меня в члены-учредительницы и полагает на меня какие-то надежды. Это общество должно состоять преимущественно из женщин, и женщин всех элементов — нигилисток и аристократок включительно.

Но так как от этого соединения может произойти бог знает что, то нужна середина: ядро, как выражается Лавров.

Я своей длинной косой только принадлежу к аристократкам, впрочем: every inch a nihilist![273]

Но Лавров думает, что я должна буду принадлежать к составляющим ядро.

Посмотрим, что это будет, скоро первое заседание[274]. Лавров нас к нему выпишет.

Суббота, 20 апреля.

День рождения Володи, ему сегодня двенадцать лет. Ему подарили маленькую модель локомотива, и он в таком восхищении, какое трудно описать.

В день рожденья государя, 17-го, вышел манифест об облегчении телесного наказания, о совершенном отменении кнута и каторги для женщин.

Раскольники прислали государю адрес с проявлением верноподданнических чувств, предложением двадцати пяти миллионов рублей серебром и некоторыми просьбами о льготах Адрес подписан пятьюдесятью или шестьюдесятью тысячами! «А мы-то, православные?» — говорю я Лаврову.

«Да ведь это верноподданнический, такой бы и мы подписали», — отвечает Лавров.

«Попробуйте, — говорю я, — никто не подпишет, не поверят». Лавров захохотал во все горло.

«Не поверят! — говорил он, — не поверят…» — и еще пуще хохотал.

Говорят, 17-го собиралась ко дворцу депутация от дворовых с благодарностью.

Вышла новая, вторая прокламация, под фирмою «Земля и Воля».

Все опять растопило, и разнесло, и никакого пути нет, и зимний снег, и весенний град, и прокламации, и благодарности.

Всякая истина, брошенная в мир, в какой бы форме она ни была и в какое бы время ни являлась, все благо для мира, но бывают формы и бывают времена, вредные для нее самой.

Говорят, конституция пишется и для нас и для поляков.

Что-то будет, что-то будет!

Гнусный «Русский Вестник»! Гнусный Катков!

«Вооруженное восстание в Польше не может тревожить нас. Шайки мятежников редеют и исчезают одна за другою: с каждым днем все яснее обнаруживается несостоятельность и бессилие восстания, которое однако стоило так много крови» («Русский Вестник», № 2, 1863).

Что это такое?

Пятница, 27 апреля.

Будет война или не будет? — вот великий нынешний вопрос[275]. Будет? Не будет? И выпало сегодня на: не будет! Польские дела идут (судя по газетам) плохо. Ну, если бы и удалось затушить это восстание, — лет через двадцать разве не вспыхнуло бы оно снова?

Между тем Кронштадт укрепляют, делаются военные заготовления, бессрочно отпускные пошли.

Дворянство со своими глупыми адресами опять храбрится, опять хочет лить свою дурную кровь[276].

Суббота, 4 мая.

Я опять переменила методу, я решилась говорить с Машей, меня к тому побудили два обстоятельства, — но о них после.

Мне самой очень плохо, очень невыгодно, Маша расплакалась, Лизавета Яковлевна[277] спросила о чем, потом они часа два сидели вдвоем, и теперь Маша вышла бледная, закутанная и не смотрит на меня. Ничего, может быть, хоть одно зернышко да попало куда следует.

Долго опять буду молчать, а там опять поговорю.

Трудно, трудно! Один исход, по чистой совести, и есть, да на него силы нет.

Вечером.

Маша говорила со мной, она не дуется, мы говорили о «Что делать». Аля у нас. Аля едет за границу и зовет меня с собой. Андрюша заставляет настаивать на том, чтобы ехать, и сам

настаивает.

Мама тревожилась, как отпустить Алю одного, согласилась отпустить с ним меня, но как дошло дело до серьезного и папа согласился, она не соглашается.

Я тоже, как она, сначала заинтересовалась, а как папа согласился и все препятствия отстранились, — меня страх взял.

К тому же Андрюша одной фразой отнял у меня охоту.

Вообще он умеет говорить мне фразы, как волшебным запрещением останавливающие меня.

Он сказал: «Поезжай, Лелька, это тебе будет полезно, это тебе нужно!».

Как только заговорил он о моей пользе, кончено! Вся охота пропала. Точно так осенью было решено, что Лизавета Яковлевна уйдет Я не препятствовала. Вдруг Андрюша говорит:

«Вот и прекрасно будет, она уйдет, дети опять воротятся к тебе, ты будешь опять иметь на них влияние».

С этой минуты я стала препятствовать.

И воспрепятствовала я до того, что теперь совесть грызет при мысли о детях!

Что оскорбления, наделанные ею мне, — я их могу забыть, я их забыла; но дети, которым на моих глазах наносили вред, — этого забыть не могу, не должна.

Вот одна из причин, побудивших меня говорить с Машей: ей сватают жениха. Вся эта история мне очень не по сердцу, мне так грустно, точно Машу продают. Но мама говорит: «все судьба, и попробовать можно».

Я обращаюсь к Андрюше, он отвечает: «родители правы совершенно так поступать».

Меня все это не убеждает и не утешает.

9 мая.

Завтра хотел быть Полонский, но вот, говорят, нельзя ехать даже в Гатчину из Петербурга без паспорта. Это затруднит многим и может завтра помешать Полонскому. Кажется, война неизбежна.

Скверное положение России. За границей ругают. Нашим барыням, говорят, житья нет в Париже, везде карикатуры, насмешки на русских.[278]

Если это выгонит барынь из чужих краев, так хорошо, довольно они посрамили Россию.

Россия, Россия, родная, до чего доигрались с тобой! Какого тяжелого драматизма полно положение всякого мыслящего русского.!

Я бы хотела теперь быть полячкой и с чистой совестью от

всего сердца биться за родную землю.

Франция и Англия, и против вас биться не стыдно, но это растерзанное польское тело мешает.

Суббота, 11 мая.

За теплыми днями пошли холода; черемуха цветет. Ждем сегодня вечером гатчинских дам, гатчинскую аристократию.

14 мая.

Кончу «Современник» за апрель. Отрадный журнал. Единственный не портящий кровь. Единственный честный, единственный добрый.

Говорят, в Петербурге будут конференции по польскому вопросу.

Сегодня опять думают, что войны не будет.

Суббота, 18 мая.

Третьего дня были мы у Ливотовой.

Она вдруг говорит: «Слышали вы, Утин пропал? Говорят он замешан в какую-то очень важную историю и потому скрылся»[279].

Меня до глубины души потрясло все это: и это внезапное исчезновение, и уж этот тотчас готовый наговор, что Утин скрывается от полиции.

Мне кажется, что очень горячее защитничество чаще вредит, чем помогает друзьям, потому что так же горячо, как защищаешь и нападают только враги, а оставишь по возможности в покое, — и они отстанут.

Я не поперечила Ливотовым. Но рассказала, что Утин два раза просился за границу и два раза ому отказывали, и он, может быть, потому изворотился собственными средствами.

Перед тем мы говорили о Корсини.

«А где Наташа?» — спросила Лиза.

«За границей».

«Ну, так Утин уехал к ней!».

И все повторили, что он уехал к ней.

«Ну, и слава богу!» — подумала я.

Однако вся эта история меня интересовала Я ждала Андрюшу. Он пришел и вот что рассказал. Несколько дней тому назад сказал Утин своему отцу, что едет в Гатчину, к нам[280]. Уехал и не возвращался. Кто искал его у нас, не знаю, но мне ужасно, жаль, что я его не видала.

Суббота, 25 мая.

Польский вопрос раздается все громче и громче, он сделается ощутительным.

Невольным образом я становлюсь на сторону поляков. Собственно говоря, я к ним особенной симпатии никогда не чувствовала, напротив того; но теперь, когда на них взводят бог знает что, когда они слабы, мало того, что слабы, — в наших руках, и бьются так отчаянно за свободу, за родину, за мать свою? Теперь, когда мы-то виноваты во всем этом великом несчастье, этом безвыходном несчастье, теперь я не моту не защищать их. Польский вопрос растет в громадное безобразие. Было время, еще несколько месяцев тому назад, когда желалось и казалось возможным освобождение Польши, т. е. освобождение, дарованное нашим правительством, как соглашение на все их требования, признание всех их прав, кроме прав на наши западные губернии, — и вывод наших войск из герцогства Варшавского; теперь это почти невозможно: польский вопрос вошел в русскую кровь, он заразил всю Россию, народная ненависть встала, ей поперечить опасно.

Несчастье еще безвыходнее.

И есть люди, — да что я говорю, это большинство, — которые радуются адресам дворян, радуются нашему воинственному духу. Разве не видят они, что это запутывает дело, что развязка становится все труднее и невозможнее, что крови будет литься все больше и больше… русской крови, о которой они так тужат. Не дурной крови русских дворян кичливых, а бедной крови русских солдатиков, неповинных в этом кровавом деле.

Тяжелое время, чем кончится оно?

О Екатерина вторая, мать отечества!

Спасибо тебе! Это твой старый грешок проклятием лег на наши души. Тебе обязаны мы и этим несчастьем, этим позором.

Тяжелое время, с чем выйдем мы из него?

С новым позором и с Польшей или только с позором и без Польши! Или без позора и без Польши?

Нет, это было бы слишком хорошо!

31 мая.

«Что делать» — плохо, третья часть очень слаба. Тенденция хороша, так хороша, что сама идея-то невозможна.

Немцы какие-то гуляют по нашему саду и так орут, что я того и жду, что им что-нибудь скажут и выйдет grosses Skandal[281].

Этот жених, что сватался за Машу, хочет теперь жениться на мне. Сохрани господи и помилуй нас обеих с Машей.

«Княгиня будешь», — говорит Марья Петровна. Нашла чем подстрекнуть.

Полонский гостил у нас три дня. С «Временем» случилось большое несчастье, его запретили за статью Страхова о Польше. В чем собственно она заключалась, не могу сказать, потому что хорошенько не знаю, мы номер с нею не успели получить, он был отобран у книгопродавцев [282]. Полонский в отчаянии, да и кто не в отчаянии. Страхов более всех: Достоевские жили журналом, цензор Це потерял место. Хуже всего то, что статья не только написана в духе, противном правительству, но, что хуже всего, в духе, противном общественному мнению. В Москве всполошились, вступились за русскую честь, а Страхов под статьей подписался «Русский».

Только со Страховым, только со «Временем» — могло случиться подобное обстоятельство. С этим бледным, не высказанным журналом, добродушным и туповатым.

Суббота, 1 июня.

Совсем нет, мы этот номер «Времени» получили, как следует, в апреле, и статья называется «Роковой Вопрос». Полонский, такой бестолковый, не объяснил хорошенько. Вчера Полетаев ее открыл, и я сама ее читала уже недели три тому назад, не то, что читала, но заглянула в нее, прочла страницы две, потом она мне показалась такой чушью, что я ее бранила, не разрезав остальных листов.

Забыла сказать, что я член нового общества «Издательская Артель»[283]. Это, мне кажется, будет лучшее из учреждений, когда-либо у нас учреждавшихся. Его цель — издание детских и учебных книг.

Оно состоит из ста женщин, которые вносят по семнадцати рублей в год, издают книги, часть выгоды от которых идет в капитал, а другая часть разделяется между участницами.

Из среды же участниц избираются два писаря и кассир. Учредительницы этого общества — Надежда Александровна Белозерская и Анна Николаевна Энгельгардт.

Меня о нем известила через Машу Михаэлис Белозерская.

1864 год

24 июля.

Когда Чернышевскому читали приговор, кто-то из толпы бросил ему букет цветов[284]. Нет, эту историю с букетом я принималась описывать четыре раза, и, кажется, не напишу никогда. Я не могу смотреть на нее довольно хладнокровно и объективно. Это кажется так просто, короткими словами можно

сказать. Привязанному к позорному столбу Чернышевскому Маша Михаэлис бросила букет цветов. Совершилось это событие 19 мая 1864 г., в восемь часов утра, на Мытном рынке, в Петербурге.

Чего проще? Не бросают ли ежедневно гроши проводимым по улицам арестованным. Кто обращает на это внимание? Но бросить букет цветов политическому преступнику — как это можно! А если вдруг оттого сделается бунт, революция? А если оттого сделается землетрясение? А если букет начинен порохом? Может быть это орсиневская бомба в виде букета… Впрочем, это пустяки, этого никто не боялся, это я только язык точу.

Машу Михаэлис взяли, посадили в карету и отвезли в Третье отделение не потому, что боялись чего-нибудь от самого букета; что ж букет, — букет ничего не может сделать, — но это была демонстрация. Что ж, Маша Михаэлис — представительница чего-нибудь? Что ж, эта толпа, которая не шелохнулась, не колыхнулась, покуда ее брали, прикасались к ней полицейские неумытыми руками, — не ее соумышленники? Или она демонстрацию сделала одна, сама собой? В таком случае, действительно, можно испугаться, ведь сверхъестественного и боятся. Или, может быть, в том и заключалась демонстрация, что дали ее взять, оскорбить, посадить в карету; чтобы она сама обругала дураком полицейского, который полез было за ней в карету, и послала его садиться на козлы?

О люди, люди! И вам писались прокламации? Да вам басни Крылова нельзя читать без объяснений! Вам только и годится «История России» Ишимовой, куда вам прокламации! И вы сердитесь на Писемского за «Взбаламученное Море»? Да вы бы уж заодно, и зеркала все перебили.

Как, у вас на главах берут девушку, за букет, брошенный ею преступнику, которому и сами вы ведь сочувствуете из-за угла, — и ничто в вас не колыхнулось. Кроме радости, что нигилистка попалась? А помните, вам нравилось так, что студенты служили панихиду по полякам? И пели польский гимн, и столкнули с паперти католической церкви полковника? Какой девятый вал нес вас тогда? Чему вы радовались? Ведь русские студенты молились по полякам, убившим русских; ведь толкаться скверно, полковник мог шею сломать. А что приключилось от букета?

Что полиция захватила Машу Михаэлис, это ничего (она должна была это сделать), но что вы на нее напали, вы, наше либеральное общество, — это и ново и дико.

Машу спрашивали на допросе: родственник ли ей Чернышевский? «Нет». — «Так что же он вам? Зачем же вы бросили цветы?» — «Я в него влюблена», — отвечала Маша.

И общество подхватило эти слова и понесло по всем

гостиным: «Она сказала, что влюблена в него!!!»

Добрые люди и за нас испугались. «Представьте себе, — говорят они, — Машу Михаэлис называют м-м Штакеншнейдер[285], урожденной Михаэлис». Каков ужас!

25 июля.

Это не нигилистка, это московская барышня, т. е. в ней больше сознания[286]. Она вышла из общей колеи не во имя идей, а потому, что в ней ей было неудобно; пошлости, мерзости ее натура не хотела переносить. Смелости у нее хватило, на то она и барышня. Это одна из тех девушек, которые выходили в старину замуж за лакеев и кучеров, или уходили в монастыри, делались ханжами. Замашки барства видны в ней во всем; воспитанная на рабстве, она рано, выучилась презирать. Почувствовав себя выше среды, ей было нипочем бросить родовой быт свой и семью. Дворянская кровь самодуров-праотцев не может не сказаться: «захочу и сделаю», — шепчет она. Совсем другое дело нигилистка.

Понедельник, 17 августа.

Последние несколько, дней были очень хороши. Было много народу, как в старину. Затрагивались разные вопросы и осуждались очень горячо. Полонского заговорили до хрипоты, у него даже заболела грудь. Предметом спора было, искусство. Полонскому искусство — насущный хлеб, нам оно — роскошь конфект.

Вчера перед отъездом Гоха и Бертельса опять спорили, на этот раз о неизбежности преступления. Мы, т. е. Аля, Бертельс и я, утверждали, и будем, вероятно, всегда утверждать, что знание — единственное спасение.

Теперь опять все тихо, пусто.

Вторник, 18 августа.

Меня смущает этот бедный народ, этот оборванный брат подле брата богатого. Как другие сходятся с народом, как они учат его? Выходит ли что-нибудь из их учения, или они только, воображают, что выходит? Как за это взяться? Просто, пойти, напустить на себя bonhomie rustique[287], и говорить с ними? Да с какой стати, что между нами общего? С чего я начну разговор? Шла взять книгу, читать, — вдруг едут гости, заседание внезапно прерывается. Гости остаются три, четыре дня. С ними идут гулять по деревне, оборванный брат стоит без шапки. Гости уезжают, опять начинать общение с народом. Надо пополнять свои дворянские досуги. Становиться рядом с мужиком, чтобы разница

была виднее: я-то какой развитой, а ты-то какой невежда! я-то корчусь перед тобой, а ты стоишь спокойно и покорно; ведь нет таких барских причуд, которые бы тебя удивляли. Иногда мы сидим даже рядом, хлебаем из одной чашки, напиваемся вместе пьяны, — это уж полное общение с народом.

Нет ничего между нами общего, мы так разошлись, что каждое сближение кажется оскорблением скорее, чем добром, а между тем это присутствие нищеты, невежества, это страшное невежество щемит душу, мешает, как бельмо на глазу; с него не отвести глаз, оно мучит, давит. Этот пышный дом — и подле несчастная избушка. Эти пышные люди — и подле эта грязь, этот смирный вид, это ломание шапок! Скорее хочется отстраниться, чем приложить свою руку. Совестно! Не даром пословица: сытый голодного не понимает.

Зайдешь к больному, заглянешь глубже, в самый быт, и еще хуже, руки опускаются. Танцовала рыба с раком, а петрушка с пастернаком. Нет, вернее, сказать: танцовала рыба с петрушкой, а рак с пастернаком.

Вечер.

Вам не нравится много слов и мало дела. Самые слова не нравятся, они кажутся не теми, найдите те. Почувствовать легко, определить, что надо, словами — трудно. Слов много, слишком много, они все теснятся, кроме настоящего, Лавровы не едут и не отвечают на мою записку; неужели они рассердились, на эту глупую поездку в этот глупый Дудергоф, на этот глупый праздник.

В «Кладарадаче»[288] напечатано, что Машу Михаэлис высекли за букет, и нарисовано, как секут; что за пошлость!

21 августа.

Странно подумать, но. Иван Карлович сам мне говорит, что студенческая история и наш нигилизм, и наши пожары и прокламации — все это польские дела. Пусть будет так, что касается пожаров и прокламаций, но нигилизм и студенческую историю старшее поколение посеяло собственноручно, или собственноустно. Это молодые всходы семян, брошенных им, и я знаю, и я видела), что Иван Карлович выходил сеять[289]. Если в его руку было вложено польское семя, — очень смешно!

В 1861 году на поляков смотрели не так, как смотрят теперь, в 1864 году. Их тогда не любили, по старой памяти, по преданию, инстинктивно, но во имя прогресса, свободы, во имя многих прекрасных слов — силились полюбить.

Теперь отношения яснее обозначились, инстинктивное

отвращение оправдало себя и уже не скрывается. Прогресс и прочее — скинуты, как парадное платье, и заменены преданием, этим покойным халатом. Теперь прогресс надобно спрятать под спуд, благо он из моды вышел. Чем все были увлечены тогда? Какой перец попал в пищу и возбудил до такой степени жизненную деятельность? Какой девятый вал нес все наше общество? Если бы не было за ним теперешней реакции, можно было бы подумать, что все идет своим чередом; что это не преждевременное возбуждение, но совершенно нормальный ход. До реакции многие и думали так, и радовались. Господь, утешь их!

Но все же старшее поколение и в самом увлечении своем не совершенно, забывало осторожность, оно было часто неосторожно на словах, редко на деле. Совсем не то поколение молодое. Оно на самом деле протянуло руку студентам-полякам, и, когда товарищи студенты неохотно принимали ее, пошли за ними в их церковь, чтобы большинством подкрепить несколько опасное дело, чтобы опасность разделить с ними, если нужно, чтоб закрепить союз.

Я сама видела, как они шли по Невскому. Студенты, студенты, студенты, все в католическую церковь. Я сидела тогда в карете перед магазином Алпатова, где мама покупала чай.

Это была странная выходка, на трезвый взгляд даже довольна безобразная. Наши студенты хорошо делали, что сближались с товарищами, но что служили они панихиду по убиенным полякам, — было бы натяжкой, если бы не было демонстрацией; а на демонстрацию можно бы было найти и другой случай, — их было довольно.

Правительство смолчало, тогда, сорвало гнев свой на одном Андрюше, да несколько поляков было взято[290]. А наши студенты не удовольствовались своим пилигримством. Они еще письменно изложили свой подвиг, и скрепили своими именами. Но вот как все было, — ведь все стушевывается временем, забывается, лучше же рассказать, что еще помнится.

Студенты ходили служить панихиду[291], должно быть, в средине марта 1861 года. Помню, что день был чудесный и что их шло очень много и что это было часу в третьем, в самый разгар гулянья. В церкви они пели польский гимн.

В их числе было несколько кадет. Один полковник вошел в церковь и, увидав, что там: происходит, и заметив кадет, принялся записывать их имена. Студенты ловким маневром укрыли собой кадет и, став между ними и полковником, теснили его помаленьку, и вытеснили, наконец, на паперть и с паперти; он, говорят, упал, или чуть не упал (уж я теперь не помню) на

улицу. Конечно, все это не обошлось без крупных слов, на полковник уехал, не записав никого.

Вечером мы были у Ливотовой. Там только и говорилось, что о подвиге студентов. Кто этот полковник? В «Колокол» его! Подавайте нам его имя! — кричали самые горячие. Но имен никто не подал, и горячие кипятились понапрасну.

Что такое это было? Слышите этот восторг, это одобрение всего, что сделали студенты, негодование против полковника и нынешнее негодование тех же самых людей против Маши Михаэлис, бросившей букет Чернышевскому. И это не единственный пример поощрения старшим поколением молодого поколения. И ему ли теперь отрекаться от своего произведения, от своих собственных детей, незаконных, может быть, но все же своих, и сваливать все на поляков. Или оттого старое поколение и отрекается от молодого, что оно незаконное? Полноте, ведь это грех юности. И кто господу не грешен, царю не виноват!

Про царя я вспомнила, ей-богу, вам не в упрек.

Среда, 26 августа.

Вчера, в проливной дождь и совершенно неожиданно приезжали Лавровы. Мы им весьма и весьма обрадовались. Они привезли «Небожественную Комедию» Красинского, и Лавров ее прочитал. У него она в рукописи переведена, не знаю, кем, для «Заграничного Вестника», но, вероятно, не пройдет цензуру. Не то, чтобы направление в ней было нецензурно, но слова иные нецензурные, а из песни слова не выкинешь. Красинский — мессианист, и свое направление дал и драме. Эта драма — борьба 1848 года, представленная чрезвычайно фантастически. Вообще во всем произведении сила фантазии изумительна и чрезвычайно изящна.

Вторник, 1 сентября.

Говоря с Лавровым, я часто переношусь мыслями в прошлое, и думаю: подле меня сидит Осипов. Я нахожу большое сходство между Осиповым и Лавровым[292]. Лавров к разговору относится точно так же, как относился Осипов. После Осипова со сколькими я сходилась, с кем ни разговаривала, но только в одном Лаврове нашла то, что потеряла в Осипове, чем он меня избаловал. Это особенное понимание, это интересование разговором. Для Осипова и Лаврова каждое слово имеет смысл, для всех других, кажется, только некоторые слова. С ними разговор идет легко, не затрудняясь, не спотыкаясь. С ними я чувствую себя на ровной дороге, на твердой почве, а главное, я знаю, что с ними не потеряется ни одного слова, ни одного оттенка; это умы глубоко

симпатические. Но разница между ними та, что Осипов всегда был одинаков, а Лавров иногда бывает не в духе, и тогда не понимает ничего, и с ним тогда приходится спотыкаться, как с другими.

Мы не друзья. Друзья делят все между собой, мы не так, я не так. Я не только не разоблачаю перед ним своей души, — напротив того, перед ним я как можно тщательнее скрываю свое горе, — радостей у меня нет, — свои сомнения и недоумения, иначе… — что иначе?

Помните одну басню, про пустынника и его друга — медведя? Я ее помню и знаю по опыту. Если я жива, так это не потому, что друг не усерден, а камушки попадаются маленькие.

Бедный Полонский, бедный дядя! Что нынче с тобой? Ведь у тебя два горя вдруг, два разочарования. Первое пало на тебя весной, второе теперь. Первое зовется М. Ф. Тютчева. Второе — «Разлад». «Tu nas pas de chance, pauvre Jackes!»[293] — говорила твоя покойная жена. Да, Tu n'as pas de chance, дядя! Но ведь кузнечик не должен влюбляться в бабочку, ты сам это сказал. Твоей бабочки соловей не тронет, бабочка не такова, но кузнечику оттого не легче. Бабочка за границей. А ты стоишь один, бедный кузнечик, с богатой библией в руках, с пошлым письмом. Вглядись, дядя, ведь это не библия, — это насмешка.

15 октября.

Весь Петербург был занят предстоящим, зачинающейся грозой, и, как безумный, вертел столы. Накануне великих событий, когда будущее было, полно результатов, наглядна была ничтожность этого занятия. Если когда-нибудь можно, было убедиться, что верчение столов вздор, так это в то время, когда могли они столько открыть и не открыли ничего. Но такова притягательность веры, такова заманчивость чудесного и таково невежество людей.

С тех пор прошло, десять лет. Столов не вертят, но суеверия меньше ли? Есть чистое меньшинство, большинство держит себя спокойно, покамест никакими пустяками не занимается, но готово, если случится, заняться ими.

Грустно сказать, что после того, что явился Бокль, Дарвин, после того, что беспощадный смех Искандера опалил Россию из края в край, — в ней то же суеверие, то же невежество. Точно все хорошее остается вне ее организма, как зрелище, как новость; не принимается ей в кровь и плоть. Отчего это? Почва ли не готова? Организм ли плох?

В ходе самого, лучшего дела есть упадки, обращения вспять, и это, должно быть, в порядке вещей. Сколько раз мороз скует

разлившиеся весенние воды, сколько раз после теплого весеннего дождя выпадет снег, а весна все берет свое, за ней все-таки останется последнее слово. Не будем же унывать, и, глядя на вьюгу, стужу, дурную погоду, будем думать о весне, которая *должна* настать.

Я читаю очень много, но говорю очень мало; задавать вопросы, развивать идеи все не решаюсь. Узнаю все стороной с сопоставлениями. Иногда решаюсь, высказываю свои мысли тетеньке Ливотовой, но она обыкновенно, им не сочувствует. Я не умею их втолковывать, не умею говорить, волнуюсь и теряюсь. Пишу я прямо набело, без всяких поправок, тут, на этих страницах, что придет в голову, а говорить так не умею. Она меня в толк не берет, и мои мысли кажутся ей дикими. Она развивалась и жила другими. Цивилизация для нее идеал. Прогресс, гуманность, свобода, равенство, братство — связанные слова. Сама она добра, сердечна и великодушна, оттого и верит в них, — а я читаю ужасно много, и смею думать, что многое понимаю, с помощью разговоров, к которым прислушиваюсь, но, впрочем, — Лавров и компания сами виноваты. Они все проповедывают скептицизм, и вот — я скептически отношусь ко многому, даже к ним самим. Я ведь не утверждаю ничего, даже на этих страницах, не утверждаю, а только ставлю вопросы. Иван Карлович часто сердится и кричит на меня, что я отсталая. Пускай.

Четверг, 3 декабря.

Дневник — болезнь хроническая, от него и годы не спасают. Долго я не пишу, долго не хочется писать, чувство какой-то путаницы, какой-то каши не дает писать. Страшно трогать эту кашу; но чуть полегчает, — тотчас дневник.

Только не о своей невзрачной персоне села я писать, не о своей бесплодной тревоге, не о своей внутренней каше, а о том, что происходит вокруг. Годы идут, и все меняют; что я говорю годы? — дни, часы, минуты.

Третью зиму живем мы здесь, в Ивановке. В это время Петербург, со всеми тревогами, когда-то бывший для меня всем, стал на задний план, теперь кажется где-то далеко, кажется далекой светлой точкой из глубины пещеры. Своя семья заняла, первый план; своя семья, в которой в три года успело вырасти целое поколение слабых, неудавшихся людей.

На месте общественных великих вопросов теперь подле меня только горе старого отца об этих неудавшихся детях.

Пятница, 4 декабря.

Не знаю, отчего мне сегодня все мерещится Михайлов. Что-то он делает «Во глубине сибирских руд»?[294] Последнее от него известие я имела 26 сентября прошедшего 1863 года. Я имела? — Я ли? Все равно. На письме было его дрожащей рукой написано мое имя, и писал он его 5 августа 1863 г. в Сибири[295]. Мне все мерещатся сегодня среды Шелгуновой; маленькие комнаты, музыка, расстегаи за ужином, а главное Михайлов, душа этих сред. Он мне толкует о френологии. Он верил когда-то в эту будто бы науку, а теперь? Не кажется ли, что человек, свершивший подвиг Михайлова, должен был бы меньше верить, хоть бы в френологию? А его вторая вера, или лучше сказать первая, — Шелгунова? Не кажется ли, что он должен был и любить иначе? Было ли бы без этой любви его дело разумнее, или его совсем бы не было? Я думаю, — совсем бы не было.

Раз вечером Михайлов, Шелгунова, Шелгунов сидели у нас; Полонский был тут же. Говорили о каких-то стихах, кажется Огарева; тогда еще не было ни «Колокола», ни «Полярной Звезды». Шелгуновой захотелось, чтобы прочитали эти стихи; у нас их не было; Михайлов вызвался их достать, и достал через час. За это он попросил себе в награду поцеловать у Шелгуновой руку; она ему подала ее милостиво и со смехом.

У Шелгуновой чрезвычайно красивые руки, я часто на них любовалась; вообще было время, когда я не только любовалась Шелгуновой, но поклонялась ей. Михайлов был от нее без ума; Полонский всегда больше, чем интересуется, именно, можно сказать, поклоняется тем, кого любят. Он точно греется в этой атмосфере, которая окружает любимое существо. Они с Михайловым пели неумолчные хвалы своему идолу. Я в то время искала идеала женщины, и неудивительно, что почти остановилась на Шелгуновой. Говорю «почти» потому, что, несмотря на все заражающие их восторги, несмотря на всю мою жажду идеала и способность поклонения, меня смущал дух критики, я не могла приобщиться взгляду Шелгуновой на эмансипацию женщин. Ее свободные женщины были Панаева, какие-то француженки, с которыми она познакомилась в Париже[296]. Слово «лоретка» я в первый раз слышала от нее. Иногда восхваление их доходило до того, что меня высылали из комнаты, чтобы удобнее было исчислять их подвиги по пути прогресса. Вообще, сколько я ни слушала и ни видела Шелгунову, я или не поняла или не добилась толку, во имя чего она разрушала; что всякое разрушение законно, благородно, это никогда так не чувствовалось, как в то время, и оттого, может быть, так мало спрашивалось: за что? Всякое разрушение, отрицание в то время доставляло такое же наслаждение, какое

доставляет томимому жаждой *первый* глоток воды. Связанное общество до того истомилось, лежа без языка и движения, что готово было все поломать, лишь бы хватило смелости; готово было признать своего в каждом разрушителе, лишь бы только явился таковой.

Меня потому берет раздумье насчет Шелгуновой, что михайловская прокламация неглубока, слишком неглубока В ней как-то больше желания *руку правую потешить*, чем высказать истину. Я не говорю про. Михайлова, — человек, давший на подобное дело свое имя, достоин всякого уважения, — но меня удивляет то, что вдвоем они не сумели написать ничего лучше. Так как, зная их обоих, нельзя сомневаться, что первая мысль о прокламации принадлежит Шелгуновой, а прокламация холодна, неубедительна, не «прочувствовала», одним словом, — то меня и берет раздумье, скорбела ли Шелгунова в самом деле о людских неправдах, любила ли истину, или у ней только руки чесались, и идеал жил посреди лореток? Таких речей, как речи Лаврова, Ивана Карловича, даже Курочкиных, не говоря уже о студентах, я от Шелгуновой не слыхала никогда, сколько, ни вслушивалась, но очаровывать она умела.

Среда, 28 октября.

Резюмируемся, как говорит Е. И. Конради. Сегодня, наконец, разговорился Конради об истории с Чуйкой и о нашем с ними разрыве. На старости лет я, кажется, прихожу к тому убеждению, что меня не понимают. Я могла убедиться в этом) и давно, но, не имея претензии быть понятой, я об этом и не хлопотала, удовлетворенная тем, что, понятую или непонятую, меня любят. К тому же, вечно занятая чужими делами, я никогда не находила времени говорить о своих делах. Когда я была еще молода, я все себя спрашивала: когда же наступит мой черед говорить, выгружать свою душу? Каждый раз, когда я раскрывала рот, при первом слове тот, с кем я говорила, вспоминал, что вот что с ним было, если у него точно так же, — и приходилось слушать, а не говорить самой. Так мало-помалу я говорить о себе разучивалась, а материал накапливался между тем; накапливался до того, что превзошел, наконец, все мои силы с ним справиться, — и я махнула на него рукой. Люди нашли это очень удобным, я умела слушать и не беспокоила их своими делами. К этому примешалась гордость и горечь: гордость, что я ни в ком не нуждаюсь, и горечь, что меня забывают. Эти два чувства заставляли меня совершенно скрывать свою личность и отдавать от себя все.

Вот мое искреннее, правдивое признание. Теперь, как поняли

меня? Конради говорит: «Вы Магдалина, вам надо непременно смазывать бальзамом больные места и, когда нет ничего другого, вытирать их своими волосами. Здоровых, чистых людей вы не любите, вам нужны убогие. Вы так и смотрите, куда бы прилепить пластырь, вы в этом находите наслаждение».

Это неправда! Если за пластырем приходят, я даю его; а наслаждения, удовлетворения в этом не нахожу. Я не умею бороться, отстаивать свою личность, чувства самосохранения во мне нет, это правда. Но никто не знает, чего мне стоило, это отречение от самой себя, когда я вырвала из себя весь эгоизм, чтобы он меня не мучил; когда гордость моя жестоко страдала оттого, что я просила и не получала; являлась с требованиями, внушенными моею природой, и получала в ответ насмешку, полную удивления.

Тогда, чтобы не терзаться, не язвиться, не стыдиться ежечасно, я бросила все, отказалась от всего, как делают гордые люди, — когда им дают половину с снисхождением, с насмешкой, из милости, они тогда ничего не берут, и я ничего не взяла. И так пропал мой эгоизм.

И это истинная правда. А наслаждения в этом я никогда не знала, как вообще не знала его ни в чем. И довольна собой никогда не бываю, не могу быть — я чувствую слишком свою атрофию.

Декабрь.

1-го, 2-го и 3-го декабря праздновали юбилей Карамзина. 1-го, в самый день его рождения, в Академии Наук, в присутствии наследника цесаревича и великих князей Владимира, Алексея Александровичей, членов Академии, Михаила Петровича Погодина, приехавшего нарочно из Москвы, и многочисленной публики, перед бюстом покойного юбиляра, украшенного тропической растительностью, прочитаны были академиком Гротом и М. П. Погодиным и П. Вяземским, Маркевичем краткие очерки его литературной деятельности, несколько слов о нем самом и о его характере, и наконец, также Маркевичем, стихи о нем П. Вяземского.

Почтенный гость наш, М. П. Погодин, был встречен громкими и единодушными рукоплесканиями. Эти рукоплескания прорвались и в средину его речи, когда он приводил записку Карамзина о Польше, где Карамзин так чисто, сердечно и смело писал императору Александру I.

Но зачем М. П. с насмешливым выражением обозначил слово «индивидуум»? Неужели оно в самом деле смешно? Или, вышедшее впервые из уст младшего поколения, оно должно быть

отвергнуто старшим? «Может быть, тень Карамзина носится посреди нас», — говорил М. П. в своей речи. Но если бы действительно эта тень, вышедши из своего гроба, захотела посмотреть на новых людей, сошедшихся, чтобы почтить ее память, неужели она бы тоже отнеслась неприязненно к ним? Ведь сколько у этих людей новых слов, новых понятий, новых учреждений, немыслимых не только-что, но и пятьдесят лет тому назад.

2 декабря праздновал тот же праздник С.-П. университет, соединив с этим днем свой день раздачи дипломов на ученую степень и медали.

3-го был в честь памяти Карамзина литературный вечер от Общества Литературного Фонда. Читали: Станкевич — несколько слов о предмете вечера и стихи Ф. И. Тютчева по поводу юбилея, Е. П. Ковалевский о Карамзине, Н. И. Костомаров — Пушкинский «Табор», граф А. Толстой — две главы из своей новой драмы «Царь Феодор Иоаннович» и А. Н. Майков первую часть из поэмы «Странник».

Состав этого литературного вечера был не совсем удачен. Наш талантливый и ученый историк Н. И. Костомаров читал очень долго свою серьезную статью. «Вестник Европы» профессора Стасюлевича, где будет помещена эта статья, настолько распространен между той частью нашей читающей публики, которая интересуется отечественной историей, чтобы быть прочтенным всеми; а кому он совершенно недоступен, тот навряд ли был и на чтении, так как зала не могла вместить в себя более трехсот человек. А. Н. Майкову пришлось читать свою вдохновенную поэму последнему, и утомленная публика, встретив своего любимого поэта горячим взрывом рукоплесканий, дослушать его с полным вниманием уже не могла, несмотря на его превосходное чтение, и, едва досидев до конца, наскоро ему похлопала и поспешила выйти поскорее вон из душной до крайности залы.

О возникновении и преждевременном конце Общества поощрения женского труда

Когда мы переехали на зимние месяцы в Петербург в 1863 году, пришел ко мне Петр Лаврович Лавров и с радостным лицом объявил, что устраивается большое общества для поощрения женского труда, и что проект устава общества выработан им, Лавровым, по просьбе Кривошеина [297] и в сотрудничестве с Анной Николаевной Энгельгардт. Теперь проект устава в общем был уже готов, и он дал мне его прочесть.

Проект этот читался, обсуждался, переделывался и переписывался очень долго.

Мы снова вернулись в Ивановку, и я перестала следить за всем, да и Лавров уехал в деревню.

Но в следующем году, когда опять переселились мы в Петербург, принес он мне уже три отпечатанных экземпляра устава, с пришитыми к каждому из них белыми листами бумаги, предназначенными для подписей лиц, желающих вступить в члены общества, и просил собирать подписи.

Но этот способ вербовки успеха не имел. Подписывались крайне туго; пришитые к уставу белые листы как-то смущали. На листы, врученные мне, например, я получила только, две подписи: свою собственную и подпись брата Адриана; а третий лист даже пропал совсем у Екатерины Федоровны Юнге, дочери графини Толстой.

И опять прошла зима, и с весной все разъехались. И вот, ныне принес мне Лавров уже печатные квитанции для выдачи членам в обмен на членский взнос.

Эти квитанции или билеты пошли очень ходко, и деньги собираются хорошо.

И прошение об утверждении общества уже подано министру внутренних дел. Но прошение подавали не Кривошеин, Лавров и А. Н. Энгельгардт, а графиня Вера Николаевна Ростовцева, Анна Павловна Философова, Иван Давидович Делянов и некто Воронов, служащий в министерстве народного просвещения.

Выходило, таким образом, что Кривошеин, Лавров и Энгельгардт стушевывались, а учредителями *de jure* и *de facto*[298] делались четыре лица, входившие с прошением о разрешении открыть общество и получившие его 22 февраля сего года (1865).

Устроилось это полюбовно, так как было более чем сомнительно, что разрешение может быть выдано Лаврову или

Энгельгардт.

Пора была приступать и к выборам правления.

На масленице, в понедельник, заходил ко мне Лавров сказать, что на завтра, в час дня, назначено у Философовой первое собрание общества.

Не зная, общее ли то будет собрание и, в таком случае, надо ли оповестить о нем тех лиц, что записывались в члены у меня на имя Лаврова, я послала справиться и получила ответ, что не надо, что то еще не общее собрание.

Собралось человек пятьдесят только; я была с братом. Лавров открыл собрание краткой вступительной речью, за ним Кривошеин прочел устав общества, а затем Лавров стал читать список кандидатов. Раздались голоса: «в вице-президенты Лаврова!» Но Петр Лаврович решительно отклонил от себя эту честь и выставил на вид те преимущества, которые принесла бы обществу избрание адмирала Шестакова; согласились и успокоились.

«В распорядительницы — графиню В. Н. Ростовцеву», — читал Лавров. Вера Николаевна начала отказываться: «Нет, нет, я говорила, что не пойду, не могу…»

Ее окружили, начали упрашивать, уговаривать и — уговорили наконец.

Только что разошелся по своим местам кружок, уговаривающий графиню, и Лавров хотел продолжать чтение, как на противоположном конце залы образовался новый; но этот никого не уговаривал и не упрашивал. Он окружал хорошенькую Ценину, и из среды его раздавались голоса: «Мы Ростовскую эту…, — написать ли? — эту шваль, не хотим, мы ее забаллотируем!»

То была оппозиция[299].

Испуганная Философова пошла ее укрощать, но оппозиция не сдавалась. Она требовала в распорядительницы Марью Арсеньевну Богданову, которая не была даже членом общества, требовала М. Г. Ермолову и объявила, что если будет Ростовцева, то все выйдут.

Пошел на выручку Философовой Кривошеин. Он убеждал, просил, объяснял, истощил все свое красноречие и ничего не добился.

Глава оппозиции, Ценина[300], и слушать ничего не хотела. И мы были только рады, что самых крупных выражений графиня не слыхала.

Кое-как их уговорили наконец, но не убедили все-таки. Чтение продолжалось. Остальные кандидаты прошли благополучно, и затем все разъехались.

Общее собрание хотели назначить в воскресенье, 28 февраля, но ввиду происшедшего, не знали, как быть. Ростовцева, конечно, снова отказывалась от распорядительства, и оппозиция, которую надеялись образумить в воскресенье, нисколько не поддавалась и продолжала бунтовать, а надо было еще опасаться, что на общее собрание она явится в усиленном составе.

Ростовцева так непопулярна не сама по себе, ее не знают, а узнали бы, так и примирились бы с ней, но она непопулярна по наследству, как вдова герценовского «Иоанна-Энтузиаста», Якова Ивановича Ростовцева; о нем ходят разные легенды, между прочим, что он предал декабристов.

Но и кроме того достаточно было видеть на собрании у Философовой обе группы, — ту, что окружала Ростовцеву, дам в модных шелковых платьях и модных шляпах, и ту, что окружала Ценину, в черных шерстяных, и совсем без шляп на стриженых головах, — чтобы понять, какие два несродных элемента призваны действовать заодно; и что из этого ничего путного выйти не может. Лавров был в отчаянии; и тем более, что большая часть бунтующих были его клиентки. Кривошеин это знал и вне себя прибежал, наконец, к нему, требуя, чтобы он их укротил, в противном случае грозя выйти из членов и увлечь всех своих за собой.

Не знаю, кому первому пришла мысль устроить свидание враждующих сторон, но эта мысль была не из удачных.

Свидание устроила Трубникова у себя Там враги сошлись и, созерцая друг друга вблизи, проникли друг к другу только пущей антипатией, сговориться же все-таки не могли, потому что не могли или не хотели понять друг друга, точно говорили на разных языках.

Оппозиция представила тут свой ультиматум. Ермолову — распорядительницей, и Зайцеву и г-на Европеуса — в исполнительное отделение. Напрасны были все увещевания. Сошлись еще раз и наконец сговорились: распорядительницей Ростовцеву, но Зайцеву и Европеус все-таки в исполнительное отделение.

Представили этих новых кандидатов на рассмотрение Ростовцевой, которая, как распорядительница, имела право принять их или же не принимать, — она не приняла и снова начала отказываться от распорядительства; и снова Ценина и компания начали бунтовать с удвоенной силой. Между тем начинали косо смотреть и на Лаврова, напустившего в общество этих беспокойных людей. Стали помышлять, как бы избавиться от него самого.

Был комитет у Ростовцевой, на который его не пригласили

Явились все, кроме Лаврова. Когда Трубникова и Стасова заметили, что Лаврова нет, они объявили, что в таком случае комитет состояться не может, встали и ушли, и комитет, за отсутствием трех членов, и не состоялся.

Затем, в концерте Балакирева, кто-то спросил Лаврова, правда ли, что общее собрание, назначенное на воскресенье, отменено… В концерте была и Философова, и Лавров передал ей этот слух К его великому изумлению, она его не опровергла, а, напротив того, подтвердила и добавила: «Ведь хозяева — мы». Лавров недоумевал. Действовали, значит, без него, его устраняли, не предупредив его.

В среду я повезла ему несколько, членских взносов и была им встречена так странно, такое у него было сумрачное лицо, что я подумала, что он сердит на меня. Руку мою с деньгами он отвел и отрывисто произнес: «Я не могу их принять, не имею права на то».

Что такое? Ни жена его, ни я ничего не понимали, а он только хмурился, выкатывал глаза и вздувал усы, что всегда служит у него признаком сильного волнения. Но вымолвив более ни слова, он было сел, но вдруг встал, быстро прошел в кабинет и так же быстро вернулся с «С.-Петербургскими Ведомостями» того дня в руках и дал мне прочитать помещенное в них объявление, а сам отошел к окну и начал барабанить пальцами по стеклу. Выходило, действительно, более чем странно.

Отложить общее собрание было необходимо, то была мера вполне благоразумная, но приглашать на него лишь своих знакомых в то время, как Стасова, Трубникова и Лавров владели по одинаковому праву с учредителями членскими билетами и уже распространили их целую массу между своими знакомыми, наполовину, может быть, незнакомы учредителям, не говоря уже о том, что выходило крайне неловко, чтобы не сказать — более, относительно их, было еще и вовсе неблагоразумно и даже опасно. Незнакомые четырем учредителям подлежали баллотировке. Да кто бы на баллотировку пошел? Члены оппозиции, чтоб произвести скандал? Этого ли добивались учредители? А, наконец, Ценина, Зайцев и прочие, к какой категории принадлежали, к лицам, известным учредителям, или неизвестным? Неужели неизвестным?

Лавров был вне себя.

Тут кстати заметить, что партия Ростовцевой зовется аристократами, а партия Цениной нигилистами. Так окрестили они одна другую, когда близко созерцали друг друга на двух собраниях у Трубниковой.

В воскресенье я обедала у Стасовых. После обеда Надежда, Васильевна уехала в комитет, к Ростовцевой. Там должна была

происходить, согласно печатному объявлению, сортировка лиц, знакомых и незнакомых, не могущих быть допущенными на общее собрание и подвергающихся баллотировке. Каждый из членов временной комиссии для собирания членских взносов должен был представить на рассмотрение учредителей свой список лиц, взявших у него билет, и учредители отмечали неизвестных. С нетерпением ожидали мы Надежду Васильевну. Наконец, она приехала, и с нею Лавров. Оба были крайне возбуждены и в один голос объявили, что общества, больше не существует или с ним творится что-то невозможное.

Надежда Васильевна получила свой список, заключавший в себе двадцать пять имен, обратно неприкосновенным; ни одно имя не было, в нем отмечено.

Принимая свой из рук графини, Лавров, не заглядывая в него, положил его в карман. Тогда графиня пригласила его просмотреть, и если он найдет нужным что-либо возразить, то сделать это. Лавров отвечал, что находит эта излишним, так как вообще не считает себя в праве давать на цензуру или баллотировку имена лиц, взявших у него билеты. «В этом списке, — заключил он, — есть одна только имя, которое я допускаю к ней, это — мое собственное».

Развернув его впервые за чайным столам у Стасовых, он со злой усмешкой показал его нам. Его список состоял из ста пяти имен, и из них сорок девять были перечеркнуты маленькими косыми крестиками карандашом. Так как список Стасовой был чист совершенно, на списке же Лаврова на именах Цениной, Зайцевых и прочих стояли крестики, то не трудно было догадаться, что они-то и опальные.

Действительно творилась что-то невозможное.

Лавров и слушать ничего не хотел. Он привел еще двадцать перечеркнутых подобных же имен и только просил поскорее избавить его от всей этой истории, т. е. принять от него обратно членские взносы и возвратить билеты. И Стасова твердила все одно и то же, что общество все равно пропало, и что это не ошибка, а фанаберия учредителей, и что разговаривать больше не о чем.

Нечего делать, поехала я на следующее утро, освобождать Лаврова, от его последней связи сообществом. Отдала и свой билет, зато имела счастье попасть в число *известных*; мое имя не было зачеркнуто.

Когда мы уезжали, неделю тому назад, из Петербурга, обе партии еще злобно, косились друг на друга и плели сплетню и небывальщину, но уже не предпринимали ничего.

Козлом отпущения оказался Лавров. Он мечтал посадить

нигилистов и аристократов за одно общее дело, «за один стол», как он выражался, и — не успел в этом. Мало того, что не успел, но, продержав их друг перед другом, только, озлобил их и озлобил прежде всего против себя самого… «Что за чушь он городит!» — говорит Ценина, а Философова обвиняет его в своей болезни, — от тревог и волнений она выкинула.

Как взяты была Ишутин, Ермолов и прочие [301]

9 апреля был парад[302]. На параде кто-то в толпе говорит: «Ну уж полиция, нечего сказать, славно ищет. В Знаменской гостинице третий день, как пропал человек, и неизвестно, кто он и где он. Номер его стоит запертой». Эти слова слышал стоявший близко квартальный, он, не говоря ни слова, отправляется в Знаменскую гостиницу и спрашивает, пропал ли у них кто-нибудь. Говорят, что да. Он велит показать себе номер, отпирает его и находит в нем разбросанные по полу бумаги, изорванные письма и запертую шкатулку. Он берет все это и отвозит в Третье отделение. Приносят шкатулку к Каракозову. Спрашивают его: «Это ваша шкатулка?» — «Моя». — «Чем вы это докажете?» — «А вот, — творит, — возьмите в моем портмоне ключик и отомкните». Сделали так, и нашли в ней чистую бумагу, конверт и один конверт с надписью: Николаю Андреевичу Ишутину в Москве.

Телеграфировали в Москву. Велели отыскать и привезти сюда Ишутина. Сделали ему очную ставку с преступником, и он узнал в нем своего двоюродного брата, Каракозова. Его посадили. Между тем слуга в Знаменской гостинице показал, что Каракозов писал в Москву полковнику Ермолову на Пречистенке. Телеграфировали, чтобы отыскали такого. Но такого не нашли, а нашли в другой улице Ермолова, которого и арестовали, потому что нашли его подозрительным, и спрашивали, не арестовать ли также и живущих с ним Н. П. Страндена и еще кого-то. Велели арестовать и всех везти сюда. Таким образом, еще до прибытия Муравьева, многие из главных участников уже были взяты.

Муравьевское следственное дело написано на четырех тысячах листов. Ишутина приводили к допросу сорок семь раз, Каракозова тридцать девять. Худяков написал свой *profession de foi*[303] вроде Рылеева. Половина напечатана[304], несколько записок и несколько защитительных речей, между прочим защитительная речь Кобылина[305]; комиссия не согласилась на эти отрывки. Гагарин напечатал свою обвинительную речь в числе одни говорят — двадцати пяти, другие — пятидесяти экземпляров, для раздачи ее между членами Государственного Совета. Она ходит теперь по рукам.

2 октября 1866 г.

П. Л. Лавров[306]

I. Знакомство с П. Л. Лавровым. Его влияние и характеристика

Было время, когда мы очень часто видались с Бенедиктовым. Он приходил к нам раза два-три в неделю, и кроме того мы встречались и в других домах. Познакомились же мы с ним 31 декабря 1853 г. на юбилее пятидесятилетней служебной деятельности моего деда — Федора Лаврентьевича Холчинского. В этот день я в первый раз в жизни увидела живого поэта. До тех пор я поэтов считала какими-то мифами, хотя и знала, что они существуют, но не чаяла сподобиться их лицезрения. Велико же было мое удивление, когда мне сказали, что маленький, невзрачный человек в мундире, белых брюках с золотыми лампасами и орденом на шее, — поэт, автор «Полярной Звезды» и «Утеса». С этого времени возникла и продолжалась до начала 60-х годов близость наша с ним. Затем он начал понемногу удаляться, уходить в свою скорлупку, как улитка, и вынырнул из нее только в 1866 году, когда Лавров сидел уже в ордонансгаузе. А прежде, бывало, он не ленился ездить к нам не только в город, но и за город, за десять верст, и, наконец, за сорок, когда мы переселились из столицы на мызу Ивановку.

Я потому, приступая к воспоминаниям о Лаврове, начинаю с Венедиктова, что, во, — первых, он если и не лично познакомил нас, то подготовил это знакомство и сближение, много и с восторгом рассказывал мне про Лаврова, а во-вторых, потому, что удаление его странным образом совпадало с появлением Лаврова, а возвращение — с его удалением.

Теперь оба — далече! Один, пишут мне из Петербурга[307], снова засел в своей раковинке и так смирно, что мне уже встречалось в журналах его имя без буквы «г» перед ним, точно его уже нет на свете, хотя он и жив; а другой, бедный беглец, где он? Кто знает. В Париже был он, когда разразилась война, а затем Коммуна Бенедиктов питал к Лаврову самое искреннее и глубокое уважение и как к ученому, и как к человеку вообще. Он говорил о его громадных познаниях и о его нравственных качествах в самых восторженных выражениях. Его познания, говорил он, трудно оценить вполне, потому что они немногим доступны, и, как они вмещаются в таком строгом порядке и в такой ясности в его голове, объясняется только его необыкновенными математическими способностями. Как

математик, он привык обращаться с точностью цифр и приучил к этой точности свою мысль[308]. Математика же дала ему и бесстрашие мысли, тоже немногим доступное. Его выводы — не полет фантазии, а математическая выкладка, страшно последовательная, перед которой можно закрыть глаза, но уничтожить которую нельзя, она все же будет существовать, а вере или даже сомнению — места не будет.

«Так же точно строг и последователен он и в своей частной жизни, относительно самого себя. Я не встречал человека, в ком бы слово и дело так мало расходились между собой, в ком мысли и убеждения были бы так одинаковы с поступками. Точность и определенность математика выражаются у него в частной жизни глубокой честностью, бесстрашием научной мысли, бесстрашием в исповедывании своих убеждений И при всем при этом, у него не сухой ум ученого или жестокий — математика. Напротив того, ему не только доступно все нежное и изящное, но он и поэт[309]. У вас ведь есть его стихотворения, написанные во время Крымской войны, хранящиеся в вашем портфеле, которые мы не раз читали с вами, когда имя автора скрывалось и было неизвестно, — продолжал Бенедиктов. — Он способен сильно, и страшно увлекаться, но привык сдерживать себя Духовное начало, в нем так сильно, что, право, мне кажется иногда, что плоти в нем и нет совсем, исключая мозга и нервов, да и те в полном порабощении у духа. Но, чтобы узнать вполне его нравственные качества, надо его видеть в домашней жизни; надо видеть, как боготворит его семья. И поистине лучшего сына, брата[310], мужа и отца, конечно, не найти. Дети его еще малы, но если им удастся вырасти под его руководством, то из них должны выйти отличные люди[311]».

Так не раз говорил Бенедиктов и однажды заключил речь свою словами: «Вы, вероятно, скоро познакомитесь с ним, так как Иван Карлович уже познакомился, и тогда сами увидите, что в кругу ваших знакомых нет никого, ему подобного, что он выше всех; и непременно поддадитесь влиянию этой необыкновенной личности; тогда все мы, которые окружаем вас теперь, отойдем на задний план, иначе нельзя, иначе нельзя!»

Я в то время стояла у изгороди нашего сада и искала счастья в сирени. При последних словах Бенедиктова я обернулась к нему. Невзрачный, маленький человек, не математик с бесстрашием мысли, перед которой можно только закрыть глаза, а уйти от которой нельзя, но поэт с полетом фантазии, не исключающей веру и сомнение, стоял передо, мной и добрыми, и умными, голубыми, как незабудки, глазами вопросительно и серьезно смотрел мне в лицо. Я не нашлась, что ответить. Мне

вдруг вспомнилось в эту минуту, как ребенком переходила я с рук няни на руки гувернантки, и как няня тихо плакала, узнав, что и день вступления в дом этой гувернантки уже назначен.

Я никогда не могла понять, зачем вел такие речи Венедиктов. Потом я не раз возражала ему, что Лавров и внимания на меня не обратит, а мне будет страшно даже взглянуть на него, не то что с ним разговаривать, но он стоял на своем. Его, по-видимому, завлекал вопрос, останусь ли я в той области фантазии и поэзии, в которой держали меня окружающие, как сам он между прочим, или пойду за бесстрашием мысли, вслед Лаврову. Но зачем же было предупреждать и возбуждать воображение? Все выяснилось бы в свое время, и, может быть, не надоумь он, оставалось бы все по-прежнему. Ему в сущности и хотелось, чтобы все оставалось по-прежнему. Я отлично подметила в его взгляде тогда, у изгороди, что ему чего-то или кого-то жаль; оттого и вспомнила про няньку. Конечно, наэлектризованная им, я сделалась восторженной поклонницей Лаврова. Стала смотреть на вещи его глазами, повторять его слова, любить, что он любил, ненавидеть, что он ненавидел, одним словом, стала превращаться в нигилистку, хотя этого слова еще и не существовало в то время… Только теперь, в 1871 году, я начинаю несколько одумываться и приходить в себя или выходить из себя, я уже и сама не знаю, но какая-то внутренняя работа началась… Но это сюда не относится, я пишу не о себе, а о Лаврове. Мы действительно вскоре познакомились с ним, на вечере у самого же Бенедиктова, который он давал небольшому кружку своих близких знакомых. Но на этом вечере так много читалось и декламировалось и Бенедиктовым, и его другом, генералом Баумгартеном, и его женой Авдотьей Павловной, что я даже голоса Лаврова не слыхала. Так что собственно знакомство мое с ним началось уже при второй встрече у Лпвотовых, к которым его привел Иван Карлович. Но и тут дело не обошлось без маленького толчка не со стороны Бенедиктова уже, а так, случайного, который помог сближению.

Сначала я сильно робела перед ним. Но против робости есть средство, — это не думать о себе, забыть себя, свою собственную личность, и даже не только ее, но и личность своего собеседника, и предаться совершенно предмету разговора. Лавров делал эту задачу нетрудной. Я скоро благодаря ему забыла не только себя, но и все окружающее. Открывшиеся передо мной богатство познаний, катоновская честность воззрений, примененная к общественным и политическим обстоятельствам того времени, и то бесстрашие, о котором говорил Бенедиктов, делали задачу забыть себя и все окружающее не трудной. Тогда-то начал

удаляться от нас Бенедиктов, но, признаюсь, я его отсутствия, как и отсутствия или присутствия многих других, не замечала. Я вся поглощена была тем новым миром, который открывал передо мной Лавров. То ведь были первые годы нового царствования. Но тот, кто не переходил лично рубеж между царствованием Николая I и Александра Николаевича, не может себе составить вполне точного понятия о состоянии тогдашнего общества. А мне пришлось еще переживать эту эпоху в обществе такого, человека, как Лавров. Ребенок перешел с рук няньки на руки гувернантки, и горька была подчас наука, ею преподаваемая, горечью отзывалась она и потом, но очарованный ребенок долго этого не разумел. Я познакомилась и с семьей Лаврова, и увидела обожание, которым он был окружен; видела, как относятся к нему его сверстники, также составившие себе имя в науке. Молодежь, льнущая ко всему, весь наш круг — вторили его семье, вторили тому, что говорил про него Бенедиктов. Видела, наконец, как на лекциях, читанных им в зале Пассажа, толпа не только переполняла всю залу, но теснилась, стоя в проходах, и встречала и провожала его громом рукоплесканий. Эти три лекции (Очерк теории личности) [312], читанные им в пользу Литературного Фонда, дали сбора около десяти тысяч рублей[313]. Он был поистине героем дня в то время, а для меня каким-то апостолом новой веры, веры — разрушения Именно разрушения. Как ни странно это звучит: «вера разрушения», но он его-то и проповедывал. Он говорил: «разрушайте; весь строй существующей жизни должен быть разрушен; и государство, и церковь, и семья — все это должно пасть и исчезнуть; и каждый честный человек обязан всеми силами способствовать их падению. Мы все, ныне живущие люди, разрушители, не созидатели, помните это. Созидать не наше дело, а будущих поколений. И что они построят, — мы не знаем; это также не наше дело. Мы должны им только расчищать место». Теперь, когда уже прошла столько лет со дня моего знакомства с ним, если бы меня спросили, был ли Лавров республиканец или монархист, я бы затруднилась ответом Я думаю, что и то и другое было для него безразлично. Но он был революционер. Его мечтой была революция — революция, которая сломает и унесет все старое, изжившее, все предрассудки и суеверия, весь износившийся строй жизни, и расчистит место, новому. В чем будет состоять это новое, он не знал и не гадал даже о том. Себя участником этого нового он не мнил, новое должно было принадлежать новым людям. Он и все его современники должны были только расчистить им место. Таково было учение Лаврова; таков путь, которым он шел и других приглашал итти; на этом пути не было никаких заговоров, никаких замыслов против

отдельных лиц или учреждений, никакой ненависти против них. Они должны были пасть, жалко ли это или не жалко; погребут ли они или не погребут под своими развалинами и его и нас всех, — это все равно. Напротив того, нам и следовало лечь костьми, составить почву, на которой грядущие зодчие грядущих поколений выстроят дивный храм людского счастья. Но он и любил революцию, кроме того, что считал ее великой потребительницей неправды на земле; любил ее такою, какою выставлял ее Ламартин в своей «Истории Жирондистов». Недаром говорил он, что, лишь только минет четырнадцать лет его сыну, он ему даст прочесть «Историю Жирондистов», чтобы он *влюбился в революцию*. И в то же время, когда, например, так ужасно нападали на Майкова за «Коляску», он всегда выступал его защитником, и всегда единственным, потому что тогда было такое настроение, что если кто в душе и сам сочувствовал «Коляске» или Николаю I, то не решился бы это высказать. Он же развивал идею понятия о русском самодержавном царе и рисовал его образ в таких привлекательных красках, в таком величественном виде, прибавляя, что Николай I очень походил на такого царя, что слушатели только, недоумевали, переспорить же его красноречие не могли[314]. То же самое относительно нынешнего государя. В первое время, несмотря на то, что всеми чувствовалась мягкость его правления, его не любили; говорили, что он и неумен и бесхарактерен и что полагаться на него нельзя. Все взоры были устремлены на брата, на в.к. Константина Николаевича, на него уповали, его любили, и все хорошее, что совершалось, относили к его влиянию; говорили, что если бы не он, то все бы пропало; а если бы, с другой стороны, ему не мешали, то все было бы хорошо. Лавров с этим не соглашался. Он говорил, что роль, которая ему досталась или которою он завладел, очень благодарная роль, когда все бремя власти и вся ответственность лежат на другом. Что нет оснований предполагать, что Россия была бы счастливее, если бы роли переменились, и т. п. Странное было, то время, время первых годов после смерти Николая I. Точно плотины все прорвались. Говорилось столько и говорилось то, чего при Николае не только здоровые не решались молвить, но о чем и горячечные в бреду не смели бредить. И кто мог говорить лучше Лаврова?

Кто знал более его? Кто, подобно ему, мог черпать из сокровищниц своей неисчерпаемой памяти все новые и бодрые примеры и факты, их сближать, группировать, освещать и применять к злобе дня? Когда, бывало, в нижнем этаже нашего роскошного дома на Миллионной, в зимнем саду или в комнате с арками, возле сада, откуда несся аромат тропических растений и

слышно было, как падают капли со стеклянного свода на широкие листья бананов или каменные плиты пола, Лавров говорил и все ему внимали, мне чудились катакомбы Рима и первые христиане, новые люди, укрывающиеся в них, совершающие там свое новое богослужение, слушающие апостола.

Возвращаясь наверх, в жилые комнаты, к обыденной вседневностп, я думала, что возвращаюсь в древний Рим, преисполненный лжи и зла, подлежащий разрушению и который мы, новые люди, всеми силами должны стараться разрушить.

Лавров действительно, по пророчеству Бенедиктова и вопреки моим ожиданиям, сблизился со мною. Не думаю, чтобы он смотрел на меня, как на прозелитку: я по многим причинам для нее не родилась, да и тон наших бесед был иной; темы слишком разнообразны и, я бы сказала, откровенны; пропагандист должен держаться раз принятой программы, строже смотреть за проводимой идеей. А со мной, я думаю, напротив того, Лавров, если и былину него прозелиты, отдыхал от них. У каждого, даже самого ничтожного, человека бывает же какой-нибудь талант. Есть, я знаю, такой и у меня, это талант слушать и, сказала бы, понимать, да боюсь, не будет ли слишком, скажу: схватывать мысль на лету и вовремя бросить слово, которое действует на собеседника, как масло на огонь, давая ему уверенность, что его слушают и понимают. При этом я никогда не перебиваю, не делаю охлаждающих вопросов или попыток самой завладеть речью. Вот что, вероятно, нравилось во мне Лаврову. Я многих даже невольно обманывала таким образом, т. е. меня считают поэтому гораздо умнее и более знающей, чем я на самом деле. Другие находят, что я люблю льстить, и это, пожалуй, правда. Я люблю, чтобы мой собеседник напоминал мне кошку, которая греется на солнце и которой щекочут за ушами. Называют это также — залезать в душу. Ну, да, я и залезала, и в какие чудные души, и какие сокровища в них находила!

Но возвращаюсь к Лаврову.

В его душу я в то время, по крайней мере, еще не залезала. Наши разговоры вращались в иных сферах, более отвлеченных, касались вельтшмерца и вельтменша[315], а в глубь души отдельного человека, его ли, моей ли, того, что все люди зовут «гемютслебен», не заглядывали. Мы сходились на нейтральном поле вопросов нашей тогдашней общественной жизни или научных вопросах. Но моему личному сознанию было любо, когда он, войдя в гостиную, искал меня своими близорукими глазами, и другие, догадываясь, кого он ищет, улыбаясь, направляли его ко мне. Тщеславное самолюбие ликовало, мне было лестно, что Лавров так много обращает на меня внимания. Но, видаясь с

Лавровым так часто и став под его влияние, я никогда не считала его близким мне человеком; сам Лавров, как человек, Петр Лаврович Лавров, был для меня совершенно чужим. Он был не человек, для меня, а воплощение идеи, существо без плоти и крови, существо не равное мне, да и никому из людей не равное. Только в 1866 году узнала я, что он из плоти и крови, такой же простой и смертный, как и все мы, грешные, и что между мною и им существует иная связь, связь дружбы; раньше я и самую мысль такую сочла бы дерзостью со своей стороны; только в 1866 году, когда оборвались между ним и его родными и знакомыми все нити, я увидала, что между нами существует пить, которая не оборвалась. Но до этого времени было еще далеко, и мы, т. е. петербургское общество, продолжали еще радоваться всеобщему распечатанью уст и говорили, говорили без конца, готовясь к великому событию освобождения крестьян. Прошла студенческая история. Совершилось великое событие 19 февраля 1861 г. «Отбунтовалась вновь Варшава».

Наконец наступил 1866 год. 4 апреля, как гром среди ясного неба, раздался выстрел Каракозова.

II. П. Л. Лавров и Ж. А. Рюльман

Около этого времени, т. е. в конце 1865 или начале 1866 года, умерла жена Лаврова. После ее смерти он стал ходить к нам еще чаще, но темой наших бесед с ним уже не были отвлеченные вопросы, а именно Gemüthsleben [316], которого они прежде никогда не касались. Лавров, был неспокоен. Сомнение в себе, что-то вроде угрызения совести, какое-то смущение, вопрос об отношениях его к детям тревожили его. Точно почва уходила под его ногами. Здание, которое он созидал годами, рушилось. С ним совершалось нечто, поколебавшее его незыблемость, нарушившее гармонию между его воззрением и его характером, вернее, темпераментом. У героя оказалась ахиллесова пята…

Мне, может быть, не следовало бы касаться этого предмета, но, к несчастью, он не остался тайной. Нескромные уста разгласили эту тайну и Исказили ее, и опозорили и осмеяли Лаврова, а между тем в ней было только странное, и это странное легко объясняется характером его, позорного же и смешного не было ничего. И мне бы было не угадать, что с ним творится, если бы эти нескромные уста не поведали эту тайну мне.

В доме Лаврова[317] жила еще при жизни его жены, а после ее смерти при его матери, одна молодая девушка — сирота, редкой красоты[318]. Это была сестра студента Рюльмана, учителя Миши,

сына Лаврова. Лавров в нее влюбился, но ей не успел внушить ничего, кроме страха. Он не умел ухаживать, не умел нравиться женщинам. Им можно было гордиться, обожать его, как это делала его семья, поклоняться ему, и то не столько ему лично, сколько идее, которой он был носителем, влюбиться же в него едва ли было можно. К тому же ему было за сорок лет, девушке около восемнадцати. Ей до идей не было никакого дела, а он, ученый, совсем не знал той простой грамоты любви, которую так бойко читают и крестьянский парень и любой армейский прапорщик. Ведь и Фауст не прямо из своей лаборатории отправился к Гретхен, а зашел сперва к колдунье и там переделался, кое-чему научился и кое-что забыл. Лавров не принял этой предосторожности, и вышло все совсем иначе, чем у Гете. Бедная девушка, приученная смотреть на него глазами его семьи, как на нечто не от мира сего, не знала, что делать, и только трепетала. Он тоже не знал, что делать, но себя понимал отлично и поэтому глубоко презирал.

Забота юности застигла его врасплох. Во время многолетней болезни своей жены он вел жизнь монаха, постоянна занимаясь умственным трудом, не позволяя себе никакого развлечения; так говорили доктор Курочкин, его пользовавший, и его близкие. Но он взял ношу не по силам. Обаятельная сила красоты пошатнула его силу; а чего он хотел, он сам не знал. Он сознавал, что она ему не пара, и не хотел жениться ради нее, ради детей своих, ради себя, и не допускал мысли обойтись без брака, даже если бы она и подавала к тому повод, т. е. выказывала бы хоть какое-нибудь сочувствие ему, но ничего подобного не было. Он боролся не с нею, а с самим собою, и это в ее присутствии, как-то театрально и страшно. С этой борьбой он приходил и ко мне, но у него не было духа говорить о ней прямо; он говорил намеками и не щадил себя, бичуя свое какое-то нравственное радение, свое малодушие.

Бедная девушка, наконец, не выдержала и решилась открыться брату. Брат, тоже довольно оригинальный субъект, нечто вроде гетевского Вагнера, сначала не поверил. «Ты, — говорит, — все выдумываешь, не может этого, быть». Но, наконец, убедился и растерялся совершенно. Студент-медик, он не раз держал даже в руках человеческое сердце, но мертвое, — живое же человеческое сердце не знал ни малейше, иначе, без сомнения, не обратился бы к чете Конради за советом.

Конради-муж — гнусное существо; она — для меня загадка до сих пор. Загадка, которую я, прекратив с нею знакомство, и не пытаюсь более разгадывать. Конради был в последнее время болезни Лавровой ее доктором; с женой его Лавров был знаком

еще раньше, как с отличной переводчицей, — она переводила для «Заграничного Вестника». Лавров был от нее в восторге, познакомил меня с нею и с особенным усердием хлопотал о нашем сближении, что ему и удалось; не надолго только.

Конради был еврей, она — русская барышня старого дворянского рода. Что их свело, — не знаю. Мужа она не любила и не уважала уже тогда. Она была хороша собой, умна, образованна, но, что и у нее есть сердце в груди, выказывала только, когда дело касалось ее детей. Он имел наружность, соответствующую характеру; был неумен, необразован, но зато циничен и бестактен.

Таких-то людей приблизил к себе Лавров и свел со мной, и к этим-то людям обратился Рюльман за советом насчет сестры. Надо заметить еще, что их бездушие, цинизм и нахальство прикрывались в то время тем, что они принадлежали к так называемым новым людям, и что если подчас коробило от их речей, то так же точно, как учились мы читать между строк в то время совсем не то, что напечатано, так и в изустной, речи искали и находили мы не тот смысл, который выражался в словах, а иной, лучший и высший, и; на том мирились. И не к одним речам это относится, но, увы, и к поступкам, которые тоже обыкновенно объяснялись в каком-то ином, новом и высшем смысле. Оттого-то и могли иметь тогда успех разные темные личности; прямо мошенничества могли прикрываться высшими целями. Оттого не разглядел их Лавров, и я терпела.

Чете Конради подобное происшествие было как нельзя более по вкусу. Для нее обличить, высказать, не мигнув, правду в глаза, хотя бы ее правда в данном случае к делу и не подходила; для него втереться в чужой дом — было хлебом насущным; к тому — же его подмывало еще и другое, — он сам был неравнодушен к девушке.

Карающими немезидами явились они к Лаврову. Он был уничтожен. Так упасть в своих собственных глазах мог только он, такой человек, как Лавров. Всякий другой выгнал бы непрошеных карателей вон из дома, Лавров сломился перед ними под тяжестью своего преступления. Дети благодаря им узнали обо всем. Молодую девушку Конради взяли к себе и поспешили разгласить эту историю *под секретом* повсюду, где только могли; от них узнала ее и я.

Теперь, приходя ко мне, Лавров уже не только бичевал себя, но, не называя никого по имени, превозносил до небес нравственную высоту *одной женской личности*, которая, узнав о нехорошем поступке *одного человека*, имела мужество явиться к нему в дам и прямо в лицо высказать ему самую жестокую и

горькую правду о нем. «Для этого нужна необыкновенная местность», — уверял он. «Или необыкновенная наглость», — заметила однажды я. Он с жаром начал меня оспаривать, доказывать, как я ошибаюсь, и долго — развивал свою мысль, кружась вокруг да около фактов.

Между тем наступила 4 апреля 1866 г., и тут нам всем стало уже не до наших дел; всеобщее внимание было поглощено Каракозовым и Комиссаровым. Начались восторженные манифестации по улицам и театрам; пошли аресты; приехал в Петербург чинить суд и расправу Муравьев. Мы были с Лавровым на одном представлении «Жизни за царя». В минуту, когда весь театр дрожал от подмывающего восторга, криков и рукоплесканий, Лавров не рукоплескал, нет, он силился смеяться, но глаза его были полны слез.

Но, покуда Петербург так напряженно и небывало волновался, г-жа Конради начала тяготиться взятой на себя ролью не только карающей немезиды, а ролью покровительницы молодой девушки, и это по многим причинам. Раз она говорит мне: «Надо ее выдать за Лаврова». — «Да разве они хотят?» — спросила я. «Захотят, это мы устроим» — отвечала она.

В эту весну мы очень рано переехали на свою мызу близ Гатчины. Так как кругом то и дело говорилось об обысках и арестах и молва часто примешивала к ним имя Лаврова, то я предложила ему дать мне на хранение, на всякий случай, его бумаги или книги. Он дал *небольшую пачку старых пожелтевших писем и свой юношеский дневник;* я их увезла с собой.

Но в деревне мне не сиделось. Весна в том году была холодная и непривлекательная, а главное — слишком тяжело было воспоминание о недавней кончине отца нашего[319]; все в мызном доме слишком живо напоминала нашу невозвратимую потерю. К тому же стали доноситься до нас слухи, что Лавров арестован.

То рассказывали, что его взяли ночью с постели, то арестовали в стенах Артиллерийской Академии, то, наконец, во время заутрени во дворце. Пробыв на мызе дней десять, я вернулась в город к братьям, которые оставались в Петербурге.

По дороге на нашу квартиру, на Моховой, я встретила Конради, т. е. ее, Евгению Ивановну. «Дело улаживается, — объявила она. — Мы ее уговорили, и она соглашается итти за Лаврова». — «А Лавров соглашается жениться?» — спросила я. «И его уговорим», — отвечала она и тут же передала мне, что завтра едет с мужем в Пулково, а Лавров с молодой девушкой пойдут в Эрмитаж смотреть картины, потом будут обедать у них вдвоем, что надо же, чтобы они привыкли друг к другу, а что вечером они

вернутся из Пулкова и вечер проведут дома все вместе), и я должна непременно быть тоже у них.

Все утро следующего дня Лавров просидел у меня. Говорил долго и много все о том же, что так сильно его волновало, нарушало все обычное течение его трудовой жизни и мыслей и колебало почву под его ногами. Говорил и о слухах об его аресте и между прочим рассказывал, что раз, когда он выходил из ялика, на том берегу, где находится Артиллерийская Академия[320], куда он отправлялся на экзамен как профессор, к нему подошел какой-то вовсе незнакомый ему молодой человек, назвался его учеником и объявил ему, что только что видел собственными глазами предписание арестовать его сегодня же в залах Академии. Он умолял Лаврова не ходить туда и тут же на берегу вручал ему фальшивый паспорт и деньги для немедленного бегства.

Лавров не принял ни того, ни другого, отправился в Академию и только распорядился, если бы это случилось, послать со служителем записку детям. Экзамен сошел, как обыкновенно; Баранцов[321] присутствовал на нем, и ничего похожего на арест не произошло.

Слушая в это утро Лаврова, я минутами думала, что он отчасти не прочь, чтобы его взяли. Он в такой степени чувствовал себя выбитым из колеи, вышедшим из своих собственных рук и бессильным снова овладеть собой, что с какой-то злобой желал, чтобы какая-нибудь внешняя сила овладела им. Бедный, он не знал, как скоро суждено, было исполниться его желанию! Но, как и с большинством наших исполняющихся желаний, так и тут в конце концов все вышло совсем иначе, чем ожидалось. Если бы знал он, как эта *муссировка* жизни, о которой он так часто и так много тогда говорил, печально обернется для него!

III. Арест П. Л. Лаврова

Мне живо вспоминаются все подробности этого памятного дня, субботы, 21 апреля 1866 г., что не могу не записать и следующей мелочи. Лавров купил в подарок Конради хрустальную масленницу и, идя ко мне на Моховую, зашел в Симеоновском переулке в лавку молочных продуктов и велел наполнить ее маслом. Эту лавку, сказать между прочим, открыл одновременно с молочной фермой за городом П. И. Эйснер, будущий муж моей сестры, тогда, впрочем, еще даже и не жених, а просто наш хороший знакомый. Подобные дворянские затеи в то время были в моде и так же скоро рушились, как и возникали.

Масла, чтобы наполнить маслянницу, потребовалось около четырех фунтов. Такое количество этого чуждого для его ума и рук вещества озадачило Лаврова более, чем самая трудная математическая задача. Велеть отвезти эту ношу по адресу он не догадался и пронес ее по солнцу в своем полковничьем мундире, держа ее обеими руками перед собой, к нам на Моховую. Но оттуда, уж по моему совету, повез ее на извозчике к Конради, куда отправлялся, чтобы везти в Эрмитаж Жозефину Антоновну.

Уходя, он взял с меня слово, что я непременно иуду вечером у Конради. Проводив его, я пошла к Стасовым, жившим в одном с нами доме, и там обедала, а вечером добрая Надежда Васильевна с Д. И. Шульговскою отвели меня на Надеждинскую, угол Саперного. Там в четвертом этаже занимали небольшую угловую квартиру Конради.

Все общество было, уже в сборе, когда *я* пришла. Кроме Лаврова и Жозефины Антоновны, были Рюльман и его товарищ, тоже медицинский студент, Крашевский, была подруга Евгении Ивановны (Конради), толстая, красивая девица, известная под именем Фенички, и был Чуйко, постоянный гость, без речей, Конради. Он что-то писал или переводил в то время о Тэне, но у Конради на него никто никогда де обращал никакого внимания, и он всегда молча сидел где-нибудь в углу и только изредка хихикал. У дедушек и бабушек Евгении Ивановны, вероятно, бывали постоянно подобные бессловесные приживальщики, и ей он был не в диковинку.

Часа в два ночи сели ужинать. Новая маслянница красовалась на столе. Сидели мы за столом долго. Белая ночь глядела во все окна, и свечи можно бы было погасить, но их не замечали. Говорили о «Belle Helene»[322] с Деверией, всю зиму сводившей о ума Петербург; я одна ее не видала по случаю траура. Вдруг звонок! Прислуга уже спала. Конради встал и со словами «верно к больному» пошел со свечей в темную прихожую. Звякнули шпоры, и послышался чужой голос: «Полковник Лавров здесь?». Лицо Конради было бледно, и свеча нетвердо держалась в руке его, когда он объявлял Лаврову, что его спрашивает жандармский офицер. Лавров поспешно встал и вышел, но не прошло и минуты, как он уже снова был посреди нас и объявил, что ему надо ехать домой с присланным от Муравьева жандармским офицером. Он не был бледен, как Конради, напротив того, лицо его оживилось, он точно вырос в одну минуту, помолодел. Ведь жизнь его начала же, наконец, муссироваться! В начале вечера он был пасмурен, и Конради были не в духе, и тихая красавица была еще печальнее, чем обыкновенно. Прогулка по Эрмитажу и обед вдвоем; по-видимому, не подвинули дела ни на шаг[323].

Отведя в сторону Конради, сказав ему несколько слов и передав свой бумажник, Лавров стал своими близорукими глазами искать фуражку, и все кинулись помогать ему. Офицер между тем вышел на лестницу, деликатно притворив за собою дверь. Найдя фуражку, Лавров быстро пожал нам всем руки и исчез, сопутствуемый Конради, который проводил его до подъезда и видел, как он с офицером сели в коляску и поехали на Фурштадтскую, в дом Лаврова.

Когда Конради вернулся и, молча поставив свечу перед собой, сел, мы все, точно так же молча, стояли и сидели все еще на тех же «местах, где оставил нас Лавров. Точь-в-точь, как в опере, когда Черномор похищает Людмилу. Но всему бывает конец, отошло и наше оцепенение. Прервала его я, и довольно глупо, каюсь. Было что-то возмутительное в этом похищении человека среди ночи, из чужого дома, от ужина и разговора о «Belle Helene». Другое дело, если бы он еще скрывался или был булавка, которую надо искать. Но ведь полковник Лавров всегда был налицо. Застать врасплох, не дать времени что-нибудь уничтожить, кого-нибудь предупредить, по-видимому, тоже в виду не имели, — ведь ушел же офицер на лестницу и затворил за собою дверь, да и последствия доказали, что этого не имелось в виду.

Второе, что меня возмущало, было — мы сами. Сколько лет нам твердили и мы твердили, что правительство глупо, что оно трусит, что следует с ним бороться, не уважать его, презирать, делать ему всякие каверзы, и вот явилось это правительство в лицо одного молоденького офицера, и мы палец о палец не ударили, только с величайшей предупредительностью кинулись искать фуражку, чтобы его не задержать, едва попрощались с Лавровым, хотя не знаем, увидимся ли с ним опять, дали его похитить и затем оцепенели.

Первая мысль моя понравилась всем; вторая не понравилась никому. «Что ж, — говорят, — драться, что ли, было с офицером? Или итти теперь брать приступом лавровский дом и выручать силой Петра Лавровича?» Но мне хотелось вовсе не этого, и не это возмущало. Меня возмущали фуражка и наши физиономии, когда вернулся Конради, поставил свечу перед собой и сел.

Я накинулась на Рюльмана. «Вы-то, — говорю, — что сидите и не идете домой? Мы брать приступом дом Лаврова не можем, а вам можно и должно итти туда, вы там живете. Вы можете пригодиться ему или его матери, или хоть нам расскажете потом, если его увезут, что с ним делали и куда его девали. Как оставлять его в такую минуту, и когда есть возможность быть при нем? И наконец, могут сделать обыск и в вашей комнате».

Он шевельнул ногами, чтобы встать, но не встал сразу. Наконец, поднялся, и за ним поднялся и Крашевский.

«Миша говорил мне, — продолжала я, — что он спрятал какие-то бумаги и книги Петра Лавровича так искусно, что никто их не найдет». На эти слова уходивший уже Крашевский обернулся. «Миша, — спросил он, — да знаете ли вы, куда он все это попрятал? За диван и шкапы, а помогали ему лакей и дворник». — «Но что же он прятал?» — спросил кто-то. «А кто его знает! Какие-то кипы бумаг и книг. Вероятно, все, что попадалось ему под руку и не было в ту минуту нужно Петру Лавровичу, потому что он ему не препятствовал, не указывал, не выбирал и только улыбался на эту возню, как на забаву мальчика». — «Ну, а если эти вещи найдут, — опять заговорила я, — в каком неловком положении очутится Петр Лаврович. Ведь не скажет же он, что это его сын забавлялся. Нельзя ли их оттуда вытащить?». Студенты только плечами пожали и ушли.

Когда они ушли, зашевелились и Конради. Они начали вытаскивать из своих столов и прочего кипы бумаг, тетрадей, писем и фотографических карточек, растопили печь и все это побросали в огонь; осмотрели и бумажник Лаврова. До утра провозились они, и некому было проводить меня домой, все работали; так прошла ночь. В восемь часов пришла Маня за бумажником. Мы осыпали ее вопросами, но она, четырнадцатилетняя нигилистка, не хотела ничего рассказывать, не хотела снять свою броню равнодушия и, со свойственной ей невозмутимостью, давала лишь лаконические ответы: «Отец дома; кабинет запечатан; днем будет второй обыск, а до тех пор отец не выйдет из дому». Я хотела тотчас же отправиться к нему, но Евгения Ивановна попросила подождать ее, покуда она кончит свои домашние дела; между тем дети ее раскапризничались, и она провозилась с ними до четырех часов.

Лаврова мы застали за обедом. Он был весел, много смеялся, шутил. Ночью осмотреть его кабинет не успели, поэтому придут опять, но и тут в один прием, вероятно, не кончат. Значит, придется заниматься делом этим дня три, и, покуда обыск будет длиться, он не будет выходить из дому, будет под домашним арестом и нас всех просит не ходить к нему.

От него поехала я обедать к Стасовым и вернулась домой только поздно вечером. Прихожу, и что нахожу? Все, так искусно спрятанное Мишей за диваны и шкапы, тут, у меня. Спрашиваю; кто привез? Говорят: Миша и Крашевский. Носили они в несколько приемов, и Миша радовался, что у них, у дверей и ворот, стоит полиция, а они выносят тюки бумаг среди бела дня, и никто не замечает и не останавливает.

Что было в этих бумагах, — не знаю. Рыться в них и разбирать их было слишком хлопотливо, да и в праве я себя не считала; да и не привело бы ни к чему, раз их надо было во всяком случае сохранить, потому что они были чужие. Но я была уверена, что и на этот раз в этой Мишиной забаве отец участия не принимал. Он уже вручил мне сам то заветное, что желал уберечь и от истребления, и от постороннего глаза, и это — у ученого, у гвардии полковника, у государственного преступника, наконец — оказалось юношеским дневником и пачкой пожелтелых от времени писем.

Это надо заметить. Это очень характерно и было бы важно для будущего биографа его. Но будет ли таковой у бедного Лаврова, искалечившего свою жизнь и пропавшего ни за что? Дальше я приведу четыре пункта, по которым его судили, присудили к ссылке. Тогда виднее будет, почему я говорю, что он пропал ни за что. Он мог еще и давеча, когда были мы с Евгенией Ивановной у него, дать что-нибудь и не дал.

Признаюсь, мне было досадно на Мишу, а еще более на большего умника — Крашевского. Отослать обратно — нельзя, оставить на квартире у братьев — тоже неудобно. Неровен час, сам же Миша проболтается, да и видела же и прислуга, если не полиция, как они таскали; сделают обыск у братьев моих. Зачем им это похмелье на чужом пиру? А будет обыск, значит, и увезут все в следственную комиссию. Что тогда скажу я Лаврову? Но если бы я знала тогда, какую неприятность совсем иного рода причинит мне эта выходка Миши, то, я думаю, несмотря ни на что, отвезла бы их обратно и отдала бы старушке Лавровой. Теперь же оставалось одно — увезти все на, мызу, и тоже в несколько приемов, так их было много. Приехала моя мать и, уезжая обратно, взяла часть с собой; надо, еще прибавить, что мы сменяли квартиру в то время, и уже потому было о этим ворохом затруднительно. Я осталась в городе ждать решения судьбы Петра Лавровича. У него обыски все продолжались в несколько приемов и в разные часы дня; немалый был это труд обыскать его. Кабинет Лаврова был до самого потолка заставлен книгами и весь завален бумагами. С воскресенья осматривали его, и наступил четверг, а я все еще не могла видеть Петра Лавровича. Два дня я его не видала, на третий, в четверг, вечером надо было мне быть в комитете Общества дешевых квартир, а оттуда поехала я ужинать к знакомым Шульцам на Знаменскую и просидела у них до трех часов утра. Приезжаю домой, брат говорит, что был Петр Лаврович. Сидел долго, с девяти до двух, все ждал, не возвращусь ли я, в два ушел, потому что в два с половиной должен был явиться к Муравьеву.

Нужно ли говорить, как жаль мне было и как смущал меня этот ночной призыв к Муравьеву.

Петр Лаврович оставил у брата письмо ко мне и к Евгении Ивановне на случай, если бы от Муравьева он больше домой не вернулся, в благоприятном же случае обещал зайти поутру.

Поутру я сама встала пораньше, чтобы ехать к нему, но не успела переодеться, как посланный от его матери принес роковую весть: Петр Лаврович арестован. Он явился в условный час к Муравьеву, но Муравьев выслал ему сказать, что теперь принять его не может и просит *быть* у него через час. В этот промежуток времени Лавров хотел еще зайти к нам, но не решился в виду ночного времени и вернулся домой. И хорошо сделал, потому что не прошло часа, как явился жандармский офицер, отобрал у него шпагу и отвез его в ордонансгауз.

Так кончилась для него жизнь равноправного гражданина, профессора и всеми уважаемого человека на родине, человека, которого ожидала почетная, а может быть, и блестящая будущность. Восемь месяцев просидел он в ордонансгаузе, и четыре года жил жизнью ссыльного в Вологодской губернии, до 1870 года. С 1870 же года и посейчас живет за границей, жизнью эмигранта-пролетария. Впрочем, до 1876 года он жизни пролетария не вел. Он работал, писал и вращался в кругу ученых; но с 1876 года все изменилось к худшему. Но об этом дальше.

Арестован и посажен в ордонансгауз был Петр Лаврович в ночь на 27 апреля 1866 г. Оставленные Евгении Ивановне и мне письмо мы с нею прочли, и она тотчас же его разорвала. Лавров в нем поручал нам обеим свою дочь, и к ней была вложена записка. Прошло несколько дней, и получилось от него известие посредством белья: он всунул маленькую записку в снятый носок. Это удалось, и, с тех пор образовалась совершенно правильная переписка между им и его матерью и мною. Она изловчилась о бельем же переслать ему карандаш: и бумагу, и, он клал свои записки в носки и таким же путем получал от матери и меня ответы. Писал он и к Конради, но они страшно злились и просили прекратить эту корреспонденцию. Через некоторое время матери разрешили с ним видеться, тогда мы наши записки передавали через нее. Через месяц по заключении своем, Лавров вздумал написать письмо к в.к. Константину Николаевичу[324]; черновая этого письма хранится у меня. В нем он просит справедливости, приводят между прочим известные слова Талейрана: «Дайте мне любые две печатные строки, и я возведу автора их на эшафот». Письмо написано с достоинством, серьезно, умно, но оно слишком длинно, как вообще все, что писал и пишет Лавров.

Мысль писать к великому князю могла зародиться только в

такой теоретической голове, как голова Лаврова. И теоретически его расчет был верен. Задавшись мыслью написать кому-нибудь из близких к государю или правительству вообще лиц, он должен был остановиться на великом князе — либерале. Но великий князь — либерал, вовсе не теоретик, да и практик плохой, относительно самого себя прежде всего, на этот раз был практичен. Он не только не принял никакого участия в Лаврове, но и поспешил, так по крайней мере рассказывали, уверить Муравьева, который не на шутку на него косился в то время уже, что он в глаза не видал Лаврова и никогда не подавал ему ни малейшего повода обращаться к нему.

Наступило лето. Каракозов был повешен, и сообщники его получили каждый свою долю наказания, что кому пришлось. Лавров все сидел. Ни на допросах, ни в приговоре, пропитанном ему через восемь месяцев, не было ни слова о прикосновенности его к Каракозову. А он все сидел.

IV. После ареста

…Теперь я приступаю к моему тяжелому воспоминанию за это время, связанному с Лавровым, — о моей размолвке с ним.

Вскоре после его заключения, когда в обществе еще говорили об этом происшествии и рассуждали о том, за что собственно его взяли и что нашли у него, стали, между прочими слухами, носиться и такие, что ничего не нашли потому, что все свои бумаги и прочие компрометирующие вещи он успел передать мне, и я увезла их на мызу. Знакомые предупреждали меня об этом слухе. Между прочим П. Был ли он первый, который распространил этот слух, или он повторял чужие слова, я не знаю, но люди, мне лично, неизвестные и меня не знающие, говорили то же. Вещи Лаврова я не могла спрятать очень искусно на мызе, их было слишком много. За всю нашу многочисленную прислугу в случае обыска я ручаться не могла, к тому же управляющий и садовник были люди новые, которых я еще не знала. Ограждать себя я не думала. Раз я взяла вещи — вопрос этот был покончен. Бравши их, я знала, что делаю, и, думаю, каждый поступил бы так же на моем месте. Дело было теперь не в том, что придут их искать, а в том, чтобы, когда придут искать, ничего бы не нашли. Я не знала, что именно я прячу, я не считала себя в праве рыться в чужих бумагах, — там могли быть вещи действительно важные, и не для одного Лаврова, но и для других. След их был указан, надо было найти другое место, чтобы и следа не было. Я повезла их к моей бабушке в Петербург, рассчитав, что

к старухе, тайной советнице, не пойдут их искать. В то же время я отвезла вместе с ними и много своих вещей: «Колокол» за три года, свои старые дневники, письма разные о разных лицах, портреты и между прочим около сотни фотографических карточек, принадлежащих И. Ф. П, которые он также дал мне на хранение, на всякий случай. Было такое время, что никто не считал себя вне опасности быть взятым или, по крайней мере, подвергнуться обыску. Конечно, я не бабушке моей передала все это, но у нее жила с детства воспитанница, неглупая женщина, вдова, я поручила все ей. Недели через три еду наведаться о вещах, и что же нахожу? В комнате В. топится печь, и она из дорогих мне вещей одну пачку за другой бросает в огонь. Три года. «Колокола», карточки А. были уже превращены в пепел. Вещи Лаврова, судя по объему, казались все целыми, но было ли это действительно так, в этом ни я, ни она не были вполне уверены; что она жгла, она сама не знала и не помнила. Что же оказалось? У моей бабушки жил один молодой человек, родственник, он работал в одной типографии, типография эта была закрыта, занимавшиеся в ней арестованы, и В. с минуты на минуту ждала обыска. Опять я потащила весь свой уцелевший от огня скарб к старухе, но на этот раз к тетке самого Муравьева, кн. Мадатовой. Конечно, и теперь все лично я ей не отдала, хотя, может быть, она бы и не отказалась принять. Она не любила племянника за «его жестокость», как она выражалась, и никогда не пускала его к, себе, и не только его, но и жену его и даже ни в чем неповинную его дочь, Шереметеву. Ее компаньонка была моя старая знакомая и преданная мне женщина. Она не очень обрадовалась навязанной ей обузе, тем более, что у нее уже хранилась коробочка каких-то ядов, данных мне на хранение К., но тем не менее взяла. Там все и оставалось до освобождения Лаврова. Мне безобразная потеря вещей отравила все лето. Я не знала, как расскажу о шей Лаврову и И. Ф., который тоже был в отсутствии, и своего было жаль.

Осенью стали носиться слухи, что Лавров скоро выйдет из ордонансгауза, чтобы отправиться в ссылку, и, действительно, в конце декабря его выпустили. Сначала перевезли с жандармом в часть и позволили родным и знакомым с ним видеться, а дня через три, вечером, объявили, что он может ехать домой без провожатого, один. В части у него столько бывало народу, что говорить с ним о чем-нибудь было невозможно. Народу и дома приходило довольно, вся его чиновная родня появилась снова в его доме, но он успел спросить меня о вещах, я сказала, что не уверена, все ли цело; он ничего на это не ответил, потому что в это время подходил к нему его двоюродный брат, Б. Н. Хвостов, и

я уехала. На другой день я приехала к нему с сестрой. Он был занят. Я прошла к его матери, долго ждала, наконец, он явился, приветливо поздоровался с моей сестрой, мне же отвесил низкий поклон и едва подал руку. На следующий день пригласила его и все его семейство моя мать к нам обедать. Он приехал позже всех, избегая меня, и весь обед ловил темы о честности, о доверии, о том, как тяжело обманываться, а впрочем верить никому нельзя и т. п. Этих тем никто не понял, только я одна, и мне стало тяжело, тяжело. Тотчас после обеда он хотел уехать. Я его удержала. «Мне нужно вам передать ваши вещи», — сказала я ему. Он пошел за мной. Я ему их показала и в коротеньких словах рассказала, в чем было дело. Рассказала неполно, у меня слов не было, я боялась, чтобы не вышло похоже на оправдание в чем-то, в чем я не считала себя виноватой. Мы оба замкнулись; он торопился уехать. Вещи взять с собой он, конечно, не мог, их было слишком много. В прихожей мать моя сказала, что не лучше ли оставить их еще на некоторое время, у нас. «Non, non, plutôt ils seront dans un endroit sûr»[325], кинул он, уходя. Последнее время я каждый день получала от него, из ордонансгауза письма, самые дружеские, он дождаться не мог свидания с миром, столько, накопилось, о чем нам было и хотелось поговорить, о чем писать было невозможно, и вот настало это свидание, а на рот был положен замок и кроме того камень на сердце; а через несколько дней Л. уезжал в ссылку. Два дня мы не виделись. Через два дня он пришел, меня не было дома. Домашние посылали меня к нему, но я уехала на мызу. Он еще пришел. Ему сказали, что я должна воротиться с мызы через два часа, он прождал эти два часа, я не приехала. Между тем через три дня уже он отправлялся в Вологду в распоряжение губернатора, который должен был назначить место ссылки. Дальше я характера не выдержала, поехала к нему. Мы встретились дружески, но что-то оставалось; понять друг друга мы не могли, выговорить все не могли; моя измена осталась в нем. Из его вещей, как оказалось, не пропало ничего, все уцелело, да и не о них од сокрушался, а о том, что я не выдержала, выбросила, так сказать, во время сражения знамя из рук. После мне говорил Рюльман, что, узнав о моем поступке, он, не спал всю ночь и всю ночь до утра не дал спать ему, все говорил о моей нечестности. Напрасно Рюльман ему толковал обстоятельства дела, что-то все оставалось, в чем он не убедился вполне, или мне так казалось. Он пришел к нам обедать, мы были одни, и он просидел весь вечер. Тут он и рассказал о своем свидании с Муравьевым по поводу письма. Через два дня он уехал, старуха-мать последовала за ним. Двух жандармов, ехавших с ними, он вез туда и обратно за свой счет. Губернатор Холминский[326]

назначил местом его ссылки город Тотьму… Писать ему в Тотьму я не хотела, но были маленькие поручения от его матери, я писала ей, отвечал он. На некоторые его вопросы не могла я отвечать его матери, пришлось писать к нему. Так мало-помалу снова установилась переписка, старое доверие, и даже старые отношения. Как это случилось, я и сама не знаю.

Тяжела и безотрадна была жизнь в Тотьме, и для него и для его старухи-матери. Скоро стала она посылать мне письма к разным влиятельным лицам о переводе в другое место. Она посылала также бланки, на которых предоставляла мне писать. Мы хлопотали, но не много выхлопотали; однако через два года его перевели в Вологду. Там они ожили, но не прошло месяца, как его снова переправили, на этот раз в Кадников. Он только успел снять в Вологде свой портрет, глядя на который Бенедиктов заплакал. В Тотьме имели неосторожность сделать ему проводы и говорить какие-то речи, когда он уезжал. Об этих проводах нарядили следствие, многих засадили, а его перевели в Кадников[327]. В Кадникове он пробыл три года и бежал. За год до побега он прислал мне не по почте, а с одной барыней большое письмо к кн. Суворову, которое просил лично передать ему[328]. В этом же письме он приводил обвинительные пункты, прочитанные ему в приговоре; их четыре: 1) стихи, написанные им двенадцать лет тому назад, в царствование Николая, во время Крымской войны; 2) знакомство с профессором Павловым (кто не был с ним знаком?!); 3) сношение с книгопродавцем Тибленом[329] (которого между тем во время процесса Лаврова даже ни разу не призвали и который преспокойно бежал за границу, «забравши чужие деньги), и, наконец, 4) за участие в издательской артели. Эта издательская артель была одно из безобразнейших предприятий того, времени. Компания людей, во главе которой стоял некто С., задумала издавать книги, переводы. Денег у них не было, познаний очень мало. Они бились, бились, и как раз перед каракозовской историей обратились, как древние славяне к Рюрику, к Лаврову с просьбой им помочь. Дело заключалось главным образом в том, что они взялись за книги специальные, а между ними хотя и находились некоторые специалисты, но те не знали языка, с которого специальная книга переводилась, и не могли проверить свое издание; знающие же языки не знали специальности[330]. Рассказывая мне об этом, Лавров много смеялся над ними. Они ему притащили в дом все начатые труды свои, и этот же ворох стоял в кабинете Лаврова во все время обысков. Замечательно, что из них никто не был притянут. Вообще дело Лаврова было совершенно одиноко[331]. Я, конечно, исполнила желание его. Письмо его к Суворову осталось

без ответа, он прождал год и бежал. Меня его бегство тревожило так, как я и выразить не умею Подробностей этого предприятия я не могла знать так же, как и времени, в которое оно должно было совершиться. Месяцы шли за месяцами, от него приходили письма по почте, в них он не мог ничего писать касательно этого предмета, я также отвечала ему, каждое письмо его успокаивало меня только в том отношении, что он еще на месте. Одно обстоятельство еще усилило мое беспокойство: его зять Негрескул встретился однажды у меня с двумя молодыми людьми, которых вовсе не знал, и без всяких предисловий обратился к ним с вопросом, не возьмется ли один из них провезти кого-то, кого он не называл, из Кадникова до железной дороги на лошадях. Эта неосторожная смелость с его стороны была вовсе неутешительна. Меня он знал мало, а всех моих знакомых вовсе не знал, и полагаться на их скромность не имел никаких данных. Из его разговоров стало мне ясно только одно, что бегство должно было совершиться около» Рождества. Но в начале декабря Негрескул сидел уже в крепости по делу Нечаева. Дело это не кончено еще до сих пор, но Негрескул свободен: его освободила смерть. Пришло Рождество, ничего не было. Но вот на маслянице утром, когда я еще спала, пришла Марья Петровна[332] и, разбудив меня, сказала своим спокойным, ровным голосом: «Хотите видеть отца?» — «Как, удалось?» — «До сих пор удалось», — отвечала она. Лавров приехал накануне вечером по железной дороге и в этот же день намеревался по железной дороге ехать далее, в Берлин. Он переменился несколько, оброс бородой, пополнел, постарел немного, и был возбужденно весел. Он ожидал заграничного паспорта, его долго не несли, наконец господин, который взялся это дело устроить, явился, но с известием, что паспорта до чистого понедельника визировать нельзя по случаю масляницы. Это известие как громом всех поразило, и Лавров смутился. В подобных опасных комбинациях, какою было и бегство Лаврова, как часто, гибнет все от какой-нибудь непредвиденной мелочи; одна маленькая ошибка в счете часто губит все дело, одна минутная задержка. Была пятница, приходилось ждать до понедельника, а каждую минуту могли хватиться в Кадникове, могли узнать в Петербурге. Решили, что надо, уехать сегодня же без паспорта на лошадях и ждать на одной из станций Варшавской железной дороги визированного паспорта; так и сделали. Прошло несколько поистине томительных дней, и получилась телеграмма, что все кончилось благополучно. Лавров был в Берлине, а через несколько дней в Париже[333]. Там находится он и в настоящее время, отживал в нем четырехмесячную осаду, отживал теперешний кризис; он по-

прежнему часто нам пишет. Летом я его видела в Париже. Отвозила ему вещи, которые он не успел или не мог взять о собой. Его мать оставалась в Кадникове; было так устроено, что она промолчит несколько, дней об его отсутствии и потом объявит, что он исчез, ушел гулять и не возвратился. Срок этого объявления должен был, конечно, совпасть с тем временем, когда он уже был вне всякой опасности. Старуху допрашивали, разумеется, и наконец отпустили к внукам в Петербург. Но она стремилась в Париж. Измученная, больная, это был не живой человек, а ходячий мертвец, дух захватывало при взгляде на нее. Никто не верил, что она будет в состоянии добраться до Парижа, она одна в этом не сомневалась и добралась. Две недели прожила с сыном и умерла[334].

V. Поездки к графу Шувалову, генералу Мезенцову и князю Суворову

Мои свидания с шефом жандармов графом Шуваловым, с управляющим Третьим отделением генералом Мезенцевым и, наконец, с князем Суворовым при передаче ему лично вышеприведенного, письма П. Л. Лаврова.

Два первых свидания вынудили раздирающие душу письма старушки-матери Лаврова. Она мне их слала из Тотьмы, шлет и из Кадникова. Я их получаю, возмущаюсь, сидя на месте и хлопая только крыльями, как неуклюжая, не умеющая летать птица; и так прошли почти три года. В моем столе пропасть этих писем к государю, к министрам… письма, которых нельзя посылать по назначению; пропасть бланков, на которых нечего, писать.

Впрочем, одно письмо к государю в Крым и одно к кому-то из министров я отослала по адресам. Ответ был вот какой: «Если это тот Лавров, что читал в Артиллерийском училище, то в просьбе отказать». Собственные слова государя, написанные на полях письма. После подобного успеха что оставалось делать? Продолжать волноваться и хлопать крыльями по-прежнему? Я и продолжала. Но наконец-таки Лаврова перевели из Тотьмы в Вологду. Месяц прожил он там, прожил и ожил, вдруг донос по поводу проводов, которые ему делали, когда он уезжал из Тотьмы, — и новая ссылка в Кадников; там находится он и в настоящее время. Оттуда-то и пришло от старушки одно из ее самых раздирательных писем, и сам Лавров оттуда же писал мне: «так скверно никогда еще не было». Опять прошения, бланки с ее стороны, опять мучительное недоумение с моей. И недоумевала я бы долго, не будь Александры Романовны Дитмар.

Однажды она приезжает ко мне и радостно спрашивает: «Леля, хочешь сделать что-нибудь для Лаврова? У меня есть случай».

Случай заключался в том, что муж ее, товарищ по Пажескому корпусу графа Шувалова, шефа жандармов, как губернатор Восточной Сибири находится с ним в сношениях и теперь. За несколько дней до того дня, в который Александра Романовна Дитмар объявила мне, что у нее есть случай сделать что-нибудь для Лаврова, Шувалов присылал к Дитмару своего адъютанта, полковника Бачманова, а так как Дитмара не было дома, то Бачманов был принят Александрой Романовной и, разговорившись с ней, просидел около часу и очень ей понравился. Через него-то она и задумала сделать что-нибудь для Лаврова. Она предлагала, чтобы старушка Лаврова написала бы ей письмо, которое бы она могла показать Бачманову. На что я не могла согласиться. Александра Романовна — добрейшая женщина и слишком способная увлекаться. Она увлеклась и в ту минуту, не обдумав, что письмо, в котором я должна бы была объяснять наш план старушке, вероятно, прочтется прежде, чем попасть в ее руки, а Дитмар мог бы легко узнать, что мы, конечно, без его ведома, путаем в наши планы его имя; да, наконец, это могло и повредить ему; а у него уж и без того в то время были разные пререкания о начальством, хотя он и был очень хорош с Шуваловым. С этим она в конце концов сама согласилась, и мы решили дать прочесть Бачманову одно из писем старушки ко мне. Тронуло ли оно его, или ему хотелось оказать любезность жене человека, с которым хорош его грозный принципал, но только Бачманов заинтересовался и обнадежил в успехе, если кто-нибудь из близких Лаврова, но непременно женщина, его дочь например, подаст лично прошение Шувалову.

У Александры Романовны сидел во время этого ее разговора с Бачмановым Баумгартен, директор военной гимназии, ее двоюродный брат, женатый на двоюродной сестре Лаврова. Он тут же объявил, что дочь Лаврова, Маню, посылать к Шувалову нельзя, она не пойдет, во-первых, а если бы и пошла, то ничего путного из того не выйдет. Кто же пойдет? Баумгартен указал на меня.

Когда Александра Романовна приехала мне объявить эту новость, я совсем пала духом. Женщине-просительнице необходимы привлекательность, кокетливость или слезы, — у меня нет ни того, ни другого, ни третьего. Могла ли я рассчитывать на успех? Но, с другой стороны, отказываться могла ли? Пришлось испивать горькую чашу. Меня не смущала нисколько мысль предстать пред очи Шувалова, но меня смущала

боязнь не суметь или не успеть в какие-нибудь десять минут высказать все, что нужно, и в то же время я боялась сказать что-нибудь лишнее. Мне все представлялось, как Шелгунова так похлопотала о своем муже, что его еще дальше угнали. Что, если и я окажу подобную же услугу Лаврову? Держать в своих руках, хотя бы и да десять минут только, судьбу другого человека невесело вовсе. Но выбора не было, надо было ехать. Оставалось написать на одном из бланков письмо к Шувалову. Я его составила с помощью А. А. Ливотовой из готового уже, но негодящегося письма старушки к Тимашеву. Она в нем просила о возвращении сына в Петербург, а об этом и думать нельзя. Мы же просили о переводе его в какой-нибудь город, где бы было какое-нибудь училище, где бы его сын Сережа мог бы жить при отце, и где бы был менее убийственный для здоровья климат, чем в Кадникове. С этим письмом отправилась я в четверг, 22 января, утром к Шувалову. Бачманов накануне снабдил меня несколькими советами, между прочим советовал не отступать и плакать, на что я ему возразила тут же, что на все согласна, но что только слез совсем нет, и обещал меня встретить.

Толстый швейцар, отворив мне дверь, тотчас же сел и, справившись у моего человека, записал мою фамилию. Надо было подняться наверх, и там, как-то в стороне, оказалась дверь, что-то вроде большого алькова. Там толпились генералы и простые смертные.

Все уставили глаза на меня, и я оглядела их всех поочередно, ища моего полковника. Он явился тут как тут, провел меня в светлую половину комнаты, усадил и обещал сию же минуту проводить к графу. Действительно, несмотря на то, что человек пятнадцать сидело в ожидании, не прошло минуты, как какая-то дама, — чей жалобный голос слышался в отворенную дверь, — вышла из кабинета, и меня попросили войти туда С замиранием сердца поднялась я с места, но, подойдя к двери, остановилась. Прямо против двери стоял Бачманов, красный и сконфуженный, в почтительной позе, с сжатыми вместе ногами и несколько нагнутым вперед корпусом, точно сбирался лететь, а где-то за дверью, шагах в трех от него, раздавался гневный голос. Не желая присутствовать при головомойке, я и остановилась в дверях. В чем было дело, не знаю. Что-то говорилось о женском поле, что надо его пускать прежде или после, я не поняла. Бачманов что-то бормотал, указывая на дверь или на меня. Может быть, ему доставалось за то, что он пустил меня не в очередь. Наконец, я вошла. На том месте, с которого раздавался гневный голос, стояла антипатичная фигура графа Шувалова и глядела на меня своими крошечными глазами. Я подошла к ней, подала свою

бумагу и в двух словах объяснила, зачем пришла и что прошу; в то же время и Бачманов назвал мою фамилию.

Шувалов, развертывая бумагу, вдруг обратился к какому-то статскому генералу, стоявшему в сторонке, и спросил его: помнит ли он дело Штакеншнейдер? Я поспешила поправить. «Ах, да! — догадался Шувалов. — Так что же вам угодно?». Я рассказала вторично зачем пришла и что мне угодно, и на этот раз пространнее. Он выслушал, сделал несколько вопросов и начал удаляться, говоря, что он дела Лаврова не помнит и справится о нем. Я спросила, могу ли наведаться о результате; он сказал, что даст ответ через Бачманова, раскланялся и был таков. Бачманов, все еще несколько сконфуженный, проводил меня обратно в альков, где дожидался меня Прокофий, у которого во второй раз, но теперь уже какой-то генерал опять спросил мою фамилию, и я уехала.

Надеялась ли я на успех? — Нет!

Прошло несколько дней, и опять приехала ко мне Александра Романовна, говоря, что с хорошей вестью: «Дело твое, — говорит, — приняло было дурной оборот, но теперь опять поправилось, и на днях к тебе будет Бачманов с благоприятным ответом». Опять прошло несколько дней. Еду я раз к Александре Романовне, она встречает меня словами: «Что ты так поздно? Бачманов ждал тебя здесь целый час. Дело затягивается. Оно у Мезенцова, и он делает затруднения. Бачманов с ним даже побранился и пригрозил, что нашлет на него женщину. Тебе надо завтра ехать к нему». Господи! Да разве я такая женщина, чтобы мною грозить Мезенцову? Я и плакать-то не умею. Но рассуждать было нечего, ни лучшей, ни даже какой-либо другой не было. Я поехала, ошиблась часом, и мне сказали, что приема нет. На другой день приезжает ко мне Бачманов с извинением и говорит, что он и Мезенцов разбранили людей, которые меня не пустили. Я отправилась вторично. На этот раз мне пришлось ждать минут двадцать в приемной, и Бачманов занимал меня разговорами. Наконец, дверь отворилась, и фигура еще неприятнее Шувалова, в военном сюртуке, сделала несколько шагов ко мне. Соображая, что это Мезенцов, я пошла к нему навстречу. Он, кажется, хотел говорить со мной в той же комнате, но, подумав, пригласил меня жестом войти в ту, из которой только что вышел. Там я села на диван, а он, притворив двери, сел близко, близко ко мне, в кресло, и наша беседа началась. Я напирала более всего на старуху, стараясь разжалобить своего собеседника. «Знаю я эту старуху, — сказал Мезенцов, — преназойливая старуха, и сын — ее достойный плод». Я возразила, что она прежде всего и более всего несчастна. «Чего же вы собственно желаете? — спросил он

вдруг. — Ведь Вологда немногим лучше Кадникова, а ближе Вологды его не переведут. Или вы хотите, может быть, ближе?» — «Конечно, хотела бы, — отвечала я, — а если уже никак нельзя, так в Вологду». — «Если бы зависело от меня, то я ничего бы не сделал, — объявил он неожиданно. — Но так как вы очень желаете, чтобы я доложил графу, то я доложу. А если бы граф спросил моего совета, то я бы посоветовал ничего не делать для Лаврова». — «Вы этого не сделаете, — отвечала я, — потому что это значило бы погубить Лаврова и убить его мать, а так как говорят, что вы имеете большое влияние на графа, то это значило бы, что вы их погубили. А если бы вы видели несчастную старуху: ведь ей восемьдесят лет, и она ходячий мертвец. Если бы она сидела перед вами вместо меня, вы бы не могли не исполнить ее просьбы, иначе она тут же перед вами упала бы мертвою и потом тревожила бы ваш сон», — расходилась я, но он остался невозмутим. Наконец, он зашевелился, давая понять, что время уходить. Я встала. Он взял мою руку. Я спросила, могу ли надеяться, он отвечал утвердительно, но засмеялся каким-то адским смехом, тут же сбившим поданную надежду. Бачманов опять улыбался, кланялся и провожал, но я уехала с таким же тяжелым чувством, как и от Шувалова. Не гожусь я в просительницы; да, впрочем, на что я и гожусь.

Это свидание происходило 13 февраля. Прошло опять томительных две недели. Ответа никакого. Я не решалась писать, в Кадников, потому что о посторонних вещах писать не хотелось, а об этом деле нечего было писать. Впрочем, ни Лавров, ни старушка о нем и не подозревали, но старушка вечно ждала что-нибудь в ответ на свои письма и бланки, свои же письма к Лаврову я всегда адресовала на ее имя, и мне поэтому было, больно не иметь ничего сказать ей. Но лучше бы я хоть что-нибудь да написала бы им, покуда еще царствовала неизвестность: она была все же лучше известности. В один прекрасный день Бачманов приехал и объявил, что ничего не будет: отказ полный, решительный, как ножом отрезанный, «и, — сказал он по секрету Александре Романовне, — если вы любите Елену Андреевну, то посоветуйте ей совсем не писать Лаврову хоть некоторое время, по крайней мере». Тогда волновались Медицинская Академия, Технологический Институт и университет, и эти-то волнения имели влияние на исход дела о Лаврове. Мы с Александрой Романовной постоянно скрывали от Бачманова, что я с Лавровым в переписке, но он об этом и не спрашивал: был, вероятно, вполне просвещен на этот счет и самым официальным путем, потому что наша наивная хитрость — надписывать его письма рукою матери и адресовать мои на ее

имя, — по всей вероятности, не предохраняли их от вскрытия.

Мне не пришлось ни последовать совету Бачманова, ни поступить вопреки ему: приехала из Кадникова одна барыня, привезла мне письма и письмо Суворову от Лаврова мне же, и я с ней переслала свое. Было от старушки и письмо к Мезенцову, ввиду событий бесполезное. Теперь эта барыня уже вернулась восвояси, и Лавровы уже знают роковой ответ. Вот мои хождения по двум мытарствам и их печальный исход. Теперь остается записать третье.

Лавров просил меня передать его письмо князю Суворову лично. Итак, 1 апреля я отправилась к нему. Не зная, как добраться до светлейшего, и не желая блуждать по его передним, я осталась в карете, послав к нему свою карточку. Минут через пять пришли меня просить. Дом Суворова носит на себе полуофициальный отпечаток; он похож на военного, одетого, в статское платье. Суворов в отставке и лицо нисколько не должностное, а между тем какая-то особенная суета в доме как будто напоминает, что есть поблизости начальник; но суетящиеся люди смотрят и кланяются веселее, чем у Шувалова и Мезенцова. Меня ввели в приемную. Там подошел ко» мне какой-то военный и объявил, что он адъютант князя и что князь в настоящую минуту занят, так не желаю ли я, чтобы не дожидаться, передать дело» мое ему. Я отвечаю, что мне поручено передать его лично князю и что я готова ждать. Адъютант поклонился и исчез. Я села на диван. Проходили мимо, меня разные лица, лакеи, унтера в тяжелых сапогах; мелькнула какая-то барышня, вероятно, дальняя родственница или компаньонка княжны Она почти столкнулась в дверях с адъютантом, который опять приходил просить меня подождать, и сделала ему глазки. Наконец, говор и смех в соседней комнате стихли, и дверь о» творилась. На пороге ее появилась высокая, красивая фигура старого князя, одетого в красный фланелевый пиджак. Я ужасно обрадовалась, что словила, наконец, этого красного зверя, и тотчас хотела приступить к делу, но он перебил меня извинениями, что не одет. Наконец, мы уселись. Я подала письма, он разорвал конверт и хотел было читать его, но, увидав количество листов, вложил письмо, обратно в конверт и спросил, знаю ли я его содержание. Может, надо было отвечать отрицательно; утвердительный ответ, пожалуй, избавил его от обязанности прочесть письмо самому, но, во-первых, такой ответ был бы ложью, а, во-вторых, лишал меня возможности говорить о цели письма.

Суворов сказал вот что: «Государя просить я не буду, потому что у нас с ним такое условие, что я никогда не буду его ни о чем просить; — но я поговорю с Шуваловым; и тем более, что это дело

помимо Шувалова ни в каком случае пройти не может. Я помню Лаврова и буду просить о нем тем охотнее, что знаю, что можно, сказать в его пользу». Тут он привел свои доводы в пользу Лаврова, но уже такие какие-то детские, что я совсем пала духом. Между прочим, что если он такой преступник, то зачем же держали его так долго, профессором? Признаться, и этот довод показался мне очень мало, убедительным. Ну, держали, покуда не считали преступником, а когда увидали, что преступник, то ведь и перестали держать. Но, сообразив, что в мире Суворова, может быть, иная логика, чем в нашем мире, и что ему лучше знать свою логику, что, может быть, этот довод и действительно очень важен и топко подмечен, я не сказала ничего Суворов между тем продолжал: Пора, знать и меру; ну, наказали и будет! Трех лет довольно. Я буду говорить о Лаврове. Вам же вот что скажу, и вы, конечно, меня поймете: я не сочувствую тому, как ведутся дела теперь, и потому я отстранен; я ведь не имею теперь никакой официальной должности». — «Я знаю, — отвечала, я, — но в городе ходит такое поверье, что государь вас любит и вам верит, и что вы исправляете вечером то, что бывает попорчено утром». Он улыбнулся и еще раз обещал постараться, но прибавил, что скоро сделать этого нельзя.

Я спросила, каким образом получить мне ответ. «А вы дайте ваш адрес, — сказал он. — Вы все еще живете в вашем доме на Миллионной?». Когда я сказала свой адрес, то он несколько раз повторил его, закрыв глаза. Не доверяя старческой памяти, я хотела его записать, он не дал. Суворов, на беду нашу, хвастает своей памятью. Оставалось уйти, и я ушла, унося с собой его обещания, но очень мало надежды. Говорить с ним было, довольно затруднительно, — по комнате то и дело проходил кто-нибудь, а Суворов глух, и хотя он и очень близко подставлял мне свое набитое ватой ухо, но все же приходилось возвышать голос, а это выходило очень неудобно.

Вот мое третье и последнее покуда странствие по мытарствам.

[1871]

1868–1870 годы
Дневник

1868 год

С. Петербург. 1 октября.

Праздник, гудят колокола. Тихо в доме.

«Что вам вздумалось жить отдельно? — спрашивают меня. — Ведь это вам дорого обойдется, и вы соскучитесь?»

Я объясняю, что там, дома, нам места не было.

Настоящей причины, того, что я убежала, унеся с собой страх запутать наши дела и слабую надежду их исправить трудом, — я никому не говорю.

Плохо мне было, если я ушла, поверьте, что плохо. Такой вышколенной, как я, надо было совсем измучиться, чтобы отдать себя течению, чтобы течение прибило бы к берегу.

И вот берег! Вот настоящая жизнь старой девы.

Вчера утром я ездила к Полонскому по обещанию давать ему уроки английского языка. Урока никакого не дала, мы проговорили о бывшей моей к нему ненависти.

2 октября.

Вчера вечером были Аля и Малевский. Аля рассказал, между прочим, что «Опричника» Лажечникова, запретил для сцены Гончаров. Когда запрещение это было еще канцелярской тайной, Аля разболтал его по секрету кому-то в театре. Этот также разболтал, и дошло до директора, тогда еще Борна. Стали хлопотать отвести в Главное Управление.

Там поднялась кутерьма, но виновного не нашли, а хлопотали так хорошо, что выхлопотали разрешение давать «Опричника».

Четверг, 3 октября.

Газеты всецело отдались революции в Италии, и она же, за неимением чего-нибудь более близкого, служит темою разговоров.

Для меня, собственно, далекая Италия представляет мало интересного, я даже плохо знаю подробности этого восстания и имена его героев и жертвы.

Меня поражает, удивляет глубоко, дух итальянского народа. Это что-то сказочное, небывалое, неожиданное.

Лавров уж в Вологде, это большая радость. Там новые места, новые люди спасительно подействуют на его расстроенные нервы. Судя по карточке, которую он делал в Вологде, он не поправился и не помолодел.

Я недавно показала эту карточку Бенедиктову, он заплакал, глядя на нее, c'est tout dire[335].

4 октября.

Как труден женский труд! Я держала экзамен, чтобы завести школу или давать уроки в казенном заведении. Открыть школу еще не могу, потому что денег нет, уроков в казенном заведении не могу иметь потому что не кончила курсов в Педагогическом отделении, бегать по частным урокам я не в состоянии, — что же мне делать? Вот что меня убивает. К этому же, как на зло, именно теперь, когда нам надо сжаться и работать, мы сблизились с этими Коншиными, с этими праздными, богатыми, совершенно, беззаботными людьми.

Когда я повидалась с Надеждой Васильевной Стасовой и снова попала в мир деятельности и труда, мне стало ужасно грустно, и стыдно прожитого лета и проживаемой зимы.

Вторник, 8 октября.

Вчера была у Стасовой. Приезжала Александра Романовна, обедала у нас мама, вечером были Маша и Оля. Какая пустая моя жизнь: была там-то, был тот-то. Энергии при этом никакой, потому что веры в мои силы никакой. «Висят поломанные крылья!»

А Надежда Васильевна? В лихорадке, с пылающими щеками, с руками, как лед: до того, слабая, что еле передвигает ноги, почти без голоса от слабости, целый день трудится, работает, хлопочет. Вчера я застала ее присутствующую при уроке Белозерской, и при этом штопающую старые салфетки.

Сидя со мной, она все время штопала. На столе у нее пропасть книг, которые она читает или просматривает для переводов. Завтра она поедет в комитет.

Вчера она была в заведуемом ею доме на Выборгской. Она же с Трубниковой издает книги, возится с миллионами затруднений, неудач, неприятностей, видается с сотнями людей. Я ей удивляюсь, завидую, а подражать не могу веры нет.

1869 год

Март.

Щербина умер[336]. Тот Щербина, что пятнадцать лет тому назад появился в Петербурге, как бич общественный, бичуя общественные пороки. Я говорю, как бич, потому что на деле он не был бичом и только им казался Про него сказал Аксаков[337]:

Полухохол и полугрек,
Грек нежинский, не грек милетский,
Зачем бессильной злобой детской
Свой укорачиваешь век?[338]

Но и злобы настоящей не было. Была щекотливость мелкого самолюбия, сентиментальная брезгливость тем, что не давалось в руки. Настоящая злоба не ужилась бы в Главном управлении по делам печати, и настоящая брезгливость не позволила бы облечься в тот вицмундир и в те чины, над которыми так неистово глумились.

Пятница, 17 октября.

Довольна прискорбные вещи рассказал мне Негрескул[339].

На днях, недели две тому назад, один его знакомый юноша выходил в девять часов вечера из одного дома в наших краях, т. е. Литейной.

У подъезда стояла карета, из кареты вышел какой-то военный и пригласил юношу войти в нее.

Удивленный юноша отказался, конечно, от этого приглашения. Тогда офицер показал ему бумагу, предписание его арестовать. Юноша покорился, они приехали к какому-то большому дому, вошли в него, и там офицер сказал юноше: «предписание арестовать вас вы видели, теперь подпишите вот этот вексель в шесть тысяч, иначе вы отсюда не выйдете живым, и вот еще все эти личности сюда попадут», — и он показал ему список имен ему знакомых молодых людей и женщин.

Оторопевший юноша расписался и был выпущен. Первым делом его было, конечно, оповестить своих приятелей об угрожавшем им. Они все сейчас же решили дать знать о случившемся полиции, но, прежде чем успели они это сделать, явилось анонимное письмо, в котором им писалось, что если они это дело огласят, то тотчас же будут взяты.

Они поверили и промолчали.

Когда Негрескул рассказал мне эту историю, я стала убеждать его не слушаться анонимных писем и все объявить в полицию, но мои убеждения его не убедили. Он твердо верит в солидарность этого происшествия с Третьим отделением и рассуждает так:

«Положим, меня возьмут, увидят, что я невинен, и выпустят

через месяц.

В этот месяц я потеряю свои занятия и свое здоровье, которого у меня немного (это, увы, слишком верно), и, наконец, у меня беременная жена, от которой я и так скрываю половину этой истории».

Мне только удалось его уговорить посоветоваться с адвокатом, я дала ему адрес Арсеньева.

Эта история прискорбна во многих отношениях: во-первых, она показывает, до чего возбуждена и неуверена в своей безопасности наша мыслящая молодежь, если готова видеть руку правительства в подобном наглом мошенничестве, а, во-вторых, утаивание этого наглого мошенничества может способствовать к его повторению и, наконец, придает целому кругу молодежи в самом дело какой-то вид виновности, не совсем безопасной.

Меня эта история настолько, беспокоит, что я вчера отправилась в Негрескулам в 14-ю линию, чтобы узнать о ней, но ничего не узнала.

Присутствие больной Мани помешало, а выжидать, когда она выйдет из комнаты, я не имела времени; теперь жду Негрескула к себе.

Когда же кончатся эти Третьи отделения и аресты, эти пугала и в то же время эти забавы, эти романы нашего юношества? Потому что, надо признаться, у этих странных игрушек, к которым нас приучили шальные меры правительства, есть и романтическая сторона. Люди, отвергнувшие все затеи, все лишнее, без чего только человек может обойтись, и даже без чего он обойтись не может, упростившие свои отношения, свою жизнь до невозможного, не щеголяющие ничем, щеголяют теперь своими отношениями к правительству. Ведь они рисуются, не замечая того, своей «преступностью», своими опасными свойствами.

Свою жажду приключений, присущую молодости, и которую никакие умственные труды не изменяют и не искореняют, покуда ее не искоренят годы, они идут утолять по Сольвычегодскам да Царевококшайскам.

И все это еще ступени, все ступени, по которым долго еще никто не пройдет! И как бы они пошли? Где у них сила, когда здоровья нет?

Наше детство, наше отрочество, наша юность дают нам разве здоровье? А без здоровья какие мы люди?..

Суббота, 3 ноября.

Негрескул не показывается, — вероятно, нет никаких последствий приключения с юношей.

Тем лучше! Зато теперь о самом Негрескуле дошли до меня плохие слухи.

Русская книжная торговля издает журнал «Библиограф», Негрескул стоит во главе этого журнала. Но так как ему или фирмы не разрешили или не разрешили бы этого издания, то сыскали подставного редактора и никого другого, как нашего старого знакомого, выжившего из ума, Струговщикова[340].

Я выражаюсь так, потому что, не зная его в молодости, думаю, что он был толковее тогда, думаю это, хотя те, которые его знали в дни его молодости, и уверяют, что он не мог выжить, из того, чего у него никогда не было. Впрочем, дело не в этом, а в том, что переводчика Гете, нынешнего гласного новгородского земства, тайного советника Струговщикова, пригласили быть ответственным редактором.

Когда Лаврову запретили быть редактором «Заграничного Вестника», Афанасьев-Чужбинский имел такт не спорить ни в чем с Лавровым[341], довольствуясь гонорарием, если бы честь подписывать книжку, составленную Лавровым, не вознаграждала его за пассивную роль.

Стать в отношении Негрескула в ту же роль, в какой стоял Афанасьев-Чужбинский в отношении Лаврова, Струговщиков не может.

Как у того хватало здравого смысла подчиняться Лаврову, так у этого хватило его настолько, чтобы не подчиниться Негрескулу и компании.

Но Негрескул и компания этого совсем не ожидали. Они жестоко ошиблись в расчетах. Они думали, старичок, тайный советник, простой, добр, они упустили из виду, что старичок сам литератор.

Подобное упущение уж само по себе говорит, какого сорта они деятели.

Афанасьеву-Чужбинскому раз в месяц показывали редактируемую им книгу последней страницей, той, на которую он должен был подписывать свою фамилию.

Ответственный редактор Струговщиков запасся контрактом. Редактор de jure, редактор de facto[342], с компанией, условившись решать выбор статей общим советом.

Пришла на очередь статья самого редактора de facto, редактор de jure ее забраковал, решив, что она безграмотна.

За нее восстали сам автор и компания. Старичка захотели устранить от совещаний, но старичок показал контракт и попросил отстраниться им самим.

Произошла свалка еще пущая, и ареопаг разошелся, унося свое негодование, недоумение и свои статьи, а Струговщиков еще

кроме того унес свой контракт и положил его у себя на стол.

Вдруг на другой день, во время отсутствия Струговщикова, является к нему на дом Негрескул, под каким-то предлогом входит в его кабинет, берет со стола контракт и удаляется.

Струговщиков возвращается, узнает о случившемся и едет немедленно жаловаться к Трепову.

Трепов дает ему чиновника на помощь.

Подробностей этого акта печальной комедии я не знаю, но результат тот, что. Струговщиков восстановлен в своих правах ответственного редактора, а Негрескул удален из редакции.

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Чем теперь будет жить Негрескул с семьей?

Теперь и Лавров не останется сотрудником «Библиографа». Да, наконец, в каком нелепом виде показаны опять нигилисты?

Эту историю слышала я от нескольких лиц, но ни одно из них ни слова не сказало в пользу Негрескула. Все единогласно смеются над ним, а Струговщиков никому не кажется смешон, кроме нас, старых его знакомых. «Библиографа» я еще не видала, говорят, он изящно издан, но не соответствует своей задаче, не довольно полон и мудрствует слишком лукаво.

Моя молитва не услышана. Я молилась о том, чтобы не истребилось племя нигилистов, — оно истребляется, вернее сказать, вырождается.

Вчера я их видела.

У Надежды Васильевны Стасовой было собрание, которое бывает каждую первую пятницу после первого числа в месяце, по женскому делу, т. е. по устройству женских курсов. Несостоятельность, односторонность взгляда, непонимание, даже — tranchons le mot[343] — нечестность!

И все это, как мне кажется, из одного источника — из невежества.

Покровский определяет нигилиста по особому, ему только, т. е. нигилисту, принадлежащему методу мышления. Он говорит, что нигилист никогда не исчерпывает предмета, берет его, как он ему видится, — в крайней прозе: есть ли что за ним, нигилисту нет дела; существование всего, что заходит за его горизонт, он отрицает, а горизонт его невелик, чуткости у нигилиста никакой.

В высшей степени чуткой природе Покровского это-то и невыносимо, и он кидается на нигилистов с какой-то страстной раздражительностью.

Я думаю, привычка отрицания и боязнь увлечения породила этот образ мышления.

Нигилисты ищут одного только — истины. Они знают, что истина нага, и все нагое принимают за истину и все обнажают,

ища ее.

Отсюда крайняя бедность мышления.

Понедельник, 10 ноября.

Сидеть одной в нашей маленькой квартире, имея перед собой ряд свободных часов, которые знаешь наверное, что никто не нарушит, в настоящее время самое живое мое удовольствие и даже единственное.

Оно мне дает то настроение духа, которым уходишь в себя, сосредоточиваешься над делом. И вот в настоящую минуту я одна и впереди, до вечера, до ночи, я одна, но сосредоточиться я не могу.

Разговор, что был здесь час тому назад, не дает мне успокоиться. Я чую грозу в воздухе, я, более того, вижу, как она готовится, и меня волнуют страх и надежда. Погубит ли гроза или она будет плодотворна?

Жизнь человека, а может быть и нескольких, поставлена на карту, — или пан или пропал.

Незнакомые между собой люди сошлись у меня случайно и стали в такие странные сношения друг с другом. То страшное, которое мне открыли год тому назад и о совершении которого я ни с кем не могу говорить, не могу знать ни времени ни обстоятельств этого совершения, то готовится теперь.

Среда, 19 ноября.

Сейчас был Негрескул, вот как он рассказывает историю с Струговщиковым.

Комитет был недоволен составом первой книжки «Библиографа». Она была составлена Струговщиковым, который поместил в нее ряд известий, касающихся литературы, это правда, но не касающихся библиографии и не входящих в программу журнала; между тем новости библиографические, каталог новых книг он не поместил, что и очень заметно, между прочим.

Несмотря на несогласие комитета выпускать в таком составе книгу, Струговщиков приказал ее выпустить. Негрескул и еще кто-то, имени не помню, отправились в редакцию и, узнав, что книга выпускается, просили выпуском повременить или возвратить им все их статьи. Назначили экстренный комитет, Негрескул поехал к Струговщикову, не застал его дома, спросил Яна, но и его не было, тогда он попросил служанку проводить его в кабинет и там написал Струговщикову записку, спрашивая, когда ему будет удобно приехать в комитет, утром или вечером на следующий день. Написав записку, он увидал на столе

печатное оглавление статей для следующей книжки.

Тут Негрескул сделал одну вещь, которую, говорит он, он имел право сделать, — он взял это оглавление. Он говорит, что было такое условие, что каждый член комитета имеет право брать со стола товарища, без спроса, все, касающееся издания. Во всяком случае, то, что Негрескул взял, был не контракт, как уверял Жохов. И взял он его не тайно, а с ведома служанки. Струговщиков же, узнав о случившемся, тотчас же поехал к Трепову, но его не видал, а передал все дело Колышкину. Колышкин на следующее утро вызвал телеграммой Негрескула к себе и там ему объявил, что Струговщиков на него и компанию жаловался, как на бунтовщиков, революционеров, которые проводят резко идеи.

После этого. Негрескул, кажется, в редакции, встретился с Струговщиковым и обругал его в лицо, а так как он предварительно узнал от Водовозова, что Струговщиков ему рассказывал, что ехать к Трепову ему посоветовал сын его Михаил, то тут же обругал и сына.

На другой день приехал к нему сын вызывать его на дуэль, сделал вызов свой при больной жене. Негрескул отвечал, что с мошенниками не дерется, а тем более, когда уверен, что он, т. е. Михаил Струговщиков, тотчас же пойдет донести полиции, если бы его вызов был принят.

Вот история со слов Негрескула. Назначен третейский суд[344]. Со стороны Струговщикова — Краевский и Гаевский. Со стороны Негрескула — Н. Курочкин и Лесевич. Супер-арбитром — Н. Неклюдов и Арсеньев. Постараюсь попасть на этот суд, и желаю от всей души, чтобы оказались правыми Негрескул и компания.

Сегодня был третий урок Росси, было четырнадцать человек. Обедали Покровский и Антропов[345]. Мы много спорили по поводу «Окраин России» Самарина[346]. Они оба катковисты.

Как немногие остались верными преданьям юности[347]. Но, может быть, вступив в жизнь, окунувшись, так сказать в нее, и нельзя им оставаться вполне, абсолютно верным, и это только могут такие, как я, стоящие вне жизни.

Забыла написать, что Струговщиков требует, чтобы на третейском суде не было упомянуто о том, что он ездил к Трепову.

История с юношей и векселем в шесть тысяч рублей устроилась. Арсеньев научил, как вытребовать вексель обратно и его уничтожить. Оказалось, что то был просто мошенник.

Была между прочими ученицами некая м-м Вебер. Она пришла рано, и я разговорилась с ней о женских курсах. Она

депутатка. Мм с ней совершенно сошлись во взглядах насчет происшедшего раскола, т. е. Солодовниковой и компании.

Она находит ошибки и повод к возбуждению раскола в поведении Надежды Васильевны Стасовой, хотя не сомневается в искренности намерений в отношении к женскому вопросу. И в то же время она жестоко осуждает Солодовникову. Она между прочим привела в пример поведение ее и Ткачовой на одном из заседаний у Трубниковой: когда вошел старик Наранович[348] и все профессора встали, чтобы его встретить, они обе продолжали сидеть и только шептались и хихикали.

Вебер нашла это возмутительным, а она между тем, на многие глаза, нигилистка.[349]

Надежда Васильевна таки назначила снова собрание в субботу[350], не внемля ни моим советам, ни советам Белозерской. Ей хочется додразнить до катастрофы, погубившей Общество женского труда.

В прошедший раз Ткачова выходила из себя[351], нужно было только одно слово с ее стороны или со стороны самой Надежды Васильевны, и неладная машина, которою зовут женским вопросом, которая так плохо построена, но так необходима и важна, остановилась бы снова ради того винтика, который Ткачова или Стасова сломали бы.

Мне хочется сказать им вот что… Нет, мне хочется не сказать им, а бросить в лицо упрек, что они не любят того дела, за которое взялись.

Понедельник, 11 декабря.

Черкесов взят.[352]

Иногда в ясную погоду, при безоблачном небе, вдруг неожиданно грянет гром из незаметно подкравшейся тучи, и невольно вздрогнешь.

Точно так же невольно вздрогнули от неожиданно распространившейся вести: мировой судья Черкесов взят. За что? За что? Неизвестно! Этого не знают самые близкие к нему люди, его жена, друзья. Думают, не имеет ли этот арест чего-нибудь общего с бегством Ушаковой.

Что за Ушакова, тоже неизвестно[353]. Вращаясь довольно долго в нигилистических кружках, я и имени подобного не слыхала. Может, впрочем, она не нигилистка.

Вот что про нее рассказывают: она убежала за границу, отец ее обратился с жалобою в Третье отделение. Стали наводить справки, оказалось, что ее бегству способствовал Черкесов, другие говорят — его помощник в магазине, Евдокимов, и именно тем, что дал ей на дорогу пятьдесят рублей.

В этом рассказе мало правдоподобного.

Другие говорят о появлении каких-то прокламации.

В наших сферах получено было известие, что в уездном городишке Весьегонске, Тверской губернии (три тысячи жителей), появились прокламации. По совету министра юстиции Палена, послали в этот город навести справки или следствие двух чиновников первого департамента Сената. Они, кроме пустяков, не нашли ничего, и донесли начальству, что на подобные пустяки не стоит обращать внимания.

Вдруг узнается, что прокламации распространяются совсем не из Весьегонска, а направляются из Петербурга. Чиновникам и начальству был выговор и новые травли. Думают, что арест Черкесова, может быть, с этим происшествием имеет что-нибудь общее. Увидим, что скажет завтра!

У Черкесова обыскали сначала магазин, потом квартиру, но когда хотели обыскивать камеру, то он надел свою цепь мирового судьи и не хотел допускать обыска. Однако съездили к Шувалову, и в конце концов Черкесов уступил.

Неклюдов, председатель съезда, и весь съезд, возмущенные этим, протестовали. Они подали иск в окружной суд, другие готовят жалобу министру юстиции. Между тем «Судебный Вестник» напечатал об обыске и аресте и тотчас же получил предостережение.

Говорят, что напрасно «Судебный Вестник» печатал об этом, он этим скомпрометировал совершенно законное, но смелое заявление мирового съезда и повредил делу печати. Существует особая комиссия, созванная для того, чтобы снова рассмотреть законы о печатном деле, и потому находят, что литература лучше всего сделает, если будет себя держать как можно тише и как можно меньше внушать поводов к новым стеснительным законам.

Ожидают скандала. Гольдгойер, лучший из сенаторов, творит: «Шувалов и хочет скандала, он только и ждал нарушения закона!».

Посмотрим, что скажет завтра.

Говорят, у Черкесова нашли записку Ушаковой, в которой она благодарит его за деньги. Но ведь она переводила для библиотеки Черкесова и потому, вероятно, также получала деньги. Нашли у него также Герцена.

Вторник, 2 декабря.

Сегодня день рождения Коли. В час ждала меня Надежда Васильевна, но я не могла у нее быть, потому что ездила поздравлять Колю.

Когда я воротилась домой, то нашла две записки: одну от

Белозерской, в которой она звала ехать с ней к Пинкорнелли в крепость, другую от Пивоваровой, в которой она звала непременно сегодня же вечером к Стасовой.

Так как, кроме того, сегодня же вечером я собиралась по делам же к Полонскому и Ливотовой, то я стала в тупик, наконец, от наплыва приглашений. Меня выручила Белозерская. Она явилась сама и рассказала, в чем дело.

Черкесов в крепости. Нас, ее или меня, просят съездить к Пинкорнелли, разузнать, что можно, и попросить, нельзя ли передать записку от жены, сигары и белье. Надежда Васильевна желала меня видеть по тому же поводу. Мы сейчас же собрались ехать, послали за каретой, дешевле пяти рублей не нашли. На извозчике втроем, с Андреем, неудобно, и они уехали без меня, обещаясь, впрочем, если удастся, нанять до дороге карету и приехать за мной. Едва ли это удастся.

Пятница, 5 декабря.

Вот что я слышала через Надежду Васильевну от Черкесовой[354] об аресте ее мужа.

У петергофского коменданта Евреинова есть очень красивая дочь[355]; за этой дочерью приволокнулся очень сильно в.к. Николай Николаевич. Отец молодой девушки был не прочь от ухаживаний великого князя, напротив того, сильно поощрял их. Это вывело молодую девушку из терпения. Преследуемая с двух сторон, она хотела утопиться, но одна ее подруга, — а именно жена Ковалевского[356], издателя многих хороших книг, учащаяся чему-то в Гейдельберге, — которой она писала о своем безвыходном положении, посоветовала ей, чем топиться, приехать лучше сюда, а если не знаешь как это устроить, то посоветуйся с Евдокимовым. Евдокимов — помощник Черкесова в его магазине. Евреинова не была с ним знакома, но, по совету своей подруги, отправилась к нему. Евдокимов стал ее, прежде всего, отговаривать от подобного решительного шага и представил ей все его трудности, но барышня не отступала. Тогда он спросил ее, есть ли у нее хоть деньги. Оказалось: сто рублей. «Вы с этими деньгами не доберетесь до Гейдельберга», — сказал он, дал ей, иные говорят двести, другие — пятьдесят рублей еще.

Евреинова, — здесь кстати заметить, что это-то и есть та Ушакова, о которой говорили сначала, — прибыла благополучно, в Гейдельберг и оттуда прислала Евдокимову телеграмму[357], в которой уведомляла его о своем прибытии и в то же время благодарила за оказанную помощь[358].

1870 год

Петрозаводск, 28 ноября.

— Знаешь, кто у нас будет сегодня обедать? — сказал мне Андрей, возвращаясь от губернатора.

— Кто?

— Загуляев!

— Кто такой Загуляев?[359]

Он мне напомнил: Загуляев бывал у нас десять лет тому назад. Кто не бывал у нас десять лет тому назад! Я вспомнила, наконец, кто Загуляев, не вспомнив, впрочем, нисколько его лица, ни вообще наружности.

— Да как он попал сюда?

— Сослан!

Загуляев сослан, человек, которому с лишком тридцать лет? Который имеет уже известное положение, сотрудник «Голоса», корреспондент «Independance Beige»[360]. Опять гром из безоблачного неба, и среди зимы вдобавок.

— За что же он сослан?

— Не знаю, вот придет расскажет.

Часов в пять он пришел. «Политический, идейный» — при этом названии передо мной рисуется образ, не произведение моей фантазии, а образ, действительно мною виденный, слишком часто виданный и превратившийся в тип, от повторения. Политический ссыльный, — я знаю, что это такое. Это молодой человек, с косматой головою, с впавшей грудью, с резкой речью.

Дверь отворилась, и передо мною стоял пожилой господин, изящный и утомленный.

Как молнией пронеслось в моей голове: «неужели уже те все вышли, и вот уж за каких принимаются?».

Брат его встретил, усадил и уже расспрашивал его, когда я очнулась.

— А вот, дайте отдохнуть, все вам расскажу по порядку, — отвечал наш гость.

Когда я приехал? — Сегодня.

С кем? — Один. Знаю, что это редкий случай, и рад хоть этому.

А за что сослан? — Вот за что. Я, как вам известно, сотрудник «Голоса» и корреспондент «Independance Beige». За шесть недель до обнародования ноты кн. Горчакова по поводу Черноморского флота[361], я писал о ней в редакцию «Independance Beige». Там моей статьи не напечатали, не поверив в истинность того, что я писал. Кроме того, мне попалось в руки предложение Америки продать нам несколько судов, и я об этом предложении написал, и это не напечатали. Но когда нота Горчакова действительно появилась, тогда в «Independance Beige» напечатали мои статьи,

да еще с оговоркой, чрезвычайно лестной для меня, что все это им уже было известно, но что они усомнились, в чем и извиняются.

Об этом прочитали в высших сферах, и государь рассердился, не на статьи мои, а на преждевременность их сообщения. (Надо заметить, что Загуляев принадлежит к партии, жаждущей объединения славянских племен, и, значит, к поднятому ныне черноморскому вопросу относится как нельзя сочувственнее.)

18-го утром приезжает ко мне Баженов, прокурор окружного суда, я выхожу к нему, вижу: с ним полковник Перемыкин, гражданский и еще квартальный. Баженов объявляет, что должен произвести у меня обыск (по новому постановлению, без прокурора окружного суда нельзя производить обыска). Я говорю ему: «Сделайте одолжение», и подаю ключи. Он отворил мой стол, стал рыться в бумагах и письмах. Я показал на ящики в коридоре, также наполненные бумагами, его обыскивал Перемыкин. Тоже не нашли ничего, потому что нечего было найти. — Баженов же вынул из пачки писем письмо Гарибальди, в котором он разрешал редакции «Отечественных Записок» переводить его романы, и письмо В. Гюго, которое ничего собственно не заключало, так, общие фразы, как, например, «Votre belle Russie»[362].

«Вот эти письма я представлю куда следует, — сказал он, — и будьте совершенно покойны и успокойте вашу жену. Ручаюсь вам, что дурных для вас последствий из-за всего этого не выйдет никаких».

В это время подошел Перемыкин и потребовал тоже осмотреть стол. «Я его уже осматривал, — отвечал Баженов. «Позвольте еще». Баженов бросил ему ключи. Перемыкин тоже ничего не нашел.

Баженов пожал мне руку, с Перемыкиным мы раскланялись, и они уехали.

Я был совершенно спокоен. На другой день является ко мне полицейский чиновник от Трепова, с извещением, что меня высылают вон из Петербурга.

Я бросился к Баженову. Тот взбесился и тотчас же отправился к министру Палену. Я уехал к Трепову.

После я узнал, что Баженов, прежде чем ехать к Палену, написал просьбу об отставке, которую и подал министру, рассказав все дело.

Пален в свою очередь вышел из себя, просьбу об отставке Баженова не принял и отправился к Шувалову.

«Что прикажете делать? — сказал Трепов. — Напишите письмо государю и Горчакову; а с высылкой вас погодим, может

быть дело уладится: теперь Палея впутался».

Я сделал, как посоветовал Трепов, написал письма. Баженов мне сказал, что Пален желает со мной познакомиться и примет меня к себе в понедельник. Я опять *стал* надеяться. Вдруг снова является чиновник Трепова и, почти со слезами на глазах, объявляет мне о немедленной высылке.

Я опять к Трепову. Трепов, называвший до сих пор Шувалова графом, Шувалова теперь уже назвал другим именем, советовал мне покориться, обещая хлопотать обо мне[363].

«Все, что я могу сделать, — сказал он, — это взять с вас подписку, что вы отправитесь завтра, и отпустить вас одного. Вы едете в Петрозаводск, и явитесь прямо к губернатору, с письмом от меня».

«Да вы знаете, — сказал я ему, — что мне выгоднее совершить какое-нибудь покушение на преступление, чем ехать в ссылку; тогда я остаюсь здесь и могу еще работать, у меня семья, а в ссылке я лишаюсь всех средств».

«Вот кинжал, — сказал Трепов, — ударьте им меня. Впрочем, я вам обещаю через две недели известить вас о вашем деле. Если оно примет дурной оборот и вас не воротят, то вы можете публиковать о нем в «Independance Beige», тогда будет скандал на всю Европу».

Что было делать? Я собрался и уехал, не повидавшись с Паленом, накануне дня, назначенного для свиданья. И вот я здесь, у вас. Отдал губернатору письмо Трепова, говорил с ним по-французски. Он меня предупредил, чтобы я не сходился с ссыльными, которые здесь. Я отвечал ему, что если это нигилисты, то мы не только не сойдемся, но убежим друг от друга: они меня не терпят, как и я их не терплю. Должно быть, я расположил его этим и французским языком. Он меня позвал в кабинет и посадил».

Вот вкратце рассказ Загуляева.

Для меня он имеет особенный интерес, потому что я его слышала, так сказать, на том свете. Обыкновенно последние дни, предшествующие ссылке, и очень часто и ее причина остаются покрытыми мраком неизвестности. Человек исчезает, возбудив своим исчезновением любопытство и рассказы, быстро переходящие в легенды.

Через несколько лет он возвращается, но новые впечатления свободы и свидания стоят тогда на первом плане и не дают места давно прошедшему.

В моем мартирологе это новая страница с обратной стороны.

Из истории женского движения [364]

В декабре 1867 года[365] Евгения Ивановна Конради подала в Съезд Естествоиспытателей письмо, в котором, основываясь на стремлении женщин к высшему образованию, просила о разрешении им посещать университет.

Ей ответили не прямым отказом, а сомнением, действительно ли существует среди женщин подобное стремление.

Тогда Конради обратилась к М. В. Трубниковой, как к лицу, вращающемуся среди женщин, ищущих умственного труда и образования, прося ее сообщить им о ее, Конради, шаге и распространить среди них ее идею, и, в случае сочувствия ей, призвать их к дружному содействию для ее осуществления.

Трубникова откликнулась горячо и первым долгом поспешила к другу своему — Н. В. Стасовой. И вот, втроем, Стасова, Трубникова и Конради занялись составлением на имя ректора университета Кеслера — он же был и председателем Съезда Естествоиспытателей — нового письма или, скорее, прошения, в котором от имени всех желающих высшего образования женщин испрашивалось разрешение посещать университетские лекции. Письмо должно было быть подписано возможно большим числом женщин, и в какие-нибудь десять дней подписалось под ним более четырехсот человек.

Подписные листы распространялись во всех слоях общества, в так называемом нигилистическом, равно как и аристократическом, и быстро, покрывались именами, пестротой своей, мне, по крайней мере, напоминавшие и муки при появлении на свет Общества поощрения женского труда в 1863–1865 годах и безвременную кончину его.; тем более напоминали, что и имена встречались знакомые, из того, же времени. Но были и новые, например — имя дочери военного министра Милютина, очень симпатичной девушки, собравшей много, подписей в своем кругу и на которую у нас очень рассчитывали. А рассчитывать было надо.

Между тем наступала весна. 2 апреля, у нас в доме, прошение было переписано набело, и Трубникова повезла его ректору Кеслеру, и был получен и ответ на ее имя.

Он гласил следующее.

Ученый совет при университете читал письмо, сочувствует стремлению женщин к образованию и с готовностью примет на себя труд организации высших курсов для женщин, если на то последует разрешение министра.

Дверей же университета, для совместного со студентами

слушания лекций, не открыли.

Для прочтения и обсуждения этого ответа Трубникова пригласила к себе подписавших прошение, — явились, конечно, не все, и ни на чем не решили относительно предложения ученого совета. Решили отложить дальнейшее обсуждение до осени, образовать только кружки, которые высылали бы на будущие собрания своих представительниц, депутаток, а не являться бы в полном составе, в количестве четырехсот человек, что было бы несуразно, так как невозможна было бы являться на них в подобном количестве.

Решили также с помощью профессоров университета летом приготовить программу предварительную курсов, и осенью, обсудив ее да общем собрании, представить министру народного просвещения вместе с прошением об открытии курсов.

Наступила осень. Общее собрание утвердило программу и прошение, и оставалось только решить, кто повезет их к министру.

Если бы судьба, не люди, — людям, т. е. толпе, всегда личное самолюбие и прочее мешают действовать здраво, — если бы судьба, повторяю, представила Трубниковой и Стасовой вести дело, то оно, конечно, скоро и благополучно дошло бы до своей дели и курсы были бы открыты ими в ту же осень.

Но, увы, вышло иначе.

Трубникова и Стасова — горячо преданы делу женского образования, и они обладают большим тактом и тем, что называется уменьем жить, «savoir vivre».

Не поступаясь никогда ни достоинством своим, ни своими убеждениями, они кроме того обладают тою мягкостью и тою обходительностью светских женщин, которые больше добьются, чем резкость и храбрость, лезущая напролом.

Марья Васильевна Трубникова кроме того отличная председательница и имеет природные способности вести дебаты. Она удивительно умеет выслушивать, быстро схватывать мысль, толково отвечать и предупреждать прыжки в сторону и запутывание вопроса. Но если она трезвее, скажете вы, то Надежда Васильевна зато глубже, горячее и самоотверженнее. Она для дела общего не пощадит и не пожалеет ни сил своих, ни здоровья.

На общем собрании решили, что отправятся к министру Стасова, А. П. Философова и Воронина[366], рожд. Быкова.

Главная инициаторша, Конради, осталась за флагом, была устранена.

Это была первая неприятность, напоминавшая крушение Общества женского труда.

Но нельзя было поступить иначе. Конради была слишком беспокойный и бестактный элемент[367].

До этой поры она была мало известна в кружках, но за время с весны до осени успела себя проявить и успела внушить к себе не то что неприязнь, — это бы было ничего, — но успела внушить опасение, что через ее беспокойный характер погибнет все дело.

Чтобы ей было менее обидно, Трубникова устранила и себя, не поехала к министру[368].

Конради обижалась, продолжала свои бестактности, но из депутаток не вышла, и в сущности ее поведение серьезных последствий не имело.

Но зато имело очень серьезные последствия оскорбленное самолюбие другой депутатки — Солодовниковой.

И если при этом случае все дело не погибло окончательно, то только благодаря энергии, настойчивости и преданности Надежды Васильевны.

Обнаружилось как-то, что у Солодовниковой на квартире был обыск и что сама она была арестована. Не надолго, и важного, по-видимому, арест этот не представлял ничего, так как она вскоре была выпущена и снова была совершенно свободна, но на собрании стали говорить, что она не может теперь быть депутаткой, что подобная история с нею может бросить невыгодную тень на начинающееся дело, может ему повредить, — так мы его берегли и лелеяли.

Солодовникова услыхала эти разговоры, вспылила и сама сложила с себя звание депутатки, и, таким образом, оказалась вне движения, свободной в своих действиях, и воспользовалась своей свободой действий[369].

Министр принял дам более чем нелюбезно, почти невежливо[370]. В просьбе их отказали наотрез.

После ответа гр. Толстого все у нас приутихли, но духом не пали, благодаря, главным образом, энергии Надежды Васильевны. Решили так или иначе, но начатого дела из рук не выпускать. Публичные — так публичные лекции, а там дальше видно будет. Пригласили опять профессоров составить новую программу лекций публичных. Внутренние смуты шли между тем тоже своим чередам, и те две партии, которых столкновение погубило Общество женского труда, стояли опять друг против друга и крысились друг на друга. «Нигилистки нам все испортят», — говорили аристократки. «Не нужно нам филантропок и покровительниц!» — кричали нигилистки.

3 ноября 1878 г.

Вчера была у А. П. Философовой. Собирался старый комитет

учредительниц высших женских курсов. Послезавтра открывается новое, утвержденное министром внутренних дел «Общество для доставления средств высшим женским курсам». Нас, старых, собралось немного, но толковали много. Столпы наши — Стасова, Философова, Тарновская, Мордвинова — конечно, остаются в новом комитете[371]; Белозерская, Трубникова и я выходим из комитета, но членами остаемся. Говорили, какие-то слухи ходят о курсах. Рассказывают, что будто одна из слушательниц становилась на стол и проповедывала социализм; что принц Ольденбургский заметил при своем посещении курсов, какое множество окурков валяется там на полу. Тарновская, Стасова и Мордвинова уверяют, что все это вздор. Они веда, дежурят там ежедневно, и одно, на что жалуются, так это только на стремительность, которою студентки врываются в двери, когда аудитория открывается; во всех же других отношениях они ведут себя необыкновенно благопристойно.

14 ноября 1878 г.

Профессор Новороссийского университета Цитович издал брошюру «Ответ ученым людям»[372], в которой не только со страстью, но яростно нападает на «журнальную науку», преподаваемую молодому учащемуся поколению. В брошюре есть иной раз правда, но правда, выставленная не только ярко, но яростно. Она взволновала молодое учащееся поколение. Молодежь имела слабость все нападки принять на свой счет и откликнуться. У нас на наших юных женских курсах К. Н. Бестужев-Рюмин насилу остановил демонстрацию, т. е. коллективное послание Цитовичу, да и то вняли его увещеваниям не все.

[1868–1878]

1880–1886 годы
Дневник

1880 год

Пятница, 10 октября.

Днем был Достоевский; они приехали 7-го. Он все еще сильно кашляет[373], но вообще смотрит лучше; был очень мил с мама и Олей. Говорит, что освободился на неделю от «Карамазовых» и отдохнул бы, да ворох неотвеченных писем не дает покоя; их штук тридцать.

— Ничего, — утешаю его, — вы только подумайте о радости тех, которые получат от вас письмо; как они будут с ним носиться и хвастать им.

— Вот вы всегда выдумаете такое что-нибудь неожиданное в утешение, — возразил он мне. — Да разве я буду на них отвечать! Разве есть возможность отвечать на них! Вот, например: «Выясните мне, что со мной? Вы можете и должны это сделать: вы психиатр, и вы гуманны…». Как тут отвечать письмом, да еще незнакомой? Тут надо не письмом писать, а целую статью. Я и напечатал просто, что не в силах писать столько писем[374].

— А прежде писали же?

— Писал, когда был глуп, да и их было меньше.

Сказал мне комплимент и очень обрадовался своей прыти и находчивости. Он очень запыхался, поднимаясь по нашей лестнице.

— Трудно вам? — спрашиваю.

— Трудно-то — трудно, — отвечает. — Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадешь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас.

Сказал это и развеселился окончательно. «Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!». От нас пошел он обедать к графине С. А. Толстой[375]…

Суббота, 11 октября.

Студенты легки на помине. Вчера их вспомнила, а сегодня одна уж и пришла; именно та, что рассказывала о своем пассаже с Тургеневым, Колодеева.

— Ну, что, — спрашиваю, — все еще млеете перед Тургеневым?[376]

— Ах, нет, — отвечает, — вы, да и многое другое совсем нас разочаровало.

В «Деле» есть статья: «Романист, попавший не в свои сани»[377]. Я умных статей в «Деле» не читаю, но, догадываясь, что это, должно быть, про Достоевского, прочитала ее. Бог ты мой, что за гнев и негодование! Чужие сани оказываются публицистикой. Достоевский, видите ли, не публицист и не может им быть, вероятно, на том же основании, на каком, по мнению во время оно теперешнего действительного статского советника Евтушевского, не мог быть педагогом граф Лев Толстой[378]. Лев Толстой — романист и вдобавок еще граф. Как же он может быть педагогом? Достоевский хотя не граф, но тоже романист. Как же может он быть публицистом?

Лев Толстой посвятил более десяти лет своей жизни педагогике Он отдавал ей и свой труд, *и* свое время, и свои средства, и занимался ею и теоретически и практически, и это знает вся Россия; та господин Евтушевский не знает или не хочет знать. «Вы, — говорит, — есть граф, значит не педагог, а я не граф, значит педагог»; и прибавляет: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник».

Воскресенье, 12 октября.

Кто поверит, глядя на Алюхина, что он, — впрочем, но увлекаясь никогда за пределы разумного, — нервен и чувствителен, как женщина. Сегодня он пришел рассказать мне об одном очень печальном происшествии в младшем Правоведении.

Назвать вещи их настоящими именами он не мог, но по его волнению и негодованию можно было понять, что случилось нечто отвратительное. В день его дежурства как раз не пришли три учителя, так что поневоле то один класс, то другой, то третий оставались без присмотра. Переходя от одного в другой, в одном, в среднем, Алюхин был остановлен мальчиком, который, бледный, растерянный и в слезах, умолял его запретить Р. делать то, что он делает. Разобрав в чем дело, Алюхин запер Р. под караул, но оказалось, что есть еще виноватые, что гнусная шалость началась с понедельника, при другом воспитателе, который ничего, не видел. Главного виновника Р. посадили в карцер, остальных лишили на неопределенное время отпуска.

Не мудрствуя лукаво и чтобы не дать времени распространиться заразе, Алюхин предлагает директору, т. е. старшему воспитателю Шифферсу, розги или исключение из училища; но Шифферс медлит, не решается Алюхин негодует на него и на родителей, которые к подобным проступкам относятся слишком легко. Он желает, чтоб Р. исключили, как паршивую

овцу, или высекли. Он говорит, что предшественник Шифферса, Вегенер, сек два раза. Но между тем Алюхин розог не любит, и самого его не секли никогда. Но здравый смысл, без сентиментальности, подсказывает ему в данном случае, что это средство может спасти мальчика. Про то, что Вегенер прибегал к розгам, не знает никто, и Алюхин просил никому не говорить «а занесите, — говорит, — в ваши записки, и также и то, что происходит в старшем Правоведении». Недавно эти старшие правоведы привели в дортуар ночью женщину и положили на одну из кроватей. Дежурный воспитатель прошел до спальне, заметил ее длинные волосы и говорит дежурному дядьке: «Отчего такие длинные волосы? Завтра надо остричь», и пошел дальше.

Говорят, что в большом Правоведении не проходит ночи, чтобы несколько воспитанников не отлучалось. И все сходит с рук. А потом мы удивляемся, что юноши 17–18 лет смотрят испитыми, отжившими и пожившими, и стреляются, говоря, что все уж надоело. А родители, глядя на них, твердят все свое, что «детей заучили».

Я все это не принимаю так близко к сердцу, как Алюхин, но и мне жаль молодежь, у которой нет порядочных руководителей при тех средствах, которые на них тратятся…

Среда, 15 октября.

Вчера был наш вторник[379]. Гости оставались до трех часов. Обыкновенно у нас до трех часов не засиживаются, но тут было нечто особенное, чтение сменяло пение, и никто не заметил, как прошло время. Читали: Достоевский, Маша Бушен[380], Загуляев, Случевский и Аверкиев; пела княгиня Дондукова под аккомпанемент сестры своей Лядовой, которая была у нас в первый раз…

Достоевский прочел изумительно «Пророка». Все были потрясены, исключая Аверкиевых; впрочем, шальные люди в счет не входят. На них теперь нашла такая полоса, что они все бранят Достоевского. Затем прочел он «Для берегов отчизны дальней», свою любимую «Медведицу», немного из «Данта» и из Буньяна.[381]

Причудливый, и тонкий старик! Он сам весь — волшебная сказка, с ее чудесами, неожиданностями и превращениями, с ее огромными страшилищами и с ее мелочами.

Иногда сидит он понурый и злится, злится на какой-нибудь пустяк. И так бы и оборвал человека, да предлога или случая не находит, а главное не решается, потому что гостиная ему все еще импонирует. Этого не хотят признать, а это правда, гостиные ему импонируют, и он еще чувствует в них себя не совсем удобно.

Сидит он тогда, и точно подбирается, обдумывает, как бы напасть, или борется сам с собой. Голова его опускается, глаза еще больше уходят вглубь, и нижняя губа не то отвисает, не то просто отделяется от верхней и кривится. Он сам тогда не заговаривает, а отвечает отрывисто. И удастся ему в такое время в свой ответ или замечание впустить хоть каплю ехидства, то моментально, точно чары снимутся с него, он улыбнется и заговорит, все, значит, прошло; иначе целый вечер может он так хохлиться, с тем и уйдет. Кто его знает, он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на все свое ехидство, может дать волю дурному расположению духа своего, он и раскаивается потом и хочет наверстать любезностью. Вчера, например, что-то покоробило его, едва он вошел, и он тотчас же съежился и насупился. Разносили чай, и я шепнула Дуне подать ему кресло; он сидел на стуле и, съеженный, казался особенно жалким. Услышал мои слова Пущин, и сам поспешил исполнить мое желание. Достоевский хоть бы кивнул ему, хоть бы глазом моргнул, и не пересел, конечно, а только сделал движение поставить на мягкое бархатное кресло стакан с чаем. «Это, — спрашивает, — для стаканов?» — «Нет, — говорю, — не для стаканов, а для вас поставил Иван Николаевич» Удовольствовавшись столь малым — на этот раз, он тем не менее тотчас словно очнулся, с улыбкой поблагодарил Пущина и начал говорить про новую книгу Н. Я. Данилевского (она еще не вышла), в которой Данилевский доказывает, что все творения обладают даром сознания, не одни только люди, но и животные и даже растения[382].

Сосна, например, тоже говорит: «я есмь!». Но сосна не может этого говорить постоянно, ежечасно и ежеминутно, как мы, люди, а лишь на протяжении времени века, столетия, один раз. «Сознать свое существование, мочь сказать: я есмь! — великий дар, — говорил Достоевский, — а сказать: меня нет, — уничтожиться для других, иметь и эту власть, пожалуй, еще выше».

Тут Аверкиев, которого с некоторых пор точно укусила какая-то враждебная Достоевскому муха, сорвался с места и говорит: «Это, конечно, великий дар, но его нет и не было ни у кого, кроме одного, но тот был бог». Достоевский стал ему возражать. Загуляев также, но он никого не слушал и продолжал хрипеть, что кроме Христа никто не уничтожается для других. А он сделал это без боли, потому что был бог. В это время приехала Маша Бушен и прервала разговор, но Аверкиев продолжал один хрипеть свое.

Между тем это надоело. Аверкиев не давал никому молвить слова, а его никто слушать не хотел. Заметив это, жена его

вызвалась уговорить Достоевского прочесть что-нибудь. Аверкиева сама иногда бестактна, шумлива, резка и для многих просто несносна и смешна, но она прекрасная женщина, а относительно мужа редкая жена.

Подошла она к Достоевскому с самоуверенностью хорошенькой женщины, которой в подобных просьбах не отказывают, и потерпела фиаско. Долго, впрочем, она с ним возилась, но он опять задумал ломаться. Наконец, — она рассердилась и бросила его. Но, когда она отвернулась от него и пошла к своему месту, я заметила в его взгляде, которым он ее провожал, недоумение и сожаление, — «зачем, — дескать, — ты рано отошла, не дала мне еще немножко поломаться? Я бы ведь согласился».

Обратились к княгине, и она тотчас же стала петь. Когда она кончила, Аверкиева, со словами: «Вот, просят, прочту уж, пожалуй, «Сцену у фонтана», шепнула мне попросить Загуляева читать царевича. Он не заставил себя долго просить. Он читал недурно, лучше Аверкиевой, но оба они читают не тонко. Впрочем, эту вещь очень трудно читать, если вдуматься в нее Обыкновенно в нее не вдумываются, оттого она и излюблена так салонными дилетантами. Аверкиева читает вообще не тонко, но у нее очень хороший для декламации голос, здоровая грудь, и, как бывшая актриса, она умеет владеть своим голосом, повышать и понижать его и придавать ему разные выражения, как умеет, например, плакать, хохотать и падать со всего размаху, не сгибая колен; или глазами выражать печаль, страсть, гнев, недоумение, ужас, любовь и прочее. Но так как она не дает себе времени ни вдуматься, ни почувствовать, то все эти движения, в сущности заученные и внешние, являются у нее часто невпопад. Между тем чтица она страстная и при одном намеке на возможность чтения приходит уж в волнение, глаза загораются у нее, и руки холодеют.

Дослушав «Сцену у фонтана», Маша Попова говорит Маше Бушен: «Попробуем-ка мы уломать Достоевского», и отправились вдвоем. Он опять было принялся за прежнее, но мне надоели эти проволочки, время уходило, и становилось уж поздно. Я сунула ему в руки том Пушкина и говорю: «Я нездорова, доктор запретил меня раздражать и мне противоречить, читайте!». Он не возразил ни слова и немедленно стал читать «Пророка», а затем и другие вещи, и заэлектризовал или замагнетизировал все общество. Вот этот человек понимает тонко и без всяких вспомогательных средств, вроде шепота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего слабым своим голосом, который — не понимаю уж, каким чудом — слышался всегда в самых отдаленных углах

огромной залы, он проникает не в уши слушателей, а, кажется, прямо в сердце. Если читать стихи Пушкина про себя — наслаждение, то слушать их передачу и чувствовать между ними и ею полную гармонию, без единой фальшивой нош, во всей их красоте, — еще большее.

Оттого все, самые равнодушные, пришли в какое-то восторженное состояние.

Казалось, разных мнений насчет его чтения нет, но что же! Не успел он уехать, как Аверкиевы на него напали за «Пророка», между прочим. Не так его, видите ли, надо читать. И все, конечна, обрушились на них. Маша Попова[383] сцепилась с нею; Загуляев с ним. Аверкиева рассердилась не на шутку. Она в самом деле прекрасная, добрая и прямая женщина, но вспыльчивая и резкая. Прощаясь со мной, она извинилась, но не за резкость свою, а за свои, как она выразилась, нападки на моего бога. «Полноте, говорю ей, — он наше общее достояние, столько же ваш, сколько и мой, не бог, но очень, очень большой человек, которого мы не можем не уважать и которым должны гордиться. Свои же произведения и чтение свое он давно отдал на суд публики, и она вольна его критиковать. За разность мнений сердиться нельзя». — «Ну, а я, — возразила она, — не могу не сердиться на вас, и сердилась и сержусь, что вы с вашим пониманием можете находить, что он читает хорошо». Что можно было ответить на это и избавиться от сказки про белого бычка на всю ночь? Подошли другие прощаться и прервали эту бесконечную сказку, на мое счастье.

А Аверкиев с таким жаром и азартом кричал про «Пророка» и разъяснял это по-своему, несогласно с Достоевским, точно он в самом деле знал его ближе всех, так что Загуляев спросил его: «Да что ты, в самом деле, знаком, что ли, был с Исаией?».

Но в том-то и дело, что у Аверкиевых в спорах всегда проявлялись подобные узкость и субъективность. Им точна кажется, что существует только то, что они видят, а то, что видят другие, не существует, потому что они того не видят. Это, может быть, недостаток образованности или воспитания. И в этом они совершенна солидарны между собой, как солидарны во всем остальном.

Маша Бушен читала «Грешницу» А. Толстого[384], а Случевский хорошенькую свою вещь, заглавие которой я позабыла, про бедного попа, сын которого сделался архимандритом[385]. Она будет напечатана в «Ниве».

Воскресенье, 19 октября.

Сегодня были опять все наши и еще Бестужева и Достоевская

с детьми. Дети играли и резвились, а большие не резвились, но тоже играли в карты в моей комнате, чтобы не мешать детям. Мы, т. е. Соня[386], Маша, Оля и я, сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то ахали с соболезнованием, то покатывались со смеха. Действительна, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит, придумывая средства обеспечить детей, работает, как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.

Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, — ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, — двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. «Ты, Анна Григорьевна, — говорит он, — дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется не один раз в год, и не три раза;, а гораздо, гораздо чаще. Товарищ нуждается, или просто знакомый просит, — отказа не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуцыковича поручались и даже за м-м Якоби. «А мне, — продолжала изливаться Анна Григорьевна, — когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: «Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!» — «Будут, будут!» — повторяла бедная жена удивительного человека и — искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!

«Вот получим, — всхлипывая, говорила она, — от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за «Карамазовых», и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!»

И в самом деле, ее жаль, трудно ей, в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, — что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуйся Анна Григорьевна, и мы бы не знали. Я слышу все это, и еще гораздо больше, не в первый раз; она часто жалуется мне в этом

роде и плачет.

Сегодня, 19 октября, лицейский день. Литературный Фонд давал сегодня литературное утро в такой зале, где трудно читать и где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шопотным голосом, он, едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи, упаси!

Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет.

Сегодня вызывали его много раз, и хотя публика была иная, не студенты и не студентки, но, вызывая, и стучали и кричали, выражая одобрение и даже восторг.

И вспомнилось мне, как лет двадцать тому назад, когда впервые возникли литературные вечера в Пассаже и читали на них Достоевский и Шевченко[387], только что получившие право жить в Петербурге, как принимала их публика. Шевченку осыпали, оглушали рукоплесканиями и самыми восторженными овациями, однажды довели его ими до обморока. Достоевскому же не выпадало на долю ничего! Его едва замечали и хлопали заурядно, как всем, меньше, чем всем. Как это объяснить и согласить с тем, что происходит ныне, и правы ли те, которые его успех и его все возрастающую популярность хотят приписать каторге? Достоевский был в каторге четыре года и двенадцать лет в Сибири, Шевченко не был ни на каторге, ни в Сибири, он был в солдатах. Я себе все это объясняю, но желала бы знать, как объясняют и другие, если помнят, что происходило двадцать лет тому назад. Я думаю, что у Шевченки была тогда своя партия в университете, с Костомаровым во главе, среди студентов. Сепаратистические идеи были тогда в большом ходу, а идея самостоятельности Малороссии в особенности; ведь и Чубинский, горячий поборник ее, был тогда в Петербурге, и малороссийский журнал «Основа» издавался, малороссы выносили, вероятно, Шевченку, а у Достоевского партии не было. Публика же мало знала и мало помнила и об одном и о другом.

Славу же Достоевскому сделала не каторга, не «Записки из Мертвого дома», даже не романы его, по крайней мере не главным образом они, а «Дневник Писателя».

«Дневник Писателя» сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодежи, да и не одной молодежи, а всех мучимых вопросами, которые Гейне назвал

проклятыми.

Вот как это можно объяснить и согласить с тем, что происходит ныне.

И ведь началась его слава недавно, именно, два-три года тому назад, когда стал он издавать «Дневник Писателя». Каторга же и его прочие произведения только усиливают ее, но не они ее причиной.

Его значение учителя так еще ново, что он и сам его не вполне сознает, да и вообще оно в сознание еще не вошло, а только входит, и дай бог ему здоровья и веку. Продли, господи, его жизнь! Много может он сделать добра, установить пошатнувшееся, расчистить и указать путь к правде. Главное, к нему сами идут, хотят его слушать, жаждут его слова, жаждут его, измученные, потерянные. А тогда, хотя он и явился с каторги и читал из «Униженных и Оскорбленных», люди остались холодны.

Теперь к нему льнут. Стоит ему появиться, чтобы его окружили, чтоб все глаза устремились на него, и прошел бы шопот: «Достоевский! Достоевский!».

А тогда, бывало, сидит од у нас, а молодежь, — много бывало у нас тогда студентов, — пляшет себе или поет и играет, и никакого внимания не обращает на него. *У* нас тогда, после выхода студентов из крепости, часто танцовали. Его племянница, Марья Михайловна, хорошенькая девушка и отличная музыкантша, интересовала тогда всех молодых гораздо более, нежели он.

Передала нам вчера, между прочим, Анна Григорьевна, что Федор Михайлович объявил ей, что будет у нас играть на сцене и привезет к нам Смирнову, писательницу, жену Сазонова и большую любительницу сцены. Мне он этого еще не говорил. Но вот-то все сойдут с ума, и вот-то разыгрался наш учитель.

Была Полонская. Дяде, слава богу, лучше. Об прислал мне английских книг и газет для цензуры, которых за время болезни не получал.

В английских газетах все о свадьбе государя[388]. Не осуждают его, а так, просто судачат. Говорят, что наследник очень недоволен и даже поссорился из-за нее с в.к. Владимиром Александровичем…

Нигилисты как будто унялись. Боюсь даже сглазить. Кажется, их в самом деле много переловил. Или, что боже упаси, они только притихли, чтобы сделать какой-нибудь отчаянный прыжок. Но, может быть, и средства их поистощились. Сто семьдесят тысяч рублей Лизогуба все вышли[389], и завещанные Некрасовым пятьсот тысяч также. Все мне не верится, что Некрасов мог их завещать для подобной цели.

Но все же, слава богу. И вот, дворники уж больше не дежурят днем возле домов. А летом еще, когда хоронили императрицу, к каким предосторожностям надо было прибегать. В частные дома, мимо которых проходила процессия, не впускали без билета никого постороннего. Андрюша и Соня хотели пойти смотреть церемонию из квартиры К. Маковского на набережной. Самого Маковского нет в Петербурге, а его лакей сказал, что без билета пустить не смеет…

Пятница, 7 ноября.

За эти дни совершилось в Петербурге еще одно тяжелое событие. Окончился суд над шестнадцатью преступниками[390], судившимися в Петербурге военным судом за три преступления, три взрыва, из которых один, а именно на юге, в Александровске, тот, который должен был предшествовать взрыву под Москвой 19 ноября, не был совершен лишь по какой-то ошибке или неловкости злодеев. Остальные же два, — взрыв 19 ноября, который должен был взорвать царский поезд, но благодаря бога никого не погубил, и ужасный взрыв в Зимнем дворце, стоивший стольких жизней, но опять-таки, благодаря бога, не самой дорогой, в которую метили злодеи, — были приведены в исполнение. Двое, *Квятковский* и *Пресняков* уже повешены в крепости, а остальные отправляются на каторгу. Тяжелое и нехорошее впечатление производит казнь даже на нелибералов. Не в нашем духе такие вещи. Оно и вообще процесс этот возбудил, конечно, оживленные толки в обществе, уснувшем было…

Дух, царящий в обществе, может привести в ужас и в тоску. Расскажу маленький эпизод. Шульц — добрейший человек, горячий сердцем. Если бы случилось, он, не задумываясь ни на секунду, своей грудью заслонил бы государя от опасности… Гартман, директор лицея, не очень умный человек, но хорошо дисциплинированный, бывший военный еще николаевской школы, формалист, но человек не без души и не столько осторожный, сколько просто боязливый. Они находились в позапрошлый четверг у Шульцев. Тетенька сидела на своем обычном месте, в кресле, возле стола, стоящего посредине комнаты; я сидела на своем, против окон; Шульц и Гартман стояли напротив меня; да, была тут еще дочь Гартмана, Марья Николаевна, болезненное и, сдается мне, недоброе существо, немного озлобленное. Она сидела возле меня, напротив тетеньки. На столе лежала газета с показаниями Гольденберга[391]. Гартман говорил о Лизогубе, казненном в Одессе[392], и превозносил его ум и его развитость до небес. Он говорил тем тоном упрека кому-

то, каким принято теперь говорить и каким люди, как Гартман, самостоятельно обыкновенно не говорят, а употребляют этот тон лишь тогда, когда он принят всеми…

Гартман говорил, что только такой болван, как Тотлебен, мог казнить такого человека, как Лизогуб, что довольно было видеть, как отличается он от своих товарищей, прочих подсудимых, чтобы понять, что таких людей не казнят. А его дочь в это время просматривала лежащую на столе газету с показаниями Гольденберга и, перегнувшись через стол, тихо, чтобы не мешать отцу, выражала тетеньке свое восхищение этим Гольденбергом. Она говорила, что это показание так чудесно, что сам Гольденберг так симпатичен, что она оторваться не могла от газет, когда читала его показание в первый раз. Тетенька, бедная, ахала и сокрушалась и о том и о другом, и о Гольденберге и о Лизогубе.

«Ну, а что скажете вы о Гольденберге?» — обратился ко мне Шульц. «Струсил, вероятно, — продолжала я, — как ребенок, зажегший клочок бумаги и увидевший, что огонь охватил всю комнату…» — «Позвольте, — перебил меня Федор Карлович, — вы два раза употребили слово «струсил»!.. — «Употреблю еще в третий раз, — отвечаю ему, — так как вы меня перебили…».

«К Гольденбергу это слово неприменимо», — строго заметил Шульц.

Но, повторяю опять, эти люди (Гартман и другие) вовсе не отчаянные какие-нибудь, не отпетые. Нет, они покорные слуги закона на деле, а говорят — сами не слышат, что. И не могут не говорить так, потому что так говорят *все*. И вот именно то, что *все* так говорят, и есть самое ужасное настоящего времени.

Я прежде думала, что сенаторы либеральничают только в гостиных, но Андрюша, три месяца исполнявший должность обер-прокурора в Сенате, говорит, что и там они таковы же…

Среда, 12 ноября.

Анну Николаевну Энгельгардт вызвал в Петербург Стасюлевич в качестве сотрудницы для новой своей газеты. С самых первых дней появления Анны Николаевны в Петербурге, когда она только что вышла за Энгельгардта и он развозил свою молоденькую и умненькую жену по своим знакомым, все привыкли видеть ее всегда в черном. Теперь на ней было тоже черное, фуляровое платье, но с желтыми цветами и парижским шиком.

А Достоевский ничего не заметил. Но он ведь и не тонок по этой части. Помню, в какой восторг привела его тогда на представлении «Каменного Гостя»[393] Маша Бушен своим

костюмом Лауры, который, сказать по правде, приличием тоже не отличался, потому что был слишком короток. Я даже тогда чуть не вскрикнула, увидав на сцене ее толстые ноги и толстые же обнаженные руки, а он ничего не заметил и только всем восхищался. И не то, чтобы неприличное ему нравилось, как Шульцу, например, но он одно от другого просто плохо различает. Он знает все изгибы души человеческой, предвидит судьбы мира, а изящной красоты от, пошлой не отличит. Оттого ему и не удаются женские лица, разве одни только мещанские. Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского, не пошлого, нет, пошл он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель.

Теперь он часто бывает в аристократических домах и даже в великокняжеских и, конечно, держит себя везде с достоинством, а все же в нем проглядывает мещанство. Оно проглядывает в некоторых чертах, заметных в интимной беседе, а больше всего в его произведениях. И знакомство с большим светом все-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в «Бесах» он, верно, в этом отношении не пойдет, равно как для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него шесть тысяч рублей.

Вот что я о нем написала, а ну, как он скажет: «Покажите-ка мне ваш дневник» Вчера и то обмолвилась, что пишу его, и он очень одобрил, и что пишу про него — также.

Анна Николаевна нравится ему давно[394]. Он даже говорил мне, что глаза ее как-то одно время его преследовали, лет восемь тому назад. Встретившись с нею *у* нас, он отвел меня в сторону и спросил, указывая на нее: «Кто эта дама?» — «Да Энгельгардт, — говорю, — и ведь вы же ее знаете». — «Да, да, знаю, — отвечает. — И знаете, что я вам скажу, она должна быть необыкновенно хорошая мать и жена. Есть у нее дети?» — «Есть». — «А муж где?» — «Сослан или, вернее, выслан». Он в тот же вечер возобновил с нею знакомство и был у нее, чем она не мало гордилась, к великой зависти Трубниковой и компании. Потом в Москве, в Пушкинские дни, он то и дело заходил к ней, и вчера, увидав ее, говорит: «А ведь я предчувствовал, что встречу вас здесь. Объясните мне, как это могло быть. Иду сюда и думаю: увижу Анну Николаевну. А ведь я даже не знал, что вы вернулись из Парижа…»

Даже посмеются над проницательностью Достоевского за то, что он в Анне Николаевне углядел необыкновенно хорошую мать

и жену. Она, действительно, нежная мать и была заботливая, даже слишком… Что же касается мужа, то он сам виноват в охлаждении. Да и, наконец, не могла она последовать за ним в деревню, когда надо было жить в городе для воспитания детей и кроме того для заработка. Сношений с ним она никогда не прерывала и даже из своих скудных средств постоянно посылала ему туда лакомства, закуски, вино, а сама жила очень скромно.

А во-вторых, если бы Федор Михайлович и ошибся в ней, то я, вглядываясь в него, думаю, что это с ним может всегда случиться. Он постиг высшую правду, как очень метко выразилась его жена. Он знает душу человеческую вообще, но насчет Ивана и Петра, при своей нервности и впечатлительности, он всегда может ошибаться. Мало того, один и тот же человек может показаться ему сегодня таким, а завтра иным.

В этом отношении даже такой рассеянный и не от мира сего человек, как Полонский, смотрит трезвее.

Достоевский может вдруг заметить в вас какую-нибудь черту и верно определить ее место в душе вашей, но общее явление, обстановка, при которой вы являетесь перед ним, могут произвести на него неверное впечатление. Впечатлительность его и незнание света, — не людей, а именно того, что зовется светом, — имеют в этом отношении большое значение. Полонский лучше его знает свет, и потому, несмотря на его характер, его труднее обмануть.

Полонский был также в числе гостей, и были Трубникова и Мордвинова. Боюсь, не разочаровал ли в этот вечер Достоевский Трубникову, в качестве дочери декабриста наследственную поклонницу Запада и Французской революции. Очень уж он мрачными красками рисовал их и будущее Европы.

Не могу не отметить с удовольствием, что — с некоторого времени, с прошлого года уже, кажется, Достоевский заметно изменился к лучшему. Уж он теперь очень, очень редко набрасывается на кого-нибудь, не сидит насупившись и не шепчется с соседом, как бывало. А у бедного был опять припадок шесть дней тому назад, и он еще чувствовал его последствия, туман в голове и тоску в сердце, угрызения совести, как он выражается, как и написал в последней части «Карамазовых». Но, слава богу, припадки бывают у него теперь реже, раза три в год, и менее тяжелые. Только после последнего он не отдыхал достаточно, должен был спешить с работой, и потому так долго чувствует себя нехорошо. С гордостью и радостью, которые меня даже и удивили и порадовали в то же время, рассказал он мне, что получил от Страхова в подарок письмо к нему Л. Н. Толстого[395], в котором он пишет Страхову в самых

восторженных выражениях о «Записках о Мертвом доме» и называет это произведение единственным, и ставит его даже выше пушкинских.

1883 год

Воскресенье, 6 марта.

Только и говору, что о самоубийстве Макова[396]. Весь Петербург полон им. И небылицы плетутся с необыкновенной быстротой, вплетаются в правду и затемняют ее. Плести их теперь легко, Маков ведь мертвый, не встанет из гроба, чтоб опровергнуть их. Цифры хищений, будто бы им совершенных, растут не по дням, а по часам, и каждый день прибавляются новые — подробности, одна другой невероятнее. Бедный ours mal leché[397]. Вольно было тебе, с твоим характером, лезть на министерское кресло. Впрочем, будь он у тебя иной, ты, может статься, и не дал бы подсадить себя на это кресло. Двадцать четыре года тому назад, почти четверть века, — и тогда была тоже весна, как теперь, — Маков получил свое первое штатное место, в министерстве внутренних дел. О, он верно помнил всю жизнь этот день, роковой для него день, в который он получил свое первое, ничтожное, маленькое место и потерял жену, Наденьку Кирееву, свою милую первую жену[398], на которой женился по любви и против желания своей матери. Его вторая жена, Бороздина, которой молва приписывает теперь вину его самоубийства, была выбрана для него его матерью…

Понедельник, 16 мая.

Вчера была коронация. Слава богу! Но о ней что писать! Все газеты полны ею Слава богу.

Вторник, 17 мая.

Сегодня утром спрашиваю Катю про вчерашнюю иллюминацию. «Да что, — говорит, — народу было меньше, а бунту зато больше. Кричали так, что просто ужасти, и со всех срывали шапки, не позволяли никому быть в шапках. И с полицией бунтовали. Жандарма одного стащили с лошади. Зато иллюминацию и потушили часом раньше вчерашнего». Этот разговор мой с Катей происходил, когда я еще лежала в постели. Когда же я встала, Алеша говорит мне: «Тетя, сегодня уж не табельный день, флагов больше нет». Действительно, все флаги были сняты. Немного спустя бегут ко мне Вера и Алеша[399] и кричат: «Знаешь, от чего сняты флаги? Император Вильгельм

умер!». Оказалось, что Катя слышала это на улице, а Дуня в лавочке, и швейцар слышал тоже от кого-то…

Вдруг вечером приносят прибавление к «С.-Петербургской Газете», в котором сказано, что вследствие распространившегося в городе слуха, что скончался император Вильгельм, обращались со справкой в Берлин, и получили оттуда ответ, что император совершенно здоров и прогуливался даже сегодня пешком. Флаги же сняты и иллюминации сегодня не будет потому, что вчера толпы на Невском дурно вели себя. Вот тебе и раз! Дуня, впрочем, еще до газетного прибавления говорила, что флаги сняты и иллюминации не будет «из-за бунту»…

Понедельник, 12 сентября.

Я сегодня была у Полонского.

Он недавно вернулся из Одессы и на днях был у меня, печальный, сумрачный. Мы даже с ним, кажется, встретились молча. «Здравствуй» друг другу не сказали. У обоих одинаково на душе, одинаковая боль. И, томясь все лето, были поражены ею в один день. Только перебирая письма Тургенева, которые хранятся у меня, он как-то глухо промолвил: «Перед смертью он отвернулся от меня», — больше не сказал ничего. Вчера явился вдруг Берг, Федор, просить меня уговорить Полонского написать для «Нивы» хоть коротенькую статейку о Тургеневе[400], за которую «Нива» заплатила бы, примерно, за пять-шесть листов, — не обыкновенные печатные, а листов «Нивы», — четыреста рублей. Я и поехала сегодня передать ему это предложение. Застала его таким же сумрачным, как и намедни. Но когда, выслушав, что имела я сказать, поднял он голову, то лицо его было уж не столько сумрачно, но как-то страдальчески строго. «Тетка, — начал он, — если предложат они мне не четыреста рублей, а четыре тысячи, то и в таком случае я не напишу для них ни строчки», — и, попросив Олю, которая была со мной, выйти из комнаты, продолжал: «Столько лет были мы с Тургеневым друзьями, и перед его смертью Маркс нас поссорил! И Тургенев так и умер, не примирясь со мной. Он был дружен не только со мной, но в Спасском, когда мы у него гостили, подружился и с моей женой, полюбил всю семью мою. Жозефине он передал даже ключ от своего письменного стола, еще при жизни, так сказать, завещая ей все его содержимое, все бумаги, письма, начатые сочинения, черновые, одним словом, все. А что было у него еще в Париже, то хотел также собрать, привезти и передать ей. Но из Парижа он больше уж не приезжал, и вот письмо, которое написал по этому случаю». Тут Полонский прочел мне письмо, в котором Тургенев пишет, что после его смерти Жозефина

Антоновна должна так-то и так-то распорядиться его бумагами, иное сжечь, иное сохранить.

Весной, когда Тургенев так сильно разболелся, и друзья его всполошились, и Жозефина Антоновна даже собралась ехать к нему, — Маркс тоже встревожился. Ему Тургенев обещал как-то для «Нивы» повесть, но теперь было мало надежды, чтобы он был когда-либо в состоянии что-нибудь создать. Маркс стал приставать к Полонскому, чтобы он выпросил у Тургенева хоть из старого что-нибудь для его «Нивы». Полонский не хотел. Он представлял Марксу, что Тургенев слишком болен, чтобы можно было приставать к нему с чем бы то ни было в настоящую минуту, что надо повременить; что если он нового уж больше и не напишет, то какая-нибудь безделушка всегда найдется, и он в ней ему не откажет, только надо обождать, чтобы ему стало полегче. Маркс не отступал и напомнил Полонскому, что Тургенев может умереть, не исполнив своего обещания, и от кого он тогда обещанное получит? «Успокойтесь, — возразил ему Полонский, — и оставьте в покое Тургенева, не приставайте к больному. Если бы опасения ваши оправдались, чего боже упаси, и он бы умер, то обещанное им вы получите от меня. Даю вам в том слово и могу дать, потому что знаю, что у него есть еще несколько ненапечатанных «Стихов в прозе» и несколько сказок, которые он рассказывал моим детям, а я записывав с его слов. Все это хранится в Спасском, в его столе, а ключ от стола Тургенев передал жене моей, с правом распоряжаться содержимым стола по ее усмотрению».

Маркс, наконец, отстал, а Полонский с семьей, не подозревая замысла его, уехал на лето на Лиман, а Маркс в это время юркнул в Париж и, всякими правдами и неправдами втершись к больному, самолично стал добиваться желаемого у самого умирающего. Это наглое и безжалостное домогание делового немца было летом описано в «Новом Времени». Он, конечно, не просил Тургенева писать для его «Нивы», но, напомнив ему о столе в Спасском, о ключе, данном Жозефине Антоновне, просил разрешения обратиться к ней и получить что-нибудь от нее.

Об этом узнала, конечно, Виардо, т. е. узнала, что в Спасском есть стол, наполненный сокровищами пера Тургенева, чего она, будущая наследница всего состояния Тургенева, и не подозревала, вероятно, и что ключ от этого стола у Полонской.

И вот Полонский получил письмо от Тургенева на французском языке, письмо, которое глубоко поразило и огорчило его.

Он прочел мне и его. Оно подписано Тургеневым, но написано чужой рукой и чужим, не тургеневским тоном; не тем,

каким написаны все многочисленные его письма к другу его, Полонскому. Очень похоже на то, что Тургенев его не только не диктовал, но и не читал сам. Оно начинается тем, что Тургенев объясняет Полонскому, что сам слишком болен и слаб, «чтобы писать, и потому диктует его; что его пишет под диктовку дама, Полонскому незнакомая и которой он, вероятно, не увидит никогда. Оградив таким образом свою таинственную секретаршу, Тургенев (якобы Тургенев!) затем холодно, жестко и обидно упрекает Полонского за разоблачение содержимого в столе, напоминает, что там есть компрометирующие его бумаги, которые приказывает немедленно сжечь, а остальное не трогать, и ключ возвратить ему.

Полонский был глубоко потрясен. Он отвечал, что немедленно исполнил бы его волю, но находится в Одессе и не может ехать тотчас же ни в Петербург за ключом, ни в Спасское. Притом он перечислил, что именно находится в столе, предполагая, судя по письму и по опасениям Тургенева, что он это плохо помнит, и рассказал; что именно говорил Марксу и что обещал за него.

Ответа на это письмо не получилось, примирения не воспоследовало, и Тургенев умер, не вспомнив перед смертью о своем старом друге.

Вот это-то, что не вспомнил он о нем, больше и сокрушает Полонского, точит его.

Среда, 14 сентября.

Не могу не записать еще нечто из литературного мира, довольно характерное.

Тургеневы умирают, а их не ценители (их не касаюсь, тех довольно, и дай им бог здоровья), а оценщики их, разночинцы, которые теперь расплодились, проходимцы, хочется сказать, хотя один и профессор, а другой, если верить ему, был бы теперь генералом, если бы его отец вовремя высек, как он сам выражается, т. е. Стасюлевич и Ф. Берг, живут, живут и распоряжаются, взвешивают и бракуют литературные произведения, как какое-нибудь сено или муку.

Летом из Одессы же, еще не зная о проделке с ним Маркса, Полонский послал в «Ниву» свое довольно большое стихотворение «У одра»[401]. Берг вернул его обратно, с отзывом, что оно для «Нивы» не подходит.

Спрашиваю его: чем не подходит? «Помилуйте, говорит, — ведь это проповедь атеиста. Разве можно в семейный журнал? Представьте себе атеистическую проповедь в «Ниве». Представила, согласилась, что нельзя, не подходит вообще такая

проповедь. Но стихотворение мне тогда было еще незнакомо, и про него я ничего возразить не могла. А так как Полонскому было неизвестно, за что именно его забраковали мудрецы «Нивы», то я ему это и передала.

Выслушав меня, он ничего не ответил, а молча — он все молчит теперь — вынул из портфеля это стихотворение и стал его читать. Я не люблю этого рода стихов Полонского и не берусь судить их, потому что не понимаю. Цельного смысла в них не вижу, он ускальзывает от меня, точно его нет. Правильнее сказать, на меня цельного впечатления такие его стихи не производят, а выходит что-то такое, что называется ни два, ни полтора. Но во всяком случае это не проповедь, во-первых, а исповедь разве; и не атеиста, а материалиста, что большая разница, да и материалиста-то отчасти пасующего. Покуда я в этих мыслях разбиралась и молчала, Полонский, вложив стихи обратно в портфель, заговорил первый. «А знаешь, — сказал он, — отчего Стасюлевич не взял этого стихотворения? Оттого, что больной мой верующий, что тут есть слова «царь небесный». Мы посмотрели друг на друга, и если бы могли, то засмеялись бы, как авгуры на картине Жерома, но мы пока еще не можем смеяться.

Два известных журналиста, стоящих много лет во главе первостепенных журналов и так противоположно понимающих одно, и то же. Пусть это я, но и я вижу разницу между атеистом и материалистом. Пусть у автора смысл не ясен, но им, добровольным специалистам по этой части, так грубо расходиться во мнениях не полагается.

1886 год

Воскресенье, 13 января.

На днях Анна Григорьевна Достоевская пишет мне, между прочим: «Мне хуже или лучше, судя по тому, сердита я или нет». Она страдает печенью, бедная богатая женщина. Но как и вокруг нее все изменилось за эти пять лет. Бывало, в их «убогой квартире», как выразился о ней покойный Маркевич, отбоя не было от посетителей. Алчущие и жаждущие правды, в силу точно договора какого-то, таинственного и безмолвного, точно сговорясь, шли услышать эту правду из уст безмолвно же избранного учителя. Когда же неумолимая смерть навеки сковала его уста, весь Петербург, кажется, перебывал у его вдовы. И, окружая ее сочувствием, как бы носил ее на руках. Теперь — никого и ничего! Ни жаждущих и алчущих, ни сочувствующих,

даже и убогой квартиры нет. Но умная женщина и бровью не ведет, что она это замечает. По-прежнему много говорит, экспансивна по-прежнему, но об этом — ни слова.

Первое издание творений ее знаменитого мужа уже на исходе[402], и она уже приступила ко второму. Первое стоит теперь вместо двадцати пяти рублей — сорок.

Когда она занималась первым, то всех просила не приходить к ней по будням, когда она занята подпиской и прочим. Но к ней все шли и не давали ей ни досуга, ни покоя. Теперь она точно так же просит по будням не ходить, а пожаловать в воскресенье, но в будни ей не мешают, а и воскресенья пусты.

Она же звонко и бойко твердит все о том, как много дела и мало времени. Недавно приезжала к ней графиня Толстая, Софья Андреевна, жена Льва Николаевича, и познакомилась у нее с графиней Гейден; обе потом просидели у нее целый вечер. И потом она у графини Толстой познакомилась с ее сестрой, Кузьминской, и тоже провела с ними целый вечер. Рассказывает она и о неудачах своих, но иного рода. Как, например, вышло с первым томом первого издания, которым заправляли Страхов, Майков и Орест Миллер, и который сел «по их милости», — говорит она. Теперь биографию Достоевского, т. е. для второго издания, вызвался написать Аверкиев. И это Анне Григорьевне не нравится, но отклонить предложение она не нашлась. Когда Победоносцев спросил ее, сколько она должна заплатить за нее Аверкиеву, и она назвала сумму двести пятьдесят рублей, он наклонился к ее уху и шепнул: «Дайте ему еще двести пятьдесят рублей, и чтобы он не писал».

«Но дело в том или дело не в том, — звонила она, захлебываясь, — чтоб Аверкиев не писал. Пусть его пишет. Аверкиев ли, другой ли, пусть их пишут. Все одно. Все равно, как следует биографию, достойную Федора Михайловича, не напишет пока еще никто, и дело не в этом, а в том, что Аверкиев вдруг объявляет, что, занятый ею, он не успел приготовить статей для своего «Дневника Писателя»[403], и потому просит у меня позволения часть биографии, одну маленькую главку, поместить в этот свой «Дневник», Это мне уж очень не понравилось, но, скрепя сердце, я согласилась. И что же оказалось? Оказалось, что вместо маленькой одной главки, он поместил у себя больше трети целого. И вы думаете, что подобные сюрпризы полезны для печени?» — спросила она, хватаясь за бок. Никто так не умеет смешить меня, как Анна Григорьевна. Иногда и не хочешь, да рассмеешься. «На всякую старуху бывает проруха! — говорю. — Чего же вы согласились? — «Да вот подите! Но ведь это не все!» — и она умчалась куда-то и вынесла ворох мятых, грязных

оборвышей писчей бумаги, исписанных карандашом. «Вот, полюбуйтесь, — говорит, — это черновое сочинение биографии Федора Михайловича, г-на Аверкиева; его манускрипт. Даже не потрудился переписать. Извольте это разбирать! Я не знаю, с чего начать».

Действительно, довольно странная фантазия не только давать другим, но и себе-то задавать задачу разбирать такие обрывки.

И опять мне стало как-то смешно.

Оттого, может быть, что как-никак, а Анна Григорьевна все-таки умная женщина, и бодрости в ней много, оттого, может быть, видя, что и она сама не унывает, и собеседник ее не считает нужным делать постную физиономию, а так как в ее приключениях всегда есть частичка комического, чего она и не скрывает, то невольно и разбирает смех. А она никогда не сердится и сама ему вторит.

Среда, 22 января.

Полонского тоже не было дома. Но Жозефину Антоновну я застала. Она показывала мне свои работы: Феба, за которого получила балл 11. Ее успехи в лепке заметны в каждой последующей ее работе[404].

Так, бюст Тургенева, который поставлен на его могиле, лучше бюста Бори; бюст Полонского лучше бюста Тургенева, а Феб лучше бюста Полонского. Зато Академия Художеств, без всякого искательства с ее стороны, т. е. без предъявления какой-нибудь работы, присудила ей в прошлом году медаль, а город Одесса заказал бюст Пушкина для фонтана на одной из площадей. Но сочинения Полонского, полное собрание последнего издания, идут плохо[405]. Жозефина Антоновна говорит, что она очень рада, что полное собрание его сочинений выходит при его жизни Я не совсем с нею согласна. Добра, великодушна, доверчива Жозефина Антоновна, и в этом отношении совершенно под пару ему. И попались они в лапы человека совершенно противоположных свойств, Евгения Гаршина, помощника их по изданию, который, пользуясь случаем, обделывает при этом свои собственные дела: устраивает книжный магазин, ловит рыбу в воде, которую сам замутил, т. е. надувает Полонских.

Недавно Полонский был у меня и жаловался на то, что он так одинок, что никто его не любит, что теплой ласки он у своих не находит. Между тем у него редкая жена. Положим, она не может и никогда не могла постигнуть, saisir[406] все переливы его голубиной души и ее требования, но она всегда была ему верной, преданной и заботливой женой. Он женился на ней потому, что влюбился в ее красоту, она вышла за него потому, что ей некуда

было голову приклонить. За несколько недель до свадьбы он посылал меня к ней и просил: «Сойдись с ней и узнай ее, дойди до ее сердца и скажи ей, что если она меня не любит, то пусть мы лучше разойдемся». Я, после тщетных попыток проникнуть, куда он меня посылал, т. е. к ее сердцу, отвечала ему: «Дядя, у меня ключа от ее сердца нет». И что же, остановило, это Полонского? Велел он мне продолжать поиски? Старался допытаться сам, что хранится за замкнутой дверью, от которой ключ потерян? Нет! И он уж больше не повторял: «Пусть лучше мы разойдемся!». Он уже мирился со всем, и, если бы заветные двери растворились без ключа и храмина оказалась бы пустой, он в ту минуту этого бы не разглядел, потому что его фантазия, фантазия поэта, населила бы ее мгновенно. И если бы кто-нибудь тогда пришел и сказал ему это, он бы не поверил. Но Жозефина Антоновна не обманывала его никогда, она ничего не скрывала и была вся тут, холодная, молчаливая, как статуя. Они женились. Живо помню это первое время после их женитьбы. Это недоумение с его стороны и эту окаменелость с ее. Потом обошлось, они сжились. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила. Замкнутые двери растворились сами собой, без ключа. Храмина оказалась не пустой, в ней было нечто, и; нечто, прекрасное, но не то, чего ожидал поэт.

Воскресенье, 2 февраля.

Неделю не писала, и какое горе постигло нас в эту неделю: умер Аксаков!

Газеты полны его именем; умы, души, уста петербуржцев им не полны. Они лишь смутно знают, что был Аксаков. Вот если бы умер Рошфор, — тогда другое дело.

Умер он шестидесяти трех лет. Зачем он умер! Неужели к лучшему? Ведь все, говорят, к лучшему. Если бы ему было не шестьдесят три, а девяносто три года, тогда утешились бы вот тем, что он много, довольно, прожил. А теперь? Как это страшно, что все лучшее умирает. Государь и государыня телеграфировали вдове. Повсюду служатся торжественные панихиды, на которых молятся министры, губернаторы и прочие.

Похоронили его в Троицкой лавре, и туда же удалилась теперь и вдова его. Венков перед гробом не несли, покойный не желал. А нудный болгарский вопрос, который, может быть, и подкосил драгоценную жизнь, все еще живет и все так же нуден.

Сегодня есть время, да не пишется, слов не найду. Хочется сесть комком, опустив голову, и кусать себе ногти…

Вторник, 4 февраля.

Была в Казанском соборе на панихиде по Аксакове. Сегодня ему девятый день. Народу было не особенно много, но и не мало. Были мундиры и ленты и, между прочим, гр. Игнатьев, Николай Павлович. Знакомых лиц я видела мало, но видела несколько очень благообразных стариков, с очень характерными, умными лицами, и потом уж разобрала, отчего они мне такими показались: они были без бород и усов. Борода красит лицо, это правда, но она в то же время скрадывает выражение, выражение именно рта, который у некоторых бывает особенно характерен. А, может быть, виденные мною сегодня старики и с бородами казались бы умными и тонкими; может, то были какие-то особенно умные. Я так мало выезжаю теперь, что никого в лицо не знаю. Может быть, газета назовет мне их завтра.

Вечером заходил Полонский, милый мой дядя.

Читал на память свое новое стихотворение, но главную суть его, заключительные четыре строчки, забыл. «Хоть режь меня, — говорит, — хоть царапай — забыл! Забыл да и только!»

Один список его он отдал Гайдебурову для помещения в «Неделе», другой, черновой, вырвала у него из рук графиня Голенищева-Кутузова, жена поэта, а третьего экземпляра у него нет.

Он просил меня сегодня, чтобы я уговаривала его жену перейти в православие.

Смерть Аксакова его глубоко потрясла и огорчила. Он даже говорить о ней не хотел.

О Достоевском

Странная вещь, возвращение с каторги и из ссылки Достоевского прошло совершенно незаметно в Петербурге!

С Шевченкой носились гораздо больше, чем с ним. Как, например, приняли Шевченку, когда выступил он в первый раз перед публикой в зале Пассажа, и как принимали Достоевского? Шевченко чуть в обморок не упал от оваций, а Достоевскому еле хлопали. И вот и я даже не внесла в дневник точного времени, когда в первый раз явился он к нам. Помню только, что бывал он почти каждую субботу, когда принимали мы внизу, т. е. до 1861 года, и в 1861 году[407], когда гостиная была уже наверху, в бывшей детской. Рассказывал и говорил он очень интересно и тогда уже, но того, впечатления, какое производил в последние годы своей жизни, тогда не производил. Не могу себе этого разъяснить. Может быть, общество, выйдя на путь цивилизации и прогресса, еще было сыто тогда и имело еще при себе большой запас духовного хлеба. А пройдя двадцатилетний путь и в 70-х годах очутившись в пустыне и без хлеба, взалкало.

Он много рассказывал о Сибири, о каторге, о поселении, но передать его рассказы уж не могу, не припомню теперь, да и перепутались они с «Записками из Мертвого дома», и кое-чем из «Дневника Писателя». Но один рассказ как-то врезался в память, а именно о том, как счастлив он был, когда, отбыв каторгу, отправлялся на поселение. Он шел пешком с другими, но встретился им обоз, везший канаты, и, он несколько сот верст проехал на этих канатах. Он говорил, что во всю свою жизнь не был так счастлив, не чувствовал себя никогда так хорошо, как сидя на этих неудобных и жестких канатах, с небом над собою, простором и чистым воздухом кругом и чувством свободы в душе.

В 1862 году мы покинули Петербург и переехали в Ивановку, где с небольшими наездами на святки в столицу прожили до. 1866 года включительно. Туда к нам Достоевский не приезжал, и мы встречались с ним редко у Полонского и других. Он овдовел, и женился вторично и уехал за границу. В начале 70-х годов он вернулся, и тогда Михаил Павлович Покровский[408], его большой поклонник, узнав, что Достоевский некогда бывал у нас, уговорил меня возобновить с ним знакомство.

Жили Достоевские где-то далеко, и жили бедно и в каком-то странном доме. Не припомню теперь, какой он был, каменный или деревянный, но помню, что к ним вела какая-то странная лестница и потом открытая галлерея. Кто-то заметил, что Достоевский всегда любил квартиры со странными лестницами и

переходами; такова была и та. Я робела, а встретил он меня в высшей степени ласково, даже более того, точно я ему оказала какую-то честь своим посещением, познакомил со своей женой и сказал, что помнит и меня и всех нас и помнит даже, в каких платьях я ходила десять лет тому назад, и что рад возобновить знакомство.

И вот мы его возобновили[409] благодаря Покровскому и уже не прерывали, сходясь все ближе и ближе, до самой смерти Федора Михайловича.

Удивительный то был человек. Утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили.

Говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену, ценил себя не довольно высоко Иначе он был бы высокомернее и спокойнее, менее бы раздражался и капризничал и более бы нравился. Высокомерие внушительно.

Он не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным и притом таким же больным, то был бы, вероятно, также капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Иногда он был даже более чем капризен, он был зол и умел оборвать и уязвить, но быть высокомерным и выказывать высокомерие не умел.

Был у нас мастер высокомерия другой, тоже знаменитый писатель и европейская известность, — Тургенев.

Тот умел смотреть через плечо и, хотя никогда не сказал бы женщине[410], наведующейся о его здоровье: «Вам какое дело, вы разве доктор?» — но самым молчанием способен был довести человека до желания провалиться сквозь землю. Помню один вечер у Полонского, когда у него был он и известный богач, железнодорожник; было еще несколько молодых людей не из светской или золотой молодежи, а из развитых, которых Тургенев боялся и не любил и перед которыми все-таки расшаркивался. Чтобы показаться перед ними, он весь вечер изводил

железнодорожника надменностью и брезгливостью, невзирая на то, что тот был гостем его друга и что поэтому Полонский весь вечер был, как на иголках. А железнодорожник и пришел для Тургенева и, не понимая происходящей игры, вполне вежливо и искренна, несколько раз обращался к Тургеневу с разговорам. И каждый раз Тургенев взглядывал на него через плечо, отрывисто отвечал и отворачивался.

Нам всем было неловка и тяжело, и все невольным образом выказывали к жертве выходок Тургенева больше внимания, чем бы то делали при других обстоятельствах.

А потом узнали, что в Париже, где нет «развитых» молодых людей, Тургенев целые дни проводит у этого богача-железнодорожника. Таких тонкостей в обращении, что в одном месте надо с человеком обращаться так, а в другом иначе, и одного можно обрывать, а другого, нельзя, Достоевский совсем не знал.

Вообще великий сердцевед, как его называют, знал и умел передавать словами все неуловимейшие движения души человеческой, а людей, с которыми ему приходилось сталкиваться, угадывал плохо.

Желание Покровского исполнилось, он стал ездить ко мне и в первое же свое посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех. Слово «очарование» даже не вполне выражает впечатление, которое он произвел. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя.

Говорили, вероятно, о какой-нибудь злобе дня, но он в предмет углубился, обобщил его и нарисовал такую поразительную и так мастерски картину настоящего и истекающего, из него будущего, — дело было в начале 70-х годов, — и так зловеще осветил ее, что все были потрясены, и, как потом оказалось, ни я, ни Покровский, ни бывший при этом Загуляев всю ночь не сомкнули глаз.

Но и говорил Достоевский не всегда. Иногда какое-нибудь слово, вроде вопроса, например, о здоровье его, его оскорбит, и он промолчит весь вечер.

Меня всегда поражало в нем, что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы ее не мог. Дерзости, природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности, в нем тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба

выражалась на его лице, — я хорошо изучила его физиономию, часто, с ним видаясь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала, не что именно, но что-то злое воспоследует. Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда обыкновенно он делался сумрачным, умолкал, был не в духе.

И в сущности все это было, пустяками; и все выходки его, про которые кричали, были сущими невинными пустяками. Их считали нахальными, потому что смотрели на него с каким-то подобострастием, не как на равного, не как на обыкновенного человека, а как на высшего и необыкновенного.

Чем больше я думаю о Достоевском, уем больше убеждаюсь, что значение его среди современников вовсе не в литературном его таланте, а в учительстве.

Как сравнить его, как романиста, с Тургеневым? Читать Тургенева — наслаждение, читать Достоевского — труд, и труд тяжелый, раздражающий. Читая Достоевского, вы чувствуете себя точно прямо с утомительной дороги попавшим вдруг в незнакомую комнату, к незнакомым людям. Все эти люди толкутся вокруг вас, говорят, двигаются, рассказывают самые удивительные вещи, совершают при вас самые неожиданные действия. Слух ваш, зрение напряжены в высшей степени, но не глядеть и не слушать невозможно. До каждого из них вам есть дело, оторваться от них вы не в силах. Но они, все тут разом, каждый со своим делом; вы силитесь понять, что тут происходит, силитесь присмотреться, отличить одного от другого людей этих, и если при неимоверных усилиях поймаете, что каждый делает и говорит, то зачем они все тут столклись, как попали в эту сутолоку, — никогда не поймете; и хоть голова осилит и поймет суть в конце концов, то чувства все-таки изнемогут.

А читая Тургенева (даже «Дым», но, конечно, не «Новь»), точно пьешь живую воду. А между тем в этой сутолоке романов Достоевского разбросаны такие перлы, какие и не снились Тургеневу. И вот чем велик Достоевский!

Только эти перлы должны быть отнесены не к его призванию романиста, а к призванию учителя. Они разбросаны еще больше в «Дневнике Писателя», разбросаны по его письмам; не тем письмам, что писал он Майкову, Пирогову и бар. Врангелю, а тем, которые он писал к разным неизвестным, алчущим и жаждущим правды людям.

Его называют психологом. Да, он был психолог. Но, чтобы быть таким психологом, не надо быть великим писателем, а надо уметь подходить к душе ближнего, надо самому иметь душу добрую, простую, глубокую и не умеющую презирать.

Надо иметь не гордую душу, а мягкую, склоняющуюся, которая может нагнуться, умалиться и пройти в душу ближнего; а там уже видно, чем больна эта душа и чего ей нужно, можно понять ее. Вот его психология и психиатрия, и это к писательству не относится, хотя он умеет об этом писать. Лучше сказать, к таланту романиста не относится.

Что говорят о его Пушкинской речи! Его глава в «Дневнике Писателя» о Некрасове разве не перл?[411] Кто из поклонников и панегиристов Некрасова сказал о нем то, что сказал о нем Достоевский? И сказал, не превознося его, не хваля, не выставляя его добродетель и умаляя пороки.

Приведу несколько анекдотов в подтверждение вышесказанного.

Раз, во время нашего обеда, значит часу в шестом, раздался звонок, и явился Достоевский. Он никогда не приходил в этот час, и все удивились. Я вышла к нему. «Я, — говорит, — гулял и зашел, к вам на минутку посмотреть, что вы делаете». А погода была адская, настоящая ноябрьская. Сели, заговорили о том, о сем, вдруг он спрашивает: «Скажите, за что меня Покровский не любит, он даже кричит на меня». — «Да что с вами, — говорю, — Покровский вас не любит? Покровский кричит? Да Покровский один из самых искренних и горячих поклонников ваших» — «Он сейчас был у меня, — перебил меня Достоевский, — и что я ни скажу, он все перечит, все не так. Нет, он меня за что-то не любит». — «Удивляюсь, — говорю, — как вы при вашей проницательности не видите Покровского! Ведь лучше, добрее, честнее и умнее человека трудно найти, и вас он почти боготворит. Если бы вы знали, как он вас понимает, как глубоко чтит. Ваши произведения для него выше всего.; Пушкин и вы — вот его кумиры. Солгите вы, — он вам поверит; напишите чепуху, — он сломает себе голову, доискиваясь в ней глубокого, смысла. Нет, тут что-то не так, вы в чем-то ошибаетесь». — «Ну да, ну да», — перебил он меня вторично, и замолк, опустив голову Потом поднял ее. «Вы, — говорит, — обедаете, я вам помешал, пожалуйста». И ушел При первом же свидании с Покровским спрашиваю его: «Как это ты кричал на Достоевского?» — «Я, — говорит, — кричал?! Неужели он это сказал тебе? Жаловался на меня?» — «Жаловался». — «Ишь ведь… Эзоп!» — хотел Покровский, верно, сказать, и не договорил. Так он обыкновенно бранил простых смертных, которых любит, но своего кумира заочно так назвать не мог, и продолжал: «Ведь поверишь мне, если я скажу, что было как раз обратное, и что не я, а он на меня кричал, только Достоевскому мог я позволить такое обращение со мной». Конечно, я поверила от всей души,

слишком я знала Покровского, да и Достоевского знала. Не Покровский ли и меня научил поклоняться Достоевскому, так сказать, открыл мне его, и в его произведениях открывал такие горизонты, которые без него были бы для меня совершенно недоступными? Не ради ли него я возобновила и знакомство с Достоевским? И он повторил мне весь свой разговор с ним и не мог прийти в себя от удивления, как сам он нагрубил и в самую адскую погоду и в самый неурочный час пошел, вернее сказать, забежал вперед, чтобы себя оправдать, но перед кем же и для чего? Мы оба ведь его любили и простили бы ему и не то еще. Но он чувствовал себя виноватым.

Ну, разве эта выходка, — не то, что он Покровского оборвал, а то, что забежал ко мне, торопясь опередить со своей жалобой Покровского, — была выходка человека нахального, и самомнящего, а не выходка невыдержанного ребенка? И к кому поторопился забежать? Ко мне! Эка важная я птица! И того в своей торопливости не размыслил, что так я и поверю, что Покровский на него кричал, а не он на него.

А вот другая история. У сестры Маши родился ребенок, и в одну из наших суббот говорили об этом только что совершившемся событии. Достоевский молчал, сидя, по обыкновению, возле меня. Вдруг я вижу, что губы его заиграли, а глаза виновато на меня смотрят. Я сейчас догадалась, что подкатился шарик. Хотел его проглотить наш странный дедка, да видно не мог. «Это у вдовы-то родился ребенок?» — тихо спросил он и виновато улыбнулся. «У нее, — говорю, — и видите: она ходит по комнате, а другая сестра моя, не вдова, лежит в постели, и рядом с нею ребеночек», — говорю и смеюсь. Он видит, что сошло благополучно: и себя удовлетворил, и меня не рассердил и не обидел, — и тоже засмеялся, уже не виновато, а весело.

Эта выходка вот что значила. За несколько дней перед тем он поссорился с Олей. Был литературный вечер в одной из женских гимназии. Достоевский на нем читал, а я с Олей разливали чай для действующих лиц. Надо сказать, что насчет чая Достоевский был так капризен, что сама Анна Григорьевна не могла на него угодить и отступилась, наконец, от делания для него чая: дома он всегда наливал его себе сам; на этом же литературном вечере пришлось — Оле. Раз шесть он возвращал ей стакан, то долей, то отлей, то слишком много сахару, то слишком мало, то слабо, то крепко. Оля и скажи: «Какой вы капризный! Анна Григорьевна оттого вам и не наливает, что вы ужасно капризный». — «А у вас, — отвечал он Оле, — дурной характер, у вашей сестры Ляли (это я) хороший, а у вас дурной». На это еще что-то сказала Оля, и он еще что-то, и, слово за слово, они друг другу что-то

наговорили. Я не слыхала сама, но. Оля мне передала весь разговор в тот же вечер. Вот он и затаил против Оли маленький зуб и, услыхав про ребенка, воспользовался случаем кольнуть ее, бедную вдову. Конечно, я всем нашим рассказала об этой новой выходке, и все потом смеялись, и никто не сердился; и с Олей он был потом, как ни в чем не бывало.

Раз прихожу я к Достоевским и в первой же комнате встречаю его самого. «У меня, — говорит, — вчера был припадок падучей, голова болит, а тут еще этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса; *безделюшки*, говорит, писал он, детские сказки. Да где ему Диккенса понять! Он его красоты и вообразить не может, а осмеливается рассуждать. Хотелось мне сказать ему «дурака», да, кажется, я и сказал, только, знаете, так, очень тонко… Стеснялся тем, что он мой гость, что это у меня в доме, и жалел, что не у вас, например, у вас я бы прямо назвал его дураком». — «Покорно благодарю вас. И очень рада, что дело обошлось без нас и кончилось благополучно. Совсем я не желала, чтобы наших гостей называли прямо дураками».

Он засмеялся, и, по-видимому, головная боль его прошла тут же. Мы сели. Я, как всегда, на диван, он в кресло, спиной к окну.

«Знаете, — решилась я сказать, — если б вы могли читать Достоевского, вам, может быть, менее нравился бы Диккенс». Я не комплимент хотела ему сказать. Между Диккенсом и Достоевским мне всегда виделось большое сходство; но один был европеец, другой русский. Оба громоздили в свои романы лица и характеры («Наш общий друг», например), которых удержать в памяти читателю всегда трудно; а главное, часто читатель недоумевает, как, с чего все эти лица столкнулись между собой, очутились, как по щучью веленью, в данном месте. Положим, и дюжинные романисты выводят часто множество лиц, но не множество характеров, и тогда читателю и трудиться над ними не приходится. Разница между Достоевским и Диккенсом, мне кажется, в том, что Диккенсу и не снились те глубины и те вышины, которые прозревал Достоевский. У Диккенса больше законченности, оттого его произведения, самые безотрадные, не мучительные. У Достоевского, горизонт которого безграничен, не могло быть законченности, а та, которая могла бы быть, часто не давалась ему, потому что он вечно писал наспех. В страшное же по безграничности, куда с головой кидался Достоевский, русский, европеец Диккенс кидаться и не мог; он захлебнулся и задохся бы там и не вынырнул бы. Так нырять способен только русский. И я думаю, что Аверкиев и имел это в мыслях, называя Диккенса детским писателем, но, может быть, выразился грубо и неясно. Сам же Достоевский приучил нас дышать в каком-то

безвоздушном пространстве или там, где носил Люцифер Каина. А кстати бы сравнить разговор Люцифера и Каина с великим инквизитором Ивана Карамазова. И выйдет, что Диккенс может сказать Байрону: в России, друг Байрон, есть писатели, о которых и не снилось нашим английским поэтам, да и прозаикам также.

Вошла Анна Григорьевна, и Достоевский не успел мне ничего возразить; разговор перешел на другое, а там явились еще гости.

Любимым писателем Достоевского был Диккенс; но еще любил он, и не раз рекомендовал мне прочесть «Жиль Блаза». «Martin l'Enfant trouve»[412] Сю. «Жиль Блаза» я одолеть не могла. «Мартена» прочитала; и тогда-то и подумала, что он ему так нравится оттого, что он самого себя, т. е. Достоевского, читать не может. У Сю тоже есть сходство с Достоевским. Все трое они, т. е. Диккенс, Сю и Достоевский, певцы униженных и оскорбленных, но все трое различны. Достоевский не боится выходить за границы, Диккенс из границ не выходит, а Сю выходит и — теряется, теряет чувство меры. Тяжелое чувство производит Елизавета Смердящая, но у Сю, в «Мартене», есть одна работница, перед которой Елизавета Смердящая может показаться отрадным явлением, потому что чувствуешь, что, как ни искажен в ней лик человеческий, все же он в ней есть; чувствуешь, что автор ясно видит ее перед собой, видит все ее унижение, всю грязь и сквозь все это — душу; он не забыл сказать, что она незлобива, что она отдает ребятишкам копеечки и хлеб, видишь ее всю и чувствуешь правду и нежелание автора ни скрыть весь ужас, ни дразнить этим ужасом читателя. Сю же именно дразнит. Его работница — скот, животное, человеческого в ней ни одной черты, и чувствуешь, что тут неправда, что автор что-то проглядел или скрыл, или нарочно хочет терзать, рвать за душу читателя, злить его. И читатель злится; может быть, автор именно и хочет, чтобы читатель злился на среду, в которой возможны подобные работницы, не знаю, может быть; знаю только, что я злилась не на среду, а на самого автора, потому что чувствовала неправду; чувствовала, что он лжет, что что-то скрыл или не умел сказать. Но это неумение сказать, когда переступлены известные границы условного, свойственно французам или европейцам вообще. Оттого умные и осмотрительные англичане известных границ и не переходят, а у французов тотчас же за границей является сентиментальность или свинство, или свинство и сентиментальность вкупе.

[1884]

notes

Примечания

1

Из четырех братьев семьи Брюлловых (три художника и один архитектор) в 1854 году живы были два: Федор Павлович (1795–1869), живописец, и Александр Павлович (1798–1877), профессор архитектуры в Академии Художеств, строитель Михайловского театра, Пулковской обсерватории и т. д. Наиболее известный из Брюлловых, Карл, умер в 1852 году. Здесь речь идет, вероятно, о детском бале у Александра Брюллова, связанного с Федором Толстым и по службе в Академии Художеств.

2

Это объяснялось прежде всего составом посетителей. Среди них, помимо художников, связанных с хозяином дома общностью профессиональных интересов, много было поэтов. По словам Е. Ф. Юнге, «душой общества» в доме Толстых был Щербина; Полонский был «свой человек»; Федор Глинка и Федор Толстой были друзьями со школьной скамьи. Кроме того у Толстых бывали Майков, Мей, Кукольник, Розенгейм и др. Позднее здесь появился и Шевченко. Бывали и декламаторы, певцы, композиторы — авторы романсов. Как видим ниже, хотя и «говорилось больше о стихах, чем о войне и о политике», но в 1854 году война и политика стали модной темой стихов.

3

Елена Андреевна Штакеншнейдер родилась в 1836 году. В 1854 году ей было восемнадцать лет.

4

Эта Екатерина Ивановна Иванова, в отличие от своей старшей сестры, Настасьи Ивановны, вышедшей замуж за графа Федора Петровича Толстого, не получила почти никакого образования и всю жизнь занималась хозяйством и воспитанием детей, сначала у старшего брата, потом у старшей сестры. Характеристике этих двух сестер посвящен ряд страниц в «Воспоминаниях» Е. Ф. Юнге.

5

Это Екатерина, впоследствии Е. Ф. Юнге, автор «Воспоминаний», и Ольга. Возраст указан не точно: первая из них родилась 24 ноября 1843 г., таким образом весной 1854 года ей было не восемь, а десять лет.

6

Рамазанов Николай Александрович (1815–1867), художник и скульптор. Благодаря живости характера и разнообразию дарований был заметным лицом в салоне Толстых; по словам Е. Ф. Юнге, его пение было полно энергии и выразительности: «сколько было в нем неподдельной веселости, юмору и искренности; казалось, что вся душа его была на ладоньке».

7

Как это часто бывает, вещи, предназначавшиеся для пения, ассоциируются гораздо более с именем композитора, чем с автором текста. Зачастую на нотах не обозначается, чьи слова. Вильбоа был нередким посетителем Толстых и выступал не только в роли композитора, но и певца. Некоторые свои пьесы он посвящал гр. Ф. П. Толстому. Исполнение его нового романса («Вот в воинственном азарте») на вечере у Толстых было в порядке вещей, но текст вносил в мирную обстановку артистического салона тему «войны и политики».

8

Стихи «Вот в воинственном азарте», которые «пелись и читались повсюду», появились впервые в «Северной Пчеле» (1854, № 37) под заглавием «На нынешнюю войну» и без подписи автора. Потом были перепечатаны Путиловым в его «Сборнике сведений о восточной войне». Особенно популярны были и долго не забывались четыре первых стиха, посвященных Пальмерстону. Автором этих стихов был молодой поэт, в том же году и умерший (тридцати одного года от роду), Василии Петрович Алферьев (1823–1854). За эти патриотические стихи он получил награду от императора, что, вероятно, известно было Толстым, в доме которых Алферьев бывал и должен был встречаться там с автором музыки, Вильбоа. Для Толстых вряд ли могло быть тайной, кто автор стихотворения.

9

Это неверно, как видно из предыдущего примечания.

10

Федору Николаевичу Глинке было тогда под семьдесят, вот почему отсутствие седины так поразило юную Штакеншнейдер. Внимание привлекли также и «кресты на фраке». И через двадцать лет, когда Ф. Н. Глинке было под девяносто, он поражал тем же самым пристрастием к орденам. Об этом свидетельствуют видевшие его в 70-х годах в Твери академики С. П. Глазенап и М. Н. Сперанский.

11

Такая рекомендация супругов Глинок была вполне понятна в устах графине Наст. Ив. Толстой, дружившей с ними и старавшейся заинтересовать ими Штакеншнейдеров, но оценка эта должна быть корректирована отзывами других. Так, дочь графини — Екатерина Юнге, вспоминая, что они, дети, «терпеть не могли» Авдотью Павловну Глинку, рисует очень непривлекательный ее портрет: «не велика ростом, но была дама решительная и на окружающих смотрела свысока… платье она носила, несмотря на преклонный возраст, более или менее декольте, даже днем. Н. Ф. Щербина издевался над нею в своих пародиях на церковные славословия («акафистах»): «радуйся, старых костей обнажение! Радуйся, плохих виршей сплетение» и т. д.

12

Об этом произведении читаем в опущенных нами абзацах записок Штакеншнейдер, между прочим, следующее: «В ней нет ни одного нецензурного слова, но духовная цензура не разрешила ее, потому что она основана на апокрифической легенде, которой наша церковь не признает». Легенда эта заключается в том, что во время бегства Иосифа с Марией и младенцем в Египет они попали к разбойникам. У жены одного из разбойников в это время умирал грудной ребенок. Богородица приложила его к своей груди, и от одной капли ее молока ребенок исцелился. Таинственная капля, принятая младенцем, осталась с ним на всю жизнь. Обреченный жить среди разбойников, он всю жизнь томился тоской по неведомому. В конце концов он был пойман и распят на кресте в один день с Христом, по правую сторону от него.

Напечатана была поэма Глинки впервые в Берлине, в вольной русской типографии, в 1861 году, а через год после этого Глинка стал хлопотать у Тютчева, бывшего тогда председателем цензурного комитета, и у Полонского, секретаря комитета, о снятии цензурного запрета, прося их оказать покровительство «берлинской сироте». Вторично поэма напечатана была в Москве, в типографии Погодина, в 1871 году. В книге 678 страниц, из которых немногие заняты авторскими комментариями к его поэме; все остальное — стихи. Чтение такого произведения заняло, как мы видим из дальнейшего текста «Воспоминаний», не «десять вечеров», как указано здесь, а гораздо больше… Еще в 1858 году продолжается чтение этой «Таинственной Капли», отражавшей настроение самой реакционной части общества.

13

В 1854 году цензура была особенно подозрительна. Никитенко в своем дневнике от 1 октября пишет про министра А. Норова: «Что сделалось с Авраамом Сергеевичем? Не понимаю. На него напал какой-то панический страх. Он привязывается к самым невинным фразам. Стоит кому-нибудь указать на самое безупречное место в книге или журнале, и у него тотчас готово строгое предписание, выговор». Самые верноподданнические и реакционные вещи, как, например, «Коляска» Майкова, могли попасть в число запрещенных.

14

Поэма «Таинственная Капля» состоит из двух частей, в каждой более пятидесяти стихотворений, иногда очень длинных. Каждое из них носит особое название. Стихотворные размеры постоянно меняются.

15

Интересно сопоставить это описание чтения «Таинственной Капли» с тем, какое дала дочь хозяина дома, Екатерина, присутствовавшая на чтениях поэмы. Она была на семь лет моложе Елены Штакеншнейдер. «Никогда не забуду мучений, которые доставляли мне эти чтения», — пишет она, и далее поясняет: «мне казалось скучной та часть, где евангелие переложено в стихи, но места, где описывалась жизнь разбойников, мне очень нравились». Самое описание чтения Е. Юнге принимает несколько комический характер. «Это было настоящее священнодействие» и т. д. («Воспоминания» Е. Ф. Юнге, стр. 53).

16

Николаевский мост назывался тогда Благовещенским.

17

Одновременно с потоком печатных стихотворных славословий шла встречная противоположная волна рукописных стихотворений критически-обличительного содержания, уже предвещающих близкое наступление общественного подъема. В стихотворении Хомякова обличительная струя сочеталась с воинственным призывом «на брань святую», «за братьев!» и т. д. «Нецензурное» в 1854 году стихотворение это, под заглавием «России», целиком было напечатано в 1861 году в «Стихотворениях А. С. Хомякова» с датой «март 1854».

18

Эта строфа читается так:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени низкой и позорной
И всякой мерзости полна!

Указание Е. Штакеншнейдер, что и в рукописи эта строфа обычно пропускалась, характеризует тот круг, где вращалась дочь придворного архитектора: кроме правительственной цензуры, существовала своя, цензура салона.

19

Строфа, особенно возмутившая Ходчинского, читается так:
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

Характеристика, данная Еленой Штакеншнейдер Данилевскому, подтверждается и его собственными признаниями и биографическими материалами о нем в письмах: и мемуарах его современников.

Необычайная живость и подвижность являются действительно основной чертой его характера.

Будучи студентом, Данилевский просидел по делу петрашевцев несколько месяцев в Петропавловской крепости. Арест его объяснялся многими, в том числе и Штакеншнейдер, тем, что его смешали с другим Данилевским, Николаем Яковлевичем, впоследствии публицистом. Выпущен был Г. П. Данилевский без всяких обвинений. Умер он в 1890 году, редактором «Правительственного Вестника».

Посетителем суббот Марии Федоровны Штакеншнейдер он был не особенно усердным и не долго: в 1858 году он переехал на юг. Влияния на Елену Штакеншнейдер, в отличие от некоторых других завсегдатаев дома, как Бенедиктов, Полонский, Осипов и позднее Лавров, он, конечно, не имел, и роль его ограничивалась тем, что он был первым человеком, внесшим в дом Штакеншнейдеров атмосферу литературных интересов.

21

Роман Данилевского «Беглые в Новороссии» (1832), дающий картину эксплоатации беглых крепостных в степях юга, принадлежит к лучшим произведениям Данилевского.

22

В печатном тексте «Русского Вестника» (1899, октябрь, стр. 354) после этих строк есть следующая вставка, отсутствующая в нашей рукописи: «У нас говорили больше, нежели в доме Толстых, потому что общество было разнообразнее: были запевалы, вроде И. К. Гебгардта». Об этом Гебгардте читаем у Никитенко («Записки» и «Дневник», 1893, т. I, стр. 362): «он одарен… удивительным даром слова». Подробнее о нем см. в прим, к 1855 году.

23

Лирическая драма Майкова должна была называться «Смерть Люция» и состоять из двух частей. Но вторая часть, по словам автора, первоначально ему не давалась и была надолго заброшена. Первая же часть ходила в рукописи под заглавием «Выбор Смерти» или «Три Смерти». В издании стихотворений Майкова 1858 года первая часть появилась, как законченное произведение, с заглавием «Три Смерти».

В 1863 году в «Русском Вестнике» (февраль) появилась «Смерть Люция» с обозначением, что это вторая часть лирической драмы «Три Смерти» (см. Полное собрание сочинений Майкова, 1901, IV, стр. 369, предисловие к «Смерти Люция»).

24

Лирическая драма Майкова «Три Смерти» была напечатана через три года в «Библиотеке для чтения» 1857, т. 141.

Кроме того были в пьесе две выходные роли: центуриона и раба. Первого играл брат Елены Андреевны, Николай Штакеншнейдер, второго — студент Имберг, репетитор младших братьев Едены Андреевны.

26

По всеобщему признанию, Бенедиктов превосходно читал стихи и в такие моменты совершенно преображался. Об этом говорит и Полонский (Сочинения Бенедиктова, 1902, т. I, стр. XVI).

«Бенедиктов, — говорит Е. А. Штакеншнейдер, — превосходный чтец. Небольшого роста и некрасивый невзрачный собой, он обладает сильным, ровным голосом, очень приятным, и удивительно владеет им. Он не выкрикивает и не завывает и никогда не употребляет никаких эффектов, чтобы потрясти иди разжалобить слушателей. Очень скромный сам, он и читает скромно и в то же время сильно. Очень умный и добрый, он о чувствах не говорит и в чтении ничего не подчеркивает, но суть и красота стихов сами выступают у него. Читать он любит и читает ровно, хорошо и возвышенное и комическое, но возвышенное и прекрасное в его чтении вдвое возвышеннее и прекраснее. В тот же вечер (художник) Страшинский нарисовал его в римской тоге Лукана во весь рост и очень похоже».

Полонский, также бывший в числе зрителей этого спектакля, подтверждает слова Штакеншнейдер:

«Читал стихи Бенедиктов превосходно, и все, что ни читал, казалось хорошим и увлекательным… Видел я его и на домашней сцене. Завернутый в римскую тогу, он играл роль Деция из «Трех Смертей» Майкова Слушая его, забывалась его невзрачная, слишком обыденная физиономия, и неинтересный Бенедиктов становится интереснее его окружающим».

Здесь Полонский запамятовал и ошибся в имени: никакого Деция в «Трех Смертях» Майкова нет: надо «Лукан».

27

Истекшие две недели», — писал Данилевский матери от 22 января 1854 г., — прошли для меня очень весело. У архитектора Штакеншнейдера, построившего дворец Марии Николаевны, был театр: играли «Три Смерти» Майкова… Я играл молоденького ученика и был в голубой тунике, шитой золотом, и в белокуром парике до плеч; монолог мой о смерти танцовщицы Лоры вызвал рукоплесканья».

28

«О боги, боги…» — слова Лукана в «Трех Смертях» Майкова.

29

«Взбаламученное море» — реакционный роман А. Ф. Писемского, печатался в «Русском Вестнике», 1863, №№ 3–8.

30

Стихотворение «Арлекин» напечатано было в книге «1854 год. Стихотворения А. Н. Майкова», вышедшей в свет уже при новом царствовании: цензурное разрешение помечено 1 марта 1855 года. Стихотворение «Коляска» («Когда по улице в откинутой коляске»), посвященное восхвалению Николая I и имевшее роковое значение для литературной репутации Майкова, впервые вошло только в посмертное издание поэта. Несмотря на патриотизм и верноподданнические чувства, какими проникнуто это стихотворение, оно не было пропущено цензурой. Говорили, что Николай из скромности не хотел видеть этих похвал себе в печати: в действительности дело, конечно, было не в этом.

И грустно думать мне, что мрачное величье
В его есть жребии; ни дум, ни чувств его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья,
И рвется вся душа во мне ему сказать
Пред сонмищем его хулителей смущенных:
«Великий человек! Прости слепорожденным!»

В глазах Николая самое упоминание о существования множества («сонмища») хулителей уже было умалением престижа власти.

Эта же «Коляска» была главной мишенью для высеивания Майкова со стороны передовой журналистики, которая окрестила его «Аполлоном Коляскиным» (см. «Забытый Смех», сборник А. В. Амфитеатрова, т. I, стр. 189–192). Тем не менее «Арлекин» был «гораздо хуже «Коляски». В «Арлекине» проводится мысль, что «вся история и жизнь Запада — сплошная ложь», поэт осмеивает западную науку, общество и политическое устройство, примкнув к самому реакционному крылу славянофильства.

Полонский в своем дневнике от 6 декабря 1855 г. пишет: «Майков торжественно раскаивается в своих похвальных… одах; нигде не упускает случая говорить, что он увлекся начальным ходом событий и поступил глупо: «Я был просто дурак, когда видел что-то великое в Николае. Это была моя глупость, но не пошлость!» («Голос Минувшего», 1919. № 1–4, стр. 107).

31

Заглавие не точно: сборник стихотворений называется «1854-й год», состоит из девяти стихотворений, из которых только одно — «Клермонтский собор» — перепечатывалось Майковым в последующих собраниях стихотворений.

32

У Майкова два стихотворения, озаглавленных «Певец»: одно переводное из Шамиссо — «Светел ликом, с смелой лирой», другое принадлежит к циклу «Новогреческих Песен» — «Не красив я, знаю сам». Штакеншнейдер имеет в виду, конечно, первое из них, написанное в 1857 году. Старец «худой и сирый» призывал юношей не слишком торопиться «в тщетном гневе древо жизни потрясать», потому что недозрелый плод «полн отравы, а созреет — сам спадет». За этот призыв юноши объявили старика «лжепророком», а ого лиру продажной, и угрожали побить его камнями. Старик пошел во дворец и стад торопить царя: «вперед, иди вперед! созидающее время не прощает и не ждет!» За этот призыв царедворцы, чтобы он не смущал царя, заключили певца в тюрьму, и там старик с спокойной совестью («долг свершен») прославляет «созидающее время». В поэтической форме под маской прославления независимости творчества здесь дан реакционный отпор тенденциям революционного подъема конца 50-х годов. Два других стихотворения — «Последние Язычники» и «Жрец» — политически менее выразительны. Штакеншнейдер оказывает на эти стихотворения, как на отход Майкова в эти годы от «патриотической» лирики.

33

Стихотворение «Нива» («По ниве прохожу я узкою межою…»), 1856 года, призывающее божие благословение на брошенные «мысли семена» и полное веры в близкое наступление лучшего времени для родины, обычно помещалось во всех дореволюционных хрестоматиях.

34

Стих Пушкина о Ленском («Евгений Онегин», глава вторая, X).

35

Слова в кавычках — первый стих стихотворения Полонского «Последний разговор».

36

Из стихотворения Пушкина «Поэт и чернь».

37

Пьеса Полонского: «Разлад, сцены из последнего польского восстания», Спб. 1865.

38

Вероятно, Штакеншнейдер имеет в виду полемическую статью Полонского, помещенную в «Отечественных Записках», апрель, кн. 2. «Прозаические цветы поэтических семян», направленную против Писарева и «одного из лучших помощников Писарева по части истребления ненавистных ему поэтов» — Минаева. Тут же о взглядах Писарева на Пушкина.

39

Начало дневника почти совпадает с началом нового царствования. 18 февраля умер Николай I. Умиление Марии Федоровны, вызванное прочтением в «Северной Пчеле» (1855, № 52) «Воззвания синода», где «отцы и матери» приглашались «не умедлить» послать своих детей по зову царскому на войну, и рескрипта министру двора гр. Владимиру Федоровичу Адлербергу о награждении его портретом Николая, украшенным бриллиантами, достаточно ярко характеризует верноподданнические чувства жены придворного архитектора.

40

Граф Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии Художеств; его жена Настасья Ивановна.

41

Впоследствии Макова, жена бывшего министра внутренних дел, умерла у нас в доме в 1859 году.

42

«Божественная Капля» более известна под обозначением «Таинственная Капля».

Осипов.

Бенедиктов много переводил с польского. Интерес к польскому языку и литературе возник у него, вероятно, еще в 1831 году, когда он, будучи подпоручиком лейб-гвардии Измайловского полка принимал участие в военных действиях против восставшей Польша. 12 марта 1855 г. он, очевидно, читал у Штакеншнейдеров те свои переводы, которые вошли в третий том изданного им в следующем, 1856 году «Полного собрания стихотворений», как, например, переводы из Мицкевича: «Возвращение Тяти», «Рыбка» и «Альманзор». Последнее, как удобное для эстрадной декламации, пользовалось некоторое время популярностью.

Данилевский читал «Украинские Сказки». Впервые они напечатаны быт в «Русском Вестнике», 1858, №№ 1 и 2, а позднее входили в собрание его сочинений и много раз переиздавались отдельной книжкой: в 1888 году было восьмое издание («Дешевая Библиотека» Суворина).

45

Иван Карлович Гебгардт, родственник Штакеншнейдеров, отличавшийся «редким даром слова», был завсегдатаем в их доме и приятелем А И. Никитенко, который в своем «Дневнике» 28 декабря 1836 г. пишет о нем: «Гебгардт старший — товарищ мой по университету. Теперь он служит в иностранной коллегии и учит математике в Павловском корпусе и в частных домах. Он одарен удивительно гибким, блестящим умом и редким даром слова Ум его рассыпается в тысячах блестящих искр, и каждая искра или светит, или жжет. Особенно хорош он в быстрых, летучих, неожиданных эпиграммах которыми уязвляет пошлость и невежество нашего общества. Чувствуя в себе силы на высшую деятельность, он грустно влачит дни свои по темным и грязным закоулкам чиновничьего быта, — и это съедает его, ибо с таким блестящим умом нельзя не иметь честолюбия. Ему еще тяжелее оттого, что он, по свойствам своего ума, неспособен к упорной, усидчивой кабинетной деятельности: ему необходимы воздух и пространство». Эта характеристика, данная еще молодому Гебгардту его приятелем, остается во многом верна, если судить по дневнику Е. Штакеншнейдер, и через двадцать дет, но с одною существенною поправкою: он вообще является человеком слова, а не дела: радикал, чуть не революционер на словах, он оказывается трусливым обывателем на деле, что обнаруживается, например, в эпизоде с прокламациями. В решительную минуту он готов спрятаться за спины других. Но в гостиных он незаменимый оратор и остроумец. На субботах у Штакеншнейдеров, по определению Елены Андреевны, он был «запевалою» в общем оживлении. В неизданном письме Марии Федоровны Штакеншнейдер к Полонскому от 13/25 июля 1857 г. есть фраза: «Гебгардт, по обыкновению, смешил до слез».

Федор Антоновну профессор, автор картины «Медный Змей».

47

Известный Филипп Филиппович.

48

Богатая женщина из купчих, впоследствии имела салон в Париже.

49

С глазу на глаз.

50

Мне никогда не спастись от этой женщины! Эта женщина преследует меня.

51

Повесть Григоровича «Рыбаки» печаталась в «Современнике» 1853 года и тогда же вышла и отдельным изданием.

52

В первый раз пьеса «Ночное», М. А. Стаховича, шла в Александринином театре и имела выдающийся успех, и с тех пор «Ночное», по словам А. Стаховича, брата автора пьесы (см. его «Клочки Воспоминаний», М. 1904, стр. 269), обошло почти все русские сцепы и стало одной из любимых публикою народных пьес.

Подробное и колоритное изложение содержания и даже — сравнительное описание разных актеров в этой пьесе находим у того же А. Стаховича («Клочки Воспоминаний», стр. 243–273).

53

Артистка Александрийского театра Прасковья Ивановна Орлова уехала в Севастополь сестрой милосердия, что в доме Глинок, где она была частой посетительницей, вызвало всеобщее одобрение. Ф. Н. Глинка в «Северной Пчеле» посвятил ей стихотворение. Лучшая часть ее сценической деятельности, когда она на сцене московского Малого театра при Гамлете-Мочалове играла Офелию, была уже позади, но и теперь, хотя и не молодая (ей было сорок три года), но красивая, она еще пользовалась некоторым успехом.

Возраст которых не знает жалости.

55

Собачки в доме Глинок были не раз предметом подтрунивания со стороны окружающих. На портрете супругов, воспроизведенном в «Русском Библиофиле», имеется надпись:

А коль детей у нас не будет,

Так мы собачек заведем.

Е. Юнге вспоминает, как Авдотья Павловна любила своих собачек: «Сидя за чаем, она брала печенье, нюхала его и найденное достойным собирала, чтобы отнести своим собачкам, которых иногда по очереди брала к нам в гости. Более отвратительных собачек трудно себе представить, — все они были маленькие, со слезящимися глазами, избалованные, злые; звали их «Капля», «Крошка» и т. п., нежными, но неподходящими к ним именами. Всякий гость, входящий в квартиру Глинок, был встречаем лаем, визгом и бессильными попытками укусить за ногу целой стаи отвратительных созданий, и должен был, чтобы сделать довольствие хозяйке, находить это премилым» («Воспоминания» Е. Ф. Юнге, стр. 52).

Мнение Греча, как «горячего поклонника» Орловой, не сходится с отзывами о ней ее младшей сестры А. И. Шуберт и особенно с характеристикой, даваемой ей Штакеншнейдер. Сестра, тоже артистка, в своих воспоминаниях «Моя жизнь» изображает ее холодной и расчетливой. Дочь бывшего крепостного, служившего дворецким, Параша Куликова совсем юной вышла замуж за немолодого актера Орлова прельстившись исключительно его дворянством что давало ей привилегированное положение среди труппы Малого театра. Во время Крымской кампания она поступила в сестры милосердия, что значительно сократило ей срок до пенсии, так как месяц на войне засчитывался за год службы. Штакеншнейдер она антипатична своим лицемерием и ханжеством.

57

Памятник Крылову в Летнем саду открыт был 14 мая 1855 г. Как мы видим из записи дневника, 5 мая он находился еще в мастерской скульптора. Запись ограничивается только беглым упоминанием. Сама мастерская П. К. Клодта произведшая сильное впечатление на художника П. Сокотова см. его «Воспоминания», гл. XII), не сочтена была достойной описания. Будучи дочерью архитектора и сама учившаяся в рисовальной шкоте, Штакеншнейдер тем не менее очень мало внимания в своих записям уделяет изобразительным искусствам.

58

Гувернантка.

59

О поэте-самоучке Аксеновском сохранилось очень мало сведений. В «Критико-биографическом словаре» Венгерова он пропущен, а в «Предварительном списке русских писателей» его же читаем: «Аксеновский Дмит., крест., стихотворец 40-х гг., придворный мастер водоочистительных машин». Некоторые биографические указания находятся в сборнике аксеновского «Стихотворения придворного мастера водоочистительных машин», Спб. 1846, а более ранее упоминание в «Северной Пчеле», 1844, № 194. Со своими отсталыми по форме стихами он мог в 1855 году казаться смешным в доме Штакеншнейдеров, но сам по себе в историко-литературном отношении заслуживает более внимания, чем ему до сих пор оказывали. Это был не бездарный самоучка: изобретатель, живописец и поэт. Как изобретатель в области водоочистительных машин он конкурировал с иностранцем Дронсаром. Про его живопись читаем в «Северной Пчеле»: «Он начал заниматься живописью недавно, сам по себе, ни у кого не учась, и оказывает в ней замечательные успехи. Пробудись в нем страсть к живописи прежде, в юности, как знать, что бы могло из него выйти?»

Как стихотворец Аксеновский является наравне с Алипановым и Сухановым одним из самых интересных среди многочисленных поклонников и последователей Федора Слепушкина. Ни Слепушкин, ни Суханов и никто другой из «крестьянских» поэтов не отметили так резко расслоения среди крестьянства, как это делал Аксеновский, являясь сам идеологом зажиточных. Вполне естественно, что он писал и патриотические стихи. Две его оды, о которых упоминается в дневнике, вышли отдельными брошюрами в 1855 году.

60

Стихотворение «Порыв», написанное в промежуток 1842–1850 гг. («Стихотворения В. Бенедиктова», 1856, т. II, стр. 51–52, выбрано было или потому что оно особенно нравилось автору дневника или с расчетом, что оно должно приттись по вкусу Аксеновскому, уроженцу Северного края: в стихах говорится, между прочим, про дремучие леса Карелии. Штакеншнейдер, нередко с грустью смотревшей на окружающее ее веселье молодежи и «старавшейся» быть веселой, должны были быть близки некоторые строки стихотворения:

…Нет, милые люди, напрасно, напрасно
Хотите вы сделать ручным дикаря.
Вы сами видали, как странно и тщетно,
Стараясь быть весел, притворствовал я,
Как в обществе чинном и стройном заметна
Глухая, лесная природа моя…
и т. д.

61

Моя дорогая.

62

Ни 3 июня, ни в последующие дни такого стихотворения Ф. Глинки в «Северной Пчеле» не появлялось.

63

В «Голосе Минувшего» (1915, № 11, стр. 161) здесь мы имеем такую сноску: «Иван Иванович Панаев (1812–1862). известный беллетрист, вместе с Некрасовым редактировавший «Современник» — Ред.». Это ошибка: в дневнике речь идет не об Иване Ивановиче Панаеве, который у Штакеншнейдеров почти что не бывал (кроме присутствия в качестве зрителя на представлении «Школы Гостеприимства»), а об его двоюродном брате, Петре Владимировиче, родившемся в 1832 году. Таким образом устраняется и нелепость сравнения сорокатрехлетнего Ивана Ивановича, носившего модную прическу, с «рекрутом». Другое дело — его двадцатитрехлетний кузен, поразивший при первом знакомстве (2 мая 1855 г.) Штакеншнейдер тем, что острижен был под гребенку, «как рекрут».

«Рыцари духа».

65

Роман Карла Гудкова вышел в Лейпциге в 1850–1852 гг. Елена Штакеншнейдер читала его в подлиннике. Этот социальный роман имел в Германии большой успех. В нем изображается очень ярко и едко эпоха реакции после революции 1848 года.

В числе этих литераторов, посланных в разные места России, были Данилевский, Островский, Писемский, С. Максимов, Михайлов. О командировке последнего см. упоминания в дневнике 25 сентября.

67

Корпия — выдернутые из холста нити длиною до трех-четырех дюймов; сложенные в кучу, они накладывались на раны при хирургических повязках. Щипать корпию было самым легким и распространенным видом помощи во время войны со стороны дам-благотворительниц.

68

Короткая, но многозначительная запись. Здесь столкновение не столько двух поколений, сколько разных классов: дворянина дипломата Холчинского и разночинца, пробивающегося уроками в богатых домах, — Осипова. Этот спор с нетерпением ожидался девушкой, неравнодушной к Осипову. Ясно, на чьей стороне были ее симпатии.

69

В фельетоне «Отечественных Записок» (1855, ст. III, стр. 40–42) «Петербургские заметки» об «Ипохондрике» на сцене Александрийского театра читаем: «Все артисты сделали из своих ролей все, что было возможно, и все действующие лица вышли поразительно истинными. Зритель смотрел не скучая все пять актов комедии… автор в первое представление был вызван два раза». Но лица комедии мало интересны для зрителя, в пьесе мало действия, и потому «имя г. Писемского, одного из даровитейших современных беллетристов, собрало в театр публику на три, на четыре первых представления его комедии, но на пятое театр был уже на половину пуст».

«Три мушкетера», роман А. Дюма.

71

«Покорность судьбе».

Нет, весной только будет два года.

Потому что плела их сама (позднейшая заметка).

Довгалевский.

75

В письме Гончарова к Е. В. Толстой от 28 октября 1855 г. читаем: «Семейство архитектора Штакеншнейдера, которое вы видели, пожелало, чтобы Евгения Петровна (Майкова) привезла к ним меня: она дала слово и, боже мой, как убеждает меня ехать в ту субботу; кажется, я поеду. Что сказать от вас горбунье с умным лицом?» К сожалению, говоря о субботе 4 ноября, Штакеншнейдер совсем не упоминает о Гончарове.

Несомненно об этом произведении, но под другим заглавием — «Подражание Данту», писал Гончаров Е. В. Толстой 20 и 28 октября 1855 г.: «В день вашего отъезда вечером я был у Н., где собралось человек пятнадцать литераторов; пришел Аполлон и прочел свое «Подражание Данту». Вы помните это прекрасное стихотворение, но только тогда была одна половина, он прибавил другую, где сильно говорит о злоупотреблениях, ворах и невежестве в нашей родной стране и о том, как внешний вид порядка и строгости прикрывает все это. Сказанное в дантовском тоне, — это выходит величаво-мрачно и правдиво. Жаль, что напечатать этого нельзя, но по рукам это стихотворение разойдется быстро». Другой раз чтение происходило в доме Майковых. «Был Бенедиктов, — пишет Гончаров, — Аполлон опять читал «Подражание Данту» и опять произвел большой эффект. В самом деле — это очень хорошо» («Голос Минувшего, 1911, № 11). Ни в одном из полных собрания стихотворений Майкова «Земной Комедии» нет.

77

Монтекки и Капулетти — фамилии двух враждовавших между собой родов в пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта».

Оба стихотворения вошли в издание «Стихотворения Николая Арбузова, 1856» (стр. 43–44 и 71–73. В «Поэте» чувствуется сильное влияние Н. М. Языкова, особенно его «Землетрясения».

Николай Дмитриевич, учитель.

80

Тогенбург — герой баллады Шиллера «Рыцарь Тогенбург», всю жизнь платонически любивший одну даму.

81

«Постоялый двор» — повесть Тургенева, напечатанная в № 11 «Современника» за 1855 год.

«Гораций — и Лидия».

83

С конца 1855 года и до смерти дяди в доме Штакеншнейдеров царило увлечение домашними спектаклями. Об этом всеобщем увлечении в Петербурге двумя годами позже писал и И. И. Панаев в своих «Заметках нового поэта» («Современник» 1858, № 5, стр. 78–79).

Печатался, главным образом, в «Библиотеке для чтения». В 1855 г. там помещены были две его повести — «Старьевщик» и «Настя».

Это оказалось ложным слухом. Гейне умер в Париже 17 февраля 1856 г.

Притворяется глухой.

87

Был, между прочим, Полонский, оставивший запись о спектакле в своем дневнике от 16 декабря «Голос Минувшего», 1919, № 1–4, стр. 111.

88

Речь идет о драме Потехина «Чужое добро в прок не идет».

В сезоне 1855–1856 года, читаем в «Хронике петербургских театров» А. Вольфа (ч. III, стр. 9), на русской драматической сцене «наибольший успех имела народная драма А. Потехина «Чужое добро впрок не идет». Верная обрисовка крестьянских нравов, оригинальность выведенных типов, а также и полная драматизма развязка произвели сильнее впечатление. Исполнение пьесы было образцовое; цвет труппы в ней участвовал: Мартынов — Михайло, Самойлов — Степан, Бурдин — Алексей, Орлова — Маремьяна. «Ипохондрик» Писемского, несмотря на то, что Мартынов взял на себя роль Дурнопечина, не понравился публике».

89

Про исполнение роли молодого парня Михаила в пьесе Потехина «Чужое добро в прок не идет» читаем у А. Вольфа: «Мартынов в первой раз появился в сильной драматической роли, и эффект был поразительный. С этой поры великий комик пошел по новой дороге и еще с большею славою, чем по старой..» (А. Вольф, «Хроника петербургских театров», ч. III, стр. 9).

90

Это было 26 декабря. В дневнике Полонского («Голос Минувшего», 1919, №1–4, стр. 116–117) имеется запись о том же вечере. Перечень гостей Полонский дополняет указанием: «И наконец явился сам Штакеншнейдер со своим семейством». Эпизод с Щербиной у Полонского не отмечен. Вместо этого находим несколько строк, бросающих свет на отношения к нему Шелгуновой и Марии Федоровны Штакеншнейдер: «Мадам Шелгунова все еще со мной кокетничает. Мадам Штакеншнейдер от всего приходит в волнение… досадно!»

91

Отдел «Русской словесности» в январской книжке «Библиотеки для чтения» за 1856 год состоял из следующих произведений: «Человек», стихотворение В. Бенедиктова; «Юдифь», стихотворение Л. Мея; «Внезапное Горе», И. Никитина; «Крушинский», роман в трех частях А. Потехина, ч. I; «Угасшая Звезда», сцены в стихах и прозе, Е. Ростопчиной. В отдел «Иностранной словесности» вошли «Ньюкомы», роман Теккерея, ч. IV, и стихотворение из Беранже «Старушка», в переводе В. Курочкина. Последнее стихотворение, столь понравившееся Е. Штакеншнейдер, состоит из четырех строф, из которых приводим первую:

Ты отцветешь, подруга дорогая,
Ты отцветешь — твой верный друг умрет…
Несется быстро стрелка роковая,
И скоро мне последний час пробьет.
Переживи меня моя подруга,
Но памяти моей не изменяй —
И, кроткою старушкой, песни друга
У камелька тихонько повторяй.

Стихотворение Никитина, — по словам автора дневника, «вроде Кольцова», начинается стихами:

Вот и осень пришла. Убран хлеб золотой,
Все гумно у соседа завалено…
У меня только смотрит оно сиротой, —
Ничего-то на нем не поставлено!

«Внезапное Горе» не вошло в первое издание «Стихотворений И. Никитина», 1859.

Не совсем точно: Жихарев рассказывает в «Дневнике», от 13 января 1807 г., что был на последней репетиции пьесы; 14-го утром должна была быть не репетиция а «только одно небольшое повторение ролей, чтобы актеры имели время успокоиться и приготовиться к настоящему представлении». 14 го вечером было самое представление. Штакеншнейдер ошибается, говоря, что Жихарев говорит о репетиции подробно. Этому посвящено у Жихарева всего несколько строк. Подробнее рассказывает он о самом спектакле. Он отмечает главным образом места пьесы, имевшие особенный успех.

В связи с этим и отношение к нему у Штакеншнейдер двойственное. Она любит в нем поэта, его «греческую часть», но не того Щербину, который «вечно норовит уколоть, и колет, и потом плачет, если ему дадут сдачи». Здесь, очевидно, имеется в виду эпизод с Щербиной на именинах у Полонского, записанной в дневнике 29 декабря 1855 г. С такою характеристикою сам Щербина, конечно, не согласился бы. «Я, право, не злой», — оправдывался он, задетый за живое на именинах у Полонского. Этого не признавали не Елена Штакеншнейдер, ни ее мать. Марья Федоровна так возмущалась эпиграммами Щербины на Майкова, так явно выражала неудовольствие по поводу них, что после этого Щербина перестал бывать у Штакеншнейдеров. В доме Толстых к нему относились лучше.

Юнге, которая писала не дневник, а воспоминания, причем в предисловии предупреждает, что будет писать только о тех, о ком приятно ей вспоминать, а о неприятных людях будет умалчивать, дает Щербине самую подробную и восторженную характеристику; о всех других поэтах, посещавших их дом наравне с домом Штакеншнейдеров, как Полонский, Мей, Бенедиктов, Глинка, Юнге говорит гораздо суше и как бы мимоходом.

94

Из стихотворения Щербины «Болезнь» («Мы счастливы не будем никогда…», помеченного автором 1853 годом («Стихотворения Щербины», Спб. 1857, т. II, стр. 111 и 148–150). Приведенные два стиха несколько отличаются от печатного текста, где читаем:

И счастие возможно ли, друзья,
Провидящим денницу идеала,
Тем, чья душа в пустыне бытия
Тоской любви напрасно изнывала…

Отец его был украинский помещик, мать — гречанка. Детство провел среди греческого населения Таганрога.

«Как аукнется, так откликнется», переводный водевиль Тарновского, поставлен был в Александринском театре в 1854 году; «Соль супружества» — переводная комедия с немецкого Н. Пенькова. В Александринском театре шла в 1855 году.

Не налюбуется на нее.

98

В 1856 году в Петербург вышла *повесть* Авдотьи Глинки «Леонид Степанович и Людмила Сергеевна», а не «роман «Людмила», как записано в дневнике со слов Вигеля.

В повести этой нет «ничем не довольного поэта». Леонид Степанович, в лице которого, очевидно, Вигель увидал изображение Майкова, выведен не поэтом, ничем не довольным, а разрушителем авторитетов, относящимся отрицательно к писанию стихов.

При описании внешности этого персонажа Авдотья Глинка, несомненно, старалась придать ему сходство с ненавистным ей Майковым.

«Леонид… росту ниже среднего, с узенькими плечами, очень худощавый, бледный, подслеповатые глаза, которых — даже и очки не украсили; вообще же черты лица его бы не недурны, даже довольно правильны, но его портило выражение глаз и улыбка; в том и в другом резко выражались гордость и высокое мнение о гамом себе». Повесть Авдотьи Глинки, совершенно ныне забытая, представляет интерес историко-литературный, как предшественница реакционных романов Писемского, Лескова, Клюшникова («Взбаламученное море», «Некуда», «Марево»), Здесь мы находим самое откровенное восхваление крепостничества и житья по завету предков и осмеяние новых людей. Содержание повести Авдотьи Глинки заключается в том, что молодой человек, выдающий себя за «мыслителя», поклонник Запада, считающий величайшим философом Гегеля и потому выражающийся так отвлеченно и с таким количеством иностранных терминов, что его никто понять не может, приезжает в имение к своим родителям и здесь начинает проповедывать новые взгляды на смысл жизни, на крепостных, на женщину, на литературу и разрушать старые. «Мы призваны, — говорит он от лица этих новых людей, — разоблачить перед человечеством то, что казалось велико, и, наконец, чтобы начать новую эпоху цивилизации, надобно страсти с ног и самый прах прежнего».

Литература, по его словам, «есть царство духа, где вполне выражается самостоятельная деятельность, вырастая на всеобщей разумичности. И мы теперь в литературе увидели ясно сперва борьбу, потом победу сокровеннейших порывов науки».

К ужасу провинциальных помещиков, Леонид так расценивает писателей прошлого: «Сумароков есть грязное помело, которое нужно было для метения улиц». — «Ну, положим, — говорит собеседник, — Сумароков помело, а

Ломоносов что?» — «Не лирик, не ритор, не поэт», — отвечает Леонид.

Конечно, с Майковым Леонид Степанович Авдотьи Глинки имеет мало общего; автор в своей повести велит часто невпопад, но повесть является ярким проявлением классовой вражды, характеризуя тревогу в самой отсталой части помещиков вере надвигающимися реформами.

Этому прозвищу нельзя отказать в меткости: оно одновременно характеризует и внешнюю подвижность Глинки, и его устремленность к религиозным темам, и, наконец, его пристрастие к орденам; все эти качества Глинка сохранил до глубокой старости. Доставалось от Щербины и Глинке и понедельникам в его доме. В одной эпиграмме этого 1855 года читаем:

Глинка в нашем поколеньи,
Что в минувшем был Хвостов.

А в «Соннике» «Глинку Федора во сне видеть предвещает побывать в зверинце».

Е. Юнге, описывая Глинку, припомнит и определение, данное ему Щербиной, но в несколько иной форме: «Щербина называл его ходячим иконостасом и пресерьезно уверял, что бабы к нему прикладываются и что Федор Николаевич даже купается в орденах: сам он плывет на больших пузырях, а ордена на маленьких» («Воспоминания» Е. Ф. Юнге, стр. 51). Вариант Штакеншнейдер — «иконостасик» — лучше, так как подчеркивает миниатюрность Федора Глинки.

То, что Щербина считал эти два стихотворения — «Москва и «Плач пленных иудеев» — лучшими из всего, что написал плодовитый Федор Глинка, доказывается не только тем, что Щербина знал их наизусть, но и включением им из Глинки только этих двух стихотворений в свой «Сборник лучших произведений русской поэзия», изданный им через два года (1858), тогда как из Бенедиктова, из Полонского, из Мея он взял по шесть стихотворений, из Ап. Майкова семь, из Фета девять, из Пушкина шестнадцать.

«Плач пленных иудеев» написан был до 1825 года и является переложением одного из псалмов:

Когда, влекомы в плен, мы стали
От стен Сионских дальше,
Мы слёз ручьи не раз мешали
С волнами чуждыя реки
и т. д.

Фразеология стихотворения: «тираны», «глас свободы» и гордый отказ пленных своими песнями «ласкать злодеев слух» — все это в духе декабристов.

Увы! неволи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют.

Другое стихотворение — «Москва» («Город чудный, город древний») — относится к годам сотрудничества Ф. Глинки в журнале «Москвитянин» и является крайним выражением шовинизма:

Кто, силач, возьмет в охапку
Холм Кремля — богатыря?
Кто собьет златую шапку
У Ивана-звонаря?
Кто царь колокол подымет?
Кто царь-пушку повернет?
и т. д.

101

Он умер уж, и не сдержал своего слова.

102

Шедевр, совершенство.

103

Т.е. 28 января Тургенев был у Штакеншнейдеров. Этим лишний раз подтверждается ненадежность указаний в «Воспоминаниях» Григоровича, по словам которого Тургенев был привезен Дружининым к Штакеншнейдерам только в день представления, т. е. 7 февраля.

Этим опровергается сообщение Григоровича, будто Штакеншнейдеры считали, что пьеса эта сочинена Тургеневым единолично, а Дружинин не счел нужным их разубеждать. Оказывается, в доме Штакеншнейдеров прекрасно знали, что здесь было коллективное творчество. Дело было так. В мае 1855 года Григорович, Дружинин и Боткин приехали к Тургеневу в его имение Орловской губернии Лутовиново и прогостили там, по словам Григоровича «пять-шесть недель», а по свидетельству Тургенева, три недели (уехали 1 июня). «Время проводили очень приятно и шумно., ели и пили страшно, играли в биллиард, кегли, катались на лодке, ездили верхом, врали и говорили серьезно до двух часов ночи, — словом, кутили» (письмо Тургенева к Анненкову от 2 июня 1855 г., «Новый мир», 1921, кн 9, ор. 159–160). В это же время, как говорит тот же Тургенев, «разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения». Описание того, как сочинялась эта пьеса, находим в «Воспоминаниях» Григоровича. Зашла речь о склонности Тургенева всегда усиливать краски «Слово за слово, пришли к заключению, что такая слабость легко приводит к последствиям, которые могли бы служить отличным мотивом для сценического представления. Я предложил присесть сейчас и набросать план пьесы; мысль была единогласно одобрена, и Тургенев сел записывать; мы, между тем, кто лежал на диване, кто расхаживая по комнате, старались, перебивая друг друга, развивать сюжет, придумывать действующих лиц и разные между ними столкновения. Кавардак вышел порядочный. Но на другой день, после исправления и окончательной редакции, вышел фарс настолько смешной и складный, что тут же решена было разыграть его между собою». Тургенев взял на себя роль хозяина, пригласившего гостей, остальные авторы — роли этих последних. Спектакль состоялся в Лутовинове 26 мая. Лучше всех, по отзывам участников, был Боткин в роли Щепетильникова.

105

По поводу этой фразы комментатор «Литературных воспоминаний Григоровича» (изд. «Academia», Л. 1928, стр. 456) пишет: «неверно: в то время как записывался этот дневник [1 февраля 1856 г.] «Школа Гостеприимства» в виде повести была уже напечатана Григоровичем в «Библиотеке для чтения» (1855, т. 133)».

Но Штакеншнейдер говорила не о повести и имела полное право утверждать, что коллективная *пьеса* «Школа Гостеприимства» напечатана никогда не была.

106

В рассказе Григоровича о спектакле в доме Штакеншнейдеров совершенно выпал тот факт, что в «Школе Гостеприимства», как первоначально предполагалось, играть будут сами авторы: Тургенев, Григорович и Дружинин.

107

Как видно из воспоминаний Л. П. Шелгуновой («Из далекого прошлого», Спб 1901, стр. 56–57), Тургенева познакомил с Штакеншнейдерами Полонский, причем приехал Тургенев к ним в дом в связи с предполагаемым его участием в «Школе Гостеприимства». Поэтому естественно, что и о нежелании своем участвовать в спектакле Тургенев должен был сообщить прежде всего Полонскому. Л. П. Шелгунова, с которой Штакеншнейдеры познакомились незадолго перед тем у Полонского на именинах (26 декабря), была главной инициаторшей задуманного спектакля. В это время она увлекалась маскарадами. Вот что она рассказывает об этом:

«Мои маскарадные знакомые — Дружинин, Тургенев и Григорович — настоятельно желали познакомиться со мною где-нибудь и увидеть, что за дама болтает с ними. Под маской я прямо назначила свидание в ближайшую субботу у Штакеншнейдеров.

— Да позволь, маска, — возражал Тургенев, — я ведь с нею не знаком.

— Это уж не мое дело, — отвечала я, — там всегда бывает Полонский.

И вот в назначенную субботу, когда мы все сидели вокруг стола у углового дивана, лакей подошел к Якову Петровичу и вызвал его в прихожую. Яков Петрович уже знал, в чем дело, и, взглянув на меня, пошел. В этот вечер ему пришлось представить троих видных литераторов, и добродушная Марья Федоровна была на седьмом небе, что на ее фикс собираются такие знаменитости. Она и не подозревала, что в доме у нее назначено свидание. Так как сцена была у Штакеншнейдеров налицо, то явилось предположение устроить благотворительный спектакль, и Тургенев, Дружинин и Григорович предложили пьесу под заглавием «Школа Гостеприимства», с одной женской ролью». Эта роль предназначалась, конечно, Л. П. Шелгуновой.

108

Консервативный издатель «Русского Архива» П. Бартенев, печатая в своем журнале (1893) отрывок из дневника Е. А. Штакеншнейдер данную фразу выпустил: очевидно, не считал удобным сохранить похвалу политическому преступнику Михайлову.

109

Переводный водевиль Оникса. На сцене Александрийского театра шел в 1853 г.

110

По словам Шелгуновой («Из далекого прошлого», стр 57), «пьеса имела успех тем более, что в ней изображались кое-какие литераторы, и даже парикмахер был послан в зал, чтобы посмотреть хорошенько на Ивана Ивановича Панаева и сделать актеру точно такое же лицо с бородкой и положить на лоб такой же локон» Шелгунова не сообщает, каких других литераторов пародировали актеры.

Естественно предположить, что «изображались» первые исполнители пьесы, т. е. ее авторы, возбудившие негодование Шелгуновой и Михайлова.

111

По словам Шелгуновой (там же, стр. 57), на другой день посте спектакля к Штакеншнейдеру приехал Григорович и начал извиняться за конец пьесы, будто бы обидевший сидевших в первом ряду генералов.

112

«Серезетта в темнице».

113

Елена Штакеншнейдер обнаруживает очень большую чуткость, отмечая, что если бы играли Тургенев, Дружинин, Григорович, то *смысл* пьесы был бы совсем иной. Спектакль 7 февраля кроме пародирования отдельных литераторов оказался фактически пародией на ту «Школу Гостеприимства», которая была разыграна в Лутовинове 26 мая. Пародирование и утрировка, а по выражению автора дневника — «балаганщина», имели свое социальное оправдание и били по авторам пьесы — тузам и аристократам. И, по-видимому, попадали в цель: недаром сконфуженные авторы, Тургенев и Дружинин, удалились в середине спектакля. Их возмущение разделяла и Штакеншнейдер, стоявшая в это время, до влияния на нее Лаврова, ближе к идеологическим позициям авторов пьесы, чем к Шелгуновым и Михайлову. Напротив, Л. П. Шелгунова осталась очень довольна спектаклем. По ее словам, «пьеса имела успех». Она была идеологически заодно с влюбленным в нее Михайловым, и, вероятно, ей принадлежит инициатива в этом намерении проучить литературных тузов и аристократов, Тургенева и Дружинина, с которыми она перед этим флиртовала и кокетничала.

114

По рассказам современников, Григорович любил приукрашивать и фантазировать. Такая репутация, сложившаяся о Григоровиче, заставляет очень недоверчиво относиться к «Воспоминаниям» Григоровича в смысле их правдивости и точности; кое в чем его показания опровергаются, между прочим, дневником Штакеншнейдер.

115

Эту вещь Каролина Павлова считала своим лучшим произведением. «Здесь изображены беседующими о начинающейся революции граф Мирабо и Каллиостро в часы веселого праздника в Трианоне» (см. Собрание сочинений К. Павловой, М. 1915, т. 1 стр. XXXIII и 191–200).

Произведение это, написанное в 1848 году, было запрещено цензурой, и в 1856 году могло быть известно или понаслышке или по рукописи. Впервые напечатано оно было Огаревым в лондонском издании «Русская потаенная литература», 1861.

116

Это небольшое стихотворение (десять строк) Мея, начинающееся стихом «Ох, пора тебе на волю, песня русская», было одним из самых популярных его стихотворений. В следующем году Щербина включил «Запевку» в свой «Сборник лучших произведений русской поэзия», Спб. 1858.

117

Появилась в печати эта драма Мея первоначально в «Отечественных Записках», 1854, № 5, и в том же году вышла отдельным изданием.

118

Произнесена была им 6 июня 1856 г. в торжественном заседании Казанского университета и озаглавлена: «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала». Содержание и тон речи как нельзя более соответствовали моменту, когда после неудачи Крымской кампании явилась потребность отыскать причины неудач и изменить жизнь. Речь начиналась горячим протестом против национального самообольщения и рекомендовала ряд необходимых реформ. Эта речь привлекла к себе симпатии широких кругов читателей. Е. Штакеншнейдер познакомилась с ней, вероятно, или из «Русского Вестника», 1856, № 15 (в «Современной Летописи», или из «Библиотеки для чтения» 1856, т. 139, отд. 6, стр. 5–42) О ней см. отзыв Чернышевского (Полное собрание сочинений, т. III, стр. 505–524).

Цензурные преследования 1856 года, например запрещение перепечатывать «Стихотворения» Некрасова и др. доказывают наглядно, что никакого поворота в цензуре не произошло.

120

«Матильда» — роман французского писателя Евгения Сю (1804–1859) Русский перевод, который, вероятно, был у Е. Штакеншнейдер (иначе она по своему обыкновению, заглавие написала бы по-французски), вышел в 1846–1847 гг. «Матильда» — записки молодой женщины, перевод В. Строева, тринадцать частей. Роман имел огромный успех во Франции. Белинский, признавая талант автора, отнесся к «Матильде» отрицательно. По его словам, автор «из своей Матильды силился сделать какой-то идеал женщины, что-то вроде героини добродетели я страдалицу от злобы и развращения света, а на деле выходит, что эта женщина., несносная своею навязчивостью в любви, своими пансионскими мечтами о счастии вдвоем под соломенной крышей». В романе довольно ярко изображено это «развращение света». Вот почему Е. Штакеншнейдер одобряет мать, которая долго не давала ей читать этого романа.

121

Герой — это Чулкатурин. Ниже автор дневника цитирует отрывок из повести Тургенева «Дневник лишнего человека».

Довгалевский.

123

Особый интерес к Некрасову в это время объясняется выходом незадолго перед тем первого издания его «Стихотворений».

124

«Стихотворения Николая Арбузова» вышли в Петербурге во второй половине 1856 года.

125

Я стала важной персоной.

126

Об этом же см. в «Дневнике» Никитенко запись 26 января, т. е. накануне, а 8 февраля Никитенко записывает: «Дело о Ш. и графе Б. решено. Ш. послан на житье в Ярославль, а графу Б. велено жить безвыездно в своей деревне». (См. также в письме Тургенева («Письма Тургенева и Кавелина Герцену», Женева 1892).

127

125-летний юбилей Первого кадетского корпуса, где учился Ф. Н. Глинка и Ф. Толстой, праздновался 17 февраля 1856 г., и в одной из зал корпуса устроен временный театр для представления «Пролога». В «Прологе» кадеты в мундирах времени Анны Иоановны, Екатерины II, Александра I, Николая I и Александра II рассказывали о главных событиях своего времени. См. «Русский Инвалид», 1857, № 39. Вторник 19 февраля». В этом же номере, стр. 161–163, помещен самый «пролог».

128

«Вход воспрещается» — стихотворение, в сочинениях Бенедиктова, 1902, т. II, стр. 24–27. О нем восторженно упоминает в своем дневнике Шевченко (Твори Шевченко, т. IV, стр. 87). «Я дивился и ушам не верил», пишет он.

129

Имберг.

130

Довольна ли ты своим кавалером, прекрасная маска?

131

И. Панаев поместил в «Современнике» (т. XLIX, Критика, стр. 243) неблагоприятный отзыв о новых стихах Щербины, появившихся в первой книжке «Отечественных Записок» за 1855 год.

132

Е. Штакеншнейдер оказалась проницательной: из ее братьев несколько выделился только Андрюша, т. е. Адриан, принимавший участие в студенческом движении, а позднее сотрудничавший в «Русском Вестнике». Об его аресте и разговоре с попечителем Деляновым см. Гессен, «Студенческое движение в начале 60-х годов», М. 1932, стр. 47.

133

Семья Штакеншнейдеров особенной роли в жизни Полонского тогда не играла. Теснее он сблизился с этой семьей по возвращении из-за границы. Уезжал же он туда не один, как можно было бы предположить на основании дневника Е. Штакеншнейдер, и не самостоятельно: он был воспитателем и преподавателем русского языка и истории Миши Смирнова, сына петербургского гражданского губернатора Н. М. Смирнова, который, отправляясь за границу, где уже находилась его жена Александра Осиповна (урожденная Россет) со своими дочерьми, взял сына и его воспитателя.

134

В декабре 1857 года Полонский действительно находился в Риме. Между Марьей Федоровной и им шла в течение всего времени пребывания Полонского за границей оживленная переписка. Некоторые из писем поэта см. в «Голосе Минувшего», 1910, № 1–4. Письма Марьи Федоровны к нему находятся в архиве б. Пушкинского Дома (ИРЛИ).

135

Виленскому генерал-губернатору.

136

Из столкновения мнении рождается истина.

137

Под стать.

138

Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты.

139

Суббота 11 января 1858 г. заметно отличается от обычных штакеншнейдеровских суббот: не литературные интересы, а политика и текущие события поглощают внимание гостей.

И автор дневника так взволнована тем, что услышала, что против обыкновения не указывает, кто был на субботе, не указано, кто читал речи, произнесенные на московском обеде. Узнаем только, что был И. К. Гебгардт и, вероятно, по обыкновению ораторствовал. Из известных лиц наиболее частыми посетителями суббот были Лавров, Курочкины, Бенедиктов. Может быть, был М. И. Семевский, только что перед тем на предыдущей «бальной» субботе 4 января появившийся в доме Штакеншнейдеров.

Произнесены они были на обеде, отчет о котором дан был М. Катковым в «Современной Летописи «Русского Вестника», 1857, т. XII, стр. 203–212.

Обед был дан 28 декабря в Купеческом собрании. Участвовало около 180 человек Выступали с речами М. Н. Катков, А. В. Станкевич, Н. Ф. Павлов, М. П. Погодин, И. К. Бабст, К. Д. Кавелин, В. А. Кокорев. Обед этот, явившийся выражением чувств и надежд либералкой группы сторонников ликвидации крепостных отношений, привлек к себе общее внимание. Речи ораторов единодушно восхваляли Александра II и его «великодушный призыв к дворянству».

141

В № 5 «Колокола» помещена была заметка «Убийство и покровительство разврата», в котором сообщалась трагическая история некой Янсон; какой-то офицер обольстил девятнадцатилетнюю лифляндку Янсон, привез ее в Москву и бросил. Она очутилась в доме терпимости, откуда старалась выбраться. Так как все ее просьбы содержательнице дома оставались тщетными, Янсон подала прошение обер-полицмейстеру. В ответ на это она была арестована и посажена сначала в секретную сибирку при Рогожской части, а потом переведена была в Смирительный дом. Она обвинялась в неповиновении содержательнице дома и в отказе выходить в залу к посетителям заведения. Сестра Янсон обратилась к прокурору. Дело дошло до Совестного суда. Полиция продолжала тормозить дело. «Мещанка Янсон» на суд явиться не могла, так как оказалась в больнице. «Совестный суд, узнав, что к скорому выздоровлению Янсон нет надежды… отправился *присутствием* в Смирительный дом. Они застали девицу Янсон едва живую… Она едва могла говорить, и говоря задыхалась, она была так замучена, что когда вошли члены Совестного суда, ее едва могли уверить, что к ней пришли не о тем, чтобы мучить ее, а с искренним желанием добра. Можно по этому судить, что делали с ней в части». Совестный суд постановил: «Мещанку Янсон, как заключенную в Смирительный дом за поступок, не только не заслуживающий наказания, а, напротив требующий поощрения, немедленно из Смирительного дома освободить». Решение это состоялось 24 июля, но не могло быть приведено в исполнение, так как Янсон продолжала болеть и 17 августа умерла от чахотки. Совестный суд хотел привлечь к ответственности виновников, но губернатор Закревский не дал хода этому делу, и все ограничилось административным замечанием полицмейстеру, а остальные остались безнаказанными.

142

Выдающийся человек.

143

«Фабиолл, или Римские катакомбы», кардинала Виземана.

Т. е. с восстания декабристов 1825 года.

145

16 января откупщик Кокорев дал у себя обед. За столом было более 150 человек. Говорили речи по поводу предстоящей реформы — падения крепостного права — Самарин, Кошелев и сам Кокорев, который предложил устроить более многолюдный обед 19 февраля («Если каждый из нас, — говорил Кокорев, — пригласит своих близких и знакомых, то на праздник соберется тысяча и более человек»). Тут же была открыта подписка на этот новый банкет. Но генерал-губернатор Москвы А. Закревский нашел это несвоевременным и доносил шефу жандармов про Кокорева: «Как купец и откупщик, он не принадлежит к сословию, которое, по высочайшей воле, решает теперь вопрос об уничтожении крепостного права… В настоящее время нужны… зрело обдуманные проекты, а не… западные митинги, развивающие демократические идеи, и не застольные речи честолюбивого купца, который, делая себя адвокатом близкому ему по крови крепостного сословия, хочет… стать во главе народа».

Банкет предполагался в Большом театре и Кокоревым была уже выработана программа празднества, но по высочайшему повелению банкет этот был запрещен (см. А. Попельницкого «Запрещенный по высоч. повелению банкет в Москве 19 февраля 1858 г.», «Голос Минувшего», 1914, № 2).

146

Пьеса Н. М. Львова «Свет не без добрых людей» не «драма», а «комедия». О ней неделя за три до записи Штакеншнейдер Никитенко занес в свой «Дневник» (16 и 17 января 1858 г.): «Ее запретили в Москве, и здесь велено давать реже. Власти осыпают автора похвалами, а между тем произведение его гонится со сцены… Одни восхищаются, а другие возмущаются больше всего словами: «Правдою нельзя нажиться на службе…» Некоторые места производят сильное впечатление. В ней (пьесе) много современной истины, и это главная причина ее успеха».

Журнальные отзывы о комедии см. Чернышевский, Полное собрание сочинений, т. III, стр. 157–158; «Библиотека для чтения», 1857, № 7; «Спб — Ведомости», 1857, № 111, и др.

При представлении два артиста (Каратыгин и Зуброва) загримировались двумя довольно известными в то время министерскими чиновниками. «Самойлов вышел похожим, как две капли воды, на директора департамента одного из министерств Ф-ва… Сильное впечатление произведенное новою комедиею, повредило автору: после 24-го представления ее внезапно сняли с репертуара; в высших административных сферах нашли что не годится выставлять на позор важных должностных лиц» (Вольф, II, стр. 14).

Две его новые комедии — «Предупрежденье» и «Компания на акциях» — оказались ниже всякой критики. После того Львов принялся за издание юмористической газетки «Весельчак» и затем, отказавшись от литературы принялся опять за службу. Он окончил жизнь… в сумасшедшем доме.

Они потом бывали и у нас.

Тоже бывала у нас, и подарила свои сочинения.

149

Розенгейм.

150

Эта картина заказана, в память гибели фрегата «Лефорт», в кронштадтскую церковь.

151

Художник.

Про фокусы его, по словам Штакеншнейдер, рассказывали чудеса. В прессе того времени можно найти описание некоторых его «чудес». Особенный успех имел сеанс его 24 февраля в Английском клубе, после чего о Кастоне заговорили еще больше. Об этом сеансе появилась в самой распространенной газете, «Северная Пчела», статейка Греча. «Кастон с завязанными глазами предлагает написать на бумажке какие-либо исторические даты из мировой истории и безошибочно называл год и происшедшее в этом году событие». Другие рассказывали о нем еще более невероятные вещи. Открывали книгу на незнакомом ему языке, и он с завязанными глазами прочитывал всю страницу. «Когда виконт в двенадцатом часу ночи, — замечает Греч, — снял повязку с глаз, его лицо были покрыто потом, он был бледен, утомлен до крайности и еле держался на ногах». «Петербург совершенно увлечен Кастоном, — читаем в «Современнике» (1858. № 3, «Петербургская жизнь», стр. 88–90). — Он один из самых… утонченных фокусников. Такого мы еще на своем веку не видали…» Нет никакого сомнения, что в вышеприведенных опытах мы видим не просто «фокусничество», а явления, относящиеся к области гипноза и телепатии, но в то время это еще считалось только фокусами, да и сам Кастой ограничивался только фокусами. Так было, очевидно, в доме Штакеншнейдеров 4 марта 1858 г., когда присутствующих постигло разочарование.

153

Не Льговский, а Льховский, Иван Иваныч (1829–1867), малоизвестный литератор, не упомянутый ни в одном из «Словарей» Венгерова, университетский товарищ Владимира Николаевича Майкова, был свой человек в семье Майковых и близок к Гончарову. В 1857 году служил в Сенате и в то же время сотрудничал в «Библиотеке для чтения», вел критический отдел. Во вторую половину 1858 года Льховский отправился в кругосветное плавание для описания путешествия. В Кокореве Е. Штакеншнейдер видела человека не только слова, но и дела, и потому была на его стороне в споре с Льховским.

154

Статья, которую читал Лавров, носит заглавие «Женский Труд» и написана была женой издателя «Экономического Указателя» Марьей Николаевной Вернадской. Об этой статье и ее авторе см. В. Стасов, «Н. В. Стасова», 1899, стр. 49–53.

155

«Потоп».

156

После смерти Беранже 16 июля 1857 г. переводы его стихотворений в большом количестве появились почти во всех журналах. Даже реакционнейший из поэтов Фет перевел его последние стихотворения. В доме Лавровых читалось еще непереведенное стихотворение «Le Deluge» («Поток»), одно из самых революционных. Здесь говорится о грядущей революции, которая смоет всех царей, царьков и султанов.

Каждая строфа заканчивается в переводе Д. Усова восклицанием: «Властители! Поглотит вас поток!»

157

Петр Федорович Брок (1806–1875) был министром финансов с 1853 года. Дефицит государственной казны достиг при нем грандиозных размеров: сумма недоборов к 1857 году составила 773 миллиона, что почти в три раза превышало тогдашний годовой государственный доход. Брок лечил бюджет громадными выпусками кредитных билетов, что, конечно, ничуть не улучшало положения народного хозяйства. 23 марта 1858 г. Брок был уволен от должности министра финансов. Заместитель его, Александр Максимович Княжевич (1792–1872), имел большой служебный опыт по сорокалетней службе своей в министерстве финансов, не раз оспаривал мнения малосведущего Брока и, как оппозиция ему, встречен был на первых порах сочувственно либеральными кругами общества. Но роль министра финансов в годы ликвидации крепостного права оказалась ему не по плечу. В январе 1862 года он был уволен от должности министра. При Княжевиче был закрыт Заемный банк, где служил «дедушка» Холчинский.

158

Авраам Сергеевич Норов (1795–1869), писатель и библиофил, был в 1850–1854 гг. товарищем министра народного просвещения, а с 1854 по 1858 год министром. Неистовства цензуры достигли при нем крайних пределов. На место Норова министром был назначен Евграф Петрович Ковалевский (1790–1867), управление которого (по 1861) отличалось сравнительной мягкостью.

Поэт Петр Андреевич Вяземский (1792–1877) был товарищем министра народного просвещения с 1855 по 1858 год, в эпоху так называемого «цензурного террора».

В № 5 «Колокола» к Вяземскому применены были его собственные строки из популярного стихотворения «Русский бог»: «Бар, служащих как лакеи, вот он, вот он, русский бог!»

159

«Сборник лучших произведений русской поэзии», издание Николая Щербины, Спб. 1858, XXIX, 466. В предисловии составитель говорит, что «имел цель выдать в свет антологию собственно только *для нашего времени* (курсив Щербины), сборник, составленный по преимуществу из лирических стихотворений». В антологию вошли произведения шестидесяти четырех поэтов и ряд «русских народных песен». Из XVIII века и Пушкинской эпохи представлены только четырнадцать поэтов, остальные пятьдесят — современники. Новое расположение материала: отступая от традиций антологий первой половины века (например «Собрание русских стихотворений», изданное Жуковским, и т.д.», где материал распределялся по литературным видам; Щербина вводит расположение материала по авторам, — порядок, принятый большинством составителей последующих антологий.

Характерно, что из Некрасова, «Стихотворения» которого вышли в 1856 году и имели исключительный успех, Щербина взял только две вещи: «Праздник жизни — молодости годы» и «Муза» (Нет музы, ласково поющей); из Н. Берга взято семь стихотворений, а из Лермонтова только шесть Есть перевод из Беранже Ленского, но Курочкин, наиболее прославленный из переводчиков этого французского поэта, совсем не представлен. Отсутствует и М. Михайлов. Во всем этом сказывается враждебность составителя к разночинной литературе.

161

Алексей Яковлевич Мейснер (1807–1882), поэт, ровесник и близкий друг Бенедиктова. По-видимому (см. «Послание» к нему Бенедиктова), учились они вместе в Петербургском кадетском корпусе. Потом он много разъезжал по России. Стихотворения его 30-х годов помечаюсь городами Пятигорск, Вязьма, Киев, Симферополь и рядом уездных городов Московской губернии: Верея, Подольск, Коломна, Серпухов. Вслед за Бенедиктовым, выпустившим свой первый сборник стихов в 1835 году, Мейснер издает и свои «Стихотворения» (М. 1836), встреченные критикой с некоторым сочувствием. Позднее много переводил из Гейне. Перед смертью издал «Стихотворения Гейне в переводе Мейснера» (1882).

162

Филиппов тоже получил большую золотую, а также и Бочаров.

163

В «Библиотеке для чтения», 1857, т. 143, стр. 45–74, в отделе «Критика» помещен подробный и жестокий разбор вышедших в этом же году «Стихотворений Н. Щербины». Подпись — И.Л. Дневник Е. Штакеншнейдер раскрывает нам эти инициалы: И. Льховский.

«История Жирондистов».

165

К «любимым дамам» Штакеншнейдер надо отнести названную «тетеньку» Ливотову, ее родственницу по мужу Лизу Шульц и обеих Майковых: Евгению Петровну и Екатерину Павловну.

Об этом обеде 12 апреля 1858 г. имеется много материала в литературе о Шевченко, самое ценное — запись в дневнике самого поэта. «С выставки пошли мы на званый обед к графине Н. И., данный ею своим близким многочисленным приятелям по случаю моего возвращения. За обедом граф Ф. П. сказал коротенькое слово в честь милостивого царя. А в честь моего невольного долготерпения сказал почти либеральное слово Николай Дмитриевич Старов. Потом Щербина, а в заключение сама графиня Н. И.».

Запись в дневнике Е. Штакеншнейдер дает еще одну иллюстрацию к истории соперничества двух литературных домов — Толстых и Штакеншнейдеров. На этом обеде Штакеншнейдеры не были, и автор дневника сообщает об обеде не как очевидец. Шевченко в их доме не бывал, и Елена Андреевна отмечает мимоходом, что видела его на выставке.

С другой стороны, Бенедиктов, заявивший себя в этой борьбе Монтекки и Капулетти «капулеттистом», т. е. приверженцем Штакеншнейдеров на обед не пошел. Личные отношения его с Шевченкой были вполне хорошие. Незадолго перед этим (3 апреля) Шевченко заходил к Бенедиктову, встречен им был «непритворно радостно», и восхищался бенедиктовским переводом «Собачьего Пира» (из Барбье); 18 апреля Шевченко встретился с Бенедиктовым в гостях у одной певицы, и т. д. За полгода до этого (2 сентября 1857 г.) Шевченко восхищался новыми стихами Бенедиктова, радуясь его перерождению из «певца кудрей» в серьезного поэта. (См. «Журнал» Шевченко. Твори Т. Шевченка, т. IV, Киев, 1927.)

«Панш» — английский сатирический журнал.

168

Из стихотворения «Весна», 1853. Цитируемые строки являются первой строфой из четырех по изданию «Стихотворений Полонского» 1855 года (стр. 43–44); в полных собраниях стихотворений 1885 и 1893 гг. одна из строф выпала.

169

Несколько писем Полонского из переписки с Марьей Федоровной Штакеншнейдер 1857–1858 гг. напечатаны в «Голосе Минувшего» 1919, № 1–4, стр. 122–130.

170

Летом 1858 года М. Михайлов уехал в Париж, где его ждали Н. В. и Л. П. Шелгуновы.

В «Русском Слове» за 1859 год Михайлов является одним из самых деятельных сотрудников. Фамилия же Старова ни разу не встречается.

171

В июльской книжке «Русского Слова», 1859, напечатана была большая статья П. Лаврова «Современные германские теисты». Не только «Дзяды» Мицкевича в переводе Бенедиктова, но и вообще Бенедиктов в «Русском Слове» за 1859 год ни разу не появлялся. Причиной тому было, вероятно, недоразумение между редакцией журнала и поэтом. Граф Кушелев, по предложению Полонского, согласился выдать Бенедиктову аванс, но в списке сотрудников, посланном им петербургской конторе, по забывчивости не включил его, что, очевидно, было болезненно воспринято Бенедиктовым.

172

Николай Курочкин уехал в Одессу, где получил место врача при Обществе пароходства и торговли. В начале 1860 года Н. С. Курочкин был приглашен братом своим, Василием Степановичем, редактировать совместно «Искру».

173

Я пою, как птица.

«Моя биография».

«Студентам».

176

В собраниях сочинений Беранже такой песни нет, но под этим заглавием в альбоме принадлежавшем Лаврову, могла находиться революционная песня «Le chant des ètudients» менее известного поэта Пьера Дюпона, которая, как это часто бывает, приписывалась более известному — Беранже. Пьер Дюпон (1821–1870), преемник Беранже, был популярен в 40-х годах, а к концу 50-х был полузабыт. В «Избранные песни Дюпона», перевод С. Заяицкого и Л. Остроумова, М. 1923, данная песня не вошла.

177

Здесь ошибка в заглавии. «Сон Обломова. Эпизод из романа» закончен был десятью годами раньше и напечатан был в 1849 году в «Иллюстрированном Альманахе», изданном Некрасовым. Заглавие эпизода легко было принять ошибочно за заглавие всего не написанного тогда еще романа (т. е. эпизод из романа «Сон Обломова»), что и случилось с Штакеншнейдер. Весь роман «Обломов» закончен был в 1858 году и еще в августе 1857 года в Париже прочтен был автором Тургеневу, Боткину и Фету. По возвращении в Петербург Гончаров несколько раз читал свой роман в кругу друзей и литераторов. Так, 10 сентября 1858 г. он пригласил к себе с этой целью Краевского, который покупал этот роман для «Отечественных Записок», Дудышкина, Никитенко и Владимира Майкова. Появился роман в «Отечественных Записках» в 1859 году, № 1–4. Записанный в дневнике от 18 мая факт, что Гончаров «читал его некоторым друзьям», сообщен был Майковыми при посещении их в Лигове 18 же мая или самим Гончаровым при присылке «Фрегата Паллады».

178

С тех пор, как П. Н. Сакулин опубликовал письма Гончарова к Елизавете Васильевне Толстой («Голос Минувшего», 1913, №11), утвердилось мнение, что эта корреспондентка послужила Гончарову прототипом Ольги Ильинской в «Обломове». Мнение это, высказанное у Сакулина осторожно и предположительно, превратилось у других в неопровержимую аксиому. «Разница в ситуации лиц и в ходе романа — очевидна. Ольге 20–21 год, а не 28–30, как Елизавете Васильевне; Ольга любит Обломова первой любовью… Толстая ограничивается дружбой к Гончарову и т. д.» «Но для нашей цели, — говорит Сакулин, — важны моменты не различия, а сходства, и сравнению, главным образом, подлежат герои. Гончарову пришлось быть не раз на амплуа и Штольца и Обломова…» и тем не менее «между Елизаветой Васильевной и Ольгой в понимании их Гончаровым столько общего, что мы *готовы даже* Е. В. Толстую назвать прототипом Ольги Ильинской» («Голос Минувшего», 1913, № 11, стр. 57 и 61). Это мнение Сакулина Иванов-Разумник в комментарии к изданию «Обломова» 1928 года превращает в «неоспоримый вывод, что между Елизаветой Толстой и Ольгой Ильинской романа можно поставить знак равенства». Данные, которые дает дневник Е. Штакеншнейдер, пробивают брешь в этой неоспоримости. Приходится вернуться к констатированию очень большого сходства, отказавшись от знака равенства, и признать, что оригиналом для Ольги Ильинской была не одна Толстая. Устраняются некоторые недоразумения, смущавшие Сакулина, например с возрастом: Штольц воспринимает Ольгу как ребенка, что мало соединимо с девушкой под тридцать, какою была Толстая. Екатерине Павловне Майковой, урожденной Калита, в 1857 году, когда создавался тип Ольги, был двадцать один год. Гончаров, для которого Майковы были самой близкой семьей, виделся с нею постоянно, начиная с возвращения из морского плавания. И, по записи дневника Штакеншнейдер (от 9 апреля 1858 г.), был от нее «без ума».

Состояла она в это время из родителей, Николая Аполлоновича (род. в 1796) и Евгении Петровны (род. в 1803), и сыновей Аполлона (род. в 1832), Владимира (род. в 1826) и Леонида (род. в 1839). И Аполлон и Владимир были женаты и имели детей. Интересы к живописи и литературе процветали в этой семье. Отец был талантливый художником, мать в 40-х годах печатала в «Библиотеке для чтения» стихи; в 1858 году в журнале «Семейный круг» — «Рассказ из частной жизни женщины»; Аполлон Николаевич имел способности к живописи, но слабость зрения принудила его ограничиться поэзией; Владимир и девятнадцатилетний Леонид, впоследствии историк литературы и академик, редактировали в 1858 году детский журнал «Подснежник». Жена Владимира, родившаяся в 1836 году и, следовательно, ровесница Штакеншнейдер, печаталась в детских журналах (например в «Семейных Вечерах» за 1864 год, редактируемых ее мужем). Штакеншнейдер, предполагавшая найти свой идеал женщины в Шелгуновой и тотчас же в ней разочаровавшаяся, через два года находит его в умной семьянинке Екатерине Павловне Майковой, которая нашла свое отражение и в творчестве симпатизировавшего ей Гончарова.

180

О преподавании Гончарова наследнику опубликовано пока очень мало данных. Комментируя письмо Гончарова от 30 мая 1868 г. к Стасюлевичу, бывшему более долгое время преподавателем наследника, Лемке говорит: «Мне нигде не удалось найти никаких точных сведений о занятиях Гончарова с наследником» («Стасюлевич и его современники», 1912, т. IV, стр. 10).

Еще менее известен эпизод о приглашении А. Майкова на эту же роль преподавателя.

181

В первой эпиграмме на Майкова Щербина осмеивает два его патриотических стихотворения: «Арлекин» и «Коляска». Упоминаемый в эпиграмме Дубельт, Леонтий Васильевич, — жандарм, управляющий III Отделением при Николае I.

182

В эпиграммах Щербины «Ты гимны воспевал откинутой коляске» и «Льстивый раб, царем забытый» встречаем такие строчки: «Скажи, — подлец ли ты иль скорбен головою..» и «Пиит он даровитый, но бездарный он подлец».

183

На Петергофской дороге.

184

Интересную параллель к записи Е. А. Штакеншнейдер, подробный рассказ о впечатлении, произведенном картиною Иванова, дают «Воспоминания» Е. Ф. Юнге (стр. 177–191).

185

Григорович и Майков выехали из Кронштадта 5 августа: Григорович на корабле «Ретвизан» в Средиземное море, Майков на фрегате «Баян» в Грецию. Панаев, выехавший в Кронштадт проводить их, отмечает необычайную живость Григоровича: «Григорович завидел меня еще издали. Когда моя колыхающаяся лодочка подплыла к трапу громадного корабля, он спустился ко мне с ловкостью и быстротою, достойною опытного матроса, и с такою же ловкостью и быстротою поднялся наверх» («Современник», 1858, № 9, «Заметки нового поэта», стр. 109).

Ныне Новосельской.

187

Негодование возбуждал он как цензор, в каковой должности был четыре года (от 19 февраля 1856 до 1 февраля 1860 г.). Проведен он был в цензора усилиями Никитенко, который надеялся добиться смягчения цензуры. Гончаров помогал товарищу министра народного просвещения поэту П. А. Вяземскому в составления записки об этом смягчении. Но записка не достигла цели. Гончаров оказался в фальшивом положении по отношению к своим собратьям-литераторам. Жаловались, что в отличие от Никитенко он даже не принимает редакторов для объяснений. Примеры недовольства его цензорской деятельности: эпиграмма Щербины, статья в «Колоколе», пренебрежительные отзывы в письмах и т. п.

188

Один из популярнейших романов Дюма — «Три мушкетера». О пребывании Дюма в Петербурге в 1858 году см. «Воспоминания» Григоровича, «Воспоминания» А. Панаевой в фельетоне «Нового поэта» (Панаева), в «Современнике» за 1858 год и т. д. Склонение слова «Дюма» встречаем и у Бенедиктова: «Видели ли вы этого «Дюму»?» — пишет он Елене Андреевне 21 июля 1858 г. из-за границы.

189

Стихотворение «Тишина» появилось в «Современнике», 1857, № 9, стр. 115–122, и состояло из пяти глав, но потом четвертая была опущена совсем, а в текст других Некрасовым впоследствии были внесены изменения. В первоначальной редакции, особенно в четвертой главе, были строки о «божьей благодати», о награде молящимся за «благодушного царя» и т. д. Эти строки вызвали недовольство передовых кругов.

190

Монферан, соорудивший Александровскую колонну и Исаакиевский собор, заболел в день освящения собора и умер 28 июня, семидесяти четырех лет от роду. На похоронах его, до словам «Современника», «присутствовали некоторые из русских литераторов и художников, французские артисты и артистки — и во главе их Александр Дюма» («Современник», 1855, № 8, «Петербургская жизнь», стр. 258).

Оба поэта в это время находились за границей. Полонский прислал письмо из Парижа, Бенедиктов из Эмса. Первый переписывался главным образом с Марьей Федоровной, второй с Еленой Андреевной. «Длинного письма в стихах», о котором говорит запись дневника, нам видеть не удалось, но в следующем своем письме, прозаическом, от 21 июля, Бенедиктов свое предыдущее послание называет «стихотворной болтовней», сообщая, что кроме этой «болтовни в стихах» и еще одних «альбомных стишков» — он ничего здесь, в Эмсе, не написал стихотворного. О предстоящей свадьбе Полонского Бенедиктов узнал только из письма Елены Андреевны.

Полонский так объяснял Л. П. Шелгуновой, почему он принял предложение графа Кушелева быть редактором его журнала: «Благодарю за совет принять предложение Кушелева, я принял ею не потому, что тянет в литературную журнальную кабалу, а принял потому, что нельзя было не принять. У меня оставалось в кармане несколько франков, и за последним из них уже зияла черная бездна» (Письмо из Рима от 10 марта 1858 г.).

193

Егор Моллер в этот год вел хронику в «Библиотеке для чтения» и подбирал сотрудников для предполагаемого журнала Кушелева. В следующем, 1859 году он в журнале «Русское Слово» вел хронику «Общественная жизнь в Петербурге», где особенно много внимания уделял театру. В письме из Рима от 10 марта 1858 г. к Л. П. Шелгуновой Полонский жаловался, что Моллер набрал таких сотрудников для «Русского Слова», которые должны погубить все дело.

Ну, да, я люблю старого Христа.

195

Ах, как это прекрасно!

Нога так и не зажила, и всю остальную жизнь, т. е. почти сорок лет, Полонский проходил то на одном, то на двух костылях. Ему это было особенно тяжело, потому что он вообще отличался большой охотой к передвижению и до этого считался хорошим ходоком.

197

Не везет тебе, бедный Жак!

бедный Жак.

199

Цитата из «Демона» Лермонтова.

200

Стихотворение Жуковского, проповедующее необходимость покорности провидению.

201

Известный писатель, Всеволод.

202

Студент, репетитор младших братьев Е. А. Штакеншнейдер.

203

Примадонна Итальянской оперы Анжиолика Бозио появилась в Петербурге в сезон 1855–1856 года, имела исключительный успех, но 21 февраля 1859 г. умерла, не достигнув и тридцати дет (родилась в 1829). При ее погребении гроб вынесли из церкви студенты (см. «Театральный и музыкальный вестник», 1859, № 14).

204

Критика Аполлона Григорьева, которого в это время семья Штакеншнейдеров подозревала в кознях против Полонского. Об отношениях между Полонским, Григорьевым, Хмельницким и издателем «Русского Слова» Кушелевым-Безбородко см. «Звенья», I, 1932, стр. 296–344.

Кушелев-Безбородко, издатель «Русского Слова».

206

Имеется в виду стихотворение Бенедиктова 30-х годов «Кудри», приобретшее быструю популярность и вызвавшее ряд подражаний и пародий.

Кудри девы-чародейки,
Кудри — блеск и аромат,
Кудри — кольца, струйки, змейки,
Кудри — шелковый каскад
и т. д.

207

В дневнике Штакеншнейдер поэт Бенедиктов выступает неожиданно в совершенно новом свете. По мнению автора дневника, учение Фурье и Сен-Симона он знает не хуже Лаврова, не уступает ему и мыслительною способностью и приходит к одинаковым с ним выводам. К сожалению, Е. А. Штакеншнейдер нигде не приводит суждений Бенедиктова, которые бы характеризовали его «мыслительную способность».

Он сходился с семьей своей.

209

Стихотворение «Наяды» принадлежит к тем произведениям, которые демократическая критика 60-х годов относила к «чистому искусству». Выбор Полонским «Наяд» для чтения на вечере объясняется, вероятно, отзывом об этом стихотворении Тургенева, который писал Полонскому 24 декабря 1856 г. («Первое собрание писем И. С. Тургенева», стр. 38) «Помните ли вы, любезнейший Полонский, вы мне говаривали, что желали бы написать стихотворение, которое совершенно бы меня удовлетворило? Вы можете теперь быть довольны: я от ваших «Наяд» пришел в восторг. Это вещь великолепная». Выбор другого стихотворения, «Иная зима», объясняется соответствием его содержания подавленному настроению Полонского в связи с болезнью сына.

210

В стихотворении «Иная Зима» слово «няня» встречается дважды.

А няня старая уж ножки протянула
И спит себе в гробу.

И несколькими строчками ниже:

А сердце в эту ночь, как няня, к детской ласке
Неравнодушное, раздуло огонек.

211

Стихотворение Майкова «Приговор» имеет подзаголовок «Легенда о Констанцском соборе» и начинается строками

На соборе на Констанцском.
Богословы заседали;
Осудив Иоанна Гуса,
Казнь ему изобретали.

Слово «свобода» встречается при описании впечатления, произведенного пением соловья, в следующем контексте:

Словом — всем пришли на память
Золотые сердца годы,
Золотые грезы счастья,
Золотые дни свободы.

Не удивительно, что наибольший успех у публики имели на этом вечере Тургенев и Бенедиктов. Уже самое появление Тургенева на эстраде, еще до его чтения, вызвало шумные овации. Публика чествовала своего любимого автора независимо от вещи, которую он читал. Наоборот, Бенедиктов необычным успехом своим в этот вечер обязан был прочитанным им стихам, которые произвели настоящий фурор, и не мудрено: из всей программы вечера два его стихотворения оказались наиболее актуальными и соответствующими моменту. Оба стихотворения дышат бодростью и говорят о борьбе нового со старым, светлых начал с темными. В стихотворении «Борьба» есть две строчки, ставшие популярным афоризмом:

Всегда прошедшее с грядущим
Вело тяжелый, трудный спор…

Бенедиктов говорит далее:

Пусть тот скорей оставит свет,
Кого пугает все, что ново,
Кому не в радость, не в привет—
Живая мысль, живое слово, —
Умри, в ком будущего нет!

И еще:

Порой, средь общего движенья,
Все смутно, сбивчиво, темно,
Но не от мутного ль броженья
Творится светлое вино?

213

В № 1 «Современника» за 1860 год напечатана статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» и оба стихотворения. Бенедиктова.

214

Е. А. Штакеншнейдер, как видим, знала, в чем дело. «Филантроп» был заменен другими стихотворениями потому, что кн. В. Ф. Одоевский сообщил Некрасову о слухах, будто «Филантроп» направлен непосредственно против него, бывшего тогда председателем «Общества поощрения бедным». В самый день литературного вечера (10 января) Некрасов послал Одоевскому ответ с опровержением этих слухов, указав при этом, что в стихотворении есть намек на В. И. Даля (Некрасов, Собрание сочинений, 1930, т. VI, Письма, стр. 347–349). Поводом относить «Филантропа» к кн. Одоевскому было, по указанию Некрасова, только одно слово «сиятельный», бывшее в первоначальной редакции и потом выброшенное. В действительности однако, как доказывает К. И. Чуковский («Сочинения Некрасова», 1928, стр. 561), «в лице «Филантропа» Некрасов изобразил Одоевского». Указание Н. Яковлева («Некрасов по материалам Пушкинского дома», 1922, стр. 116), что, несмотря на обещание, данное Одоевскому, Некрасов на вечере прочел все-таки «Филантропа», не соответствует действительности, что явствует из дневника Штакеншнейдер.

215

Первая строка из стихотворения Полонского «Для немногих», не вошедшего ни в десятитомное «Полное собрание сочинений» (1885–1886 гг.), ни в пятитомное «Полное собрание стихотворений» (1896 г.). Из более ранних собраний стихов Полонский включил это стихотворение только в одно, а именно в иллюстрированное издание: «Кузнечик-музыкант. Шутка в виде поэмы с добавлением стихотворений за последние годы», Спб. 1863 (стр. 49–50). Каждая строфа — всего их шесть — оканчивается стихом: «И для не многих я поэт», с легким видоизменением в двух последних («Я для не многих был поэт»). Приводим две первые строфы:

Мне не дал бог бича сатиры,
Моя душевная гроза
Едва слышна в аккордах лиры;
Едва видна моя слеза.
Ко мне виденья прилетают,
Мне звезды шлют немой привет, —
И мне не многие внимают,
И для не многих я поэт.

Я не взываю к дальним братьям:
Стихи мои — для их оков
Подобны трепетным объятьям,
Простертым в воздух. — Вещих слов
Моих не слушают народы;
В моей душе проклятий нет, —
Но в ней журчит родник свободы,
И для не многих я поэт.

216

В «Русском Вестнике» (№ 7 за 1901 год) где напечатаны были отрывки «Из записок Штакеншнейдер», рассказ об этом диспуте датирован: «28 февраля», что создает представление, будто диспут происходил 27 февраля. В «Воспоминаниях» Юнге, которая сама присутствовала на диспуте, находим другую дату — 19 февраля; наконец, по дневнику другого очевидна, проф. Никитенко, выходит, что происходило это 26 марта. Все эти даты неверны: диспут происходил вечером 19 марта. У Юнге мы это объясняем ошибкой памяти на месяц (число дано верное), в дневниках же Штакеншнейдер и Никитенко — редакторским недосмотром. Большая часть записи 20 марта в «Русском Вестнике» по небрежности была присоединена к предыдущей записи — 28 февраля.

Литература об этом диспуте довольно обширна. Очевидцами были и Л. Пантелеев, тогда еще студент (см. его «Из воспоминаний прошлого», I, стр. 164–165), и Добролюбов, описавший этот диспут в юмористической форме в прозе и в стихах в «Свистке», №№ 4 и 6 (перепечатывается в собраниях его сочинений).

Костомаров не встречается среди посетителей суббот Штакеншнейдеров; наоборот, в доме Толстых он был «свой человек» и по отношению к Екатерине Толстой (впоследствии Юнге) играл почти такую же роль старшего друга и руководителя, как Петр Лавров по отношению к Елене Штакеншнейдер.

Майкова, мать поэта.

218

Перевод Коли «О размножении рыб».

219

Речь идет, вероятно, о тех стихах, которые в это время Полонский подготовлял к печати. В 1859 году вышла книга «Стихотворения Я. П. Полонского Дополнение к стих., изданным в 1855 г.», куда вошло тридцать пять вещей, в том числе и «Молитва» («Отче наш! сына молению внемли!»), обратившая на себя цензорское внимание Гончарова. В последних двух строфах (в издании 1859 года) встречаем строки: «Более, спаси ты от всяких цепей» и «Жизнь разбуди на святую борьбу». Слова «цепи» и «борьба» всегда заставляли цензуру настораживаться.

Фаддей — Булгарин, новый поэт — Панаев.

221

Отец Е. А. Штакеншнейдер подарил ей к именинам дорогие часы, но она вернула их назад, находя, что при их стесненном положении такой подарок ей не к лицу.

222

Не везет тебе, бедный Жак!

223

Стихотворения Полонского «Безумие горя» и «Последний вздох» посвящены памяти его жены. Первое из них начинается следующими строками:

Когда, держась за ручку гроба,
Мой друг! в могилу я тебя сопровождал —
Я думал: умерли мы оба,
И как безумный — не рыдал.
И представлялось мне два гроба:
Один был твой — он был уютно мал,
И я его с тупым бессмысленным вниманьем
В сырую землю опускал;
Другой был мой, — он был просторен,
Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел,
И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха
Роскошно золоченая, горел.

224

1860 год был самым горячим временем в жизни воскресных школ в Петербурге, которые возникали одна за другой в разных частях города. К 1 января 1861 г. их было открыто до двадцати (двенадцать мужских, шесть женских, две смешанных). Основными принципами были «бесплатное обучение, бесплатность преподавательского труда, одинаковые права всех учащих». Организационная и преподавательская работа в этих школах стала одним из увлечений либеральной и радикальной общественности, особенно студенческой молодежи. Вокруг воскресных школ загорелась в журналах ожесточенная полемика. Главным противником их явился Аскоченский, заявлявший в своей «Домашней Беседе», что если учащимся восемнадцатилетним парням не внушается, что всякое дело надо начинать с благословения божьего и что первая обязанность их — неукоснительно выстаивать обедни и всенощные, то такие воскресные школы не нужны. «Домашняя Беседа» возмущалась тем, что в одной воскресной школе преподаватель знакомит учеников с современной литературой, читал им «Обломова» и т. д. и что «обнаруживаются даже случаи непочтительного отношения к священническому сану». Реакционному журналу ядовито отвечали «Отечественные Записки», «Рассвет» и другие, доказывая пользу воскресных школ. Увлечению воскресными школами отдали дань и некоторые будущие революционеры. В следующем году началось гонение на эти школы, и число их уменьшалось, а 13 июля 1862 г. они были по высочайшему повелению закрыты.

Хотя думается теперь, что Михайлова была много правее.

226

Школа устроилась без меня и шла очень хорошо несколько лет. *(Позднейшее примечание).*

227

Стихотворения под этим заглавием в собраниях сочинений Майкова не имеется.

Интерес к гипнотизму, френологии, спиритизму и т.д. был очень силен среди посетителей салонов Штакеншнейдеров и Толстых. Михайлов серьезно интересовался френологией, Полонский всю жизнь склонен был придавать спиритизму большое значение, Костомаров увлекался гипнотизмом.

229

Под заглавием «Три беседы о современном значении философии» Лавровым были прочитаны в здании Пассажа в пользу Литературного Фонда три лекции: 22 сентября «Что такое философия в знании?», 25-го — «Что такое философия в творчестве?» и 30-го — «Что такое философия в жизни?». Лекции эти потом появились в «Отечественных Записках», 1861, № 1, и вышли отдельным изданием.

Шпион, следивший за Лавровым, доносил своему начальству: «На публичных чтениях о философии Лавров позволял себе разные резкие выходки, направляемые против верховной власти и существующего порядка, что побуждало публику громко рукоплескать ему» («Материалы для биографии П. Лаврова», 1921, стр. 86) По свидетельству дневника Е. А. Штакеншнейдер, никаких резких выходок не было. Эти лекции положили начало популярности Лаврова, — до этих пор он был известен только в кругу своих знакомых и учеников. Некоторые профессора прочили Лаврова на кафедру философии в Петербургском университете, что вызвало протест со стороны умеренного либерала Никитенко («Дневник» Никитенко, запись 1 декабря 1860 г.).

230

Об этом же литературном вечере сохранилось и другое описание, более краткое и кое в чем расходящееся с рассказом Е. А. Штакеншнейдер. «Было литературное чтение в Пассаже, — писал Н. Обручев Добролюбову 11 декабри 1860 г., — с участием Достоевского, Бенедиктова, Майкова и Шевченко. Стихотворцев Бенедиктова и Майкова принимали с большими аплодисментами, по два раза заставляли читать стихи.

Шевченку же приняли с таким восторгом, какой бывает только в Итальянской опере. Шевченко не выдержал, прослезился и, чтобы оправиться, должен был уйти на несколько минут за кулисы» (В. Княжнин, «Добролюбовский Архив», «Заветы», 1913, кн. II, стр. 93–91). Обручев не был сам на вечере, и сведения его не точны: «Савонарола» Майкова и «А мы» Бенедиктова, по удостоверению Е. А. Штакеншнейдер, слушателям не понравились. Повторил свое стихотворение не Бенедиктов, а Полонский, о котором Обручев совсем умалчивает, но главное преимущество описания Е. А Штакеншнейдер в ярком, отчетливом и выпуклом изображении встречи публикой Шевченко. К сожалению, не сообщается, что он прочел. Л. Пантелеев припоминал, что это были «Гайдамаки» и «Думы мои, думы». Характерно указание, что Шевченко заходил в ложу Штакеншнейдеров. Но этим, вероятно, и ограничилось знакомство. На субботах у них он, очевидно, не бывал: иначе это нашло бы свое отражение в дневнике… Шевченко был все-таки ближе к Толстым, которые окружали его вниманием и заботливостью. С другой стороны, Е. А. Штакеншнейдер была обижена за Достоевского, которого тогда уже очень ценила. Стихотворение Полонского «К женщине», озаглавленное «Женщины» («Когда во мне душа кипела»), см. Полное собрание стихотворений Полонского, т. I, стр. 330; «Нищий» («Знавал я нищего, — как тень») — см. там же, стр. 179; стихотворение «А мы» Бенедиктова — см. Сочинения Бенедиктова, 1902, т. II, стр. 180–182.

«Дебет и кредит».

Данью уважения.

233

Е. А. Штакеншнейдер умерла в 1897 году, т. е. через 37 лет после того, как писала эти строки.

234

Известного гитариста и составителя словарей. *(Позднейшее примечание)*.

235

Это уже второй литературный вечер в пользу воскресных школ, который описывает Е. А. Штакеншнейдер. Обращает на себя внимание, что аудитория, как и на вечере 21 ноября, особенно чутко откликаясь на всякое общественно острое произведение, равнодушна к вещам, причисляемым к так называемому «искусству для искусства», Полонского вторично заставляют читать «Нищего»; из Майкова всего популярнее остается «Нива», благодаря своему концу (о повеявшей весне и новых свежих ростках), допускавшему толкование в желательном для аудитории смысле. Конечно, в стихотворении «Два Карлика» не одно только слово «деспот» вызвало рукоплескания, — Е. А. Штакеншнейдер здесь не права, — а смысл всего четверостишья о смехе, как могучем оружии в борьбе с деспотизмом.

Смех нам хартия! Захочет
Деспот сжать нас — смех уж тут,
Знак, два слова — и хохочет
Весь Неаполь, всякий люд!

«Не пропущенное цензурой стихотворение Бенедиктова «Воскресная Школа» (Сочинения Бенедиктова, 1902, т. II, стр. 213–215) является как бы откликом на ту полемику, которая возгорелась в журналах по поводу воскресных школ. Если «Домашняя Беседа» обвиняла организаторов этих школ в безнравственности и безбожии, Бенедиктов перебрасывал это обвинение обратно в сторону противников воскресных школ:

Кто не хочет, чтоб доступен
Свет тот был для всех людей,
Тот — недобрый муж, преступен
Он пред совестью своей,
И с ночным злодеем схожий,
Встав на брата своего,
Он срывает образ божий
Святотатственно с него.

«Гаваньские Чиновники» — единственное прозаическое произведение, прочитанное на вечере. Автор был представлен публике, но Е. А. Штакеншнейдер не называет его фамилии. Это был И. Генслер. «Гаваньские Чиновники» напечатаны были в «Библиотеке для чтения» (1860, т. 162) и имели несомненный успех. Повесть вошла в книгу И. Генслера «Юмористические Рассказы», 1814, и 2-е изд. 1872. Интересно, что не один Писемский знал это произведение наизусть. «От этой штуки, —

пишет драматург Турбин Островскому о «Гаваньских Чиновниках», — я, мой Ваня и Тарочка пришли в азарт и, кажется, выучили наизусть целые страницы» (см. «Неизданные письма к Островскому», изд. «Academia», 1932, стр. 572).

Противопоставление Лаврова Чернышевскому продиктовано классовыми предрассудками: Лавров — человек того же круга и воспитания, что и автор. Он домовладелец, как и Штакеншнейдеры; Чернышевский — разночинец. Кроме того Чернышевский полемизировал с Лавровым по философским вопросам и мог считаться противником его.

237

Шахматный клуб открылся в январе 1862 года и просуществовал полгода. В начале июня по распоряжению петербургского военного генерал-губернатора он был закрыт с мотивировкой, что в нем «происходят» и из него «распространяются… неосновательные суждения» о современных событиях (В. Богучарский. «Государственные преступления в России», т. I, стр. 113). Шахматный клуб был местом, где могли встречаться и обмениваться литературными и политическими новостями литераторы, близкие к общественным запросам того времени. Старшинами клуба были П. Лавров и Гр. З. Елисеев. Полицейские агенты в св их донесениях по начальству рисовали этот клуб революционным гнездом.

238

Прокламация «К молодому поколению», составленная Шелгуновым вместе с Михайловым, напечатанная за границей и привезенная Михайловым в Петербург в августе 1861 года.

239

Студенческие волнения в Петербургском университете 1861 года имеют громадное значение в истории студенческого движения, как первое открытое массовое выступление студенчества, вызвавшее сочувствие всей либерально настроенной части общества, перекинувшееся и на другие университеты, продолжавшееся несколько месяцев и повлекшее за собой закрытие Петербургского университета на продолжительное время, пересмотр допотопного устава 1835 года и замену его уставом 1864 года, который пытался остановить студенческое движение уже не военно-полицейскими мерами, а дарованием автономии профессорской корпорации.

Отдельные столкновения отдельных групп студентов с полицией и университетским начальством бывали и раньше, но все по частным поводам. Например, в конце 1856 года московские студенты «разнесли» полицейский участок Сретенской части и освободили арестованных товарищей, избитых полицией. Студенческие волнения в 1861 году надо считать первым большим подъемом всей студенческой массы. После этого волна движения спала вплоть до второй, еще более сильной волны 1869 года Причина этого первого могучего проявления общестуденческой солидарности в медовые месяцы «реформ», накануне и тотчас же за отменой крепостного права, заключалась в глубоком противоречии между экономической жизнью страны и самодержавным строем. Кризис крепостного хозяйства требовал реформ, реформы требовали образованных исполнителей, — пришлось двери университетов широко раскрыть разночинцам, но интересы мелкобуржуазной интеллигенции но мирились с полицейским строем. В Петербургском университете, где со смертью Николая исчезла и ограничительная норма в триста студентов, в 1851 году было, уже до полутора тысяч слушателей. Явочным порядком они завели у себя кассу взаимопомощи, собственную студенческую библиотеку, некоторый вид самоуправления. Либерально настроенный министр просвещения Ковалевский не ставил этому препятствий, а, когда правительство стало натягивать вожжи, в марте 1861 года вышел в отставку. Весною особая комиссия выработала новые правила для студентов, отменяющие все «свободы», добытые ими явочным порядком. Осенью, когда эти правила должны были быть введены в практику, и разыгрались студенческие волнения. В новейшей работе об этих волнениях С. Гессена, «Студенческое движение в начале шестидесятых годов», 1932, доказывается что

руководители движения старались обострить борьбу, вызвать правительство на агрессивные меры, чтобы оно таким образом показало свое истинное реакционное лицо. Обширная литература о движении 1861 года указана у Гессена. Дневник Е. А. Штакеншнейдер прибавляет к уже известному ранее не много нового. Рассказывает она не как очевидица, а по сведениям, сообщаемым ей вначале, вероятно, братом Адрианом, а после его ареста (5 октября) его товарищами или Лавровым, который принимал столь близкое соучастие в студенческом движения, что это, между прочим, поставлено было ему в вину при ссылке его в 1866 году.

Плата за учение в университете в размере пятидесяти рублей была установлена еще в 1848 году, т. е. еще при Николае, но в конце 50-х годов широко практиковалось освобождение от платы. В Петербургском университете в 1859 году из общего числа студентов освобождено было 65 процентов, по новым же правилам, утвержденным еще в мае 1861 года, но еще не опубликованным, мог быть освобожден приблизительно лишь один процент всей массы студентов. Это ограничение имело целью прекратить доступ в университет бедной и необеспеченной молодежи, что возвращало университеты к николаевским временам, когда при повышении платы с двадцати восьми рублей до сорока (в 1845 году) правительство объясняло, что это делается «в виду чрезмерного прилива в высшие и средние учебные заведения молодежи из низших слоев общества, для которых образование бесполезно, составляя излишнюю роскошь».

Введение обязательной платы за учение было самым актуальным, но далеко не единственным поводом студенческих волнений 1861 года.

241

Начало студенческих волнений осени 1861 года надо относить не к 23 сентября, а к 17 сентября, когда, после летних каникул, был открыт университет. По обыкновению было отслужено молебствие, после чего немедленно собралась многолюдная студенческая сходка, которая и отправила к попечителю депутатов с требованием разъяснить новые правила. Так как попечитель Филипсон отказался явиться на собрание студентов, сходки продолжались и во все последующие дни. Местом сходок служили пустые аудитории. 22 сентября последовало распоряжение все пустые аудитории запереть; в ответ на это на следующий день, 23 сентября, в университете в одной из зал на стене появилось воззвание, открыто призывавшее студенчество к борьбе. Толпа студентов человек до пятисот, взломав двери, проникла в актовый зал, и здесь была шумная сходка, руководил которою Николай Утин. Студенты ошикали профессора Срезневского, пытавшегося успокоить их трафаретными фразами о долге пред отечеством, служений науке и т. д. Приняв решение не подчиняться новым правилам, студенты разошлись по домам.

242

Цифра две тысячи несколько преувеличена. Всего в университете считалось в это время 1442 слушателя. И, конечно, не все принимали участие. По другим сведениям, у университета собралось до тысячи человек. Студенты Медицинской Академии также принимали участие не в таком большом количестве, как это указывает Е. А. Штакеншнейдер, но тем не менее шествие студентов 25 сентября к Колокольной улице представляло грандиозное и никогда дотоле не виданное зрелище (см. Сергей Гессен, «Студенческое движение в начале шестидесятых годов», М. 1932, стр. 63–71).

Депутаты от студентов задали ему ряд вопросов, почему и надолго ли закрыты университет и студенческая библиотека и т. д., и заявили, что студенты единогласно постановили принять матрикулы, — именные билеты с Изложением новых правил, — но правила эти не соблюдать, как навязанные насильно. Филипсон уверял их, что библиотека откроется завтра же, а университет — 2 октября, и что принять или не принять матрикулы предоставляется свободному решению каждого. Эти обещания попечителя, как обнаружилось в последующие дни, выполнены не были.

244

Евгений Петрович Михаэлис (1841–1913), брат Л. П. Шелгуновой, находившийся тогда в постоянном общении с Н. В. Шелгуновым, М. Л. Михайловым и Н. Г. Чернышевским, был едва ли не главным руководителем студенческого движения 1861 года. По отзыву П. Боборыкина, это был «чистокровный нигилист, пошедший в студенты из лицеистов, совершенно «опростивший себя вплоть до своего внешнего вида». «Михаэлис был замечательный юноша, — пишет Шелгунов, — лучший из молодых людей, каких я только видел». Он распространял прокламацию, составленную Шелгуновым и Михайловым, — «К молодому поколению». В числе других главарей студенческого движения был арестован в ночь на 26 сентября 1861 г. и до 4 декабря сидел в Петропавловской крепости, затем был сослан в Петрозаводск, а затем в Тобольскую губернию.

245

Вечером 25 сентября было совещание Сената под Председательством великого князя Константина Николаевича (сам царь был в Крыму), где шла речь о студенческих волнениях Результатом совещания и явился арест в ночь на 26 сентября двадцати шести подозреваемых «зачинщиков». Отвезены они были в Петропавловскую крепость, где и просидели до 7 декабря.

В адресе говорилось об отсутствии в университете зачинщиков, ибо все студенты одинаково враждебно относятся к новым правилам. Стало быть, надлежит либо освободить арестованных, либо арестовать всех студентов.

247

Когда Игнатьев пригрозил, что если студенты не разойдутся, он прикажет стрелять, и толпа загудела «Умрем, умрем!» — тогда на бочку, служившую трибуной, взошла слушательница университета Марья Арсеньевна Богданова, которая упомянута Е. А. Штакеншнейдер как подписавшаяся под адресом студентов, и стала доказывать, что правительство предпочтет действовать не свинцом, а прикладами и нагайками, и студентов ждет не геройская смерть, а позорное избиение. Речь ее произвела впечатление, и студенты стали расходиться. В числе нескольких студентов, подвергшихся аресту в эту же ночь, не названных здесь по фамилии, был еще один видный руководитель студенческого движения, Михаил Павлович Покровский, часто упоминаемый в дневниках Е. А. Штакеншнейдер за 80-е годы, главным образом в связи с Достоевским.

248

Приятель П. Лаврова, впоследствии автор «Писем из деревни», Александр Николаевич Энгельгардт принимал участие в студенческих волнениях. 27 сентября он вместе с офицерами А. И. Сяневским, Андреевым, Богдановым и Странденом был арестован и предан военному суду за нарушение воинской дисциплины; суд присудил к аресту на гауптвахте. Студент Александр Сперанский арестован был 30 сентября.

249

Здесь ряд неточностей: не Аханов, а Оханов, Михаил Аведисович; значится в словаре «Деятели революционного движения» как дворянин, уроженец Бессарабской области, — вероятно не цыган, а молдаванин. В 1861 году был студентом первого курса и арестован был 26 сентября, а не после сходки 27 сентября.

250

Адрес об облегчения участи арестованных студентов составлялся Дмитрием Васильевичем Стасовым, служившим тогда в Сенате. 2 октября он был в связи с этим арестован, через шесть дней выпущен, но уволен со службы. В организации петиций в защиту арестованных студентов приняли также энергичное участие В. В. Берви-Флеровский и К. К. Арсеньев. О том, как собирались подписи под петицией, см. К. К. Арсеньев, «Из далеких воспоминаний», «Голос Минувшего», 1913, I, стр. 161–165.

251

Студенты, арестованные 5 октября на квартире публициста Николая Викентьевича Альбертини (1826–1890), который в это время был деятельным сотрудником «Отечественных Записок».

252

Лебедев, Владимир Александрович, кандидат естественных наук Петербургского университета; 12 октября был не только ранен, но и арестован и доставлен был в Петропавловскую крепость, оттуда переведен в Кронштадт, и освобожден 6 декабря 1861 г. В 1866 году привлекался к дознанию по каракозовскому делу («Деятели революционного движения», I, 2, стр. 207). В «Колоколе» эпизод с избиением участников сходки 12 октября рассказан — несколько иначе, чем у Е. А. Штакеншнейдер. Там в № 112 сообщалось, что 12 октября кандидату естественных наук Вл. Лебедеву разбили голову и разрубили скулу, один студент был ранен штыком, другому студенту жандарм отрубил ухо, удары прикладами получили до двадцати человек; в общем шесть человек пострадали настолько серьезно, что были отвезены в госпиталь.

253

В воспоминаниях Марковой-Виноградской («Минувшие Годы», 1903, №10) указывается, что в избиении студентов 12 октября особенно свирепствовал штабс-капитан Преображенского полка Толстой.

Брат Е. А. Штакеншнейдер, Адриан Андреевич Штакеншнейдер, быт на пять лет ее моложе (род. в 1841) и из всей семьи был ей всего ближе. По политическим взглядам они вдвоем составляли тогда левое крыло в семье, все остальные были умеренных или правых воззрений; крайнее правое крыло составляла, по-видимому, сестра Мария (Маша, см. запись 14 февраля 1863 г.). Адриан Штакеншнейдер принимал деятельное участие в студенческом движении. Его однокурсниками по юридическому факультету были упоминаемые в дневнике Евгений Утин и Евгений Печаткин. Первый из них вместе с ним был арестован в квартире Альбертини 5 октября. Освобождены они были из Петропавловской крепости 7 декабря 1861 г. В дневнике Штакеншнейдер мы не нашли указания на первый арест Адриана Штакеншнейдера в марте 1861 г., в связи с демонстрацией 1 марта в память убитых поляков. У Л. Пантелеева, «Из воспоминаний прошлого», он выведен под обозначением «студент Ш.». Рассказывается о столкновении его с попечителем Деляновым и о позднейшем сильном поправении. В 1863 году Адриан Штакеншнейдер кончил юридический факультет кандидатом. Позднее сотрудничал в консервативных органах.

255

Поэт М. Л. Михайлов был арестован 14 сентября за составление прокламации «К молодому поколению», т. е. незадолго до начала студенческих волнений, и через месяц, 14 октября, заключен был в Алексеевский равелин. 14 декабря состоялось публичное объявление приговора: ссылка в Сибирь и каторжные работы на шесть лет. Умер М. Л. Михайлов в Сибири до окончания срока каторги, — 3 августа 1865 г.

Первый раз университет был закрыт 24 сентября, вновь открыт 11 октября, но лекции почти не посещались студентами, к тому же часть профессоров не пожелала читать лекция; вследствие всего этого университет был вторично закрыт 20 декабря.

257

Что-то будет, что-то будет!..

258

Повесть в стихах Полонского, оставшаяся незаконченной.

259

Речь идет не о повести, а о рассказе «Медный лоб самого низкого сорта», напечатанном осенью того же года в «Современнике» (1863, № 10, стр. 313–404). Имена, которые не запомнились Е. А. Штакеншнейдер, — это Мокей Трифонович Христофорскяй (барин) и Трофим (слуга). И до этого рассказа Полонский не раз выступал с прозой. Ряд рассказов появился в «Современнике» 1855–1857 гг. Отдельным изданием вышли повесть «Нечаянно» в 1844 году и рассказы — в 1859 году. Однако лучшие его прозаические произведения, например «Признания Сергея Чадыгина», вызвавшие одобрительный отзыв Тургенева и Алексея Толстого, относятся к более позднему времени. Суждению же Е. А. Штакеншнейдер о прозе Полонского до 1863 года нельзя отказать в меткости.

260

«Таинственная Капля», поэма Ф. Глинки. Выдержку из указанного письма Федора Глинки, находившегося в феврале 1863 года в Твери, к Полонскому см. в «Русском Вестнике», 1899, X, стр. 548; там «бывший декабрист», а теперь воинствующий реакционер выражает свое пренебрежение к «Молешоттам, Фейербахам и Бюхнерам». Ни «теплой поэтической руки», ни Чаадаева в приведенной выдержке нет.

нервных, раздраженных.

262

Речь идет о революционной молодежи: Евгении Петровиче Печаткине, игравшем видную роль в студенческих волнениях 1861 года, Варваре Ивановне Глушановской, позднее вышедшей замуж за Печаткина, и Марии Петровне Михаэлис, младшей сестре Л. П. Шелгуновой О них см. био-библиографический словарь «Деятели революционного движения в России», т. I и II. Там же и портреты двух первых в молодости. Приезд этих гостей в Ивановку должен был еще резче обнаружить расхождение во взглядах между Еленой Андреевной, с одной стороны, и ее матерью и сестрами, с другой. По возрасту Глушановская, родившаяся в 1843 году, и М. Михаэлис — около 1845 года, действительно подходили более к сестре Маше (род в 1844), чем к Елене. Печаткин же был только на два года моложе ее: родился в 1838 году. Арестован он был 12 октября, сидел в Петропавловской крепости и в Кронштадтской и выпущен был 6 декабря 1861 г., так что слова записи 14 февраля — «только что выпущенного из крепости» относятся к его вторичному сидению в Петропавловской крепости. В июле 1862 года он был арестован по делу Баллода и Д. И. Писарева и выпущен 2 февраля 1863 г.

263

В опущенной нами записи дневника от 7 февраля есть несколько строк сожаления по поводу предполагавшегося отъезда любимого брата: «в этом году весна не радует: нам предстоит разлука — Андрюша отправляется в Гейдельберг, птенцы уж начинают вылетать из родного гнезда». В другой записи (от 8 марта) читаем: «Я вижу в Андрюше не моего брата, я вижу в нем современного человека нового человека. И это отрадное явление наполняет меня такой радостной гордостью, какой я и описать не могу». Намерение ехать в Гейдельберг учиться не осуществилось, вероятно потому, что в это время молодой человек ухаживал за Машей Михаэлис, младшей сестрой Л. П. Шелгуновой. Летом он объявил родителям о своем желании жениться на ней. В этом же году он кончил кандидатом юридический факультет Петербургского университета и стал искать службу. Когда в следующем году Маша Михаэлис была арестована за то, что бросила букет Чернышевскому, некоторые испугались и за семью Штакеншнейдеров (см запись 25 июля 1864 г.). Впоследствии М. П. Михаэлис всецело отдалась революционной деятельности, а сын придворного архитектора докатился до сотрудничества в реакционных журналах.

«История цивилизации в Англии» Бокля. Книга Бокля имела громадный успех в России. Е. А. Штакеншнейдер читала его в немецком переводе: русский перевод вышел в следующем году.

265

Николай Захарович Кудинович — один из представителей революционной молодежи, бывавшей в доме Штакеншнейдеров. В 1861 году, студентом Петербургского университета, принимал участие в студенческом движении и полтора месяца просидел в Петропавловской крепости. В 1862 году был вторично арестован за распространение прокламаций в войсках и но приговору военного суда приговорен был к трехмесячному заключению в крепости. Выпущен был, как и ожидала Е. А. Штакеншнейдер, в четверг 21 марта 1863 г. и пришел к ней, по ее словам (запись в дневнике 28 марта), «такой праздничный», «такой радостный», и она позднее жалела, что приняла его «не так радостно, как он, как будто равнодушно, а между тем не была равнодушна». В третий раз сидел Кудинович в Петропавловке в 1870 году по Нечаевскому делу. Умер в том же году, двадцати девяти лет. О нем см «Былое», 1903, кн. VII, стр. 25.

Обращает на себя внимание, что все новости — политические. Чернышевский, когда-то «несимпатичный» ей, возбуждает особое участие, так как «еще сидит». Арестован он был 7 июля 1862 г. и посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости где и просидел до 20 мая 1864 г., когда был отправлен в Сибирь на каторгу.

267

Это неверно. Штабс-капитан И. Г. Жуков и б. студент Д. Т. Степанов были приговорены к каторжным работам. О них см. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», I, стр. 296–306.

268

Речь идет о романе «Что делать».

В это время Полонский рассчитывал получить место младшего цензора («иностранного цензора»).

По словам сына поэта, А. Я. Полонского, означенная должность мало утруждала поэта: почти все иностранные книги не только немецкие просматривала Елена Андреевна, и Яков Петрович в большинстве случаев только санкционировал ее мнение.

Катков в это время писал в «Московских Ведомостях» громовые статьи против Польши, имевшие успех у многих либералов. Идейное расслоение в семье Штакеншнейдеров сказалось и в польском вопросе: Марья Федоровна, как видим, на стороне Майкова и Каткова, ее дочь презрительно обобщает «Катковы» и болеет душой за восставшую Польшу.

271

Поэма Майкова «Смерть Люция» уже до этого появилась в печати: в февральской книжке «Русского Вестника» за 1863 год, но Майков, великолепный чтец, не раз читал ее в разных домах. 3 мая он читал у Никитенко, который нашел, что это «вещь истинно прекрасная». Мнение, что Майков — первый поэт, разделяли многие из его современников. Первой частью поэмы считали «Три Смерти», а «Смерть Люция» обозначена была самим автором как вторая часть. Мнение Лаврова и Полонского, что «Три Смерти» лучше, разделяется большинством критиков.

272

Умникам.

Каждый дюйм — нигилист!

Об этом см. ниже особую главу в дневнике о возникновении этого общества.

Предполагалась возможность войны с западными державами в связи с польским восстанием. Интересно сопоставить аналогичные запаса в «Дневнике» Никитенко за этот же месяц. 13 апреля он записывает: «Все почти уверены, что война неизбежна», 15 апреля взвешивает шансы за и против войны, 23-го отмечает: «возрождаются надежды на мир», 25-го он опять считает вероятным вмешательство Европы. В действительности же войны с западными державами из-за Польши не возгорелось.

В это время появилось множество адресов правительству от разных сословий, но преимущественно от дворянства, с изъявлением патриотических чувств. См. «Дневник» Никитенко, 18 апреля 1863 г. Обращает на себя внимание эта оценка «дворянской крови». Надо отметить, что Штакеншнейдеры к русскому дворянству не принадлежали и крепостными никогда не владели.

277

Компаньонка мама.

У Никитенко в «Дневнике» 25 апреля читаем: «Самарское дворянство постановило вызвать из-за границы, и особенно из Парижа, наших путешественников, которые терпят там всяческие оскорбления русского имени и все-таки продолжают там жить».

279

Е. А. Штакеншнейдер не называет Утина по имени. Утины были дети банкира. В начале 60-х годов в петербургских университетских кругах пользовались известностью три брата. Старший, Борис Исаакович, с 1859 по 1861 год занимал кафедру сравнительной истории положительных законодательств, а двое других, Евгений и Николай, в 1861 году, будучи студентами, являлись одними из главных руководителей студенческого движения. Здесь речь идет о Николае. 18 мая 1863 г. у него был произведен обыск в связи с делом о подготовке восстания в Витебской губернии, но Утин, еще до обыска, в начале мая успел бежать за границу. Через два года он был заочно приговорен к смертной казни в случае его поимки или появления в России. «Наташа», о которой говорится ниже в записи 18 мая, — Наталья Иеронимовна Корсини, дочь архитектора, одна из первых студенток Петербургского университета, чистая посетительница, почти приятельница Е. А. Штакеншнейдер, вскоре затем жена Николая Утина, позднее писательница.

Отец его был банкир с большими связями. После десяти лет революционной деятельности (участие в I Интернационале, борьба с Бакуниным и т. д.) Николай Утин отошел от политики, а в 1877 году, по ходатайству банкира Полякова, получил разрешение вернуться в Россию; в 1880 году вернулся в Петербург, и умер в 1883 году.

281

Большой скандал.

Он преспокойно давно был у нас, статья, наделавшая столько шуму — нелепый «Роковой Вопрос», которого я не дочитала, потому что терпения не хватило.

283

Этой издательской артели переводчиц уделено много внимания в книге Стасова «Н. В. Стасова» глава четвертая, «Русские женщины-издательницы». «Артель издательниц была одной из бесчисленных русских артелей начала 60-х годов», — говорит Стасов. «Более серьезные и развитые женщины, — вспоминала впоследствии Н. А. Белозерская, — все более и более приходила к убеждению, что без труда и заработка русская интеллигентная женщина останется вез в том же заколдованном кругу беспомощности. Это навело на мысль создать общество с целью доставления заработка интеллигентным женщинам:. Первое собрание происходило у А. Н. Энгельгардта…» М. В. Трубниковой принадлежит мысль составить общество из одних женщин. Решено было остановиться пока на переводах, «потому что, при основательном знании иностранных языков большинством тогдашних интеллигентных женщин, этот род заработка являлся наиболее подходящим». Предполагалось, чтобы издаваемые книги переплетались не иначе, как в женской переплетной артели, рисунки заказывались исключительно женщинам-художницам, предполагалось завести свою женскую типографию, свою книжную давку. Устав издательской артели был составлен Трубниковой. Первый параграф гласил: «Издательская артель ограничивается числом сто женщин». На этом оснований Е. А. Штакеншнейдер пишет утвердительно, что артель «состоит из ста женщин». Фактически объединилось в этой артели тридцать шесть женщин. Стасов считает очень неверным мнение, что целью артели было создание хороших детских книг. Он старается опровергнуть это мнение, но не особенно убедительно. Показание дневника Е. А. Штакеншнейдер не в пользу его мнения.

284

Среди ряда воспоминаний очевидцев гражданской казни Н. Г. Чернышевского 19 мая 1864 г. как, например, Вильяма Фрея, Тверитинова, или откликов на нее запись Е. А. Штакеншнейдер по тону и основной мысли ближе всего подходит к стихотворению П. М. Ковалевского «Преступник» (Ковалевский, «Стихи и воспоминания», П. 1912, стр. 47–48, где основной мотив — возмущение трусостью толпы. Во всем дневнике Е. А. Штакеншнейдер мы видим ее отвращение к лицемерию и расхождению слов с делом. Лавров, М. Михайлов, Н. В. Стасова привлекают ее симпатии прежде всею как дельные натуры. Ишимова, упоминаемая в этой записи, — писательница для детей.

285

Брат Е. А. Штакеншнейдер Адриан в 1863 году был женихом Маши Михаэлис.

286

Ср. с отзывом о старшей сестре Маши Михаэлис — Л. П. Шелгуновой — в записи 4 декабря 1864 г. Е. А. Штакеншнейдер подозревает там Л. П. Шелгунову в желании «правую руку потешить», т. е. опять-таки, как и младшую сестру, в барском самодурстве. Наоборот, к революционной деятельности Михайлова она относится с глубоким уважением.

287

Деревенская наивность.

«Кладарадач» — юмористический журнал.

289

Польское восстание произвело как бы экзамен русскому либерализму. Пока речь шла о гуманности и угнетенной Польше, все выражали сочувствие к ее положению, но когда дошло до дела, т. е. началось восстание, громадная часть вчерашних вольнодумцев отшатнулась от Герцена, горячо призывавшего к поддержке Польши, и пошла за Катковым с его «разъяренным патриотизмом»; другая, лучшая часть должна была двинуться влево, к революционному подполью. В числе первых было главным образом старшее поколение, по мнению Е. А. Штакеншнейдер спровоцировавшее молодежь. Иван Карлович Гебгардт, родственник и завсегдатай Штакеншнейдеров и Лавровых, — классический пример такого струсившею недавнего радикала. Принимая во внимание его красноречие, можно думать, что он стал главным проводником в семье Штакеншнейдеров консервативных идей, влиявших на сестру Елены Андреевны Штакеншнейдер — Машу.

290

«Прошел слух, — рассказывает Л. Пантелеев («Из воспоминаний прошлого», т. I, стр. 73–74), — что по поводу панихиды начинается следствие, что предполагают привлечь к ответственности только студентов-поляков, а присутствие русских решено игнорировать. Тогда русские студенты постановили: предоставить в следственную комиссию подписанные листы в доказательство, что и они были на панихиде. Началось собирание подписей… Вероятно, осведомленный о том, что происходит в университете, приезжает попечитель И. Д. Делянов и как раз наталкивается на студента Ш., у которого в руках был один из подписных листов. «Покажите, что у вас за бумага», — сказал попечитель. Ш. отказался показать». Делянов настаивал на исключении непокорного студента, но дело ограничилось только арестом его. Этот студент Ш. был брат Е. А. Штакеншнейдер — Адриан.

291

13 февраля 1861 г. в Варшаве при подавлении манифестации было убито пять человек. Польская студенческая корпорация в Петербурге решила отслужить в католическом соборе панихиду по убитым. Русские студенты, желая выразить свою солидарность с польским студенчеством, постановили присутствовать на панихиде. Кроме студентов явились и некоторые профессора.

Судить об этом сходстве трудно, так как в литературе имеется очень мало сведений об этом Осипове. Несмотря на то, что он сыграл заметную и положительную роль в судьбе Шевченки, комментаторы дневника украинского поэта сведения о нем заимствуют главным образам и почти исключительно из «Воспоминаний» Е. Юнге (см. Твори Тараса Шевченка, т. IV. Журнал, Киев, 1927, стр. 136–137). Родился Н. О. Осипов в 1825 году. Ряд биографических указании содержится в дневнике Е. А. Штакеншнейдер. Жил в доме Толстых, преподавал русский язык и рисование дочери их Екатерине, впоследствии Юнге, преподавал рисование Е. А. Штакеншнейдер и оказал большое влияние на ее развитие. Этот интерес его к вдумчивой девушке возбудил недовольство Настасьи Ивановны Толстой, неравнодушной к молодому художнику, что и послужило одной из причин плохо скрываемой взаимной вражды двух хозяев литературных салонов — Н. И. Толстой и Марьи Федоровны Штакеншнейдер. Осипов пошел волонтером в Крымскую армию. По возвращению в Петербург он, хотя и был академиком живописи, бросил искусство и уехал в провинцию на службу, сначала в Орел, потом служил в Уфе, потом вернулся в Петербург, где числился по ведомству государственных имуществ и имел какое-то отношение к управлению калмыцкого народа. Живя в Уфе, он, как видим из дневника Е. А. Штакеншнейдер, был одним из двух чиновников к целом городе, которые не выписывали «Московских Ведомостей» Каткова, т. е. в какой-то степени сохраняли заветы юности. По словам Е. А. Штакеншнейдер, вопросы общественные стояли у него на первом плане и в молодости, «когда у него не было ни семьи, ни родных, ни состояния»… «Теперь (в 80-е годы) у него и то, и другое, и третье, а он все тот же» (См. Воспоминания о 1854 г.). По словам Александра Яковлевича Полонского, сына поэта, Н. О. Осипов в 80-х годах жил на Морской в собственном доме.

293

Не везет тебе, бедный Жак!

294

Первая строка пушкинского стихотворного послания декабристам.

Очевидно, Е. А. Штакеншнейдер, как лицо не скомпрометированное в глазах полиции, служила посредствующим звеном в переписке Михайлова, и письмо предназначалось для передачи. Кажется, не было человека, о котором Е. А. Штакеншнейдер упоминала бы в своем дневнике с такой глубокой симпатией и уважением, как о М. Михайлове. Полонский был ей гораздо ближе, но она слишком хорошо знала, что он прекрасный человек, но героем быть не мог бы. Даже в отношениях с Лавровым были у нее перебои, она не закрывала глаза и на его недостатки, а у Михайлова она нашла только один недостаток, который добродушно и осуждает: увлечение френологией.

Панаева, Авдотья Яковлевна, урожденная Брянская дочь актера, бывшая замужем за И. И. Панаевым и открыто жившая с Некрасовым. Под «какими-то» француженками подразумевается, очевидно, кружок парижских деятельниц женской эмансипации во главе со знаменитой Жени д'Эрикур, с которой познакомилась Л. П. Шелгунова в Париже. Е. А. Штакеншнейдер делает грубую ошибку, отзываясь об этих парижанках пренебрежительно. Читательницы в страстных полемических статьях Женни д'Эрикур находили призыв к единению женщин и организации женского труда. Прудон не признавал равенства полов; по его мнению в семье, как и в общество, мужчина относится к женщине, как три к к двум. Женни д'Эрикур яростно напала на Прудона. Н. В. Шелгунов указывает, что самый горячий проповедник женской эмансипации, М. Михайлов, когда писал свою статью «О женщинах», посвященную Л. П. Шелгуновой, находился под влиянием не только Жорж Санд, но и лично ему знакомой Женни д'Эрикур. Напечатанная в «Современнике» (1860, № 4, 5, 8), статья эта, по словам Шелгунова, «произвела в русских умах землетрясение… Женский вопрос носился в воздухе. Михайлов дал ему форму и логическую целостность. Вопрос из воздушного тумана спустился на землю… получился общественный энтузиазм, и Михайлов провозглашен творцом женского вопроса» (Н. В. Шелгунов, «Воспоминания», Гиз, 1923, стр 103–105).

Марья Васильевна Трубникова была под сильным влиянием Женни д'Эрикур. Она первая вступила с ней в переписку. Л. П. Шелгунова, привезшая в Петербург из Парижа известие о Женни д'Эрикур, звала ее приехать в Россию, что, впрочем, не осуществилось (См. книгу В. Стасова, «Н. В. Стасова», глава шестая) Главная заслуга Женни д'Эрикур в том, что она в своей книге «Освобожденная женщина» (1861) проводила мысль о тесной связи женского равноправия с расширением общих политических и гражданских прав, что поставило женский вопрос в новую плоскость. Это прекрасно поняла Л. П. Шелгунова. Русским женщинам, впрочем, Женни д'Эрикур рекомендовала воздерживаться от политики.

Впоследствии министр путей сообщения.

Юридически и фактически.

299

Из членов оппозиции Е. А. Штакеншнейдер указывает Екатерину Ивановну Ценину (по второму мужу Жуковскую), как главу оппозиции, Марию Григорьевну Ермолову, Варвару Александровну Зайцеву, сестру критика Варфоломея Зайцева, а из мужчин — Европеус. Из них Ермолова принадлежала не к «нигилисткам» а к высшему свету, но кандидатура ее оказалась приемлемой по тем же, вероятно, причинам, почему не возражала против Философовой, так как она и ранее проявляла свое участие к женщинам-труженицам. К тому же М. Г. Ермолова была переводчицей. Ценина-Жуковская оставила воспоминания (Екатерина Жуковская, «Записки», под редакцией Чуковского, Л. 1930). Европеус, инициалов которого Штакеншнейдер не указывает, — вероятно, Александр Иванович Европеус (1826–1885), привлекавшийся по делу петрашевцев и упоминаемый в «Записках» Екатерины Жуковской.

Резко отрицательное отношение к участию Лаврова и его единомышленников в организации «Общества женского труда» находим в «Дневнике» А. В. Никитенко, запись 27 февраля 1865 г.

300

Е. И. Жуковская-Ценина. Показания главы «нигилисток» Е. Жуковской-Цениной в ее воспоминаниях «Общество организации женского труда», помещенных в «Сборнике памяти А. П. Философовой», 1915, т. II, стр. 21–24, не во всем сходятся с данными дневника Штакеншнейдер. По словам Цениной, ее группа не «возражала против выбора председательницей графини Ростовцевой, так как она ранее уже проявляла участие к женщинам-труженицам, не протестовала и против А. П. Философовой по той же причине, но не допускала, чтобы все правление состояло из лиц, лично к труду непричастных, и требовала, чтобы в правление хотя бы наполовину вошли женщины-труженицы: наборщицы, переплетчицы, переводчицы.

Главным виновником развала всего дела она считает не свою группу а Кривошеина, который напугал дам-патронесс грозным призраком какого-то заговора против существующего порядка. Главой этого заговора он считал Лаврова.

301

После покушения Каракозова на Александра II начались аресты не только лиц, прикосновенных к ишутинскому кружку, к которому принадлежал Каракозов, но и видных представителей интеллигенции, бывших почему-либо у Третьего отделения на замечании. Между прочим был арестован и Петр Лавров.

О бывшем студенте Московского университета Дмитрии Владимировиче Каракозове, стрелявшем в Александра II при выходе его из Летнего сада 4 апреля 1834 г. (родился в 1840 году; повешен 3 сентября 1866 г.), двоюродном брате Каракозова — Н. А. Ишутине (1840–1879), который был главным организатором революционного кружка, Петре Дмитриевиче Ермолове (1845–1910), сыне богатого землевладельца, тратившем все деньги, получаемые от опекуна, на революционные и общественные цели, Николае Павловиче Страндене (1844–1902), который летом 1866 года должен был ехать в Сибирь, чтобы освободить Чернышевского, — см. библиографию в «Деятелях революционного движения», т. II.

302

Запись дневника, основанная на слухах, характерна для интереса к Каракозовскому делу, но фактически не во всем совпадает с имеющимися сведениями по другим, более достоверным источникам: не 9 апреля начали нащупывать связи Каракозова с его кружком, а раньше: 8 апреля Ишутин был уже арестован. Не квартальный случайно услыхал от дворника о пропавшем жильце, а хозяин дома сам заявил об исчезновении жильца в полицию, не в шкатулке нашли письмо Каракозова Ишутину, — на квартире Каракозова в диване нашли изорванные клочки исписанной бумаги. Когда их соединили вместе, то это оказался конверт с адресом Ишутина в Москве (см. М. Клевенский, «Ишутинский кружок и покушение Каракозова», М. 1927, стр. 43); Худяков был арестован еще раньше: 7 апреля.

303

Изложение своих политических убеждении. Иван Александрович Худяков, писатель-этнограф (1842–1876), арестован был по Каракозовскому делу 7 апреля 1866 г. Сам Худяков рассказывает, что изложил свой образ мыслей по предложению Муравьева-вешателя в надежде что его записка дойдет до царя. В ней он утверждал, что «богата только та страна, которая имеет свободного политическое устройство», что «революция (т. е. изменение старого порядка) начата самим государем (освобождением крестьян и другими мерами); что теперь для полного счастья страны остается дать полную свободу печати и английскую конституцию». (см. И. А. Худякова, Записки каракозовца», 1930. стр. 145–146).

304

В «Голосе Минувшего», 1916, № 4, стр. 63, вместо этих двух слов, читаем: «Полонский напечатал», — явная несообразность из-за неверного прочтения рукописи.

305

Александр Александрович Кобылин (1840–1924), врач, знакомый с Каракозовым как с пациентом; был арестован 6 апреля и обвинялся в том, что снабдил Каракозова ядом, просидел до 11 августа в Петропавловской крепости, после чего был освобожден за недоказанностью обвинения.

Комментарии к статье «П. Л. Лавров» составлены Ф. И. Витязевым, которому принадлежит и редакция этой статьи.

307

Писано весной 1871 года в Изюме.

308

П. Л. Лавров читал курс высшей математики в Артиллерийской Академии, где он был преемником знаменитого М. В. Остроградского. Курс этот литографировался, но не дошел до нас. Большинство своих работ по математике Лавров поместил в «Военном Энциклопедическом Лексиконе», издаваемом Обществом военных и литераторов, Спб. 1852–1855. Большой научный интерес представляет «Очерк истории физико-математических наук», напечатанный в «Морском Сборнике» и «Артиллерийском Журнале» за 1865–1866 гг. Из других работ Лаврова по математике заслуживает особого внимания статья «Математические представления и математические понятия», напечатанная в виде прибавления к «Системе логики Д. С. Милля», Спб. 1865, т. I, стр. I–XI. Кроме того осталась в рукописи ненапечатанной работа Лаврова «О принципах и аксиомах». Лавров как математик еще не оценен и ждет специального исследователя. Имеется на эту тему лишь одна небольшая статья проф. А. В. Васильева, «П. Л. Лавров — историк и философ математик» (см. сборник «П. Л. Лавров», изд. «Колос», Спб. 1922, стр. 373–384).

309

Две большие тетради юношеских стихотворений сохранились в архиве Лаврова. Свою литературную деятельность Лавров *начал стихотворением* «Бедуин», помещенным в «Библиотеке для чтения» (1841, т. 45. стр. 5–7). Это было его *первое печатное произведение.* В 50-х годах поэтическая лира Лаврова приобретает явно политический характер. К этому периоду относится цикл его стихотворений с резкой критикой царствования Николая I. Таковы, например, стихи «К русскому царю» («Былое», 1907, № 2), «К русскому народу», «Пророчество», «На смерть Николая I» и т. д. Частично эти стихотворения приведены в заметке «К процессу Лаврова» («Былое», 1905, № 8), а также в книге И. С. Русанова «Социалисты Запада и России» (Спб. 1909, стр. 211–213). Отрывки из них приводит из судебного дела Лаврова и В. Н. Нечаев в своей статье «Процесс П. Л. Лаврова 1866 г.» (см. «Сборник материалов и статей», вып. I, Гиз, М. 1921, стр. 47–53, 57–58, 64. Почти все эти стихотворения анонимно ходили в рукописях среди высших кругов петербургского общества в 50-х и 60-х годах. Два стихотворения — «Пророчество» и «К русскому народу» — П. Л. Лавров послал А. И. Герцену, который и напечатал их в четвертой книжке «Голоса из России», Лондон 1857. О том влиянии, какое имели стихотворения Лаврова в 50-х годах, наглядно свидетельствуют воспоминания А. Н. Пыпина, «Мои заметки», Москва, 1910, стр. 85.

310

Брат П. Л. Лаврова, Михаил Лаврович, родился 4 ноября 1816 г., умер в Вене 9 июля 1853 г. Погребен на Волковом кладбище (см. «Петербургский Некрополь», т. II, Спб. 1912, стр. 589).

311

У П. Л. Лаврова было четверо детей: Михаил (род. 8/XI 1848 г.), Сергей (род. 11/V 1855 г.) Елисавета (род. 22/XI 1849 г. — умерла в 1861 году), Мария (род. 17/XI 1851 г. — умерла 2/VII 1919 г.).

312

Три лекции П. Л. Лаврова, читанные им в 1860 году в зале Пассажа, назывались не «Очерк теории личности», как ошибочно указывает Е. А. Штакеншнейдер, а «Три беседы о современном значении философии» (См. «Отечественные Записки», 1861 № 1, стр. 91–142). Отзывы тогдашней печати об этих лекциях приведены Ф. Витязевым в «Голосе Минувшего» (1915, № 12, стр. 138–139).

313

Вероятно, это описка вместо «тысячи рублей», так как лекции эти читались в небольшом зале Пассажа, наверху.

314

Ср. обращение к Николаю I в стихотворении Лаврова «Отзыв на манифест» этого государя по случаю Крымской войны, напечатанном в журнале «Былое», 1907, № 2, стр. 289.

Weltschmerz — мировая скорбь; Weltmensch — гражданин мира.

316

Жизнь сердца.

317

П. Л. Лавров жил на Фурштадской улице в доме Яковлева, против лютеранской церкви. В настоящее время это — дом № 12. В 1923 году, в связи со столетием со дня рождения П. Л. Лаврова, Петроградский исполком переименовал Фурштадскую улицу именем «П. Л. Лаврова» и водрузил на этом доме мраморную мемориальную доску с надписью: «Здесь жил и был арестован Петр Лаврович Лавров».

318

Жозефина Антоновна Рюльман родилась 3 декабря 1844 г. Умерла в Петрограде 6 января 1920 г. В то время, когда она жила у Лаврова, ей было двадцать два года. Прекрасный портрет ее, относящийся к этому периоду, хранится в Ленинграде в ИРЛИ. После ареста Лаврова она вышла 18 июля 1866 г. замуж за поэта Я. П. Полонского. Была в дружеских отношениях с И. С Тургеневым, под влиянием которого стала заниматься скульптурой. На этом поприще приобрела довольно большую популярность. После смерти Я. П. Полонского в 1898 году она явилась организатором «Литературно-художественного кружка имени Я. П. Полонского», который существовал девятнадцать лет, вплоть до 1917 года. Подробная биография с библиографией Ж. А. Рюльман помещена Ф. И Витязевым в «Материалах дня биографии П. Л. Лаврова» (см. вып. 1, изд. «Колос», П. 1921, стр. 33). Там же напечатано прощальное письмо П. Л. Лаврова к ней, вызванное известием о ее помолвке с Я. П. Полонским. Письмо это без даты, но, как теперь выясняется, оно могло быть написано Лавровым только из-под ареста и переслано нелегальным путем или через «белье», о чем подробно рассказывает сама Штакеншнейдер в своих воспоминаниях, или во время свидания с матерью.

319

Он умер в 1865 году.

320

Артиллерийская Академия, где профессорствовал П. Л. Лавров, помещалась на Выборгской стороне. В 1866 году Литейного моста еще не существовало, и связь с Выборгской стороной поддерживалась лодочным сообщением.

321

Граф Баранцов, Александр Александрович (1810–1881), генерал от артиллерии. С 1863 года начальник всех частей Артиллерийского ведомства. Он внимательно следил за деятельностью П. Л. Лаврова и присутствовал, например, на первой публичной его лекции, которую он читал в Михайловской Академии специально для офицеров, чем предотвратил готовящуюся демонстрацию офицеров в честь Лаврова. См статью В Нечаева «Процесс П. Л. Лаврова» («Материалы для биографии П. Л. Лаврова», Птг. 1911, стр. 70, 83).

«Прекрасная Елена».

323

Есть основания предполагать, что в данном случае Штакеншнейдер ошибается. По-видимому, Ж. А. Рюльман именно в этот день и дала согласие на брак с П. Л. Лавровым. Об этом свидетельствует заключительная фраза Лаврова в его письме к Ж. А. Рюльман «Если вы еще не забыли *обещания*, данного в карете *в последний день*, как мы виделись, — писал ей Лавров, — то, конечно, я вас *разрешаю от него»* (см. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», стр. 34). Так как это письмо было написано Лавровым *исключительно* по поводу предполагаемого выхода Ж. А. Рюльман замуж за Я. П. Полонского, то ясно, от какого ее «обещания» он мог дать свое «разрешение». Речь могла итти только о ее согласии на брак с ним. По-видимому, арест Лаврова впоследствии заставил Ж. А. Рюльман изменить своему слову и отдать свою руку и сердце Я. П. Полонскому. Из этого факта видно, какой огромной *личной трагедией* явился для Лаврова его арест в 1866 году.

324

Письмо это, датированное 2 апреля 1866 г. (т. е. через два дня после его ареста), было напечатано в «Голосе Минувшего» вместе с другим его письмом к Константину Николаевичу (см. «Два письма П. Л. Лаврова к великому князю Константину Николаевичу, «Голос Минувшего», 1915, № 7–3, стр. 219–222). Очень интересна оценка этого письма, данная самим Лавровым в его обращении к своему сыну (см. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», стр. 37).

«Нет, нет, так они вернее будут в безопасном месте».

326

Холминский, Станислав Фаддеевич, генерал-майор, в 60-х годах был вологодским губернатором. Это был человек, относящийся к ссыльным довольно гуманно. К несчастью, он как поляк боялся начальника вологодского губернского управления подполковника А. Е. фон-Мерклина. О «придирчивости» Мерклина и «трусости» С. Холминского пишет сам Лавров в своем письме к сыну (см «Материалы для биографии П. Л. Лаврова, стр. 37–38). Об С. Ф. Холминском смотри еще: «Памятная книжка Вологодской губернии на 1867–1868 гг.». Вологда 1858, стр. 1; Н. Ф. Бунаков. «Моя жизнь», «Педагогический Листок», 1907, № 4, стр. 214–215; его же, «Записки», Спб. 1909, стр. 45–46; А. С. Пругавин, «Н. В. Шелгунов в ссылке», «Русская Мысль», № 2, стр. 11, и № 3, стр. 5 и 22.

327

История с проводами П. Лаврова из Тотьмы подробно изложена в статье Д. Г. Венедиктова-Безюка: «Побег П. Л. Лаврова из ссылки» («Каторга и Ссылка», 1931, № 5; стр. 186–189). См. еще брошюру Ф. И. Витязева «Ссылка П. Л. Лаврова в Вологодской губернии и его занятия антропологией», изд. Вологодского общества изучения Северного края», Вологда 1915, стр. 3 и 6, и «Письма П. Л. Лаврова периода Вологодской ссылки» («Каторга и Ссылка», 1931, № 6, стр. 169, 172).

328

Письмо Лаврова к А. А. Суворову датированное 10 марта 1869 г., напечатано в журнале «Голос Минувшего» за 1915 год, № 12, стр. 126–131. К сожалению, в письме этом в сравнении с подлинником имеется очень много грубых опечаток и пропусков, иногда меняющих смысл всего письма. Письмо это является логическим дополнением к письму Лаврова к в.к. Константину Николаевичу и представляет собою биографической материал первостепенной важности. В своем письме к сыну Лавров подробно излагает те мотивы, которые заставили его обратиться к А. А. Суворову (см. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», стр. 38–39). Несомненно, что здесь еще сыграла роль та широкая популярность, которой пользовался А. А. Суворов в кругах русского общества. Он слыл за крайне доброго и гуманного человека. Всем известна была также и его «оппозиция» к всесильному графу М. Я. Муравьеву. Кроме того он имел особое влияние на Александра II. Все это, конечно, учитывал П. А. Лавров, когда писал свое письмо к графу А. А. Суворову.

329

Николай Львович Тиблен — один из крупнейших книгоиздателей 60-х годов. Он был учеником П. Л. Лаврова по Артиллерийской Академии и находился с ним в близких отношениях. Лавров работал в издательстве Н. Л. Тиблена по редактированию сочинений Спенсера. При обыске у Лаврова обнаружили черновик его письма к Н. Л. Тиблену, которое явилось наиболее серьезной уликой против него. Письмо это полностью приведено в статье В. Н. Нечаева «Процесс П. Л. Лаврова в 1866 г.» (см. «Сборник материалов и статей», 1921, стр. 58–59). В нем Лавров, между прочим, писал: «можно сначала приняться за выпуск невинных вещей, а затем, затянув издателей и приучив наблюдателей к изданию, пустить вещи и посерьезней». Эта фраза и послужила главным пунктом по обвинению Лаврова в распространении вредных в печати идей. Очень интересный отзыв об этом письме к Тиблену дает сам Лавров в обращении к сыну (см. «Материалы для биографии П. Л. Лаврова», вып. 1, Птгр. 1921, стр. 35). В 1868 году Тиблен предпринял издание большого журнала под заглавием «Современное Обозрение», с участием П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, В. В. Лесевича, Ю. Жуковского, А. Н. Пыпина и других, но на шестой книжке этот журнал прекратился, так как Тиблен разорился и был вынужден бежать от кредиторов за границу.

330

В одной издательской артели того времени, именно женской артели, принимала участие сама Е. А. Штакеншнейдер. См. «Сборник памяти А. П. Философовой», ч. 1, стр. 134–137.

331

Подробное изложение дела Лаврова имеется в следующих; статьях: «К процессу П. Л. Лаврова («Былое», 1906, № 8, стр. 35–38); В. Н. Нечаев, «Процесс П. Л. Лаврова 1866 г» («Сборник материалов и статей», вып. 1, Гиз, М. 1921, стр. 45–72); Ф. И Витязев, «П. Л. Лавров в эпоху 60-х годов b его статья «Постепенно» («Книга и Революция», Птгр. 1922, № 6 (18), стр. 9–10).

332

Из всех детей П. Л. Лаврова его дочь — Марья Петровна Негрескул (1851–1919 гг.) — была наиболее близка к своему отцу. Если ее братья Сергей и Михаил впоследствии официально отреклись от отца, то Марья Петровна до самой кончины Лаврова была для него наиболее дорогим человеком. Выйдя в конце 60-х годов замуж за известного участника Нечаевского дела Мих. Фед. Негрескула, она была очень близка к революционным кругам тогдашней молодежи. Она была хорошо знакома с Нечаевым. После смерти М. Ф. Негрескула вышла замуж за его брата — Эммануила Федоровича; в начале 70-х годов вместе с Г. А. Лопатиным принимала участие в организации бегства Лаврова из Вологодской губернии; в 1871 году была выслана из Екатеринослава; в 90-х годах переехала в Париж к престарелому отцу и была в близких о ношениях с «Группой Старых Народовольцев». В 1900 году, после смерти Лаврова, она вернулась в Россию, где отдалась революционной деятельности. См. «Био-библиографический словарь», М. 1931, т. II, вып. III, стр. 1012–1014; «Нечаев и нечаевцы», сборник материалов, М.-Л. 1931, стр. 27, 134 194; Л. Меньшиков, «Охрана и революция», ч. III, М., 1932, стр. 15; «Революционное движение 60-х годов», сборник под ред. Б. Горева и Б. Козьмина, М. 1932, стр. 206, 209; Н. И. Кареев, «Из воспоминаний о П. Л. Лаврове» («Былое», 1918, № 3 (31), стр. 16); В. Зайкевич, «Условия и характер Вологодской ссылки» («Северная Звезда», Вологда 1922, № 4, стр. 77).

333

Подробное описание бегства Лаврова из ссылки и участие в нем Г. А. Лопатина читатели найдут в следующих статьях: Я. С. Русанов, «П. Л. Лавров» («Былое», 1907, № 2, стр. 262–264); Ф. И. Витязев, «П. Л. Лавров в воспоминаниях современников. Из рассказов Г. А. Лопатина и М. П. Негрескул» («Голос Минувшего», 1915, № 9, стр. 137–145); его же, «Ссылка П. Л. Лаврова в Вологодскую губернию и его занятия антропологией», Вологда 1915, стр. 13–16; Д. Г. Венедиктов-Безюк, «Побег П. Л. Лаврова из ссылки» («Каторга и Ссылка», 1931, № 5, стр. 183–197).

Лаврова, Елисавета Карловна, урожденная Гандвич, мать Петра Лавровича, родилась в 1789 году и умерла в Париже 21 мая 1870 г.

335

Этим все сказано.

Щербина умер 10 апреля 1869 г. от нарыва в горле.

337

Не Аксаков, а Щербина в примечании к своему «Ответу грека на эпиграмму русских» указывает, что стихи, на которые он отвечает, были написаны, как он угадал, Н. А. Северцовым, А. Н. Плещеевым и А. Г. Тихменевым (Н. Щербина, «Альбом ипохондрика», 1929, стр. 77).

338

Текст эпиграммы не совпадает с печатным, где читаем:
Скажи, к чему ты в злобе детской
Свой жалкий коротаешь век?

339

Ряд записей дневника (от 17 октября, 8 и 19 ноября) повествует о «прискорбных вещах», услышанных от Негрескула или о Негрескуле. То повышенное настроение, в котором он находился все это время (ссора с Струговщиковыми и т. д.), объясняется его болезненным состоянием, отчасти ожиданием ареста. Михаил Федорович Негрескул, зять Петра Лаврова, женатый на его дочери Марье Петровне, родился около 1843 года, принимал деятельное участие в студенческих волнениях 1868–1869 гг., 4 декабря 1869 г. был арестован в связи с делом Нечаева, пять месяцев просидел в Петропавловской крепости; в мае 1870 года вследствие болезни освобожден был под домашний арест, а 12 февраля 1871 г., не дожив до тридцати лет, умер от чахотки.

340

Вышло только три номера: октябрь, ноябрь и декабрь 1869 года. Редактором обозначен «А. Струговщиков». Подробно история этого журнала, состав редакции и сотрудников освещены в работе Н. Ф. Бельчикова «Журнал «Библиограф», в об. «Журналистика 60-х годов», изд. «Academia», 1930, стр. 132–235.

341

Как обнаружилось из агентурных сведений о П. Лаврове, напечатанных в «Материалах для биографии П. Л. Лаврова», 1921, стр. 81, дело шло не так гладко: в частной беседе Чужбинский жаловался, что ему в качестве ответственного редактора «Заграничного Вестника» приходится вести «постоянную борьбу» с Лавровым, что соучастие Лаврова дает журналу «какое-то неопределенно-фанатическое направление».

342

Редактор юридический, редактор фактический.

343

Скажем напрямик.

Состав суда довольно разнообразен: тут и журналист Андрей Александрович Краевский (1810–1889), в то время издатель газеты «Голос» («Отечественные Записки» он уже передал Некрасову), и философ Владимир Викторович Лесевич (1837–1905), и присяжный поверенный и литератор Виктор Павлович Гаевский (1826–1888), и врач и поэт Николай Степанович Курочкин (1830–1884), Николай Адрианович Неклюдов (1840–1896), один из главарей студенческого движения 1861 года, в 1869 году бывший мировым судьей, впоследствии обер-прокурор Сената, Константин Константинович Арсеньев (1837–1919), впоследствии публицист «Вестника Европы», бывший тогда присяжным поверенным.

345

Лука Николаевич Антропов (1843–1884), журналист, сотрудник «Московских Ведомостей», и драматург, автор драмы «Блуждающие Огни» (1878), имевшей большой успех благодаря игре Савиной.

346

Публицистический и исторический трактат Самарина «Окраины России» вышел в Берлине в 1868–1876 гг. Юрий Федорович Самарин (1819–1876) — писатель-славянофил и общественный деятель.

347

М. П. Покровский в 1861 году был из главарей студенческого движения, а в 1869 году поклонником Каткова.

348

Лейб-хирург Павел Андреевич Наранович (1801–1874) был с 1867 по 1869 год начальником Медико-Хирургической Академии, сочувствовал высшему женскому образованию и, пользуясь своими связями, помогал его организации.

349

Когда министр народного просвещения гр. Дмитрий Толстой, вместо просимого женщинами доступа в университет предложил устраивать только общие публичные лекции «на основании существующих о лекциях постановлений», представительницы буржуазного крыла женского движения во главе со Стасовой и Трубниковой решили принять это предложение, но женщины более радикально настроенные были против. «Оппозиция была ужасная!» — писала Стасова. В число самых «ярых» она указывает Ткачеву, Вебер, Цецину и других.

Депутаткам из оппозиции, принадлежавшим большею частью к трудовой интеллигенции, субботы были неудобны.

351

Софья Николаевна Ткачева (1842–1876), сестра публициста-революционера П. Н. Ткачева, представительница радикального крыла женского движения. В начале 70-х годов принимала участие в подготовке к изданию журнала Лаврова «Вперед», в 1872 году перевела роман Швейцера «Эмма». Была замужем за А. А. Крилем (см. «Деятели революционного движения», 1930, II, вып. 2).

352

Это произошло накануне, т. е. 30 ноября. Александр Александрович Черкесов (1839–1908), сын землевладельца, воспитанник Царскосельского лицея. В 1865 году по возвращении из-за границы был арестован по делу о сношениях с Герценом, но через два месяца освобожден; занялся книжной торговлей; кроме библиотеки и книжного магазина в Петербурге, имел книжный магазин и в Москве, где заведующим был П. Г. Успенский, вокруг которого группировался московский Нечаевский кружок. В апреле 1869 года Черкесов был избран мировым судьей, а 30 ноября арестован и пристегнут, в связи с арестом Успенского, к Нечаевскому делу. Освобожден в феврале 1870 года. Позднее выступал защитником в «процессе 193-х».

353

В записи 5 декабря внесена поправка: не Ушакова, а Евреинова, приятельница Софьи Ковалевской. Но Ушакова тоже существовала. Ковалевская упоминает в своей переписке (см. «Голос Минувшего», 1916, № 4, стр. 93) о гейдельбергской приятельнице Сонечке Ушаковой.

354

Вера Васильевна Черкесова, урожденная Ивашева, дочь декабриста и младшая сестра Марьи Васильевны Трубниковой.

355

Анна Михайловна Евреинова (Софья Ковалевская в переписке назвала ее «Жанной» или «сестрой») родилась в 1844 году и была первой из русских женщин, получившей ученую степень доктора прав. Училась в Гейдельбергском, потом Лейпцигском университетах, где в 1877 году и получила указанную степень. Впоследствии, в 1885–1890 гг., издавала журнал «Северный Вестник».

356

Софья Васильевна Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская (1850–1891), позднее профессор математики в Стокгольмском университете, жена геолога Владимира Онуфриевича Ковалевского (1843–1883).

357

По свидетельству В. Я. Евдокимова («Голос Минувшего», 1916, № 4, стр. 73), в письме к нему из Берлина А. М. Евреинова описывала собрания рабочих, на которых она присутствовала, причем резко отозвалась о наших порядках. Письмо было подвергнуто перлюстрации, у В. Я. Евдокимова и в магазине Черкесова был сделан обыск, и его и Черкесова арестовали.

Родные А. М. Евреиновой также получили от нее телеграмму и в ответ на нее изъявили готовность посылать денег, «сколько ей нужно». «Вот поди разбери их потом! — писала Софья Ковалевская мужу. — Жила бы у них Жанна еще десять лет, и они все бы продолжали мучить ее и ни за что не отпустили бы добровольно; а вот убежала, — они и смягчились».

359

Загуляев, Михаил Андреевич, журналист (1834–1900). Сотрудничал в «Сыне Отечества», «Отечественных Записках», «Голосе» и т. д., ведя главным образом отделы иностранной политики.

«Независимость Бельгии».

361

Нота от 19 октября 1870 г., т. е. во время франко-прусской войны, о восстановлении прав России на Черном море, урезанных после Крымской компании.

Ваша прекрасная Россия.

Действительно, Загуляев был скоро возвращен и с 1871 года уже стал редактором газеты «Journal de St.-Petersbourg».

364

Первое известие об учреждении Общества поощрения женского труда находим в записи 19 апреля 1863 г. Е. А. Штакеншнейдер оказалась дальновиднее Лаврова: она предвидит, что объединить представительниц двух разных социальных групп, носивших обозначения «аристократок» и «нигилисток», не удастся. Сама она, которую Лавров причислял к центру, считала себя в 1864 году ближе стоящей к «нигилисткам», но позднее в своих оценках женского движения и практической деятельности приблизилась к буржуазному крылу деятельниц женского движения, возглавляемому триумвиратом — М. В. Трубниковой (1845–1897), Н. В. Стасовой (1822–1895) и А. П. Философовой (1837–1912). Ее собственное участие в женском движении, где она проявляла известную энергию, хотя и была на второстепенных ролях, очень мало отразилось на ее дневнике. Она, например, совсем не упоминает, что в ее квартире происходили занятия по химии под руководством профессора Николая Павловича Федорова и только вскользь отмечает о лекциях архитектора Росси. О женском движении см. книгу о Н. В. Стасовой Владимира Стасова (1899), А. В. Философовой — Тырковой, а также и «Материалы для истории женского образования в России» Е. Лихачева, т. III (1901).

365

Датировка не точная: в действительности записку свою Е. И. Конради подала в «I съезд естествоиспытателей» 2 января 1868 года. «Записка» эта, по словам А. В. Тырковой, «создала эпоху в истории русского женского просвещений». Она тут же была прочитана вслух, вызвала несмолкаемые рукоплескания. «Съезд, — говорит А. П. Философова, — изъявил готовность помочь, но отклонил от себя почин в этом деле, конечно, совершенно чуждым социальным задачам съезда… Смелая выходка Конради… сплотила всех женщин и все лучшие женские помышления и дала им возможность тронуться с места».

Эта записка-петиция Е. И. Конради напечатана была в «Трудах I съезда русских естествоиспытателей» и в книге Вл. Стасова «Н. В. Стасова», стр. 166–169.

366

В «Голосе Минувшего», 1916, № 4, стр. 65, ошибочно вместо «Воронина» стоит «Потанина».

367

Евгения Ивановна Конради (1838–1898), публицистка и переводчица, в 1868–1874 гг. была редактором и издателем «Недели». Ей не посвящено отдельных монографий, как Стасовой и Философовой, хотя значение ее в истории женского образования никак не меньше, так как она была не только организатором, но и неутомимой писательницей по женскому вопросу. Все отзывы о ней сходятся в признании, что это была очень пылкая, очень горячая и очень умная женщина. Не совсем доброжелательное отношение к ней Е. А. Штакеншнейдер заметно и в ее рассказе об аресте Лаврова.

Очень неприятно, но пришлось прибегнуть к этой мере; в виду бестактности и резкости Конради, ее побоялись пустить к министру, и, чтобы ей бы то менее обидно, не поехала и Трубникова.

369

Екатерина Александровна Солодовникова, представительница левого крыла женского движения этих годов. Упрекая «филантропок» в излишней дипломатии и медлительности, она и ее единомышленницы решили скорее ковать железо, устроили концерт Лавровской, собрали деньги и 1 апреля 1869 г. открыли так называемые Аларчинские курсы.

370

На приеме 26 ноября 1838 г. министр народного просвещения Дмитрий Андреевич Толстой сказал депутаткам, «что этого совсем не надо женщине, что она выйдет замуж и все науки в сторону» и т. д. (См. Стасов «Н. В. Стасова», стр. 182–183).

371

После десятилетней упорной работы поборницы высшего женского образования наконец могли торжествовать: 20 сентября 1878 г. открылись Бестужевские курсы. Комитет учредительниц за ненадобностью упразднился. Председательницей нового общества на общем собрании 4 ноября выбрана была Философова.

372

Название брошюры профессора Новороссийского университета Цитовича приведено не точно. Она называется «Ответ на письмо ученым людям» (Одесса 1879). Брошюра эта полемизирует со статьей Н. К. Михайловского «Письма к ученым людям», где высмеивались взгляды Цитовича на общинное землевладение. Вся брошюра написана очень злобно и цинично, но особенно резки выпады против женского равноправия. Новая женщина описывается Цитовичем в таком роде: «По наружному виду — какой-то гермафродит, по нутру — подлинная дочь Каина». Цитович не верит, чтобы совместные занятия мужчин и женщин наукой могли «обходиться без греха».

Брошюра Цитовича выражала взгляды самых реакционных кругов.

373

Достоевский страдал эмфиземой, через три с половиной месяца сведшей его в могилу. Осенью 1880 года он лечился в Старой Руссе. Улучшение здоровья («вообще смотрит лучше») было кажущимся. По словам Страхова, Достоевский был в это время «необыкновенно худ и истощен, легко утомлялся, жил, очевидно, одними нервами» (Полное собрание сочинений Достоевского, 1883, т. I, стр. 316). В это время он усиленно работал над «Братьями Карамазовыми», которые печатались в «Русском Вестнике» (№№ 1, 2, 4–6, 8–11) и вышли в декабре отдельным изданием.

374

В декабрьской книжке «Дневника Писателя» за 1877 год, прекращая на год, как он думал (фактически вышло почти на три года), это издание, чтобы отдаться писанию романа, Достоевский в обращении «К читателям» выражал сожаление, что столь многим не мог ответить за неимением времени и здоровья. Слова, сказанные им Е. А. Штакеншнейдер — «тут надо не письмо писать, а целую статью» — повторяют мысль, выраженную в этом обращении несколько пространнее: «Очень многим корреспондентам я потому не мог ответить на вопросы, что на такие важные, такие живые темы, которыми они столь интересуются, и нельзя отвечать в письмах. Тут надо писать статьи, целые книги далее, а не письма».

375

К Софье Андреевне Толстой, вдове поэта Алексея Толстого, с которой Достоевский был в хороших отношениях. Однажды он привез ее к Штакеншнейдерам на домашний спектакль. (См. В. Микулич, «Встречи с писателями», 1929, стр. 144.)

376

Отрицательное отношение к Тургеневу, как к человеку, заметно во многих местах дневника Е. А. Штакеншнейдер. В 1880 году оно выражается резче в связи с обострением вражды между Достоевским и Тургеневым после пушкинских праздников в Москве (см. «Дело», 1860, № 9, стр. 160). Про взаимные личные отношения двух великих писателей см. «История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева», изд. «Academia», 1928).

377

Под этим заглавием появилась статья в сентябрьской книге «Дела» за 1880 год, имеющая подзаголовок: «Дневник Писателя» Достоевского. Единственный выпуск на 1880 год. Август». В статье этой говорится, что пушкинский праздник в Москве был «повальным смешением языков и понятий, не без примеси некоторой доли умственного уродства… Героем и финалом этого сумбура явился г. Достоевский. Он уже не в первый раз садится не в свои сани, принимая на себя роль публициста. Первые опыты этого рода сделаны им в 1876 году «Дневником Писателя». Особенной славы г. Достоевский, конечно, не стяжал, да и не мог стяжать, потому что для роли публициста у него не достает ни знаний, ни развития, ни политического образования, ни даже простого общественного такта». Далее идет горячий протест против проповеди смиренномудрия у Достоевского и т. д. Подпись под статьей «Г.-Н». («Дело», 1880, № 9, стр. 159–169)

378

Между педагогом-математиком Евтушевским и Львом Толстым была полемика о методах преподавания арифметики. Евтушевский пропагандировал видоизмененный им метод немецкого педагога Грубе. Лев Толстой горячо оспаривал целесообразность этого метода, (см. статью Л. Толстого «О народном образовании», Полн. собр. соч. Льва Толстого, 1897, т. IV, стр. 378–458). В свою очередь Евтушевский иронизировал над педагогической деятельностью Толстого.

379

В 50-х годах у Штакеншнейдеров были «субботы». О «субботах» же говорит Микулич в своих воспоминаниях, относя первое знакомство с этой семьей к 1879 году, А. Г. Достоевская определенно указывает «вторники»: «Федор Михайлович в 1879–1880 гг. бывал на вечерах у Е. А. Штакеншнейдер. У ней по вторникам собирались многие выдающиеся литераторы» (А. Г. Достоевская, «Воспоминания» стр 256). Очевидно, как раз в эти годы произошла перемена дней.

380

Об этой Маше Бушен, несомненно, говорит Микулич, не называя ее фамилии: «Очень красивая молодая женщина… Приятельница Елены Андреевны, Марья Николаевна Б., очень одаренная личность. Она прелестно рисует, пишет, декламирует, играет на сцене; при этом хороша как ангел и несчастлива в семейной жизни» (В. Микулич, «Встречи с писателями», 1929, стр. 140). «Пророка» Пушкина и его же «Медведицу» читал Достоевский и на Пушкинских торжествах в Москве вечером 8 июня. В Петербурге читал он «Пророка» на вечере в пользу Литературного Фонда, состоявшемся вскоре после «вторника» у Штакеншнейдеров, а именно 19 октября, и вторично на повторном вечере 26 октября.

Очевидно, пушкинские «Подражание Данту» и из Беньяна «Странник» («Однажды, странствуя среди долины дикой»).

382

Книга Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» вышла в свет в 1885 году (т. I, в двух частях).

383

Сестра Е. А. Штакеншнейдер.

384

Ср. В. Микулич «Встречи с писателями», 1929, стр. 146, где говорится о чтении у Штакеншнейдеров того же произведения той же чтицей.

385

Штакеншнейдер не только забыла заглавие этой, по ее мнению, «хорошенькой вещи» Случевского, но и указывает неточно, о ком в ней идет речь: не «поп» и не «бедный», а дьячок, живущий в чистом, опрятном домике и довольный своей судьбой; сын его сделался не «архимандритом», а «иеромонахом». Такая рассеянность тем более странна, что стихотворение и носит заглавие «Дьячок» («Над Двиной, рекой великой», Сочинения К. Случевского, 1893, т. II, стр 81–82).

Невестка Е. А. Штакеншнейдер.

387

Несколько раз в своем дневнике возвращается Штакеншнейдер к этому вечеру 1861 года, поразившему ее недостаточным, по ее мнению, вниманием публики к Достоевскому.

388

После смерти жены своей Марии Александровны Александр II женился на кн. Юрьевской (Долгоруковой).

389

Дмитрий Андреевич Лизогуб (1848–1879), из богатых помещиков Черниговской губернии, все свои средства отдавший на нужды революции (см. Степняк-Кравчинский, «Подпольная Россия», а также «Воспоминания Е. Хирьяковой», «Звенья», стр. 482–499).

390

Речь идет о процессе шестнадцати народовольцев в Петербургском военно-окружном суде, происходившем с 25 по 31 октября 1880 года (см. «Процесс шестнадцати террористов», под ред. Бурцева, 1906).

391

Григорий Давыдович Гольденберг (1855–1880), деятель «Народной Воли», участвовал в террористических покушениях на Александр III. Был арестован в 1879 году и выдал многих из товарищей, но муки совести после предательства довели его до самоубийства в Петропавловской крепости.

392

Лизогуб был повешен 8 августа 1879 г. в Одессе, где в это время генерал-губернатором и командующим войсками округу был Тотлебен, проявивший необычайную свирепость в подавлении революционного движения. Смертный приговор над Лизогубом поразил всех своей неожиданностью.

393

Этот спектакль был у Штакеншнейдеров годом раньше (в зиму 1879–1880 г.) и описан у В. Микулич («Встречи с писателями», 1929, стр. 144–148).

В письмах Федора Михайловича к жене есть ряд упоминаний об Анне Николаевне Энгельгардт; например, в первом письме по приезде в Москву на Пушкинские торжества Достоевский указывает, что в Чудове простился с А. Н. Энгельгардт и при этом они «задушевно облобызались» (см. Письма Достоевского к жене», 1926, стр. 278).

395

В письме Страхова Льву Толстому от 2 ноября 1880 г. читаем: «Видел я Достоевского и передал ему вашу похвалу и любовь. Он очень был обрадован, и я должен был оставить ему листок из вашего письма, заключающий такие дорогие слова. Немножко его задело ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей нашей литературы, включая Пушкина»), «Как, включая?» — спросил он. Я сказал, что вы и прежде были, а теперь особенно стали большим вольнодумцем» (Толстовский Музей, т. II, переписка Л. Толстого с Н. Страховым, Спб. 1914, стр. 259).

Маков, Лев Саввич, член Государственного Совета, бывший до Лорис-Меликова министром внутренних дел, а потом почты, телеграфа и духовных дел, в конце февраля 1883 года кончил самоубийством в связи с растратами в подведомственных ему учреждениях. В качестве министра внутренних дел ознаменовал свое управление введением института урядников и обращением к обществу о содействии для борьбы с революционным движением. Надежда Киреева, первая его жена, была подругой молодости Е. А. Штакеншнейдер (см. дневник 1885 года, 9 марта).

397

Неотесанный медведь.

398

Наденька была незаконная дочь своих родителей и потому быта нелюбима своей родной матерью, отчасти оттого же нелюбима и свекровью. В начале 30-х годов блистала в петербургской немецкой сцене, но блистала не талантом, а красотой, актриса — не вспомню ее имени. За ней, конечно, ухаживали, и одному молодому человеку, а именно Александру Дмитриевичу Кирееву, посчастливилось, вернее, впрочем, сказать, понесчастливилось стать к ней в более близкие отношения. Она сделалась матерью, потребовала от него женитьбы. Он уклонился. Тогда она взяла свою трехмесячную дочь, — то была бедная Наденька, — и пошла с ней к Зимнему дворцу, к государеву подъезду.

Государем был тогда Николай Павлович. Когда он вышел садиться в сани, она бросилась к его ногам и рассказала ему все, прося защиты. Государь приказал Кирееву жениться на ней. Киреев повиновался, конечно, и немецкая актриса стала русской барыней Надеждой Александровной Киреевой. Все прошлое было моментально похерено. Сцена, немецкая обстановка, родня, немецкий язык и ребенок — все скрылось и исчезло с лица земли. Дом был поставлен на барскую ногу. Толпа дворовых, но при этом порядок немецкий; везде чистота, роскошно, прилично, главное прилично. Пошли дети, а через несколько лег появилась в доме девочка, воспитанница, Наденька. Она была, конечно, старше остальных детей, и, когда она подросла, ее отдали в пансион и ни по праздникам, ни на каникулы, никогда не брали домой. Потом стали брать. Затем прошлое забылось, никто не вспоминал, не спрашивав, все привыкли. Наденька была Наденька Киреева, старшая дочь. Но мать ее все-таки не любила. Она была очень злая, эта мать с лицом ангела — настоящего ангела, я хорошо помню ее. Мужа своего дотиранила она до того, что, по приказанию докторов, его пришлось увезти в деревню, и там он умер на руках у Наденьки. Крепостных своих она истязала, за что и судилась не раз и, наконец, — но это уже в последнее время, в 60-х годах, — она была убита на большой дороге кучером своим.

399

Дети сестры Е. А. Штакеншнейдер, Ольги Эйснер.

400

Не коротенькая статейка, а большая статья Я. П. Полонского «Тургенев у себя» появилась в восьми номерах «Нивы» (1884, №№ 1–8).

401

Стихотворение это появилось под другим заглавием: «Умирающий» (см. Полное побранив стихотворений Полонского, 1896, т. II, стр. 381–386) — 136 стихотворных строчек шестистопного ямба — и принадлежит к числу довольно слабых произведений очень неровного в своем творчестве Полонского. Очень возможно, что этим в значительной степени объясняется и отказ со стороны Берга и Стасюлевича, но высказать этого прямо они не решились. Как образчик «стиля» можно привести следующие четыре строки:

Мы все — проточный путь материальных
Частиц, теснящихся кругом,
Мы заставляем их участвовать в своем
Стремлении создать мир мыслей идеальных.

402

Первое «Полное собрание сочинений» Достоевского вышло в четырнадцати томах в 1883 году. Весь первый том занят главным образом биографическими материалами: «Материалы для жизнеописания Достоевского» Ореста Миллера; «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Н. Страхова; письмами Достоевского, отрывками из записной книжки. Кроме Страхова и О. Миллера, большое участие в составлении этого тома принимал А. Майков. Второе «Полное собрание» вышло в шести томах в 1885–1886 году с «кратким очерком жизни и писательства Достоевского», составленным Аверкиевым.

403

Аверкиев решил продолжать замысел Достоевского и в 1885–1886 году издавал единолично тоже «Дневник Писателя», не имевший, впрочем, никакого успеха.

404

В 1881 году, когда Полонские гостили у Тургенева в Спасском, Иван Сергеевич, обнаружив у Жозефины Антоновны дарование к лепке, взял с нее слово, что она будет серьезно учиться и вылепит его бюст. Там, в Спасском, она вылепила бюст своего шестилетнего сына Бори. Затем она поступила в училище Штиглица и занималась там под руководством скульптора Матвея Афанасьевича Чижова. Первой ее серьезной работой был бюст Тургенева, поставленный на Волковом кладбище. Из последующих ее работ наибольшею известностью пользуется бюст Пушкина в Одессе.

405

Речь идет о десятитомном «Полном собрании сочинений». Причины неуспеха продажи можно видеть и в том, что тома продавались отдельно и, когда выходили последующие, первый, наиболее интересный, со стихотворениями, уже разошелся.

Кроме того, издание не было выдержано и по внешности: последние тома вышли на гораздо худшей бумаге, чем первые. По свидетельству сына поэта, Александра Яковлевича Полонского, Евгений Гаршин, бывший издателем этого «Полного собрании» и заведший у себя не «магазин», а «книжный склад» не «надувал» Полонских, — здесь Е. А. Штакеншнейдер не права, — но просто оказался очень непрактичным: он никакой выгоды и сам не имел.

Saisir — уловить.

407

В истории первоначального знакомства Е. А. Штакеншнейдер с Достоевским имеет значение следующий эпизод. В августе 1861 года Полонский, находясь за границей, получил от нее письмо, где, между прочим, находилось суждение о Достоевском, которое привело Полонского в восторг. Оно «право, могло бы занять место в критике», — писал он. Считая, что Достоевскому интересно будет знать мнение о своих произведениях, Полонский выписал и послал ему суждение Е. А. Штакеншнейдер, не называя ее по имени, указывая только, что оно принадлежит одной петербургской девушке, неизвестной Достоевскому.

408

Поклонник Достоевского и приятель Н. Н. Страхова. В 1861 году принимал деятельное участие в студенческом движении и сидел в Петропавловской крепости. Уже к концу 60-х годов заметно поправел и стал бранить «нигилистов». О нем см. «Деятели революционного движения», т. I, стр. 324, где приложен и его портрет в молодости, и особенно Л. Пантелеев «Из воспоминаний прошлого», т. I.

409

По свидетельству А. Г. Достоевской, Федор Михайлович возобновил знакомство со Штакеншнейдерами в 1873 году.

410

Анне Павловне Философовой.

411

Статья о Некрасове появилась в декабрьской книжке «Дневника Писателя» за 1879 год.

«Мартен-найденыш».